



ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ



ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ



НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1968

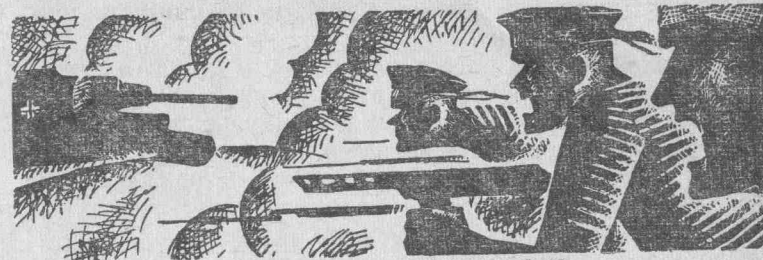
Первая часть дилогии «Неизвестные солдаты» вышла в 1962 году и получила широкую известность.

В третьей и четвертой книгах романа-эпопеи, предлагаемых вниманию читателей, кроме уже знакомых Ивана Булгакова, Насти Коноплевой, Виктора Дьяконского и других героев, в жизненном пути которых отразились судьбы русских людей, воинов фронта и тыла, появляются новые действующие лица.

Действие во втором томе «Неизвестных солдат» разворачивается в 1942—1945 годах.

Художник А. А. ЧЕРНОМОРДИК





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Больше трех месяцев провел Виктор Дьяконский в тыловом госпитале. Во время операции хирург извлек из бедра пригоршню плоских осколков гранаты. Раны были глубокими и заживали медленно.

Из госпиталя направили Виктора в запасный полк, стоявший на окраине города. Доехал туда в старом дребезжащем автобусе. Потоптался возле серого унылого забора с ржавой колючей проволокой наверху, не спеша зашагал к проходной. Торопиться некуда. От ребят слышался, что за прелесть — запасные полки. Муштровка с утра до вечера, паек тыловой: с хлебом еще терпимо, а приварок ни к черту.

За серым забором увидел такие же серые дощатые бараки, низкие и длинные, до самых окон утонувшие в грязных сугробах. Перед бараками кирпичное здание штаба, а левее — просторный, до черноты истоптанный плац.

Удостоверение, выданное ему, как командиру роты, еще в июне, Виктор решил не показывать. Тут не фронт, тут, прежде чем доверить роту или взвод, заставят заполнить анкеты, писать биографию. Будут беседовать, сомневаться, посылать запросы... Зачем все это? Зачем трепать себе нервы?

— Старший сержант Дьяконский прибыл из госпиталя для прохождения дальнейшей службы! — представился он дежурному — капитану с красной повязкой на рукаве.

Тот даже не взглянул на него, бросил через плечо:

— В строевую часть.

«У них тут массовое производство, поштучно не разбирают», — весело подумал Виктор.

Пожилой сержант-писарь с нездоровым отечным лицом полистал красноармейскую книжку Дьяконского, тяжело поднялся со стула. В глазах промелькнуло любопытство.

— Две медали за тобой числятся. Где успел-то?

— Где все, — резковато ответил Виктор, не желавший вдаваться в подробности.

— Ну, побудь тут, сейчас доложу.

Вернулся писарь очень быстро. Уселся на свой стул, покачавая, вытянул ноги и произнес официально:

— Назначены в шестую роту на должность помощника командира взвода. Сегодня включим в приказ. На котловое довольствие — с завтрашнего дня...

В бараке шестой роты было пусто, люди ушли на занятия. Почти все помещение занимали железные кровати в два яруса, аккуратно заправленные старыми, вытершимися одеялами. Вдоль стены — широкий проход. Две печки, пирамиды, стол для чистки винтовок. Знакомая картина, привычный запах дегтя и ружейного масла — почти как в Бресте. Закрой глаза, и услышишь команду Бесстужева, запоет труба Сашки Фокина.

Виктор пошел в каптерку сдать свой тощий вещевой мешок, на дне которого лежала смена белья, связка писем да учебник немецкого языка. В полутемной пристройке с за решпеченным окошком увидел знакомого по госпиталю Емельяна Вышкварцева.

— Ба! — воскликнул тот. — Каким ветром? К нам, что ли?

— В шестую направили.

— Хорошее дело, приятель, — Емельян крепко сжал его руку. — У нас, понимаешь, на всю роту десятка фронтовиков не наберется. Сам увидишь: наполовину детский сад, наполовину дом престарелых. А ведь нас не в городки играть собрали сюда.

— Ты-то кем тут?

— Шмучотник и шкуродер, — засмеялся Емельян. — Старшиной роты поставили.

— Официально тебе представляться или как?

— Не ерунди, приятель, давай лучше раздадим заветную ради встречи.

— Нет. К ротному надо идти.

— Ну, до другого раза.

— И вообще не любитель я.

— Э, любовь — дело наживное! — весело подмигнул Емельян. — Практикуйся почаще и влюбишься...

Виктор обрадовался встрече с Вышкварцевым. Легче начинать службу на новом месте, когда есть знакомый, и тем более — старшина роты.

В госпитале они лежали в разных палатах и даже в разных концах коридора, но Емельян был человеком настолько заметным, что его знали все раненые. Плечистый, чернобровый, он целыми днями бродил по палатам: в одной сгоняет партию в шахматы, в другой починит радио, в третьей просто так потреплет для веселья. Было ему лет тридцать пять, но с молодыми ребятами держался он вровень, вместе с ними устраивал вылазки в город за папиросами. Раненые привыкли к его улыбке, привыкли слышать его звучный раскатистый голос.

Вообще-то Виктор не уважал людей шумливых и компанейских. Они казались ему легковесными. Кто знает, можно ли такому доверить серьезное дело?

Первое время в госпитале Дьяконский сторонился Вышкварцева. Но однажды, когда начал ходить, они оказались рядом возле окна в курилке. Виктор принялся крутить козью ножку. Вышкварцев протянул ему папиросу. Смотрел молча, без улыбки. Виктор в тот раз заметил, что Емельян уже в возрасте: и морщинки на смуглом лице, и белые ниточки в черной шевелюре.

«Из-под Киева?» — спросил Вышкварцев. — «Из-под Харькова». — «А раньше?» — «С самого начала». — «А я с июля. На Припяти начал, в Киеве кончил. Прощусь в свою дивизию — не посылают, дьяволы!» Плюнул, бросил окуроч и пошел к двери. Потом, будто вспомнив, вернулся и сунул в карман Дьяконского пачку папирос: «Возьми, у меня две».

Сейчас Виктору приятно было слышать рокошующий уверенный басок Вышкварцева. «Такой нигде не пропадет», — подумал он, с удовольствием глядя на статную фигуру старшины. Все на нем новое. И гимнастерка, и широкий командирский ремень, и синие галифе, и хромовые сапоги с собранными в гармошку голенищами.

— Формой обзавелся, как генерал. Женщины, наверно, неравнодушны к тебе, — усмехнулся Дьяконский.

— Да? — веселый взгляд Вышкварцева на секунду по-

мерк, и Виктору показалось, что старшина обиделся. — А почему бы и нет, приятель? Тут дело вкуса. Форма — она человека красит. Если, конечно, он за ней смотрит. А я от бойцов внешнего вида требую.

— Понятно. Кто у меня взводным будет, не знаешь?

— Треножкин, наверно. Мальчик вроде умный, но без характера. Ты сразу дело в свои руки бери. Ну, сам увидишь...

Вечером Виктор познакомился со своим взводом, и впечатление осталось неблагоприятное. Очень уж разнокалиберный подобрался народ. Самым младшим — по восемнадцати, самому старшему — сорок четыре года. Пятеро казахов и трое татар почти не понимали по-русски. А главное, люди были какие-то затурканные, равнодушные. Ни разговоров, ни шуток. Молча почистили винтовки, молча построились на проверку. На прогулке перед сном пели вяло и по-казенному. Либо учили их без души, либо устали и отупели они от занятий.

Среди общей массы наголо остриженных бойцов выделялись трое сержантов — командиров отделений. У них и выправка лучше, и вид бодрей. Двое из них уже побывали на фронте, третий служил когда-то срочную на Дальнем Востоке.

Командир взвода младший лейтенант Илья Треножкин был на год моложе Дьяконского. Худенький, узкоплечий, с бледным лицом, взводный выглядел мальчишкой-подростком. Тонкие ноги свободно болтались в широких голенищах сапог.

— Кончил школу, потом на курсах полгода. Я местный, мама у меня здесь, — рассказывал Треножкин после проверки. Они сидели в канцелярии вдвоем, и младший лейтенант с уважением и даже с какой-то робостью поглядывал на Дьяконского. — Это у вас за ранение нашивки, не правда ли? Вы немецкие танки видели? Говорят, очень сложно справиться с ними. А ведь вы танк подбили, верно?

— Кто вам сказал?

— Товарищ старшина роты.

— Ну, если товарищ старшина — тогда точно, — улыбнулся Виктор, глядя на нежное лицо Треножкина, на его тронутые чернотой зубы. Подумал с жалостью: «Мальчик примерный был, мама его лелеяла. Сладким кормила... Золотухой болел, наверно... Сапоги сорок третьего размера

дали, а обменивать постеснялся... Надо Вышкварцеву сказать...»

— Комвзвод, вы в какой институт собирались?

— Учиться? — у Треножкина зарделись щеки. — Понимаете, математика мне дается легко. У меня папа бухгалтер был и брат тоже... Своего рода семейная традиция... А получилось, видите, что? — развел он руками. — Я тут за месяц на четыре кило похудел. Мама ужасается — такой вид...

— Ничего, — успокоил Виктор. — Вид, как огурчик, бывает хуже.

— Огурчик, — грустно согласился Треножкин. — Зеленый и весь в прыщах. По утрам еле-еле встаю... Рад, что вы приехали, теперь легче будет вдвоем, правда?

— Точно, комвзвод. А сейчас пора мне новую койку осваивать. Разрешите идти?

— Да, да, идите, пожалуйста. Спокойной ночи.

Лежа на твердом соломенном тюфяке, Виктор думал, что в бою с таким взводнымхватишь горя. На фронт могут отправить в любой день. Хорошо, если люди успеют схватить главное: научатся стрелять, окапываться, маскироваться. И еще — надо привить им веру в свое оружие и в самих себя. Чтобы поняли: ты сидишь в окопе с винтовкой и гранатой. Справа и слева товарищи. В окопе тебя не достанет ни пуля, ни снаряд, разве только случайные. Сиди и стреляй спокойно: убьешь фашиста, сам останешься цел. Побежишь — погибнешь. Лицом к врагу ты солдат, а спиной — мишень.

На новом месте Виктор уснул не скоро. А наутро чуть не проспал подъем — разлежился в госпитале. Вскочил вместе с бойцами и сразу в строй: повел взвод на физзарядку.

Нудный и нескончаемый потянулся день, заполненный занятиями. С утра — тактика. Шесть часов в поле. На обед — жидкие щи да сухая, дерущая горло ячменная каша. После короткого отдыха еще три часа топтались на плацу, отрабатывали повороты в строю и на месте, отдавание чести. Бойцы цепочкой проходили мимо старшего сержанта, козыряли старательно и неумело.

Вечером Дьяконского сменил отдохнувший Треножкин. А Виктор, забравшись в кантерку, лег на кровать старшины.

— Что, приятель? — похихатывал Вышкварцев. —

Умеют здесь жилы выматывать? Здоровые едва тянут, не то что после госпиталя. Такая установка, чтобы люди сами на фронт рвались. Хоть к черту в пекло, только подальше отсюда. Но и мы не лыком шиты. Ротный наш — мужик штатский, службы не знает. Для него устав — талмуд и евангелие. Этому очки нетрудно втереть. Он на фронт с нами поедет, особенно не придирается. А командир батальона — зверюга. Рожа — во! В один прием не обложись. Кадровый тыловик. С самого начала тут окопался и давит на всю железку. Семь очередей подготовил. Все с высокими показателями и досрочно. Его ценят. А фронтовиков он опасается, нас жевать трудно.

— Ладно, — сказал Виктор. — Комбат далеко, а мы сами собой.

На следующий день, когда отрабатывали тему «Взвод в наступлении», Дьяконский предложил Треножкину отвести бойцов подальше в лес. Разыскали поляну в густом ельнике, развели костры. Нарубили лопатами лапника, сели к огню. Это было какое-то разнообразие, и люди сразу повеселели.

— Товарищ старший сержант, — негромко сказал один из командиров отделений. — Тут до совхоза рукой подать. Баба у меня знакомая... Картошки бы...

— Давай! — разрешил Виктор.

Младший лейтенант был удивлен, но молчал. С мальчишеским любопытством поглядывал на своего помощника: что дальше? Виктору положительно нравился этот паренек, не выпячивавший свое командирское «я».

— Разрешите начать занятие? — обратился к нему Дьяконский.

— Пожалуйста, пожалуйста, — закивал тот.

— А ну, ближе, товарищи, — позвал Виктор. — Садись, на чем стоишь. Сегодня смотрели мы с младшим лейтенантом, как перебежать учиться. В общем — правильно. Однако один прием выполняете плохо. А прием важный. Без него на фронте пропадешь. Ты перебежал и лег. А немец видит, куда ты упал, и бьет по этому месту. Ты лег за куст, — бьет по кусту. За кочку — лунит по кочке. И попадает наверняка. Поэтому, как упал — сразу отползи. Хоть вправо, хоть влево, но отползи метра на три.

Виктор вскочил и сделал на поляне несколько перебежек. Возвратился к костру, отряхивая с шинели снег.

— Видели? Теперь сами. Командиры отделений, пропускайте по одному. Остальные смотрят и поправляют.

Занятия пошли веселей. На глазах у всего взвода люди старались. Особенно молодые ребята. Распалились, толкали друг друга. Виктор не мешал им: в казарме не часто приходилось смеяться.

Вскоре командир отделения принес ведро картошки и кулек крупной грязной соли. Виктор попросил у Треножкина разрешения сделать перерыв. Принялись печь картошку в золе. У некоторых бойцов были сухари и хлеб: разделили на всех — по маленькому кусочку. Виктор думал, хватит ли у младшего лейтенанта такта, чтобы взять свою порцию, не обидеть людей? Треножкин чуть поколебался, но взял четверть сухаря и две картошки.

— Товарищ командир, — робко обратился к Дьяконскому круглолицый красноармеец-татарин в большой шапке. — Товарищ командир, немца плен брал?

— Приходилось.

— Больно страшно?

— Все страшно, — Виктор обвел взглядом притихших бойцов. — Только ведь страх преодолеть можно. И не забывай, что немец тоже смерти боится.

— А какие они, немцы-то? — спросили сзади. — Здоровые?

— Всекие есть: и молодые, и старые, и помельче, и покрупней. Но обучены хорошо, — прищурился Виктор. — У них солдат как упал при перебежке, так сразу в сторону отползает. На мушку его взять нелегко.

— Помкомвзвод в одну точку бьет! — засмеялся кто-то.

В казарму возвращались затемно. Взвод шел хорошо, бодро, не сбиваясь с ноги. Младший лейтенант, приотстав, сказал Виктору:

— Легко у вас это. А у меня не получается так...

— Я же и сам недавно рядовым был. Думаю, мы сработаемся и все пойдет нормально.

— Конечно, конечно! — воскликнул Треножкин. — Обязательно сработаемся! У меня сегодня даже какая-то уверенность появилась.

— Будем считать, что нам повезло. И вам и мне, — усмехнулся Дьяконский.

У Виктора в последнее время все, кажется, складывалось благополучно. Одуев освобожден, от Ольги и Василисы часто приходят теплые, хорошие письма. Истосковались, ждут, хотят видеть... Сам жив-здоров, в роте освоился. Но не давала ему покоя одна мысль: как же теперь с вступлением в партию? Кто он — коммунист или беспартийный?

Ну, явится он в парткомиссию, расскажет, как принимали его в кандидаты у немцев в тылу, в заводском подвале, как хотел умереть большевиком. Поверят ли? Ведь нет никаких доказательств. Парторг Южин, пулеметчик Ванин и другие, голосовавшие за него, остались тогда на заводе прикрывать отход. Они остались на смерть: вечная память им, дорогим товарищам!

Протокол собрания и партийные билеты нес пожилой ополченец Трофименко. Его в упор застрелил выскочивший из блиндажа немец. Сумку с документами взял Ибрагимов. Потом Виктора ранило. Двое бойцов тащили его. Он запомнил только вспышки огня среди мрака: вспышка — темнота, вспышка — темнота...

Сумел ли пробиться Ибрагимов? Но если он и остался жив, разве разыщешь его?..

Виктору хотелось услышать совет старшего, более опытного в житейских делах человека. Самым подходящим был Вышкварцев. За его веселостью, шутками-прибаутками угадывал Виктор твердый характер. Этот и дельное может подсказать, и лишнего нигде не болтнет. Выжидая удобный случай для серьезного разговора, Виктор приглядывался к старшине.

Вышкварцев расхаживал по бараку, как хозяин. Когда отдавал команду, от его рокошущего голоса вздрагивали даже командиры взводов. Они побаивались старшину не меньше, чем рядовые.

На утренних осмотрах Вышкварцев безжалостно отрывал плохо пришитые к гимнастеркам пуговицы. По десятку раз заставлял бойцов заправлять постели. «Зачем это? — с глазу на глаз спросил Виктор. — И без того трудно ребятам. Дались тебе эти койки!» — «А ты что хочешь, приятель? Чтобы командир батальона за плохую заправку всем нам выволочку устроил? Он заскочит сюда, рожа красная, глазами зырк-зырк, а придраться не к чему. Да

я еще рыкну ему команду в ухо, он и доволен. Тут, дескать, порядок, тут товар лицом, высшее начальство не подкопается. И бежит другим разнос учинять, у которых морщинки на одеялах найдет».

Что правда, то правда: до сих пор громы и молнии комбата, обильно сыпавшиеся на других, миновали шестую роту. Была она на хорошем счету, бойцов реже посылали разгружать уголь. Во всем этом имелаась несомненная заслуга старшины.

Вышкварцев тянулся к Дьяконскому, как тянутся люди горячие, легко возбудимые, к людям уравновешенным, рассудительным. На «вы» обращался только в строю. Уходя из роты, оставлял Виктора за себя.

Как-то после обеда, когда строились на занятия, командир роты сказал коротко:

— Дьяконский — в распоряжение старшины.

Рота ушла. Виктор отправился в каптерку. Емельян встретил его на пороге. Крикнул громко:

— Дневальный, меня нет, я на складе! — и запер дверь на крючок.

— К чему столь торжественные приготовления? — осведомился Виктор.

— Закуска хорошая есть. Раздадим посудину?

— Только с условием: один к трем.

— Ладно, — согласился Вышкварцев, доставая копченую рыбу. — Мне больше достанется. Сегодня причина веская, а кроме тебя и позвать некого. На одних положиться нельзя, с другими скука грызет.

— А со мной не грызет?

— С тобой терпимо. Высказываться ты не мастер, так хоть слушаешь хорошо.

— Спирт-то где достаем?

— В санчасти. Сам же говорил: женщинам я нравлюсь.

Налил стаканы, понюхал корочку хлеба.

— За что? — спросил Виктор.

— Сыну у меня восемь лет сегодня. Сергей Емельянович Вышкварцев, ученик первого класса... Ну, чтобы здоров был и чтобы свидеться!

— Поддерживаю. Телеграмму послал?

— Целый бланк накатал. Давай, действуй до дна!

Выпили. Помолчав, Виктор спросил:

— Емельян, ты партийный?

— Официально не состою. А в чем дело?
— Серьезный разговор есть. Очень серьезный и без выноса.

— Это само собой.

Виктор рассказал, как его принимали в партию, как вырвался из кольца и в каком затруднительном положении оказался теперь. Старшина сочувственно смотрел на него.

— Да, приятель, обстановка не из лучших.

— И это еще не все,— Виктор нахмурился и начал рассказывать об отце. Вышкварцев только присвистывал и покачивал головой. Потом произнес негромко, глядя мимо Дьяконского:

— Скверная история. И, по-моему, рыпаться тебе некуда. Сиди да помалкивай.

— Нет! В политотдел я все-таки схожу и объяснительную напишу. В партию я с открытой душой вступал, и товарищи, которые на заводе остались, приняли меня к сердцу. Ни перед собой, ни перед ними я кривить не хочу.

Дьяконский думал, что старшина начнет возражать. Но Вышкварцев постучал костяшками пальцев по пустому стакану и сказал, соглашаясь:

— Валяй. Ты парень правильный, иначе тебе трудно. И ведь черт ее знает, бывает и так, что правильным людям тоже иной раз выпадает удача.

* * *

От отца унаследовал Виктор не только пристрастие к военной службе, но и любовь к географическим картам. Он помнил: картами были заполнены стеллажи отцовского кабинета, они висели на стенах и даже лежали на полу, поверх ковра. Мама рассказывала, что совсем еще маленький Виктор охотно ползал по ним, и отец не ругался, если оставалось на хрустящей бумаге не предусмотренное географией озеро. Потом, в Одуеве, Виктор обзавелся картами Китая, Испании, Франции, следил по ним за событиями и будто сам был участником происходивших боев.

По просьбе Виктора младший лейтенант Треножкин принес из города большую школьную карту, едва уместившуюся на столе для чистки оружия. Виктор достал циркуль, линейку, цветные карандаши. В свободное время, захватив кипу газет, запирался в каютке, старался точ-

но нанести линию фронта, уловить закономерности наступления. Иногда, как и в прошлые годы, работа над картой становилась для него увлекательной игрой. Он забывал о реальности, забегал вперед, разыгрывал операции, используя благоприятную местность. Пытался предугадать, как будут развиваться события дальше.

Немцев отбросили от Москвы на двести, а в некоторых местах на триста километров. Фашисты потеряли много солдат и техники. Это, конечно, здорово! Но важно и другое. Вот уже девять лет правил Германией Гитлер и еще не знал серьезных неудач. Хитростью, силой, вероломством он всегда добивался своего. Он уверовал, что его армия непобедима, заставил поверить в это немцев.

Мир был будто заморожен могуществом Третьей империи. И вдруг эта вера поколебалась. Гитлеровские войска впервые потерпели крупное поражение и покатились назад.

В советских газетах печатались снимки пленных, разбитой немецкой техники. Но в сводках Совинформбюро постепенно начали исчезать названия освобожденных городов. Иногда упоминались районные центры, а чаще — села и деревушки.

Линия фронта постепенно стабилизировалась, застыла в самых причудливых формах. Особенно это бросалось в глаза возле Вязьмы, где немцам удалось сохранить за собой железную дорогу до самого Ржева.

«Выдохлись, что ли, наши? Или временная остановка?» — раздумывал Виктор. Своими мыслями он поделился с Вышкварцевым.

— Я не стратег, мне, дай бог, со своими делами управиться, — ответил старшина.

— Понимаешь, если исходить из равенства сил, то немцы имеют лучшее положение. Сейчас они обороняющаяся сторона, им легче. Вот смотри: наши прорвались по целине, где дорог мало. А у фашистов за спиной рокадные магистрали, им можно быстро войска с участка на участок бросать.

— Все точно, приятель, — усмехнулся Вышкварцев. — В любом деле можно сто доводов найти, особенно, если смотреть на войну из ротной каютки да с одной картой в руках. А я вот вчера в госпиталь заходил...

— За спиртом, что ли?

— И за ним тоже... Ну, и с ребятами потолковал, которые только что оттуда, которые еще дымом пахнут.

Тертые ребятишки, от Москвы наступать начали. Из-под Юхнова их привезли. Так вот, говорят ребята, что в полку двести бойцов осталось, к тому же половина обмороженные. Боеприпасов дают по пять патронов на рыло, а со жратвой давно уже на подножный корм перешли, кто что добудет. От Козельска до Тулы тысячи машин на проселках стоят, не могут через снега к передовой пробиться. Третьей силой воюем.

— Авиацией?

— Нет, ребята говорят, что большей частью на энтузиазм нажимаем.

— Ну, что же, — кивнул Виктор. — Без него тоже нельзя.

— Но ведь вот какая штука, приятель. Энтузиазм сам по себе не существует, он только людьми двигает. А когда людей не остается — бенц! Энтузиазм попадает в положение безработного и толку от него нуль... Я для чего это говорю? Теперь скоро весна, распутица, самое время на месте стоять и сил набираться. Пока на передовой затишье, в тылу гонка должна быть. В штабах небось вроде тебя — все карты разрисовывают... На рабочих жмут: танки давай, пушки давай! Таких, как мы, грешных, подлечивают и обучают, чтобы скорее на сковородку бросить.

— Да уж, кипяточком ошпаримся, это точно, — согласился Дьяконский. — Лето наверняка горячее будет. Ведь что товарищ Сталин говорил на параде седьмого ноября? Еще полгода, от силы год, и Германия лопнет.

— Ха, чтобы лопнула, на нее наступить надо да притиснуть как следует.

— До ноября, Емельян, времени еще много.

— А я, знаешь, приятель, на четвертом десятке каким-то осторожным стал, — понизив голос, произнес Вышкварцев. — Опасаюсь теперь вперед заскакивать. Цыплят осенью считать — это надежней.

— Вот осенью как раз и посмотрим, — улыбнулся Дьяконский.

3

Письмо Насти Коноплевой

«Нелька, родная моя!

Вчера получила открытку и прямо сразу отвечаю. Ты спрашиваешь о наших? Вот уже целый месяц ничего на

знаю об Игоре и Прохоре Севостьяновиче. И Евгения Константиновна тоже не знает. Я себя успокаиваю: ведь Игорь не обещал писем писать. А ночью лежу и шепчу в темноту: «Напиши! Напиши!» Может, он почувствует. Ведь раньше он чувствовал.

Теперь на почте в Одуеве работает наша одноклассница Соня Соломонова. Я попросила, чтобы она адрес Игоря списала. Соня ответила, что от него и домой нет писем. Теперь везде, наверно, доставка плохая. Я так думаю, и ты тоже так думай. Ты просишь рассказать про войну. Даже не знаю, о чем говорить. Это на картинках хорошо посмотреть, там все видно и все понятно.

Вот напишу про самый последний бой. Когда немцев от Москвы отогнали, наш батальон расформировали, и я попала в новую часть, которая приехала из тыла. В этой части еще никто не воевал, и на меня смотрели с уважением, хотя я ни разу даже не выстрелила, а только работала на сортировке раненых.

Сперва немцы очень быстро отступали, и мы трое суток не могли их догнать, хотя шли по сорок километров в день. Все очень устали, я прямо падала в снег. Потом нам приказали взять деревню. Утром туда пошли разведчики. Их немцы обстреляли из пулемета. Тогда командир велел развернуться в две цепи и наступать.

Мы начали перебегать вперед. Перебегали, перебегали, а немцы молчат. Деревня близко, но они не стреляют. Даже жутко стало. Вот подпускают к огородам и побьют из пулеметов.

Тут наши легли в снег и начали стрелять из винтовок. Чтобы немцы ответили. Вдруг из-за домов появился старик в полупрубке. Замахал руками и пошел к нам. «Меня, говорит, бабы послали, просят не стрелять: все окна побьете». — «Так немцы же в деревне!» — «Да их было-то шестеро. Они сани запрягли и уехали»...

Знаешь, нашим мужчинам стыдно сделалось. Разозлились, друг на друга не смотрят. Мы даже погреться не остановились в этой деревне.

Ночью подошли к большому поселку. Кругом ровное поле. Мы думали, что сразу поселок возьмем, но немцы засели в подвалах и кирпичных домах. Стенки из снега сделали, как ребятишки крепости делают. Облили снег водой, он заледенел, пули отскакивают.

Наши два раза в атаку ходили, но зря. Залегли в ов-

ражке. А тут и рассвет. Вперед идти невозможно. И назад нельзя, перебыют на ровном месте. Вот и лежали весь день. Мороз был ужасный. Солнце светит, снежинки блестят. Люди усталые, прямо на снегу начали засыпать. Кто заснет, так и замерзнет. Командир с политруком ползали и будили.

У немцев были минометы. Они хуже всего, даже хуже, чем «юнкерсы». Мины визжат, как ножом по тарелке. Рвутся тихо, будто лопнуло что-то, и все. Но осколки летят низко, попадают даже в тех, кто лежит. Воронки от мин маленькие, аккуратные ямочки, а вокруг на снегу черное кольцо пороховой гари. Ох, и насмотрелась я на эти воронки, пока ползала. Раненых было много, я их перевязывала и оставляла на месте. Куда же их денешь?

Тут я рукавички свои потеряла, которые Игорь подарил. А уж как берегла их! Знаешь, Нелечка, из-за них я очень расстроилась. И холодно, и рукавичек нет, и раненые стонут. Прямо чуть не заплакала, только командир заругался.

Вечером приехали пушки и пришло подкрепление. Наш батальон отвели назад, потому что людей мало осталось. Не столько немцы убили, сколько пообморозились. И я тоже отморозила правую ногу. В госпитале хотели ступню отрезать. Но обошлось. Отрезали только большой палец. Вот и стала я культяпкой. Хожу хорошо, только босоножки носить нельзя будет.

Отпуск у меня на три недели. Сидим с Евгенией Константиновной возле печки. Вся забота: где достать дрова, из чего сварить обед. Сидим и ждем писем.

Вот и все новости. Евгения Константиновна велела тебе передать, чтобы не хваталась руками за железки на морозе. От прикосновения к железу грубеют руки. Из этого ты можешь заключить, что бабушка не очень изменилась за прошедшие месяцы.

Пиши чаще. Крепко целую тебя. Настя.
10 февраля 42 г. Москва.

* * *

«Здравствуй, Настенька!

Ты не расстраивайся из-за своей культяпки. Босоножки носить необязательно. Я всю жизнь ношу ботинки,

а летом тапочки. В них удобней. Игорь на это даже внимания не обратит. Что он, дурак, что ли? Он посерьезнеет на фронте и все будет хорошо, вот увидишь.

Бабушке скажи, что живу нормально. О дровах не забочусь, в общежитии топят. Кормят два раза в день прямо в цеху. Пакет у меня итееровский. Когда прихожу в общежитие, девочки ставят чайник. К железкам не прикасаюсь, пусть не волнуется. Только очень мне одиноко в этой Сибири. Думаю про себя разное, а сказать некому. Мне ОН тоже не пишет. Наверно, и адрес забыл. Почему я не родилась на десять лет раньше? Тогда ОН относился бы ко мне совсем по-другому.

Я не верю, не верю, не верю в плохое! Папа пропал без вести, но ведь это не значит, что погиб, правда? Когда убивают, то приходят извещения, я сама видела. Сейчас просто некогда писать. И Альфреду, и Игорю. Ты, когда воевала, тоже не писала мне. А потом написала.

Нелька.
22.02.42 г.»

* * *

«Милая моя подруженька!

Ходила сегодня на медкомиссию. Там одни мужчины, и все здоровые, веселые. Председатель посмотрел мою ногу и говорит: «Хватит, девочка, возвращайся в свой институт». Ну, я ему в ответ: «Как я буду дома сидеть, когда все воюют? Подумаешь какое дело — одного пальца нет! Зато я теперь опытная, хорошо работать буду». А он заявил: «Ну, хватит, можете быть свободны».

Тут я не выдержала и заревела при всех. Стою босиком и реву. Председатель рукой махнул: «Э, милая, Москва слезам не верит!» Меня зло разобрало, как крикну ему: «Словам не верите, слезам не верите, чему же вы тогда верите?» Он как захохочет! И все засмеялись. Потом пошептались между собой. «Ну, ладно, говорят, пойдете сестрой в санитарный поезд». И выписали направление.

Укладываю вещмешок. Евгения Константиновна расстроилась. Правда, трудно ей тут одной. Очень неприспособленная. В очереди за хлебом стоит три часа. Народ теперь нахальный, оттирают ее. А она и ругаться не может. Губы подожмет, смотрит презрительно или шепчет: «Невоспитанный хам!» Но кто сейчас на это внимание обращает?

Оставляю ей свои валенки. В Москве холод и снег, а в поезде мне и в сапогах хорошо будет.

Обнимаю тебя и целую. Твоя Настя.

11 марта 42 г.»

«Ура! Нелюба, дорогая! Вчера не успела отправить, нынче пишу снова. Игорь приехал! И Прохор Севостьянович! Ночью на грузовике. Еще человек десять с ними. Квартину прямо казармой сделали.

Игорь солидный стал, говорит басом, потому что охрип. Его повысили, у него теперь три кубика на петлице. А на затылке все равно вихор торчит! Я его даже поцеловала сзади в вихор, только он не заметил.

Говорили с ним до самого утра. Про все, только не про его семью. Он чуткий, не хотел мне больно сделать. Мы все выяснили. Он считает меня верным другом, почти как Виктора. Ну и ладно. Пусть считает, как хочет, а я все равно буду любить его и он всегда будет мне желанный. Только ему я этого не сказала.

Утром началась великая баня и великая стирка. Они не мылись целый месяц, и все белье у них черное. Грузин Гиви ходил к дворнику дяде Мише и устроил скандал. Припомнил, что дворник в октябре сбежал из Москвы. Дядя Миша сам принес нам колотых дров и поклялся, что будет шефствовать над Евгенией Константиновной и даже без всякой платы. Это его Гиви так напугал.

Вообще Гиви смешной. Водит Евгению Константинову под ручку и говорит ей «мадам». Она так довольна, что подарила ему белье Альфреда. Но в этом белье поместятся двое таких, как Гиви.

Все они замечательные. Только один старший лейтенант у них мрачный. Брови белые, на щеке шрам, все время молчит и пьет водку.

Прохор Севостьянович похудел и стал какой-то простой. И смеется, и разговаривает со всеми. Спрашивал о тебе. Я сказала, что живешь хорошо, только очень скучаешь.

Они с самого декабря на фронте. Теперь Прохор Севостьянович сдал дела и получил новое назначение. Завтра им вручат награды, а потом они поедут на восток. Игорь тоже награжден медалью. Вот он какой!

Я сказала ему про рукавички. Он засмеялся и отдал свои перчатки.

Вот и все, Нелюба моя милая. И радостно мне сейчас, и больно. На глазах слезы. Игорь тут, а я вечером уезжаю в Вологду, где стоит санитарный поезд.

Твоя Настя.
12 марта 42 г.»

4

Вдоль цеха медленно, чуть покачиваясь, плыла танковая башня. Кран легко нес многопудовую тяжесть. Остановился в одном месте, потом в другом. Неуверенно двинулся дальше. Крановщик искал, где опустить. Нелюба следила взглядом. Свободного места нет. Во всех углах, во всех проходах груды башен и танковых корпусов. В цехе тесно от них. А кран несет и несет новые.

Завод работает третий месяц, и третий месяц едва дает половину плана. Построили его за девяносто восемь дней на голом месте возле большого города. Не хватает станков, инструментов, но самое главное — мало умелых рук, способных подчинить упрямый металл.

Кран опустил свой груз на гору танковых башен. Нелюба вздохнула. Башен и корпусов скопилось больше шестидесяти. Бригада сваривает за смену, за одиннадцать рабочих часов, всего один корпус. Цех дает четыре готовых корпуса в сутки. А нужно восемь. Слесари-сборщики успевают. Они даже сидят без дела. Все упирается в сварку.

Опытных сварщиков трое. Остальные — молодежь, ребята и девушки по семнадцать-восемнадцать лет. Прошли недельные курсы, но чему научишься за такой срок? Бродят по цеху с раскрытыми ртами. Возьмутся варить — одна морока. Защитные очки и то не могут надеть по-человечески. Вчера у двух парней воспалились глаза, пришлось делать холодный компресс. Одну девчонку в больницу отправили. Нелюба их ровесница, но ей удивительно, какие они беспомощные. Прямо из-за парты, прямо из-под маминого крылышка вылетели желторотики. Нелюба, когда в техникум поступала, и то решительнее была.

Не первый раз наблюдала она за работой сварщиков. Преподаватели, бывало, говорили: технология — дело живое, подвижное. Надо анализировать, думать, искать. Пределов совершенства не существует... Вот она и искала. Только, наверно, еще не научилась анализировать, ничего

не могла найти. Процесс организован правильно. А сварщики плохие, заменить их нечем, и тут ничего не придумаешь.

Смена близилась к концу, люди вымотались. Движения их были вялые, неуверенные. Трое парней варили корпус, мешая друг другу, слепили вспышками, путали провода. И корпус, наверное, раскалился. Ну, правильно, бригадир, работавший внутри, вылез красный, потный, будто из бани. Держит всех троих под своим наблюдением, на другие корпуса отпустить боится, как бы не напартачили. Ведь это же танк!

Ближе к Неле девушка варила башню. Яркие брызги аустенитовых электродов сыпались на металл и, остывая, покрывали башню наростами, похожими на бородавки. Эти дурацкие «бородавки» прямо-таки изводили Нелю, она все время думала о них, даже видела во сне. Такой пустяк, а сколько мороки с ними!

Перед сдачей готовых изделий всякий раз нужно очищать корпус и башни. Сварщики откладывали электроды и брались за зубила. Тратили не минуты, а целые часы на одну башню. Слесарей тоже гоняли помогать сварщикам. Слесаря ругались: собачья работа. Нелка сама убедилась, какая это прелесть. За час так устанешь, что рук поднять не можешь. Девушки-сварщицы попадают молотками мимо зубила, пальцы у них ободранные, ногти черные. Посидят на ящике, похлопают носами и снова лезут «бородавки» рубить.

До войны никто не задумывался над этими наростами. Ставили здоровых мужиков, они быстро очищали броню. А теперь беда. Нелка и в техническую библиотеку сходила, и со старыми мастерами поговорила. Но бестолку. Везде варят, потом рубят. Конечно, талантливые изобретатели создали аппаратуру для сварки, разработали технологию — они решают большие проблемы, у них нет времени для мелочей. Но нельзя же так мучиться. Надо покрывать чем-то корпус, чтобы раскаленные брызги отскакивали от металла. Но чем — никто не знает. В лаборатории обещали подумать. Начальник цеха сказал впопыхах: «Крупные дыры штопать не успеваем, а ты с этими «бородавками» лезешь!»

Нелка не обиделась. Правильно, у начальника свои заботы, он так заматался, что без ветра качается... Думала, прикидывала целый месяц. И — ничего. А сегодня в

обед села возле конторки, взяла на колени миску с кашей-размазней, ела и морщилась — мешал какой-то запах. Вычищая корочкой дно миски, сообразила: рядом ведра с карбидом, он и пахнет противно. Сразу вспомнилась Нельке далекая практика, кажется, еще на первом курсе. К станкам практикантов не допускали, использовали, как чернорабочих, однажды заставили для чего-то мазать карбидом стальные листы...

«Надо попробовать», — решила она.

Сварщики кончили работу, молча побрели к выходу. Бригадир распутывал проводку. Неля подошла к нему.

— Слушайте, товарищ, есть одно дело.

Бригадир посмотрел на нее красными глазами, буркнул сердито:

— Нету никаких дел. Пошабашили.

— Посоветоваться хочу.

— Отстань, девка.

— Я вам не девка, а помощник мастера.

— Ну и катись к своим слесарям.

Неля и в техникуме за словом в карман не лезла, да и тут на заводе научилась кое-чему.

— Заткни поддувало, пропойца, — резко сказала она. — Привыкай людей слушать.

Бригадир заморгал удивленно, провел брезентовой рукавицей по подбородку, так что затрещала щетина.

— Карбид давай, — потребовала Неля.

— Чего-о-о?

— Обыкновенный карбид. Ведро возле пожарной доски. Принеси.

— Да объясни ты в конце концов!

Неля выложила ему свою идею. Бригадир снова почесал подбородок.

— Ха, сроду такого не бывало.

— Ну и что? И электричества когда-то не бывало, и сварки тоже.

Бригадир с сомнением и любопытством смотрел на толстую высокую девушку. Лицо бледное, голова повязана платочком. Спецовка замызганная, штаны сзади висят мешком. Из просторных рукавов торчат тонкие грязные пальчики. А смотрит исподлобья, глаза жесткие. Бригадир отвернулся: «Черт с ней, схожу. Все равно не отвяжется».

Неля сама не ожидала, что получится так здорово. Выбелила башню карбидом, и начали варить вдвоем. Раскаленные брызги электродов, падая на закрашенный металл, отскакивали, как дробинки.

Бригадир снял очки, провел рукавом по башне. Будто не веря, отбросил в сторону рукавицы, погладил ладонями. На металле — ни одного нароста. Хоть сейчас сдавай контролеру!

— А ну еще, еще! — поторопил он девушку. — Давай повторим!

— Нет уж, сам повозись, если хочешь. Я тоже смену отбарабанила.

Вместе пошли к выходу. Бригадир удивленно хмыкал и почтительно держался чуть-чуть позади. Спросил заискивающе:

— Вы, что же, работали по этому делу?

— Училась.

— Да-а! Это вы основательно сообразили, — он остановился, прикуривая. — Ну, вы идите, конечно. Я того... С ночной сменой попробую, им покажу.

— Покажите, — согласилась Неля, кивнув на прощанье, но он задержал ее.

— Это самое... Почему пропойцей-то меня назвала? Я ведь в меру, с устатку или по праздникам...

Неля улыбнулась и направилась к двери.

— Это вы зря, — крикнул ей вслед бригадир. — Ни к чему это!

От завода до общежития — около трех километров. Дорога широкая, ровная. Утром и не заметишь, как пробежишь по морозцу. А вечером путь будто удлинялся до бесконечности. Когда идешь с людьми, еще ничего. Одной скверно, особенно в темноте.

Навстречу дул резкий ветер, покалывал щеки мелким сухим снегом. Под ногами рыхлое месиво. В валенках бы ходить тут, но валенок нет. Ноги стынут. Особенно почему-то колени. Они становятся будто деревянными и едва гнутся.

Неля шагала, одной рукой прикрывая лицо, другой придерживая полы пальто. Шагала и думала, что вот уже три месяца не видит дневного света. На работу — к семи. Потом двенадцать часов на заводе. Идешь обратно — опять темно. Девчата все стали бледные и прозрачные, как растения в погребе. Но ничего. Начальник цеха ска-

зал, что как только добьются выполнения плана, он будет давать выходные дни.

Очень измоталась Неля за это время. Вот провела в цеху лишних полчаса, и уже все, никаких сил. Ноги тяжелые, в голове гудит.

На повороте, за снежным валом на обочине, ветер почти не чувствовался. Девушка присела на обломок доски, принялась растирать колени. Опять работа. За что ни возмись, везде надо расходовать энергию. Вот задача для Альфреда: пусть подсчитает, сколько энергии в сутки тратит человек на себя...

Неля прислонилась плечом к плотному сугробу. Стало теплей и очень захотелось спать. Она даже прикрыла глаза. На одну минутку, чуть-чуть отдохнуть.

Резкий свет фар ударил в лицо. Девушка поморщилась: проезжал бы скорей! Но машина, скрипнув тормозами, остановилась в десятке метров, продолжая светить. Неля поднялась, недовольная.

Хлопнула дверца, хриплый женский голос спросил сердито:

— Пошто расселась тут?

— А вам какое дело?

— Ремесленная, что ли?

— Нет.

— Ну, все едино, лезь в кузов. К поселку докину. А то вчераш двое ваших ремесленных смерзли тут. Отдохнуть сели и смерзли.

— Я не из ремесленного, — повторила Неля, но женщина не обратила внимания. Громко откашлялась, смачно плюнула в снег и сказала, будто рецепт выдала:

— Устаток и голодуху сном лечат. Спать больше надо...

Неля попросила остановить грузовик возле деревянного барака, скрытого в сугробах почти до самой крыши. Снег нарочно не расчищали. Так теплее, а то очень дуло из окон, холодом тянуло от стен.

Три девушки, жившие в комнате, уже спали. На плите стоял чайник. Неля притронулась — теплый. Достала из кармана кусок замерзшего хлеба, посолила его. Сидела и жевала впотьмах, запивая водой, которая отдавала ржавчиной. Есть хотелось, но очень уж твердым был хлеб, быстро устали челюсти.

В общежитии — тишина. Все спят мертвецки, намажав-

пись за день. И никому нет дела до Нельки, никому не расскажешь, как ноют колени и плечи, как грустно сидеть одной, как не хочется вставать, раздеваться. В Москве помылась бы в ванне, легла бы на чистые простыни... Услышала бы воркотню бабушки, поговорила с Настей. Как она соскучилась об этом! Поехала бы в свой техникум, и обязательно на метро: там можно согреться в тепле... Но с завода не отпустят без вызова. А кто пришлет ей вызов? Папа без вести пропал. Альфред молчит. И от Прохора Севостьяновича ни одного письма... Она почему-то вспомнила, как ходила с ним в театр. Он красивый, строгий и с орденом. Все смотрели на него, особенно женщины. Нелю оглядывали с удивлением. Что это за дуришку нескладную водит под руку полковник?!

«Ну и ладно! — рассердилась Неля, резко отодвинув чайник. — Ну и пусть голые плечи показывают, я зато специалистом буду. В институт поступлю. А он пусть красавицу ищет с пустой головой. За девочку меня считают... Разве девочек помощниками мастеров ставят?»

Она раздевалась медленно, каждое движение давалось с трудом. Сняла чулки, платье. Залезла под холодное одеяло, накрылась сверху ватником и пальто. Как только голова коснулась подушки, Неля будто провалилась в глухую черную пропасть.

* * *

На следующий день, едва началась смена, к Неле подошел старый сутулый мастер.

— Ермакова, ты вчера не напартачила тут?

— Вроде нет, — удивилась она. — А что?

— Директор тебя требует. Если насчет плана, так ты объясни толком. Главное — люди нужны.

Неля кивнула. Директора видела она раза четыре, и даже разговаривала с ним, когда пускали цех. Но вряд ли он мог помнить о девушке-технике, каких на заводе человек сто. Наверно, будет ругать. Всех ругают, когда нет плана. Но Нельке было не очень страшно. Слесаря не виноваты. Материалов не хватает, инструментов мало, а они все равно вкалывают — дай бог! Она тоже может высказать директору и насчет инструментов, и насчет графика!

В таком боевом настроении явилась она в администра-

тивный корпус. Секретарша пошла доложить, а Неля тем временем посмотрелась в большое трюмо, стоявшее в простенке. Вообще-то она не любила смотреться, не ожидая увидеть ничего приятного, но тут особый случай. В общезжитии нет ни одного приличного зеркала, девочки мучаются с кругляшками. А в приемной шикарное трюмо. Только зачем? Любуется в него одна секретарша.

На этот раз зеркало порадовало девушку: думала, что выглядит хуже. Но сейчас раскраснелась от быстрого бега, от волнения. Глаза блестят. Нелька подмигнула себе и высунула язык.

Секретарша открыла дверь: проходите! Неля поправила волосы, нахмурилась. Главное — строгость! Специалист знает себе цену и не позволит... Чего не позволит — Неля сообразить не успела. Навстречу ей шел директор, улыбаясь и протягивая руку. За его спиной поднялся со стула парторг ЦК.

— Ну, Нелли Степановна, порадовали вы нас!

— Нинель, — поправила она.

— Что? — не понял директор.

— Меня зовут Нинель Степановна.

— Вот вы о чем! Ну, ерунда, — махнул он рукой. — Садитесь.

Неля поздоровалась с парторгом и ботком пристроилась на стуле. Потом подумала: что это она стесняется? — и села по-настоящему, откинувшись на высокую прохладную спинку.

В кабинет вошел бригадир сварщиков, и девушка поняла, в чем дело. Будут говорить о карбиде. А говорить нечего. Надо отправляться в цех и смотреть.

— Как спалось сегодня? — улыбнулся парторг.

— Как обычно, — хмыкнула Нелька. — Холодно очень.

— Ну вот, а нас по вашей милости в три часа на завод вызвали.

Нелька пожала плечами: при чем тут она? Директор засмеялся.

— Не морочьте ей голову. Ты знаешь, Ермакова, что ты сделала? Ты нам два часа на сварке сэкономила. Планики уже подсчитали: шесть боевых машин в месяц! Это только на нашем заводе. А ведь мы и на другие общим.

Шесть машин?! Нельку сразу бросило в жар! Неужели столько? Ну да, если по всем цехам, по всем сменам... А

ведь она думала только о своих, чтобы легче работать было...

— Да я просто так, — пробормотала она. — Само собой получилось!

— У тебя кто на фронте? — спросил парторг.

— Все на фронте. И отец, и брат, и... — Неля зашнулась.

— Понятно, — сказал парторг. — Мы им напишем. Всем троим. Пусть они порадуются за тебя.

— Адресов нет.

— Запрос пошлем через центральные органы. Загляни вечером в партбюро.

Директор подошел ближе к ней.

— Мы посоветовались тут. Приказать не можем, а просить будем. Переходи на сварку бригадиром. Мы тебе толковых девчат подберем, обучишь их. Это не понижение. Это, если хочешь, фронтовое задание. Самый трудный участок.

— Да я ничего... Только это не совсем по моей специальности.

— У тебя получится. Вполне получится. Верно? — обратился директор к бригадиру. Тот провел рукой по подбородку, ответил:

— Дело верное.

— Ладно, — кивнула Неля. — Но чтобы потом обратно меня.

— Твоя должность за тобой и останется.

Директор проводил ее до двери, сказал на прощание:

— Эх, Ермакова, отметить бы тебя, да нечем. На курорт не пошлешь, отпуск не могу дать, нужна. Ну, еще раз спасибо тебе от всего завода!

Неля выскочила в приемную. И такое радостное было у нее лицо, что даже выдавшая виды секретарша не смогла скрыть своего удивления. Она усмехнулась, а Нельке почему-то обидной показалась усмешка этой красивой барыни в белой блузке со смуглыми обнаженными руками. Мелькнула озорная мысль. Неля повернулась и без стука ворвалась в кабинет. Сказала прямо с порога:

— Товарищ директор, вы вместо «спасибо» знаете что? Трюмо у вас бестолку стоит. А в общежитии девочки в осколки смотрятся.

— Какое трюмо?

— Ну, зеркало. В приемной которое...

— А, ерунда, — отмахнулся директор. — Нашла о чем спрашивать. Забирайте.

— И машина требуется, чтобы перевезти!

— Ну, это по твоей части, — сказал директор смеющемуся парторгу. Парторг, не переставая улыбаться, вышел вместе с Нелей в приемную.

— Регина Семеновна, позаботьтесь, чтобы зеркало сегодня же перевезли в женское общежитие.

— В пятый корпус, — подсказала Неля.

— В пятый, — повторил парторг.

— Сегодня не получится. Завтра, — ответила секретарша, смерив девушку ненавидящим взглядом. А Неля, сунув руки в карманы, важно и неторопливо прошла мимо нее к двери.

5

Письмо Нasti Коноплевой.

«Нелечка, подружка моя дорогая!

У тебя еще морозы, да? А у нас уже тепло становится. Радуюсь, что зима кончается, что до солнечных дней дожила.

Едем к фронту. Все спят, отсыпаются в запас. Когда раненых примем, некогда будет. Я еще не научилась вперед спать. Сижу у окна и смотрю. То дождик моросит, то солнышко вдруг выглянет. Насыпь черная, мокрая. Лужи блестят. Зима в лес убежала, в чаще белеет кое-где снег.

Сейчас у нас рейсы короткие, но все равно можно смотреть разные города. Потом, говорят, поедем до самого Урала.

Теперь я привыкла, а после первого рейса чуть не сбегала, хотела опять в медсанбат проситься. Прибыли мы ночью на маленькую станцию, сразу началась погрузка. Начальник торопит, чтобы до утра успеть: фронт близко. Потом главный врач меня вызвал, велел взять противостолбнячную сыворотку, побольше бинтов и идти в предпоследний вагон.

Пошла я, и что ты думаешь? К нашему поезду прицепили три теплушки с ранеными немцами. Я как вошла в вагон, так и обомлела. Лежат они на нарах страшные, черные, обросшие. Закутались в какое-то рванье. Вонь такая, что чуть не стошнило. А они меня увидели и сразу

перестали стонать и кричать. Смотрят на меня дикими глазами, будто все сумасшедшие.

Поезд тронулся, и осталась я с ними одна. Вижу, среди них есть почти здоровые мужчины, с легкими ранами. Вот, думаю, как накинута сейчас! Ведь фашисты все равно что звери, у них же никаких моральных устоев. А потом выбросят находу и никто не узнает.

Ох, Нелечка, до чего жутко мне было. Прямо хоть кричи, да кричать бесполезно!

Достала шприц для уколов, а руки так и трясутся. Нагнулась над раненым, а он шприц увидел и как дернется, как завопит! И все завопили. Орут по-своему, стонут — а я ничегошеньки не понимаю. Потом догадалась: они решили, что я умерщвлять их пришла. Вот какие балбесы, наслушались пропаганды своей!

Ну, я спрятала шприц, стою возле двери и думаю: на первой же остановке убегу. Пускай сюда мужчин посылают. Но тут один немец показывает на своего соседа и говорит: битте, битте. Я посмотрела — прямо ужас один. Вся одежда в спекшейся крови. Смерзлось все, затвердело. Пришлось разрезать одежду. Шинель сняла, потом куртку. В вагоне холодней, чем на улице. Эти дьяволы сидят и ждут — дядя им топить будет. Я как закричала на одного, он сразу печку растапливать взялся.

Раздела раненого до нижней рубашки, а нижнюю никак не снять. У него на спине кожа до ребер содрана, бязь в рану влипла. Я ее по кускам вырезала. Он хрипит, воет, а я режу. Обработала рану, сделала укол. Он лежит на животе и трясется. Ой, думаю, замерзнет этот завоеватель! Показываю немцам — дайте ему одежду. Те отвертываются, жалеют свои тряпки. Вот какое у них воспитание, понимаешь?!

Я совсем разозлилась, подошла к легкораненым, схватила одного за ворот и сняла шинель. Он чего-то залопотал, я ему прямо кулак под нос! Он даже рот разинул. И еще одну шинель взяла, и одеяло отобрала. Закутала тех, которые мерзли. Ну вот, а уж тут немец печку растопил и подходит ко мне, показывает: делай, мол, укол.

Провозилась с ними до самого вечера, пока всех обработала. Перевязывала, кормила. И ничего. Только вшей от них набралась, пропади они пропадом!

Второй рейс у нас был спокойный, даже оставались сво-

бодные места. Раненых меньше, потому что на дорогах теперь грязь и воевать трудно.

Крепко целую тебя и жду писем.

Твоя Настя
17 апреля 42 г.»

* * *

«Настя, здравствуй!

Спасибо, что не забываешь, а то все забыли, даже бабушка молчит. Очень довольна тобой. У нас тоже стало теплее. Когда иду домой, вижу солнце. Жизнь у меня очень одинаковая. Один и тот же цех, и одни и те же люди. Вот встретимся, и рассказать нечего будет. Скоро обещают послать в командировку для обмена опытом. Это, наверно, интересно.

Очень скучаю, но не разнюниваюсь. У меня в бригаде одни девчонки, мне разнюниваться нельзя!

Поздравляю тебя с Первомаем и желаю здоровья и счастья.

Нелюка.
28 апреля 1942 г.»

6

Эти зимние месяцы были для генерал-полковника Гудериана самыми трудными в его жизни. Оставшись не у дел, он уединенно отсиживался в своей берлинской квартире, никуда не выезжая и никого не принимая. Он и рад был бы увидеть старых знакомых, узнать новости. Но знакомые опасались наносить визиты опальному генералу.

Закутавшись в теплый халат, он часами полулежал в мягком кресле, порой задремывая. Даже днем в его кабинете было полутемно — он не разрешал раздвигать шторы. Потрескивание дубовых поленьев в камине напоминало ему далекие выстрелы.

Он велел убрать любимую картину, ту самую, на которой был изображен Наполеон, ведущий своих солдат к победе.

Болезно сердце. Оно будто сжалось, все время ныло, колотилось мелко и учащенно. Маргарита почти не отходила от мужа. Сама накрывала стол, стараясь не волновать Гейнца, тихо сидела с вязаньем в углу кабинета. Изме-

нив многолетней привычке, она спала теперь в одной комнате с ним, спала чутко, вздрагивая от его кашля и стонов. А ему было приятно сознавать, что хоть один верный и преданный человек находится рядом.

Во время французской кампании и в России Гудериан не забывал о себе. Ему хватит средств безбедно дожить до глубокой старости и оставить кое-что сыновьям. Другое удручало его. Находиться почти на вершине славы — и вдруг очутиться в неизвестности! Неужели о нем совсем забыли, неужели фюрер не верит в него, как не верит во многих других генералов, смещенных после неудач на востоке? Нет! Гейнц слишком много сделал для Третьей империи, чтобы его полностью вычеркнули из списков.

Он ждал хоть какого-нибудь благосклонного знака со стороны фюрера. Ждал в Берлине, ждал на курорте, куда почти насильно увезла его Маргарита, и откуда он постарался скорее приехать в столицу.

Возвращение к жизни началось солнечным весенним утром. Ему позвонили из рейхсканцелярии. Говорил старший адъютант фюрера полковник Шмундт. Он справился о здоровье, сказал, что с удовольствием, как и раньше, посидел бы с генералом за рюмкой хорошего вина. Гудериан, разумеется, не возражал.

Вот она, первая весточка! Уже то, что Шмундт позвонил по служебному телефону, говорило о многом. Нет, этот хитрец не поедет в гости просто так, по личному расположению. Да и слишком он занят, чтобы коротать вечера за рюмкой вина!

В этот день в доме были раздернуты все шторы, комнаты наполнились солнцем. Полотер трудился над паркетом в гостиной и кабинете. Гудериан одел парадный мундир со всеми отличиями.

Шмундт чопорно раскланялся с Маргаритой, вручил ей букетик полевых цветов. Перед генералом щелкнул каблуками. Рослый, немного неуклюжий, он вел себя так просто, улыбался так искренне, что Гудериану, при всей его подозрительности, хотелось верить: Шмундт от души радуется встрече.

За кофе беседовали о пустяках, о том, какая теплая выдалась весна и что лето снова обещает быть жарким. Потом перешли в кабинет. Разговор начал Шмундт.

— Господин генерал, что вы думаете о дальнейших операциях на востоке? — с оттенком официальности спросил он.

— Я плохо знаю обстановку, — у Гудериана скривились тонкие губы. — Да и вряд ли мое мнение может иметь сейчас какое-то значение.

— И все-таки вашим мнением интересуются. — Шмундт многозначительно помолчал. — В конце концов вы всегда были откровенны со мной и вы знаете, как высоко я ценю ваш ум и ваш опыт.

Гудериан не торопился с ответом. Уши Шмундта, это уши фюрера. И надо ответить так, чтобы не вызвать недовольство Гитлера.

— Мы обязаны наступать, — медленно произнес он. — Нам необходимо наступать летом и добиться решительной победы. Иначе война станет затяжной, силы русских окрепнут, рано или поздно начнут действовать активно англичане и американцы. Старый закон остается в силе — мы должны бить противников поодиночке.

— Да, — сказал Шмундт. — В этом вопросе нет никаких разногласий. Сейчас идут споры о том, где наступать. Фронт слишком велик, и мы не можем позволить себе роскошь рваться вперед на всех направлениях. Сейчас нужно выбрать одно, главное.

— Вы имеете в виду московское?

— У сторонников наступления на Москву есть веские доводы. Столица большевиков по-прежнему остается нашей основной целью.

— Но к каждой цели ведут разные дороги, — возразил генерал, сразу определивший мнение Шмундта. — Русские, безусловно, ожидают удара в этом направлении. Здесь у них сосредоточены резервы, здесь созданы мощные укрепления.

— Вы правы, — согласился Шмундт. — Фюрер не хочет идти этим путем. Он не произносит слово «Москва» и не желает слышать его. Фюрер рассматривает другие варианты. А между тем, — усмехнулся Шмундт, — подготовка к наступлению на Москву идет уже не первую неделю.

— Я не совсем понимаю...

— Фельдмаршал фон Клюге получил приказание имитировать подготовку к штурму столицы русских. В его штабе разработан план, настоящий план со всеми подроб-

ностями. В нем предусмотрены даже такие детали, как проведение авиаразведки вплоть до рубежа Волги, печатание листовок и заготовка дорожных указателей. Уже само название плана — «Кремль» — говорит о многом. План размножен в двадцати двух экземплярах, и существует уверенность, что с одним экземпляром ознакомились русская разведка. Кроме того, соответствующую информацию получили наши союзники, итальянцы и румыны. А вам известно, как умеют они сохранять секреты.

— Хорошо, Шмундт. Если отпадает Москва, остается только юг. Донбасс, хлебные районы, а главное — нефть. Без нефти заглохнут моторы. К тому же на этом направлении идеальные условия для танков. Степь, равнина до Волги и до Кавказа.

— Ну вот, — засмеялся Шмундт. — Наши мысли совпадают. Но окончательное решение еще не принято. Фюрер намерен сначала провести несколько частных операций, в Крыму и под Ленинградом, срезать выступы фронта, перемолоть русские резервы, накопленные зимой.

— А если русские начнут наступать первыми?

— Фюрер будет рад этому. Пусть противник покинет свои укрепления. Русские очень упорно обороняются. Легче разбить их в поле, при маневренных действиях.

— Я всегда был и остаюсь сторонником этого метода, — кивнул Гудериан. Он чувствовал необыкновенный прилив бодрости. Его не столько интересовала сейчас суть разговора (он обдумает его потом), сколько сам факт. Шмундт не случайно вводит его в курс дела. Фюрер и никто другой желает, чтобы Гудериан знал все. Фюрер держит его в резерве до поры до времени, может быть, до самого решающего момента. Сейчас руководящие посты в армии захватили противники Гудериана. Но долго ли они удержатся на этих постах?

— Дорогой генерал, фюрер слышал, что вы нездоровы. Он хочет сделать вам небольшой подарок, предоставить государственную дотацию и, прежде всего, имение. Поезжайте к себе на родину, в Западную Пруссию, и подыщите участок по своему вкусу.

Гудериан склонил голову в знак благодарности.

— Знаете, Шмундт, вы всегда приносите мне хорошие вести. Врачи запретили мне пить, но сегодня я нарушу их запрет и с радостью выпью за нашего фюрера. Я старый солдат, и не умею выражать свои чувства. Но вам извест-

но, чем я обязан фюреру! И мне хочется, чтобы он знал: всегда, при всех условиях я служил и буду служить ему. Только ему!

Простившись с полковником, Гудериан долго шагал по своему кабинету. Его мозг, дремавший несколько месяцев, работал сейчас с молниеносной быстротой. Возникали идеи, планы, и не последнее место среди них занимали мысли о том, как расправиться со своими противниками, особенно с фон Клюге. Да, колесо вертится! — повторял он свою любимую поговорку.

Маргарита, долго не решавшаяся войти к нему, застала его склонившимся над картой. Он не имел привычки говорить с женой о служебных делах, и поэтому она была удивлена, когда Гудериан, повернувшись к ней, произнес негромко:

— Я понял, чего хочет Шмундт. И я сказал ему то, что он хотел услышать. — Рука генерала легла на карту, почти закрыв пространство между Азовским и Каспийским морями. — Но я вовсе не убежден, что это правильно. Главное — Москва. И пусть ее не трогают без меня!

Он коротко засмеялся, потом внимательно посмотрел на жену:

— Ты, разумеется, ничего не поняла.

— Больше того, мой милый, я ничего не слышала, — улыбнулась она, обняв теплой рукой его шею. — Я хочу чтобы ты был здоров, и больше мне ничего не нужно.

7

Произошло событие, редкое в военной истории. Советские войска скрытно сосредоточивались в Изюм-Барвенковском выступе, чтобы начать отсюда наступление на Харьков. И в то же время немцы, не звавшие об этих планах, именно в район Изюм-Барвенково подтягивали десятки дивизий, намереваясь срезать выступ, а потом развернуть летнее наступление на восток и юго-восток, до Сталинграда. Два могучих кулака сжимались по обе стороны фронта. Немецкий кулак, занесенный для решающего стратегического удара, оказался сильнее.

Красная Армия не имела ни количественного, ни технического превосходства над противником. Немцы господствовали в воздухе. При таких условиях советские

военные специалисты советовали дожидаться вражеского наступления на заранее подготовленных позициях. Но в Ставке думали иначе. Верховный Главнокомандующий все еще находился под впечатлением зимних побед. Он верил обещанию союзников открыть второй фронт. Да и как было не верить, если превосходно оснащенные войска США и Англии насчитывали к этому времени в общей сложности более шести миллионов человек!..

Наступление на Харьков, еще не начавшись, попало под угрозу срыва. В этой операции, наряду с другими, должна была принимать участие новая 48-я армия, сформированная под Касторной. Командующий армией генерал Самохин вылетел туда из Москвы, имея при себе оперативную директиву. Вылетел... и пропал. Напрасно ожидали его и день, и второй, и третий. Поиски Самохина не дали никаких результатов.

Через некоторое время радисты перехватили немецкую радиogramму, из которой стало понятно, что неопытный пилот потерял ориентировку и приземлился на оккупированной территории, возле Мценска. Генерал Самохин попал в плен. Важнейший документ оказался у гитлеровцев.

Откладывать наступление было поздно, подготовка к нему зашла уже слишком далеко. Ставка изменила сроки, изменила направление ударов, перебросила в другой район 48-ю армию. Но это были частности. Немцы знали главное: место и цель наступления, от исхода которого зависело развитие дальнейших событий на южном крыле советско-германского фронта.

* * *

17 мая Виктор читал в газете набранное черным жирным шрифтом сообщение «В последний час». Читал с волнением. Наши войска, развивая наступление, продвинулись вперед на 20—60 километров, вышли к городу Мерефе, южнее Харькова. Бои развернулись в тех местах, где ранило Виктора осенью. Теперь шагают там другие ребята, прыгают через заплывшие окопы, видят разбитые танки, машины...

Он радовался успеху, не зная, что в то самое утро, когда газеты печатали сводку, немецкая ударная группа двинулась с юга вдоль Северного Донца, срезая Изюм-Барвенковский выступ, отсекая от тылов наступающие со-

ветские армии. Они еще рвались к Харькову, а немцы уже стягивали за их спиной мертвую петлю окружения.

Через двое суток Виктора поднял среди ночи старшина Вышкварцев.

— Что? Тревога будет? — спросил Дьяконский.

— Хуже, приятель. Или лучше. Отправляемся сейчас. Командиры уже на ногах. Иди в каптерку, шмутки разложим. А то такая спешка начнется, что не успеем.

У Виктора сразу пропал сон. Все! Конец муштровке, конец надоевшей баланде и каше-шрапнели! На фронте и трудней, и опасней, но там у тебя дело в руках, там себя человеком чувствуешь!

Из канцелярии появился младший лейтенант Треножкин. Лицо помятое, глаза навывкате, взгляд испуганный. Кинулся к старшему сержанту:

— Дьяконский, слышали?

— Да, комвзвод. Иду старшине помогать.

— Говорят, эшелон уже на станции!

— Вероятно... Может, нам сержантов поднять, чтобы собиравались?

— Это вы сами, сами... Мне бы домой забежать. Мама одна ведь...

— Не успеете... Сухой паек на взвод я получу. Его лучше здесь на руки выдать, чтобы с собой не таскать.

— Как хотите, — вздохнул Треножкин. — Я все-таки умыться схожу.

«Почему «все-таки»? — весело подумал Виктор. — Раз на фронт, то и мыться не надо?.. Ну, не ехидничай! — оборвал он себя. — Человек первый раз из родного города едет. И не на пикник»...

— Скорей! — поторопил его Вышкварцев, высунувшийся из каптерки.

Через час роты выстроились на плацу. Пасмурная ночь была теплой и влажной. Из темноты донесся тягучий голос командира батальона:

— А-а-равняйся! Смирна-а-а! Направо-во!

Недружно стукнули сотни каблуков.

— А-а-атставить — пропел комбат. — Пла-а-ахой поворот!

— Ну и шакал! Даже напоследок кусает, — шепнул Вышкварцев, и в голосе его Виктор уловил нотку восхищения.

— Напра-а-во!

Голова колонны темной слитной массой поплыла к открытым воротам. Виктор оглянулся. Без малейшего сожаления расставался он с этим унылым барачным городком. И только одно тревожило его. Перед майскими праздниками рассказал он всю свою подноготную парторгу. Потом дважды вызывали его в политотдел, пришлось писать объяснительную записку. И, наверно, все понапрасну. Уйдет он на передовую, а дело его положат в архив. Ну что же, ничего теперь не изменишь.

На товарной станции люди разместились в теплушках, пропахших конским навозом. На соседнем пути грузились артиллеристы. Подбадривая себя криками, закатывали на платформы пушки.

Сперва бойцы сидели в вагонах. Но когда узнали, что еще нет паровоза и отправка задерживается, многие вылезли: кто справить нужду, кто поискать кипяточку. Самые проворные тащили уголь и доски. Из труб над вагонами полетели искры, запахло дымком.

Взвод Треножкина был выделен в распоряжение коменданта эшелона. Построились у водоразборной колонки. Подошел капитан в щеголеватой фуражке, в сверкающих сапогах и грязной шинели со следами угля и мазута. Одно отделение он послал в первый вагон на усиление ремонтной бригады, несколько человек — к зенитчикам. Назначил патрули. Посмотрел на Треножкина, на его тонкую шею, нелепо торчавшую из широкого воротника шинели, буркнул что-то и повернулся к Дьяконскому.

— Старший сержант, бери двух человек, ручной пулемет, и за мной!

Повел к паровозу, на ходу инструктируя:

— Пулеметчиков сажай в тендер. Если самолеты — сразу огонь. Сам — к машинисту. За паровозную бригаду отвечаешь, понял? К фронту подъедем — гляди в оба, чтобы не сбежали.

— Случается?

— Всякое бывает. Ну, я у ремонтников.

Дьяконский поднялся в паровозную будку, поздоровался. Кочегар даже не обернулся. Сутулый пожилой машинист кивнул, недружелюбно посмотрел из-под козырька черной фуражки. Выплюнул шелуху семечек, спросил глухо:

— Цербер?

— Что? — не понял Виктор.

— Стеречь пришел?

— Помогать послали, — дипломатично ответил Дьяконский. — Вдруг авиация. А у нас пулемет в тендере.

— Ладно брехать, солдат, дело известное.

— Раз известное, зачем спрашиваете?

— Ждал, что скажешь, — ухмыльнулся машинист. — Ты сам в штаны не наложи, надзиратель. Был у нас тут один такой...

Сказал и снова начал кидать в рот семечки, не обращая на сержанта никакого внимания. «Веселенькая компания! — подумал Виктор. — Ладно, намолчусь еще с ними. Прогуляюсь пока».

Спрыгнул с подножки, перекинул на грудь автомат. Было уже светло. Над ребристыми крышами пакгаузов тащились рыхлые тучи. На деревянном перроне, потемневшем от сырости, строились заспанные музыканты.

Из города невеста как пробралась на товарную станцию десятка три женщин с кошелками и узелками. Командир батальона, шагавший вдоль вагонов, мрачно поглядывал на них, но гнать не решался.

Возле колонки увидел Виктор младшего лейтенанта Треножкина. Он стоял рядом с пожилой худенькой женщиной в синем пальто. Из-под старенькой фетровой шляпы выбились волосы. Серый каракулевый воротник потерт и очень мал — сшит, наверное, из остатков. Лицо у нее было такое же матово-бледное, как и у младшего лейтенанта, но чистое и красивое. Женщина гладила Треножкина по щеке, умоляла его:

— Не плачь, Илюшенька... Не надо, родненький мой, не надо...

Эта женщина напомнила Виктору мать и прощание с ней год назад. Он тогда уходил на железнодорожную станцию, мама провожала его за город. У них, правда, не было таких нежностей. Виктор считал себя взрослым, стыдился материнской ласки. Мама понимала это и тоже сдерживалась. Он поцеловал ее в щеку и сказал: «Ну, улыбнись... Все будет хорошо!» И ушел, не оглядываясь, хотя чувствовал на себе ее взгляд... Случись это теперь, он оглянулся бы. И не один, а сто раз. Сказал бы ей все самые хорошие слова, которые хранил в душе. Тогда он еще не понимал, что каждое расставание в такое время может стать последним...

Он прошел мимо Треножкиных. Младший лейтенант плакал. А у матери сухие глаза. Она говорила, говорила что-то: только бы не молчать! Потом будет биться на кровати в истерике... Нет, куда лучше уезжать без провожатых, без этих переживаний.

Из вагона ловко выпрыгнул старшина Вышкварцев. Статный, в ушитой по фигуре шинели, остановился возле Треножкиных. Поздоровался с женщиной, обнял лейтенанта за узкие плечи.

— Присмотрим, будьте уверены! Я вот уже третий раз еду!

Лязгнули буфера. Металлический перестук пробежал от головы к концу эшелона.

— По вагонам! — раздалась команда.

Чей-то высокий надрывный крик резанул слух. На перроне лежала женщина, билась головою о доски. Над ней растерянно склонился боец с зажатой в руке пестрой косышкой.

Духовой оркестр грянул егерский марш.

Виктор побежал к паровозу. Из окошка хмуро смотрел машинист. Выплюнул шелуху, скрылся в будке. Под колесами что-то зашипело. Паровоз выпустил струю пара и тронулся с места.

Дьяконский вскочил на подножку. По перрону бежал отставший красноармеец. Из открытых дверей махали пилотками. Громко играл оркестр, заглушая крики и плач женщин.

* * *

Ехали без задержек. Останавливались только затем, чтобы набрать воды в паровоз, да вечером на какой-то станции получили обед: по котелку супа на брата и две банки американской тушонки на отделение.

В вагонах ребятам было неплохо, а тут, в тендере, — мокрый уголь, холод. Чтобы не перемазаться, постелили брезент. Пожилой пулеметчик умудрился заснуть. Вторым боец, наголо обритый татарин, с любопытством смотрел вокруг.

Чем дальше на запад, тем явственнее чувствовалось приближение фронта. Вдоль полотна виднелись воронки: и старые, наполненные водой, и свежие, похожие на черные язвы. На станциях чаще попадались разбитые здания.

Рано утром татарин ткнул грязным пальцем куда-то выше паровой трубы:

— Товарищ старший сержант! Посмотры!

В лучах восходящего солнца поблескивали серебристые игрушечные самолетки. Татарин испуганно прикрыл ладонью рот. Виктор расстегнул верхний крючок шинели: стало вдруг жарко. «Что это я? Боюсь? К черту!» — выругался он и кинулся в паровозную будку. Машинист, зевая, скользнул по нему равнодушным взглядом и ловко бросил в рот порцию семечек.

Виктор сказал вроде бы между прочим:

— Два «мессера» идут справа.

Машинист вздрогнул, высунулся в окно и сразу качнулся назад. Оттолкнув помощника, схватился за рукоятку гудка. Паровоз заревел громко, испуганно, и с каким-то отчаянием, как показалось Виктору. Этот сигнал разбудил бойцов, бросил к пушкам зенитчиков на платформах.

Дьяконский следил за самолетами. Они были уже не серебряными, а темными. Сверкали диски пропеллеров. «Мессеры» легли на боевой курс почти под прямым углом к эшелону.

— Жми! — закричал Виктор. — Полный давай!

Машинист с силой двинул регулятор, паровоз рванулся вперед, всхрапывая и задыхаясь. Самолеты чуть приотстали. От них оторвались черные капли.

Вой ветра, шипенье и скрежет паровоза заглушили звуки разрывов. Бомбы легли где-то за последним вагоном.

— Порядок! — крикнул Дьяконский. Машинист кивнул, вытер фуражкой лицо.

Описывая полукруг, самолеты разворачивались для новой атаки. Теперь они шли с упреждением, целя на паровоз. Виктор по пояс высунулся из будки. Только бы не ошибиться, выбрать момент, когда летчикам поздно будет сворачивать с курса. «Раз, два, три!» — считал он секунды. Откинулся в будку, скомандовал: «Тормози!»

Резкий толчок бросил Виктора вперед. В будку стегнуло горячим воздухом. Паровоз медленно вползал в черное облако вонючего дыма. Стали слышны хлопки зенитных орудий.

— Путь смотри! Путь! — кричал машинист.

Утих рев самолетов, прекратилась стрельба. В топке

ровно гудело пламя. Позади остались воронки. Змеились и блестели под солнцем набегавшие рельсы. Машинист дружески подтолкнул Дьяконского.

— Ну, вояка, не помер?

— Не успел, — сказал Виктор и полез в тендер.

Во время боя он не слышал своего пулемета. Ну, так и есть — не стреляли! Пулемет лежал на брезенте, пустых гильз не видно.

— Что ж вы, товарищи?

Татарин покраснел и улыбнулся смущенно. Пожилой красноармеец развел руками:

— Куда там, он фыр-пыр, и нету. Разве уцелишь?

— Целиться вас учили, — жестко произнес Дьяконский, прищурив глаза. — Оружие дают, чтобы стрелять. Еще такой случай — отберу пулемет.

Он присел, сворачивая самокрутку.

Километров через десять впереди показались постройки. Проплыл мимо семафор. Под колесами раздваивались, разбегались рельсы. Поезд замедлил ход. Станцию, судя по всему, недавно и очень сильно бомбили. Еще дымилась груды кирпича на месте вокзала. У водокачки и на путях копошились рабочие.

Комендант эшелона убежал куда-то наводить справки. Пригревало солнце. За теплушками сидели орлами десятки бойцов.

К Виктору подошел бодрый, улыбающийся Вышкварцев.

— Эй, приятель, как спал-ночевал?

— Перина-то у меня из угля была.

— Привыкай, земля мягче покажется... А на фронте — чувствуешь? Горячо на фронте!

— Радио слушал? — встрепнулся Виктор.

— Вот оно — радио! — показал вокруг старшина. — Это уж дело верное, приятель. Они если свирепствуют, то сразу и на земле, и в небе... Товарищ капитан, скоро едем? — обратился он к появившемуся коменданту. Тот махнул рукой.

— Снимайте пулемет с паровоза. Выходные стрелки разбиты.

— Выгружаться? — сразу посерьезнел старшина. — Ну, я к своим!

«Правильно, — подумал Виктор. — Эшелон не спрячешь, все равно заключают немцы. Пешком хоть и дольше, зато надежней».

Возле паровоза он с удовольствием нацелился холодной воды, обтер лицо мокрым носовым платком.

— Сержант, семечек возьми, — предложил машинист.

— Не жалко для цербера-то?

— Ишь, памятливым! А мне разве не обидно?

— Понятно, можешь не объяснять, — сказал Виктор. — Беру полный карман.

— Ну-ну, ты не шибко! — крикнул из будки кочегар. — Знаю я ваши карманы солдатские!

Из вагонов вытаскивали мешки с продовольствием и ящики боеприпасов. За разбитой платформой повзводно выстраивались бойцы.

8

В горнице пусто и неудобно. На стенах темные пятна там, где висели раньше портреты. Хозяева, покидая хату, увезли все, оставив только железную кровать, пару стульев да цветы на подоконнике. Когда в селе разместился штаб фронта, в горницу принесли большой стол, лавку, установили несколько телефонов. Адъютант командующего застелил кровать серым солдатским одеялом.

Маршал вошел в комнату, наклонив голову, чтобы не задеть притолоку. Огромный, тяжеловесный, с длинными руками, он двигался осторожно, будто опасался свалить что-нибудь. Сбросив на лавку бурку, присел к столу. Хоть и по заказу шилась маршалу форма, кителя всегда были тесны ему и коротки в рукавах.

Мельком взглянул на испещренную пометками карту, такую большую, что края ее, как у скатерти, свешивались по обе стороны стола. Он знал ее на память. Здесь воевал в гражданскую, бывал на учениях, готовил тут наступление, которое многое обещало вначале, а теперь могло закончиться полным провалом.

Он и без карты знал, что немцы быстро продвигаются вдоль Северного Донца и уже отсекали за рекой два десятка стрелковых, семь кавалерийских дивизий и четырнадцать танковых бригад. Командиры этих соединений не знают, что оказались в окружении. Они продолжают двигаться на запад, ведут бои на улицах Харькова. Со многими из них прервана связь, их невозможно предупредить об опасности. Но если бы даже и удалось связаться с ними,

маршал все равно не имел права отдать приказ о прекращении наступления. Этот вопрос могла решить только Ставка.

Чтобы изменить обстановку, нужны были значительные силы. Но у маршала почти не осталось резервов, если не считать ослабленного кавалерийского корпуса и разрозненных частей, подтягивавшихся из глубокого тыла.

Маршал не обладал особыми полководческими способностями, зато отличался хладнокровием и неторопливостью. Это много раз выручало его там, где другие теряли головы, утрачивали способность рассуждать. С самого начала войны Ставка посылала его туда, где возникал кризис. Он не одержал ни одной победы, но зато много раз выправлял положение там, где оно казалось совсем безнадёжным...

Он сказал начальнику штаба, чтобы его не тревожили. Ему мешала суета. Надо спокойно подумать, принять решение, вот и все. Решение наиболее правильное. Потом проводить его в жизнь и отстаивать, не боясь ответственности.

Прежде всего — бросить резервы за Северный Донец, попытаться задержать немцев, установить взаимодействие с частями, которые отсечены противником. Но это не главное. Самое важное: остановить наступление на Мерефу и Харьков, быстро перегруппировать войска на опасное направление. Сделать это можно только с одобрения Верховного Главнокомандующего. Но в Ставке еще не чувствуют, насколько реальна угроза.

Маршал вздохнул и поискал глазами: чем бы промочить горло? Увидел на подоконнике кувшин под белой марлей и жестяную кружку. Налил ее почти до краев. Покосился на дверь, вышел и постучал кружкой по краю стола. На пороге возник адъютант.

— Соедините со Ставкой, — приказал маршал.

Он одернул кудрый китель, провел ладонью по гладко выбритой макушке и замер возле стола, глядя на черную телефонную трубку.

* * *

Расстояние, которое можно было проехать за двенадцать часов, батальон одолел за трое суток. Навстречу катился поток грузовиков с ранеными, с пустыми ящиками

из-под снарядов. Те, кто ехал с запада, говорили, что немцы близко и что за Донцом — каша.

К реке батальон вышел ранним утром. Солнце, едва проснувшись, уже припекало, как днем. Вокруг, куда ни посмотри, зелень да синева, да степной простор. Сквозь густую кайму прибрежного кустарника тускло поблескивала вода. Донец дышал прохладой.

Через реку переправились по шаткому, на живую нитку сшитому мостику. Бойцы гуськом бежали по свежим скрипучим доскам, уложенным за ночь саперами. Большой pontонный мост был километрах в восьми правее, там комариками мельтешили самолеты и не рассеивалось дымное облако.

За Донцом остановились в разрушенном селе. Не уцелело ни одного дома, виднелись только черные пепелища, да печные трубы торчали в окружении обугленных деревьев.

Здесь маршевый батальон влился в стрелковый полк. А вернее — наоборот: остатки полка слились с прибывшим батальоном. Потом пришла саперная рота, пришли бойцы с противотанковыми ружьями.

Полдня проторчали в селе, томясь ожиданием. Где-то близко начинали несколько раз бить пушки. В воздухе то и дело появлялись немецкие самолеты, но пролетали дальше, к переправам черед Донец.

Из-за реки прискакал на высоком жеребце майор в мокрой гимнастёрке и в одном сапоге. Вторая нога, обмотанная бинтами, болталась, как толстая серая груша. Командиры столпились вокруг всадника. Майор объяснял что-то, жестикулируя правой рукой. Виктор не слышал слов, но по жестам догадался: надо идти на юго-запад.

Майор поехал вперед, за ним быстрым шагом двинулись роты, развертываясь вправо и влево.

Цепь остановилась в широкой балке с покатыми склонами. Вдали висела в воздухе пыльная полоса, серой пленкой затянувшая солнце. Там, как понял Виктор, была дорога и по ней ехали немцы. За дорогой, во вражеском тылу, вели бой наши отрезанные полки.

К Дьяконскому подошел старшина Вышкварцев, протянул пачку папирос.

— Ну, кажется, настоящее дело, приятель. Ты за Треножкиным-то приглядывай...

— Рядом пойдем.

— У тебя бронебойщики на фланге, следи, чтобы не отстали. С ними надежней, — посоветовал Вышкварцев и спросил: — Под ложечкой-то сосет небось?

— Тревожно, — признался Виктор. — Отвык.

— У меня тоже сердце, как у воробья перед смертью, — засмеялся Вышкварцев...

В сумерках раздалась, наконец, команда: «Вперед!»

Цепь пошла по обе стороны балки, а внизу, по самому дну, ехал майор, окруженный группой саперов. Выглядело все это довольно внушительно. Тысяча, а может, и полторы тысячи бойцов шагали по степи. Подгоняя отстающих, покрикивали командиры. Но Виктор тревожился: не от хорошей жизни сколочен на скорую руку этот отряд. Артиллерии нет, пулеметов мало, фланги открытые. Ну, майору, конечно, видней. Может, и противник перед ними слабый...

Пехоту догнали шесть высоких, неуклюжих танков. Они уменьшили скорость и пошли вместе с цепью.

— Это что, новые? — спросил Виктор пожилого лейтенанта-бронебойщика. — Я не видел таких.

— Заморские. «Черчилль» называются, — ответил тот. Сплюнул и добавил: — Английские танки. Второй фронт!

Поднявшись на пологий курган, Виктор с удивлением обнаружил, что дорога совсем близко. По ней одна за другой двигались на север машины. Немецкие шоферы уже включили подфарники, а некоторые даже фары.

Цепь пошла быстрее. Майор, так и не слезший с коня, пустил две зеленые ракеты. Вдали, за дорогой, застучали пулеметы.

— Бего-о-ом! — протяжно крикнул майор. — За Родину!

— Бегом! Бегом! — прокатились вдоль цепи крики ротных. Раздались свистки, ругань.

— За Родину! — услышал Виктор тонкий голос Треножкина.

— За Сталина! — заглушил его чей-то бас.

Танки шли напрямик, озаряя свои силуэты вспышками выстрелов. Танк, за которым бежал Дьяконский, с разгона столкнулся с немецким грузовиком и медленно повалился боком в кювет.

Перебегая через шоссе, бойцы без команды ложились на землю. Некоторые стреляли. Из темноты, посвисты-

вая, прилетали пули. Виктор тоже упал рядом с Треножкиным. Приподнимался на локтях, смотрел, пытаясь понять, что происходит. Там, впереди, противник. А еще дальше должны быть наши.

Ударил немецкий пулемет. В цепи поднялась возня, кто-то перебежал через дорогу назад. Виктор плечом чувствовал, как дрожит Треножкин.

— За Родину! — снова крикнул майор.

Дьяконский выпрыгнул из кювета. Поднялся только он да еще несколько бойцов, остальные лежали, хоть и стрельба-то была не сильной.

Виктор вернулся к Треножкину:

— Комвзвод, команду! Слышишь, Илья!

— За мной! За мной! — звал где-то майор.

Обозленный Виктор выдернул саперную лопатку. Размахнувшись, плашмя ударил по чьей-то спине.

— Бери винтовку! Вперед! Пулеметчик, вперед! Гафиуллин, вперед! — кричал он, бегая по дороге.

* * *

В эту ночь маршал так и не лег спать. Уточняя обстановку, знакомясь с данными разведки, он ждал ответа Верховного Главнокомандующего. Ответ поступил под утро. Ставка распорядилась продолжать штурм Харькова. Прорвавшегося противника отразить силами 9-й и 57-й армий.

Маршал вздохнул и, грузно ступая, прошелся по комнате. Он мог бы возразить, что названные армии попали под удар немцев и рассеяны, что есть единственная возможность остановить врага: повернуть навстречу ему войска из-под Харькова. Но возражать бесполезно, маршал знал это по горькому опыту. И все же он вновь приказал соединить его с Москвой. От его настойчивости зависели судьбы десятков тысяч бойцов.

Маршал набросил на плечи необъятную бурку. В ней он чувствовал себя привычной, уверенной.

— Буду настаивать, — сказал он дивизионному комиссару, который дремал сидя, уронив голову на дощатый стол. — Буду говорить от имени Военного Совета.

— Да, — хрипло ответил комиссар. — Можешь сказать, что в этом вопросе у нас нет расхождений.

Атакой с двух сторон сводному полку и остаткам окруженной дивизии удалось пробить в немецком заслоне узенький коридор.

Шестая рота заняла оборону возле деревянного моста, в том месте, где дорога пересекала балку. Один взвод фронтом на север, два — фронтом на юг. Справа и слева окапывались другие роты. За спинами бойцов, по дну балки, медленно тянулся поток усталых, ослабевших от голода красноармейцев. Много было раненых. Их вели под руки, несли на носилках, везли в телегах. Вышкварцев сказал, что видел раненого генерала.

— К утру эти хлопцы за рекой будут, — добавил он. — А нам, судя по всему, придется на этом рубеже селедку глотать.

— Ты хоть чай изобрази, — попросил Дьяконский.

— Кухни нету, — развел руками старшина. — В персональных котелках кипятите. А сахаром обеспечу.

Саперы, стуча топорами, заканчивали разборку моста. Виктор прошел вдоль траншей. Некоторые красноармейцы смущенно улыбались, когда старший сержант останавливался возле них, избегали встречаться взглядом. Это те, кого Дьяконский сгоряча окрестил лопаткой. Перепугались тогда, а теперь стыдно. Ребята ведь хорошие, да и грех для новичков не велик. Виктор беспокоился не о них, о Треножке. Чем-то надо помочь Илье. Поговорить, что ли?

С первого дня знакомства называл его Дьяконский не младшим лейтенантом, а «комвзводом», хотел, чтобы тот осознал свою должность, осознал ответственность за тридцать душ. Но Илья так и остался сам для себя: то ли рохля по природе, то ли маменькин сынок-эгоист. Бойцы готовят оборону, а он уснул. Пожаловался Виктору, что замучился, чувствует себя плохо. Накрылся шинелью и посапывает под кустом.

Дьяконский подошел к центру участка, остановился возле разрушенного моста. Ну, кажется, все нормально. На сто пятьдесят метров обороны — двадцать пять человек, два ручных пулемета и две бронебойки. Ближе к левому флангу роют ячейку для Треножки.

Впереди раскинулась ровная степь с редкими невысокими курганчиками. Сейчас перед рассветом она казалась

не зеленой, а почти черной. Серая, прямая стрела дороги рассекала ее на две равные части. Где-то вдаль потрескивали выстрелы, приносились оттуда мины, падавшие с большим недолетом.

Виктор подумал, что немцы в степи будут видны на большом расстоянии, автоматом их сразу не достанешь. Пошел к пулеметчикам, взял у Гафиуллина винтовку. У себя в ячейке постелил на земляной выступ полотенце, разложил патроны: обоймы справа, автоматные диски слева. Аккуратно поставил гранаты: противотанковую, РГД и две черные, рубчатые «фенечки».

Потоптался, устраиваясь удобней, прижал к плечу твердый приклад винтовки. На смену тревоге, не покидавшей со вчерашнего дня, пришла, наконец, былая уверенность. Что там ни говори, а тихая жизнь в госпитале и месяцы, проведенные в запасном полку, как-то расслабили его. Но теперь он снова солдат, с трезвой расчетливостью и крепкими нервами...

Атака началась сразу после рассвета и началась не совсем обычно. На дороге появилась колонна грузовиков. Они медленно приближались к балке, солнечные лучи сверкали на ветровых стеклах. Когда расстояние сократилось до трех километров, грузовики стали разворачиваться веером. Головные машины притормозили, задние быстро уходили вправо и влево.

Выстроившись в линию, машины продвинулись еще на километр. С них спрыгивали солдаты. Через головы немцев, прямо из кузовов, начали бить минометы. Степь наполнилась хлопками разрывов, мяуканьем и воем осколков. Частая стрельба, быстрота и организованность фашистов подавляюще действовали на молодых красноармейцев. Немцы остались такими же фокусниками, как и в прошлом году. Но теперь их выдумки — не новость, теперь в любом взводе есть опытные бойцы...

Виктор передвинул планку прицела до крайней отметки. Поймал в прорезь маленькую серую фигурку. Наверно, молодой офицер, идет быстро, опередив солдат. Усмехнувшись, Дьяконский затаил дыхание и плавно спустил курок.

Короткими очередями затарахтели пулеметы. Немцы залегли, стали продвигаться ползком, перебежками. Еще немного — и остановились совсем, принялись окапываться.

Бой разгорался далеко справа, туда уехала часть грузовиков с минометами, там рвались авиабомбы. Очевидно немцы пытались заткнуть брешь и, наверно, уже держали ее под огнем: поток людей в балке иссяк. Шли только мелкие группы, шли быстро, направляясь к Донцу.

«Отдохнуть бы, пока у нас тихо, — подумал Виктор. — Днем жара разморит, а поспать не придется...»

Он полез в карман за табаком. Сел поудобней. Затаился разок-другой и прислонился к стенке окопа. Лень было шевелиться. Сами собой сомкнулись отяжелевшие веки...

Виктор так и не понял, успел заснуть или нет. Кто-то цепко схватил его за плечи. Открыл глаза: над ним — бледное лицо Вышкварцева. Не услышал, а по губам угадал: «Обходят!»

— Где? — рывком выпрямился Дьяконский.

Емельян потянул за собой. Еще не видя противника, Виктор сообразил: правый фланг!

Немецкие автоматчики двигались по балке. Шли не спеша, обстреливая перед собой кусты. До них было с километр, и никто из оборонявшихся возле моста еще не замечал опасности: фашистов видно было только с поворота, где окопался Вышкварцев с десятком бойцов.

Отступать невозможно. Немцы нажмут с тыла, с фланга и тогда конец. Они на машинах, от них не убежишь по степи.

Остаться тоже нельзя. Фланг открыт, такую массу автоматчиков не отбросишь. Просочатся, проползут, надавят со всех сторон.

— Думай, Дьяконский, думай! — почти простонал Вышкварцев. — Ты же... Ну! — умолял старшина.

Кто-то испуганно закричал за спиной Виктора. Он обернулся.

— Гафиуллин! Бей туда! — показал рукой в степь. — Без команды — ни с места!

— Слушаюсь, командыр!

— Емельян, спустись ниже, ставь пулемет, стреляй вдоль балки. Эти ребята — с тобой! Я вернусь!

С разгона чуть не сбил младшего лейтенанта Треножкина. Тот стоял растерянный, держа в руках вещевой мешок.

— Вздод! — закричал Виктор. — Все ко мне, быстро! Лейтенант! — О субординации некогда было думать. —

Выемку видишь? Веди туда людей, ставь пулеметы. Один в степь, другой вдоль балки. Мы отойдем через выемку перекатом. Откроешь огонь, удержишь немца!

На дне балки незнакомый политрук с яркими звездами на рукавах останавливал бегущих бойцов.

— Коммунисты, ко мне! — командовал он. Возле него собралось человек десять.

— Товарищ политрук, мы прикроем! — крикнул Дьяконский. — Отходите в село, поставьте там бронебойки, чтобы немцы путь не отрезали!

Политрук сообразил сразу!

— Ясно. Давай!

Когда Виктор вернулся к Емельяну, тот уже бил по вражеским автоматчикам. По ним стреляли бойцы, лежавшие рядом с Вышкварцевым. Но остановить немцев они не могли. Автоматчики рассыпались по склонам, продвигались через кустарник. Виктор оглядывался нетерпеливо: что там Треножкин? Видел, как установили на дне балки ручной пулемет, как забрался в глинистую выемку второй пулеметчик. Ну, теперь немцев встретят огнем, едва они высунутся из-за поворота!

— Ребята, бегом! — командовал он. — Белый камень! За камнем ложитесь! Гафиуллин, быстрей!

Виктор пошел последним, оглядываясь и держа наготове гранату. Его укрывал изгиб балки. Сейчас немцы не видели отступающих и продвигались осторожно. Но дальше балка тянется прямо, следующий маневр придется делать под огнем.

Вражеские автоматчики задержались за изгибом так долго, что сменить позицию успели и Треножкин и еще раз Вышкварцев. Обе группы оторвались от противника метров на пятьсот. Еще два-три броска, а там и село.

Виктор снова пропустил мимо себя группу Вышкварцева. Но Емельян и его товарищи еще не успели занять позицию, как из степи в балку хлынула вдруг большая толпа немцев.

Дьяконский свалился в яму, слыша близкий топот и крик. Он оказался между своими и немцами и, прильнув к земле, ждал, когда ударят пулеметы Треножкина. У Ильи хорошая позиция, только бей, выручай остальных! Но Треножкин молчал. Виктор метнулся через кусты. Упал возле Гафиуллина. У красноармейца лицо в крови,

кровь заливала глаза, он смахивал ее резким движением руки.

— Ай, команды! Ай, конец нам!

Откинувшись от пулемета, упал ничком, сцепив пальцы рук на бритом затылке.

Виктор схватился за окровавленный пулеметный приклад. Диск пуст, ни одного патрона. Черт с ним, есть еще автомат и граната!

Приподнявшись, увидел немцев, бежавших к мелким зарослям метрах в сорока от него. Там, среди кустов, стоял Треножкин, подняв руки и опустив голову, будто ожидая удара. Возле него вставали с земли красноармейцы.

— Ложись! — яростно взревел Виктор. — Ложись! Бей немцев!

Фашисты полоснули из автоматов на его голос.

— Треножкин, стрелять буду!

Виктору показалось, что лейтенант вздрогнул. Но к нему уже подбегали немцы, вышибали оружие из рук бойцов. Кто-то сопротивлялся, кого-то сбили наземь. Дьяконский, прицелясь, дал длинную очередь в самую кучу, где смешалось и серое и зеленое. Он видел, как неслено размахивает руками Треножкин, как падают там и немцы и красноармейцы.

Рядом вскочил окровавленный Гафиуллин, бросил в кусты гранату.

— Правильно! Молодец!

По дну балки и по правому склону автоматчики уже обходили их. Немцев задерживали пулеметные очереди, звучавшие за спиной Дьяконского. Пригнувшись, Виктор зигзагами побежал к селу. Рядом, задыхаясь, бежал Гафиуллин.

* * *

Маршал нарочито спокойным голосом говорил, что две армии, оказавшиеся в полосе главного удара противника, практически не существуют, что враг расширил прорыв до шестидесяти километров, лавина танков и мотопехоты вышла на основные коммуникации советских войск, наступающих на Харьков, и что резервов у него нет.

Он понимал, как трудно сейчас Верховному Главнокомандующему принять новое решение. Много сил и средств было затрачено для подготовки большого летнего

наступления, много надежд связывалось с ним. К сожалению, война часто ломает даже самые хорошие планы, с этим волей-неволей надо считаться.

Верховный Главнокомандующий приказал подождать и положил трубку. Но ждать было некогда. Обстановка с каждым часом, с каждой минутой делалась все хуже. Надо было попытаться спасти то, что еще можно было спасти.

По настоянию маршала, Военный Совет фронта принял решение: наступление на Харьков прекратить, войска в Барвенковском выступе повернуть на юго-восток, навстречу ударной группе гитлеровцев.

Однако было уже поздно. До многих соединений новый приказ не дошел. Другие, едва повернув назад, оказались между двух огней: фашисты обрушились на них и с фронта и с тыла. Отрубив Изюм-Барвенковский выступ, немцы наглухо замкнули кольцо окружения.

9

Через Северный Донец Виктор и его товарищи переправились по понтонному мосту. Сюда устремились с запада остатки разбитых подразделений. Вдоль восточного берега наспех создавалась оборона. Всех отступавших задерживали и направляли в окопы.

До моста шли большой группой: командир роты и человек тридцать красноармейцев. А в толкучке возле понтонов вместе с Дьяконским остались только Вышкварцев да пулеметчик Гафиуллин с перевязанной головой. Какой-то капитан отвел их к железобетонному кольяку возле берегового обрыва, приказал поставить пулемет и назначил Вышкварцева старшим.

Часа через два с запада появилось восемь немецких танков, облепленных автоматчиками. Они помчались к реке, давя повозки, расстреливая автомашины. Возле моста поднялась паника. Ездовые, бросив лошадей, плыли через реку. Не умеющие плавать бежали к сосновому лесу.

Головной танк с разгона влетел на мост, но в это время прямо в лоб ему ударила пушка. Танк задымил, гулко чихая мотором. Понтон опустился, вода дошла до катков.

Снаряды разбили мост, понтоны развернуло по тече-

нию. Танк погружался все глубже, над его башней сомкнулась вода.

Потеряв два танка, немцы ушли за лес. На западном берегу горели автомашины. Туда отправилось несколько лодок — подобрать раненых и взять из повозок продукты.

Дьяконский спустился к воде, помыл ноги. Вернулся босой и сел на траве, погреться на солнышке. Гафиуллин спал, накрывшись плащ-палаткой.

Пришел от комбата Вышкварцев. Шагал вразвалочку, широкие плечи развернуты, pilotка сдвинута на самую бровь. Умудрился где-то начистить свои хромовые, гармошкой, сапоги.

«Ну и фасонистый!» — усмехнулся Виктор. Нет, за Вышкварцевым ему не угнаться! Виктор отбросил сапоги тряпкой, но какой уж тут блеск!

— Ужинай, — поставил старшина котелок с кашей. — Это вам с Гафиуллиным, я возле кухни заправился после разговора с комбатом.

— Дельный комбат?

— Рассеянный какой-то. Людей у него много, из-за реки идут, а оружия не достает. Хотите, говорит, отправляйтесь на сборный пункт, только пулемет оставьте.

— Ночь пересним — видно будет.

— Правильно, — согласился старшина. — Нам все равно, страдать или наслаждаться. Так и быть, давай наслаждаться. А завтра пришьемся куда-нибудь...

Отдохнувший Гафиуллин остался дежурить возле пулемета. Виктор и Емельян отыскивали неподалеку брошенный артиллерийский дворик, куда меньше задувал ветер, и устроили себе постель из досок от разбитых снарядных ящиков. Хоть не на голой земле — и то ладно!

Сгустились сумерки, а зеленоватое небо было еще почти по дневному светлым, едва угадывались на нем бледные точки звезд. С реки потягивало холодком. Где-то скребли лопатами, слышался приглушенный говор. Вдали, на той стороне Донца, лениво погромыхивали уставшие за день пушки.

Вышкварцев, отодвинувшись от Виктора, долго лежал молча, смотрел в небо. А когда Дьяконский начал задремывать, старшина вдруг повернулся к нему, приподнялся на локтях, спросил шепотом:

— Слушай, если бы там вместо Треножкина я оказался, ты стрелял бы?

Виктор помолчал, потом ответил, сузив глаза.

— Ты перед немцами рук не поднимешь.

— А если?

— Да! — резко сказал Дьяконский.

— Не думай, я не осуждаю, приятель, — медленно произнес Вышкварцев. — Ты в кучу бил, я видел. Там разбираться некогда.

— Он мог отстреливаться, Емельян. У него был пулемет. Два пулемета. А он погубил всю группу и чуть не погубил нас. Он предатель.

— Он мальчик.

— Не мальчик, а лейтенант Красной Армии.

— Мать его жалко, — вздохнул Вышкварцев. — Старенькая она...

— Ты это брось, Емельян! — повысил голос Дьяконский. — Я такого дохлого гуманизма не признаю! Вон сколько людей гибнет, и у всех матери. Только одни гибнут честно, а другие, как сволочи, и товарищей в могилу толкают. Треножкин, между прочим, почти мой ровесник.

— Ну ты — это дело другое. Тебя жизнь закалила, в тебе стержень выковался.

— Оправдываешь тех, кто сдается?

— Не совсем...

— Тут середины быть не может: да или нет!

— В определенных условиях, Витя...

— Никаких условий, — Дьяконский сел, вытащил трофейную пачку сигарет. — Борьба идет на смерть. За Россию. И это все. Вот сидят двое в окопе. На них идут два танка. Один бросился под танк. Сам погиб и врага уничтожил. Второй перетрусил, себя пожалел, сдался врагу. И вот пошел второй танк калечить наши тылы, ворвался в село, побил мирных жителей. Один слабак струсил, из-за него тысяча смертей. Так немцы и до Москвы дошли.

— Упрощаешь, приятель.

— Да, это схема. И если отбросить все, что зависит в войне от начальства, для бойца остается только такая схема. С одной поправкой. Хорошо, если этот смелый парень и танк подобьет, и сам уцелеет. Бывает и так. Но ему еще предстоит уничтожить ту машину, которую пропустил трусливый сосед. По вине труса выживет он вряд ли... Ты вот сам, Емельян, надеешься дожить до последнего выстрела?

— Хотелось бы.

— Кому не хочется? Только знаю — не доживем. Еще одна, две, ну три таких заварухи, как вчера — вот и вся перспектива. В лучшем случае — госпиталь... А вот они доживут, — со злостью сказал Виктор, доставая новую сигарету. — Те, которые в плену. Много их сдалось за год.

— Без патронов, без снарядов...

— Все равно. Есть штык, есть руки. Зубы, наконец, есть! — почти выкрикнул Виктор. Перевел дыхание, продолжал спокойнее: — Если бы каждый из сдавшихся убил по одному немцу! Ты представляешь?

— Когда ранен человек, что же он сделает?

— О раненых речи нет. Сколько их от общего числа пленных? Ну, процентов десять. К тому же раненых немцы добивают, это ты знаешь. Всякие случайности возможны, согласен. Но я о других, о здоровых.

— В плену никому не сладко. Там тоже умирают.

— Если и умирают, то без пользы для Родины. Ну, гибнут, конечно, те, которые смелые, которые наперекор идут. Таких в плену не много. А в стрелковой роте иногда за один трудный бой две трети людей в землю ложатся! Вот и сравни!

— Не горячись, Витя!

— Да как же не горячиться? Ведь ты, Емельян, наблевшее тронул! Кто немцев держит, кто их бьет, кто им не дал Москву взять?! Самые честные, самые преданные ребята. Если немцы идут вперед, то по их трупам. А люди без убеждений, без чести, маменькины сынки — задирают руки. После войны вернутся домой и заживут, как порядочные. Будут любить женщин, будут на праздниках веселиться и водку пить. Да еще и козырять: мы сражались, мы в плену мучились. А на деле? Они давали присягу, клятву. И нарушили эту клятву, пошли на все, чтобы жизнишку свою спасти. И совесть их не изложет, хотя за каждого из них погиб кто-то другой. А те ребята, которые по-честному дрались и за себя и за них, эти ребята не возвратятся...

— Ладно, ложись, приятель, — потянул его за рукав Емельян. — Рано сейчас об этом думать.

— Нет, не рано. Нужно больше об этом говорить, строже требовать. Предупреждать надо, что нарушишь присягу — позор тебе навсегда!

— В общем, ты прав, — вздохнул Вышкварцев. — Только судишь резко. А жизнь — она сложная, к каждому слу-

чаю — особая мерка. Я почему разговор-то затеял? Адрес Треножкина у меня, что я его матери напишу? Правду — рука не поднимется. Погиб смертью храбрых? Тоже не ловко...

— Почему погиб? Может, в него и не попало. Может, он ранен... Сообщи, Емельян, что младший лейтенант пропал без вести. И это — точно.

— Хорошо, — согласился Вышкварцев, удобней при-
страивая под головой вещевой мешок.

* * *

Всю неделю за Донцом шли бои. Через реку вплавь переправлялись сотни людей: и целые подразделения, и одиночки — наиболее решительные и смелые, пробившиеся сквозь вражеское кольцо. Потом сражение постепенно затихло.

Прошло несколько дней, и в центральных газетах появилось сообщение, что советские войска потерпели поражение. Впервые с начала войны указывались большие потери: пять тысяч убитых и семьдесят тысяч пленных. А немецкие самолеты засыпали берег Донца белыми, зелеными и синими бумажками. В этих разноцветных листовках говорилось о 240 тысячах пленных, о том что фашисты уничтожили и захватили 2026 орудий и 1249 танков, что в «котле» погибли многие советские генералы, в том числе командующий 6-й армией Городнянский и командующий 57-й армией Подлас.

Насчет генералов — это была правда, об этом рассказывали Виктору вырвавшиеся из окружения бойцы. А из всего остального ясно было только одно: потери велики, фронт ослаблен. У людей сломалось то бодрое настроение, та уверенность, которые появились после зимних успехов под Москвой.

10

На сухих местах, на взгорках, где много тепла и солнца, колосится летом невысокая трава — ржанка. Нагнется над ней человек, сорвет и бросит: много в июле разных трав и ржанка ничем не выделяется среди них. Но есть у ржанки одно необыкновенное свойство. Если зимой внести в дом с мороза маленький засушенный снопок, сразу

наполнится комната запахом свежего, только что скошенного сена, ароматом увядающих цветов. Запах этот, такой необычный среди зимы, заставит вспомнить и душистую тишину родных лугов, и речку, дремлющую в курчавых зарослях ивняка, и ласковое летнее небо.

Наполнят сердце грусть и позднее раскаяние: почему не задержался на этом лугу, не остался там долго-долго, чтобы любоваться без конца его красотой. Не понимал, значит, что не вечно будет цвести луг, что настанет время, когда, если даже очень захочешь, не сможешь возвратиться туда.

Матвей Горбушин пытался выбросить из памяти Ольгу, забыть ее, забыть светлую летнюю ночь, запах фиалок в лесу. Пытался и не мог. Больше того, он все острее чувствовал свое одиночество, все чаще и теплей думал об Ольге.

Товарищи по службе давно уж называли его «старым холостяком», посмеивались над ним. Да и сам Матвей, после того как разменял четвертый десяток лет, испытывал желание «стать на якорь в тихой семейной бухте» — как в шутку говорил он. Однако не получалось. Не мог встретить подходящей девушки, да и где было ее встретить у черта на куличках, в далеких тихоокеанских базах, где если и появлялись женщины, то замужние. Только в отпуску можно было погулять, отвести душу. Но пролетали эти редкие отпуска — как один день.

Ольга Дьяконская была первой, которая всерьез приглянулась ему. Ухаживая за ней, Горбушин не предполагал, что дело пойдет так далеко, что эта красивая и гордая девушка доверится ему. Когда все случилось, Матвей растерялся, поспешил уехать. Он просто струсил — теперь Горбушин без жалости говорил себе об этом. Если бы он женился на Дьяконской, начались бы неприятности по службе, карьера была бы испорчена. А ведь он отдал флоту свою молодость, свои лучшие годы.

Время шло, и Горбушин понял, что Ольга — единственная женщина, которую он может любить. Только она может стать его женой. Со свойственной мужчинам самоуверенностью он считал, что и Ольга любит его: ведь не случайно же пошла она с ним на Большой обрыв! Если уж он помнит о том, что произошло в ту июньскую ночь, то она-то тем более не могла позабыть!

Порой Матвея охватывало беспокойство: время идет,

Ольга может решить, что он равнодушен к ней и перестанет думать о нем. Хотелось написать письмо, попросить фотографию. Но было как-то неудобно, и он откладывал это со дня на день.

Когда в октябре стало ясно, что немцы подошли к Туле, Горбушин почувствовал себя подлецом. Зная о войне только по газетам, он пытался представить, что происходит в захваченных фашистами городах. Врываются толпы озверевших гитлеровцев, жгут, убивают, насилуют. А ведь он мог спасти Ольгу, мог увезти с собой, на Дальний Восток. И если ее растерзали, если ее нет в живых, то в этом повинен и он. Повинен не только потому, что не увез, но и потому, что сидит далеко в тылу, вместо того, чтобы драться с врагом и защищать свою любимую, городок, в котором он родился.

Матвей знал, что тысячи командиров и краснофлотцев просятся с Тихого океана на запад. Рапорты о переводе лежали в штабах огромными кучами. Но отпускали немногих. Целую ночь просидел Горбушин над листом бумаги, пытаясь найти такие доводы, чтобы ему не отказали. Потом порвал лист и попросился на прием к командиру соединения.

Адмирал вызвал его через неделю. Матвей рассказал о себе и об Ольге. Все что было, и все, что думал. Грузный и седой командир ни разу не перебил старшего лейтенанта, только нервно постукивал по столу длинными тонкими пальцами. В конце разговора коротко бросил: «Добро!» Встал и отвернулся к иллюминатору, не протянув на прощанье руку.

В начале декабря старший лейтенант Горбушин получил направление на действующий флот.

* * *

Острый нос сторожевого катера с легким шипением резал темную маслянисто блестящую воду. Длинными усами отбегали в обе стороны волны. Спокойная на поверхности, вода за бортом перекипала в глубине мелкими белыми пузырьками; за кормой дыбился крутой бурун, сердито бросал на палубу ядерные брызги.

Матвей стоял в тесной рубке, рядом с пожилым лейтенантом в грубом мешковатом кителе. Мичманка командира катера порыжела от соли и солнца. Лейтенант давно

уже отпустил отдыхать краснофлотца-рулевого, и теперь сам уверенно вел катер мимо плоской песчаной косы. Места тут были опасные: и мели, и затопленные суда, но лейтенант даже не сбавил скорость. Горбушин знал, что лейтенант водил тут рыбачий сейнер еще до войны, в декабре высаживал на полуостров десантников, и с тех пор дважды в неделю мотается в Новороссийск и обратно, перевозя людей и мелкие грузы.

Впереди, над темным береговым массивом, быстро вырастала гора Митридат, похожая издали на окаменевшую с разбегу гряду волн. Матвей разглядел в бинокль лестницу из белого камня, стекавшую по рыжевато-белому склону, знакомую колоннаду и руины одинокого здания.

— Разбили музей-то? — спросил он.

— Что поделаешь, — будто извиняясь, вздохнул лейтенант. — Не везет ему, и только. Можно сказать лучшее здание в городе, а такая напасть. И в Крымскую войну разрушали, и в гражданскую, и теперь...

— А бои большие были?

— В декабре-то? Большие, только не тут. Десанты высаживались и севернее, и южнее. Там крепко попадались. И в Феодосии. Да еще партизаны из каменоломен вышли, дороги к городу перехватили... Вы капитана 3-го ранга Студеничкова знаете?

— Слышал.

— Так вот, он прорвался к городу на катере. Катер, правда, подбили, а он с разведчиками — на берег. Вошли в Керчь — а город пустой. Сбежали немцы, боялись, что отрежут их на полуострове... Студеничкова сообщил в штаб: город наш, а там даже не поверили сразу, — скупо улыбнулся лейтенант.

Привычным движением руки он повернул штурвал влево. Катер чуть накренился, пенистая дорожка за его кормой плавно изогнулась. Берег подковой надвигался с обеих бортов, ограничивая горизонт. На прибрежной низменности широко и хаотично раскинулся город с примыкавшими к нему поселками. Вдали дома набегали на склоны холмов, теснивших Керчь к морю.

Земля дышала сухостью и теплом. Расспросив лейтенанта, где находится штаб военно-морской базы, Горбушин простился с командиром катера и выпрыгнул на грязный, залитый мазутом причал.

Пять лет не был Матвей в этом городе. Не такой уж

большой срок. С моря все казалось знакомым. Но едва вышел на улицу, сразу потерялся среди обгорелых развалин. Куда ни глянешь — воронки, окопы, груды битого кирпича. Совсем не видно гражданских, зато повсюду ходили бойцы, стояло множество двуколок и грузовиков. Длинная очередь красноармейцев вытянулась возле цистерны с водой.

Ботинки Матвея, только вчера начищенные до блеска, покрылись бурым налетом, брюки запылились снизу. Он с усмешкой подумал, что к этому надо теперь привыкать. Вряд ли скоро появятся вакансии на корабле: кораблей осталось не так уж много, а на берегу замучают пыль и грязь. Моряк есть моряк, на нем всегда все должно сиять и блестеть. Побывай хоть в преисподней, но если удалось вырваться — сразу приведи себя в порядок, вычисти пуговицы, побрейся и причешись. А тут, пожалуй, и утюга-то нигде не достанешь. Хоть бы уж на сейнер послали, какая-никакая, а посудина.

И еще подумал Матвей, что в море, где нет никаких ориентиров, он может пройти сотни миль и вывести корабль в нужную точку, были бы только компас и карта. А здесь, где все видно и все близко, он вынужден блуждать по переулкам и спрашивать встречающих, куда повернуть.

Впрочем, это были мелочи. Главное — он теперь на войне, он теперь ближе к родным местам. Отсюда можно написать Ольге. Написать с фронта — Матвеем это казалось особенно важным.

В штабе базы старший лейтенант представился начальнику отдела, ведавшего морскими перевозками. Начальник обрадовался пополнению и сразу ввел Горбушина в курс дела. Общая обстановка такова. В конце декабря на Керченском полуострове высадились десанты советских моряков. Захватили плацдармы, обеспечили высадку пехоты. Предполагалось развить наступление и с помощью севастопольцев очистить Крым. Но немцы оттянули часть сил от Севастополя, подбросили резервы. В общем, не удалось. Однако задача остается прежней. Теперь войска держат прочную оборону в самой узкой части полуострова от Азовского до Черного моря. Крымский фронт имеет несколько общевойсковых армий, не считая других воинских частей. Есть и танки, и кавалерия. Силища огромная. А снабжение — только морем. Боеприпасы и снаряжение, продовольствие и пополнение — все доставляют корабли. Нем-

цы, конечно, бомбят. Особенно трудно сейчас, когда ночи короткие.

— В общем, работы полно,— резюмировал начальник отдела.— Сегодня знакомьтесь с людьми, с документацией, а завтра включайтесь. Разыщите интенданта 2-го ранга Квасникова. Он представитель армейцев, с ним и взаимодействуйте.

Легко сказать — разыщите! Матвей гонялся за ним до самого вечера. Побывал и в порту, и на складах, укрытых в каменоломнях, дважды заходил в командирскую столовую. И везде один ответ: видели только что, помчался куда-то дальше. Матвей начал даже подумывать, что интендант нарочно скрывается от него. Этот неуловимый Квасников представлялся ему таким притким юношей на длинных ногах. Горбушин удивился, когда наконец увидел перед собой низкорослого толстяка лет пятидесяти, с полным брюзгливым лицом. Ворот его гимнастерки был расстегнут, дышал он с хрипом. Руку пожал крепко, но пальцы у него были коротенькие и пухлые, как у ребенка.

— Максимилиан Авдеевич,— назвал он себя.— Бегаю за вами с утра.

— А я за вами,— засмеялся Горбушин.

— Ну-с, хохотать нечего,— сказал Квасников.— Теперь не убежите. Пойдемте устраиваться, молодой человек. И считайте, что вам повезло.

Действительно, работники штаба ютились в каком-то полуподвале с треснувшей при бомбежке стеной, а Квасников занимал «отдельную квартиру», притом — безопасную. Это была довольно просторная пещера в склоне холма, обшита тесом. Окно врезано в дверь. Внутри стол и две кровати с матрасами, да еще и коврик с русалкой над той кроватью, где спал интендант. Шофер «газика», такой же пожилой, как и Квасников, исполнял при нем обязанности вестового.

На столе был уже собран ужин: скворчала большая сковорода с жареной рыбой, лежали в тарелках сыр и колбаса, высилась бутылка с вином.

— Так-с,— удовлетворенно потер маленькие руки Максимилиан Авдеевич.— Люблю рыбкой побаловаться, есть на мне грех такой!— он достал из кармана белую таблетку, причмокивая, пососал ее, потом налил полстакана вина и выпил, тоже не спеша и причмокивая.

— Оригинально вы лечитесь,— заметил Горбушин.

— Привычка,— усмехнулся Квасников.— Порознь — никакой силы, а вместе действуют. Таблетки — отравы. Вся эта химия — от лукавого. А вино — от бога. В нем природа, солнечные лучи и земные соки.

Ел Максимилиан Авдеевич много, смачно и при этом умудрялся все время говорить. Ворчливо, но беззлобно ругал начальство, а потом принялся рассказывать о себе. К концу ужина Матвей знал всю его биографию, знал, что он — бывший штабс-капитан царской армии, что его очень ценили в Москве, что семья его эвакуировалась в Куйбышев, что у старшей дочери базедовая болезнь и она до сих пор не замужем.

И только когда Матвей, не спавший прошлую ночь, начал подремывать за столом, Квасников спохватился:

— Ну-с, пора на покой!

— Что, специально для меня койку поставили? — поинтересовался Горбушин.

— Нет, тут до вас жил товарищ. Тоже моряк. Но его теперь нет.

— Уехал?

— Да,— подтвердил Квасников, разбирая постель.— Уехал слишком далеко, чтобы можно было вернуться.

От этих слов у Матвея пропал сон. Ему казалось, что жесткая подушка и серое одеяло еще хранят запах того, кто спал тут совсем недавно. Вот так же, как сейчас он, лежал здесь незнакомый моряк, смотрел в темноту, думал, переживал, слышал сопение и храп Максимилиана Авдеевича. Ему тоже рассказывал, вероятно, Квасников про свою жену и большую дочь. И, как знать, может, через несколько дней на эту кровать ляжет кто-то третий, и тоже будет думать о своих предшественниках...

Матвею показалось, что в комнате очень душно. Он встал, прошлепал босиком к двери, глотнул прохладного воздуха, чуть горьковатого, будто настоянного на соленой морской воде. Стало спокойней. Горбушин выпил стакан кислого вина и, вздохнув, вытянулся на кровати.

Эта ночь была единственной, когда они смогли как следует выспаться. Потом один за другим поплы караваны судов. Катера, боты, сейнеры, а порой и транспорты, сопровождаемые конвоем, прибывали с Большой земли под утро. Горбушин должен был заранее подготовить места у причалов, позаботиться о том, как укрыть суда на день от немецкой авиации, уточнить график обратного движения.

Квасников отвечал за приемку грузов. Часть их сразу же отправляли на передовую, часть отвозили в каменоломни, где были оборудованы склады. Машин не хватало, капитаны, стремясь разгрузиться до рассвета, нервничали и горячились. Горбушину волей-неволей приходилось вступаться за Максимилиана Авдеевича.

Матвей удивлялся, сколько у этого пожилого, болезненного человека энергии и выносливости. Набегается, накричится за день, придет в комнату грязный, запудренный ржавой пылью. А помоется, пососет таблетку, выпьет стакан вина — и опять с аппетитом ест рыбу и рассказывает что-нибудь сильным, сорванным голосом.

— На пределе живу, — объяснял он Матвею. — Да-с. А иначе нельзя, особенно теперь. И не стоит. Зимой терпимо было. Весной так-сяк. А летом помру. Здешняя жара мне категорически противопоказана.

— Попросите, чтобы на север перевели.

— Вы думаете, это просто, взял да уехал? Я ведь с самого начала на этом плацдарме, людей знаю и люди меня знают. Увидеть хочу, как немцы из Крыма побегут. Это одно-с. А во-вторых, не отпустит меня Мехлис, член Военного Совета, не стоит и пытаться. Он меня не любит, но всегда при себе держит. Мы с ним давние знакомые, я ему всю правду-матку выкладываю, не как некоторые. Он хоть и самодур, а ценит. Рассказывал я, как на валенках из-за него погорел?

— Нет.

— Ну, как же-с, как же-с, — заволновался Квасников, потирая пухлые пальцы. — Это ведь просто из ряда вон случай! Года за два до войны собралось заседание. Вопрос: материальное обеспечение Красной Армии. Присутствовали члены правительства и даже сам хозяин... Мехлис как раз насчет размещения складов выступал. Скажите, мол, товарищи интенданты, где вы валенки держите? А я на валенках в то время сидел. Отвечаю — за Волгой. Почему так далеко? Чтобы противник не захватил, если война начнется... Тут Мехлис меня с грязью смешал... Вы разве не знаете, что мы будем воевать на чужой территории? — ехидным голосом, передразнивая, спросил Квасников. — В общем, пришил мне подкладку. Товарищ, мол, не дорос. Не понимает или не хочет понять, что в случае войны потребуются тысячи эшелонов, чтобы возить валенки. Зато, мол, создадутся на железных дорогах. И приказано

было виновника в должности понизить, а склады с валенками выбросить на линию Ленинград — Смоленск — Киев. Вот и выбросили прямо немцам в руки миллионы пар. Потом, видимо, припомнил хозяин Мехлису эти валеночки. Мехлис теперь даже повежливей стал. Вызывает и так это без всякого крика: Максимилиан Авдеевич, надо наладить лов свежей рыбы, подработайте этот вопрос и доложите...

Горбушину интересно и как-то жутковато было слушать подобные рассказы. Он привык верить в авторитеты. Самым большим начальником, которого он видел, да и то издали, был командующий флотом. А тут речь шла о представителе Ставки, о людях недостижимой высоты.

— И не бойтесь вы такую критику наводить? — полуплутливо спросил он.

Максимилиан Авдеевич понимающе посмотрел на него, кивнул снисходительно:

— Нет-с, дорогой мой, не боюсь и не опасюсь. Я военную тайну не выбалтываю, а ошибки замазывать — самое скверное дело. Особенно, если ошибается человек на большом посту. Не молчать нам надо, всенародно по шее давать надо... А бояться мне нечего. Я на пределе живу, — повторил он.

В первых числах мая Квасникова вызвали в штаб фронта на заседание Военного Совета. Максимилиан Авдеевич взял с собой и Горбушина, на тот случай, если понадобятся данные о плавсредствах. Ехать было недалеко, «газик» быстро домчал их до места.

Когда-то в Аджимушке добывали легкий и прочный камень, из которого строилась Керчь. Постепенно каменотесы уходили все дальше под землю, вырубая длинные галереи и переходы. Там образовался целый лабиринт пещер и коридоров, протянувшихся на десятки километров. Теперь в каменоломнях разместился штаб Крымского фронта, здесь же находились госпитали и тыловые учреждения со своими складами. Возле одной из штолен Матвей увидел мешки и кули с мукой, сахаром и табаком. Это была партия груза, доставленная в порт прошедшей ночью. Красноармейцы перетаскивали мешки в подземелье.

— Наша работа, — не без гордости произнес Горбушин.

— Узнали? — кивнул Квасников. — Хорошо-с. Так, может, и в интенданты переквалифицируетесь?

— Ну уж нет, мое дело корабли да причалы, а не консервы считать!

Квасникову на каждом шагу встречались знакомые, он и приехал-то на пару часов раньше, наверное, для того, чтобы посудачить с приятелями. Ушел в каменоломню и пропадал там до самого вечера. Матвей успел подремать в машине, побродить по пустырям, где пробивалась через старый почерневший бурьян молодая трава. Молчаливый шофер-вестовой принес пообедать.

Горбушина не вызвали, и он был рад этому: не очень приятно отчитываться перед начальством. Максимилиан Авдеевич вернулся из подземелья озабоченный, устало щурил глаза от яркого света.

— Домой? — спросил Матвей, садясь рядом с ним в машину.

— Нет-с, к Мехлису.

И еще часа два пришлось Горбушину ждать, пока Квасников находился у представителя Ставки. В город ехали быстро, Максимилиан Авдеевич был непривычно молчалив. Разговорился он только во время ужина, после таблетки и стакана вина.

— Два штаба на одном фронте, — недовольно брюзжал Квасников. — Власть никак не поделят. Командующий говорит — создавай запасы, долго сидеть будем. А Мехлис приказывает все на передовую гнать, кормить людей хоть в два горла — скоро вперед пойдем, немецкие склады захватываем.

— Они, что же, так и работают порознь? — спросил Матвей.

— Какая это работа! — проворчал Квасников. — Две голы, два плана, один вперед тянет, другой назад. Генерал Козлов думает про оборону, а Мехлис готовит наступление. Я же тебе говорил — по два километра на дивизию, так не обороняются.

— Максимилиан Авдеевич, я в вашей стратегии разбираюсь, как таракан в ложи.

— Да тут и разбираться нечего. При обороне дивизия занимает отрезок километров восемь-двенадцать. А те войска, которые высвободились, отводятся в тыл, создают вторую и третью оборонительные полосы. Из них создается резерв на случай, если противник прорвется. Это понятно?

— Вполне.

— А у нас тут соединения обеих армий вытянуты в одну линию. Толкучка, теснота, бойцы друг на друге сидят. Так только перед атакой бывает. А вторая линия обороны не создана, резервов в глубине почти нет. В общем, не наступаем и не обороняемся. Но по всему видно — наступать будем. И скоро. Мехлис перевесит, он тяжелее. Он уж и так задавил Козлова. Тот хоть и спорит, хоть и ершится, да бесполезно, — махнул рукой Квасников. — И любой на его месте не выдержит. Сами посудите, кто такой Козлов? Генерал-лейтенант, командующий фронтом, таких в стране можно полсотни набрать. А Мехлис это фигура. Армейский комиссар 1-го ранга — выше некуда-с. Заместитель наркома обороны, начальник Главного политического управления Красной Армии, представитель Ставки. Он по любой линии может Козлова прижать.

— Большое значение, видно, придают нашему фронту, если такого человека прислали.

— Конечно-с. Если тут удача, немцам из Крыма не вырваться. Ударим отсюда и от Севастополя, прижмем к Сивашу, а там горлышко узкое... А если на Сиваш выйдем, значит, над Донбассом с тыла нависнем.

— Выходит, прав товарищ Мехлис, раз он наступать требует?

— Может и прав, — согласился Квасников и, сопя и побряхтывая, начал снимать сапоги. — Завтра у нас прибытия нет?

— Только обратные рейсы.

— Ну-с, это по вашей части, меня не будите. Я завтра на армейские склады поеду. Мехлис приказал проверить и доложить ему лично. Вы как?

— Это близко к передовой?

— Близко, — усмехнулся Квасников.

— Хочется посмотреть...

— Конечно, это же цирк и Большой театр, — пробурчал Максимилиан Авдеевич. — Ничего интересного вы там не обнаружите, уверяю. Но вдвоем мы быстрее управимся, я согласен.

На следующий день отдохнувший, выбритый и надутый интендант занялся сборами. Горбушину объяснил: жизнь на передовой не больно веселая, надо порадовать людей подарками. Взяв два грузовика, отправились к бухте. Возле причала, на прозрачной воде, до самого дна пронизанной солнечными лучами, чуть покачивались ры-

бацкие сейнеры. Были они такими дряхлыми, латка на латке, что в мирное время никто не решился бы выйти на них в море. А теперь ходили. И в шторм, и в туман. Варывались на минах, гибли под немецкими бомбами и все же везли рыбу, без которой защитники полуострова сели бы на голодный паек. В штабе военно-морской базы Горбушин видел сводку: за два весенних месяца, когда рыба шла через пролив в Азовское море, рыбаки выловили больше десяти тысяч центнеров одной только знаменитой керченской сельди. И еще говорилось в сводке, что за эти два месяца погибло в море тридцать процентов сейнеров и баркасов. Погиб каждый третий рыбак: таких потерь в это время не было даже на передовой.

Матросы-подростки большими ведрами вычерпывали из трюмов живую рыбу, бегом носили к грузовикам. Вываливали в кузова, под машинами натекали лужицы, быстро испарявшиеся на солнце.

Кривоногий старик капитан с белой щетиной на щеках, как краб, бочком, сполз по узкому трапу, сунул Горбушину твердую ладонь.

— Старший лейтенант, скажи бюрократам, чтобы с пулеметами не волюнили. Нельзя нам без пулемета. Вчера опять немец с бреющего стрелял, двух ребятишек поранил. Что я, одну рыбу брать буду?

— Я завтра сам доложу командиру базы, — пообещал Матвей. — Чтобы пулемет и пулеметчика на каждый сейнер.

— Ох-хо-хо, — вздохнул капитан. — И хочется, да не верится.

Матросы натаскали в кузова рыбы вровень с бортами, накинули сверху мокрый брезент. У входа на причал нетерпеливо пофыркивал «газик» Квасникова.

По тряской булыжной мостовой доехали до вокзала. Остались позади голые холмы, бурые и мрачные даже весной. Дальше потянулась ровная гладкая степь, без единого кустика, без единого деревца. Вместо травы зеленели на ней какие-то жалкие колючки. Максимилиан Авдеевич расстегнул на гимнастерке все пуговицы, подставляя грудь встречному ветру, но и этот ветер был настолько сухим и теплым, что почти не освежал.

Часа через два добрались до поселка Семь Колодезей, в котором почти не осталось целых домов. Неподалеку от поселка, возле армейского продовольственного склада, густо росла акация. Квасников вывалился из раскаленной

солнцем машины и сразу же бросился в тень. Лежал на спине, хрипло дышал ртом и ругался:

— Черт меня понес среди дня... Нет-с, лето я не переживу, это определено.

Он даже отказался от своего намерения сопровождать грузовики с рыбой: один в стрелковую дивизию, другой в танковую бригаду подполковника Калинина. Объяснил водителям, как ехать и что передать приятелям.

Шофер «газика» принес брезентовое ведро с водой. Матвей хотел напиться — она оказалась горько-соленой, почти как морская. Максимилиан Авдеевич вымылся до пояса и почувствовал себя лучше.

— Вода тут проблема номер один, — ворчливо говорил он, помахивая веткой акации. — И вообще на этой райской земле сплошные проблемы. Войск сюда нагнали много, лошадей много, а пить нечего. Тут раньше целые поселки на привозной воде жили. Семь Колодезей — проиически протянул он. — Названьице-то какое! Пришли мы сюда, и действительно, семь колодезей. Только все пустые. Сюда еще в мирное время бочками воду доставляли. А ведь у нас фронт, двести тысяч человек напоить и помыть нужно. Тот, кто планы рисовал, об этом не думал, а интендантов, как всегда, сразу за жабы: вынь да положь. Стали колодцы рыть — вода горькая. В озерах — тоже. И чего же только не пробовали: и в машинах доставляли, и глубинные скважины бурить начали. Хорошо, что я не на воде сидел, а то опять на понижение или под суд попал бы... Уж и не знаю, есть ли где для нашего брата-интенданта фронт тяжелее Крымского. Пустыня, окруженная морем, вот и войой тут.

Матвей терпеливо слушал брюзжание Квасникова. Ему можно простить: наворчится в свое удовольствие, а потом схватится за работу. Отдохнет под кустиком и будет сидеть, не считаясь со временем, хоть до утра, намечая, где открыть отделения армейского склада, как организовать перевозку грузов прямо из Керчи, чтобы не было промежуточной перевалки. И Горбушина заставит соображать, прикидывать, как совместить график прибытия судов с графиком вывозки. Трюм — передовой склад, и чтобы без всякой задержки! Только так можно выполнить указание Военного Совета, высвободить побольше машин. А они, конечно, требуются для важного дела. Ведь впереди, за линией фронта, широкие степи, ровные дороги. Там есть где показать скорости! Прорвать бы только немецкую оборону, а потом дело

пойдет... Матвей усмехнулся: пообщавшись с Квасниковым, он тоже начал более или менее понимать обстановку на сухопутье.

11

Рассвет 8 мая застал Горбушина в порту. Было прохладно. Первые солнечные лучи, коснувшись вершины Митридата, осветили ее, как прожектором, поползли вниз по уступам, спокойно легли на заблестевшую воду.

С моря только что подошли две баржи в сопровождении катеров. На одной барже доставили несколько танков, и теперь Матвей ломал голову, как лучше их выгрузить. На причале собралось человек десять: и портовики, и командиры судов. Пришел и старый знакомый Горбушина — пожилой лейтенант в мешковатом кителе. Его сторожевой катер стоял рядом с баржей. Пока прикидывали, что да как, на рейде раздался пронзительный гудок, в городе завывли сирены.

«Летят! Летят!» — закричали на судах и в порту.

Самолеты появились с запада, из-за гряды холмов, шли двумя ярусами: внизу медленно ползли бомбардировщики, а над ними описывали большие круги истребители прикрытия. За все время в Керчи Матвей видел три немецких самолета, а тут сразу столько!

Возле вокзала и где-то в районе Аджимушкая ухнули первые взрывы. Зенитки пятнали небо ватными клочьями. Оставляя за собой черный хвост, прочертил светлую голубизну падающий самолет.

На причале прекратилась работа, люди прятались в щелях и воронках. Матвей побежал за лейтенантом, прыгнул на палубу катера. Сделал это инстинктивно: на берегу он чувствовал себя беспомощно, а едва суденышко отошло от причала, возвратилась уверенность. Бухта большая, катер юркий, можно маневрировать! Все было привычным: и плеск воды, и позвякивание машинного телеграфа, и резкие команды. Даже бомбардировщики, плотной стаей нависшие над городом, уже не казались такими страшными.

— Ну, бог не выдаст, — сказал лейтенант, поправляя выгоревшую фуражку. — В крайнем случае в море уйдем!.. Зенитчики, не зевайте! — крикнул он.

Немецкие самолеты обрушили на город свой груз. Берег затянула темная пелена, расцвеченная кое-где белыми

прожилками. Оттуда, из этой пелены, слышались частые удары: поверх нее проплывали, поблескивая на солнце, спокойные неторопливые самолеты.

Минут через двадцать разрывы прекратились, затих в отдалении гул моторов. Катер вернулся в порт. Матвей не увидел ни причала, ни баржи с танками. Только разбитая капитанская рубка торчала над водой. Мелкие волны лизали верхнюю часть танковой башни, похожую на панцирь черепахи. Плавали щепки, доски, какие-то обгорелые тряпки.

Телефонная связь со штабом военно-морской базы была прервана. И хотя Матвею не хотелось спускаться на изрытый воронками берег, он все же решил идти в штаб, доложить о случившемся.

С моря казалось, что после такой бомбежки в городе не останется ничего живого. Матвею попадались разбитые грузовики, увидел он и несколько трупов, но, в общем-то, потерь было немного: люди скрывались в пещерах и глубоких щелях.

Матвей подумал, что в штабе спросят с него за потопленную баржу с тремя танками, но о них никто не вспомнил. Начальник отдела поинтересовался, целы ли катера, приказал рассредоточить их по бухте. Потом отвел Горбушина к окну и, придерживая за локоть, предупредил доверительно:

— Немцы начали большое наступление. О подробностях нас пока не информировали...

В городе снова завывли сирены. В отдалении захлопали зенитки. Начальник на секунду умолк, потом заговорил то-ропливо:

— Отправляйтесь вместе с Квасниковым в штаб фронта, оттуда требовали прислать представителя. И вот что. Постарайтесь держать нас в курсе событий. Мы должны знать, что нужно штабу сейчас и что потребуется завтра.

— Есть, — ответил старший лейтенант. — Будет сделано.

На Керчь шла новая волна самолетов. Едва успел Матвей добежать до пещеры — опять началась бомбежка.

Очень хотелось Горбушину поскорей увидеть Максимилиана Авдеевича, поделиться новостями и услышать мнение всеведущего интенданта. Но Квасников довольно равнодушно посоветовал ему сперва поостыть, а потом побриться и позавтракать.

— К тому времени и бомбежка кончится, и поедем спокойно, — сказал он. — Сколько уж раз так бывало. С утра побомбят, а потом тихо.

— Но ведь наступают они! — напомнил Горбушин.

— Это хуже-с, но это еще не значит, что мы должны ходить голодными и небритыми.

Однако конца бомбежки они так и не дождались. Изредка с востока, с Тамани, появлялись небольшие группы советских истребителей, и тогда бомбардировщики сразу отваливали в сторону, уходили в степь, а в задымленном небе завязывался воздушный бой. Истребители с треском носились по кругу, пикировали, свечками лезли вверх, и невозможно было понять, наши гоняют там немцев или фашисты наших. Бомбежка временно прекращалась. В одну из таких пауз Квасников решил ехать.

Шесть «мессеров» и три «лага» схлестнулись прямо над дорогой. Немцы кидались по двое на одного, однако, машины у наших ребят были добротные, да и летчики, видно, не из последнего десятка. Получалось штука на штуку. Врезался в холм «мессер», потом задымил «лаг» и, быстро снижаясь, пошел к морю, надеясь дотянуть до Тамани. Вот вспыхнули сразу и наш и немец, из обоих успели выпрыгнуть летчики.

Последний «лаг» почти вертикально полез в небо, ртутной каплей сверкнул возле солнца и один кинулся оттуда на четверых немцев...

Квасников и Горбушин оставили машину в редком кустарнике, а сами пешком добрались до аджимутшайских каменоломен. У входа в штольню дежурный лейтенант проверил документы. По пологим ступенькам спустились под землю, пошли по длинной штольне с дощатым полом и потолком. Над головой горели электрические лампочки. По бревенчатым стенам тянулись телефонные провода. Воздух тут был прохладный и какой-то застоявшийся, затхлый.

То справа, то слева попадались короткие коридорчики, ведущие в небольшие пещеры, в которых стояли столы, стулья и топчаны. Раздавались голоса и стук пишущих машинок. Здесь работали отделы штаба фронта. В одну из таких пещер привел Горбушина Максимилиан Авдеевич. Он представил старшего лейтенанта полковнику из оперативного управления. Полковник очень обрадовался, расспросил, сколько имеется судов, какой груз они могут

поднять. Сам показал Горбушину стол, телефон и топчан, велел держать непрерывную связь со штабом военной морской базы и никуда не отлучаться. Все это немного встревожило Матвея. Но он рассудил так: о том, что делается на передовой, думают другие. У полковника своя задача, вот он и печется на всякий случай.

Пять суток безвылазно сидел потом Матвей в подземелье, и все это время провел будто во сне. Только по часам мог определить он смену дня и ночи, терял порой чувство реальности. Он слышал разговоры работников оперативного управления, доклады делегатов связи и знал, что к вечеру 8 мая немцы прорвали фронт в полосе 44-й армии вдоль берега Черного моря. На остальных участках — сильный нажим противника. А командование фронтом не могло исправить обстановку. Все войска, вытянувшиеся в одну линию и приготовившиеся для наступления, в первый же день были втянуты в бой. В резерве фронта оставались только одна стрелковая и одна кавалерийская дивизии.

В штольнях толпились представители штабов армий, авиаторы и танкисты. Они ждали решений, указаний, приказов. Но командование фронта не отдало ни одного существенного распоряжения. Люди не знали, что делать.

Военный Совет Крымского фронта заседал вторые сутки, забыв о войсках, которые отступали с боями и очень нуждались в умелом, решительном руководстве. По каждому вопросу возникали ожесточенные споры. Представитель Ставки армейский комиссар 1-го ранга Мехлис не верил в командирские способности генерал-лейтенанта Козлова. Вспыльчивый человек, склонный к интригам, Мехлис видел такие же черты у всех окружающих и не доверял никому. Зато себя он считал талантливым полководцем, стратегом новой формации. Нет таких преград, которые невозможно преодолеть! — вот и вся теория. А практика сводилась к тому, чтобы подтвердить этот тезис, не жалея ни жизни, ни материальных ценностей.

Мехлис предлагал остановить врага резервными дивизиями и начать общее контрнаступление. Козлов доказывал, что это невыполнимо, что надо смотреть реально и выводить войска из-под удара, сдерживая немцев на промежуточных рубежах.

Сорок восемь часов прошли в бесполезных спорах.

Наконец, вынуждена была вмешаться Ставка. 10 мая из Москвы поступил приказ: немедленно отвести войска

ближе к Керчи, на Турецкий вал и организовать на выгодной позиции новую линию обороны. Но и этот приказ не выполнили сразу. Военному Совету потребовались почти сутки споров, чтобы «переварить» новое указание. Когда приказ был передан нижестоящим командирам, выяснилось, что штабы армий потеряли управление, дивизии отходят неорганизованно и практически нет войск, которые способны удерживать Турецкий вал. Еще через сутки передовые отряды немцев почти без боя прорвали этот рубеж.

Квасников несколько раз уезжал в район Семи Колодезей взрывать продовольственные склады, возвращался измученный, грязный. Тяжело дыша, валился на топчан, сосал таблетку и жаловался на страшную духоту и пыль, которые вот-вот доканают его.

Началась эвакуация штаба фронта. У входа в штольни на огромном костре жгли бумаги. Штабные работники упakovывали в ящики ценные документы. Горбушин, пока работала связь с военно-морской базой, сидел возле телефона, уточнял, скоро ли подойдут катера и сейнеры. А когда связь прекратилась, носился на «газике» то в порт, то в рыбацкий поселок, откуда намечено было перевозить на Таманский полуостров высший командный состав.

Армейского комиссара 1-го ранга Мехлиса и генерал-лейтенанта Козлова он видел мельком, когда они ночью вышли из штольни, чтобы сесть в машины. Даже тяжелая неудача, за которую были ответственны оба, не сблизила их. Они выходили из подземелья порознь, каждый в сопровождении «своих» людей. С ними уехал Квасников, знавший дорогу. А Матвей повел в порт колонну грузовиков, на которых ехали оперативники и разведчики.

Ночь была светлой от множества пожаров, от немецких «люстр», медленно плывших к земле на парашютах. Высоко в небе гудели самолеты, сбрасывали бомбы бесприцельно, для острастки и паники. На западе грохотали пушки, и по напряжению стрельбы можно было понять, что где-то неподалеку идет сильный бой. Все дороги были запружены сплошным валом машин и повозок, прямо по стене густыми массами шла пехота. Горбушин прикинул мысленно: пока они ехали, видели восемь или десять тысяч красноармейцев и командиров, и почти все с оружием. Вот бы остановить их, положить в цепь лицом на запад... Но никто не руководил бойцами, люди были предоставлены сами себе,

а работники штаба фронта стремились скорее попасть в порт.

На окраине Керчи артиллеристы устанавливали в развалинах пушки. Тарахтели моторами несколько танков, оканывался небольшой отряд краснофлотцев. Матвей подумал, что немцев, может быть, еще удастся остановить на холмах, на подступах к городу. Это идеальные позиции для обороны. Почти как в Севастополе. А ведь там моряки держат фашистов с прошлого года. И еще он подумал, что, пока не получит приказа, не имеет права покидать этот город.

Катера, выделенные для эвакуации штаба фронта, стояли возле разбитой бомбами стенки. Погрузились быстро. Даже полковники и генералы таскали по узким сходням тяжелые ящики.

Через час катера один за другим отошли от стенки и растаяли в темноте. Бухта опустела. Медленно спустилась сверху одинокая «люстра», с шипением задохнулась в черной воде. Возле догорающего пакгауза остался только Матвей и несколько моряков из штаба базы.

— Вот и осиротели,— тревожно произнес кто-то.

— Катера вернутся вечером,— возразили ему.

— Да в них ли дело...

Матвей пошел к машинам. Надо было снова ехать в каменоломни, забрать оттуда оставшихся людей и имущество.

Следующие двое суток, 14 и 15 мая, словно бы слились для Матвея в один долгий день. Горбушин не ел и не спал, оглох от непрерывного гула и грохота. Дважды его сбивало с ног взрывной волной, несколько раз осыпало землей. Он отупел от жары и бессонницы, голова раскалывалась от боли.

Максимилиан Авдеевич совсем сдал, у него останавливалось сердце. Горбушин отвез интенданта в пещеру на берегу, уложил на кровать и оставил на попечение востового. А сам целые сутки торчал на причалах рыбацкого поселка. Сюда доставляли раненых из аджимуткайских подземных госпиталей. Их грузили на сейнеры и на боты. Многие суда уходили на Большую землю и не возвращались. Пришлось мобилизовать рыбацкие лодки. Матвей сажал на весла двух здоровых бойцов, к ним — пять или шесть раненых. Саперы ломали ближние постройки и связывали плоты.

С утра работали два десятка грузовиков, а к вечеру осталось восемь машин с иссеченными кузовами и помятыми кабинами. Но и они не вернулись из очередного рейса. Стрельба слышалась уже совсем близко. На берег нахлынула вдруг многотысячная толпа красноармейцев. Они захватили плоты, ломали уцелевшие дома, плетни и заборы. Сотни людей бросались в море, плыли к едва различимой вдали косе Тузла. А не умеющие плавать толпами шарахались вдоль берега.

Наверху, за поселком, сдерживали немцев спешенные кавалеристы. К морю коноводы вели лошадей. Высокий майор в синих галифе, в сапогах со шпорами, подходил к коням, ласково трепал левой рукой холку, правой стрелял в ухо из пистолета. На красивом горбоносом лице майора блестели слезы. Не скрываясь, плакали коноводы. Мучительно, людскими голосами, стонали лошади.

Под обрывом рядами стояли носилки с ранеными. Те, кто мог двигаться, ползком и на четвереньках добирались к воде, кричали, просили взять их. Но подошедший было сейнер даже не пристал к берегу, его еще в море облепили десятки тел.

Бледные от долгого пребывания под землей девушки-медики сидели на земле, ожидая своей участи.

Матвей понял, что ему нечего делать здесь. Он хороший пловец и ему не составит труда добраться до песчаной Тузлы. Но в городе оставался Максимилиан Авдеевич. И было бы просто подлостью не попытаться спасти его.

Горбушин поймал оседланную лошадь, бродившую у воды. В это время от группы девушек отделилась одна, высокая и чернобровая, помогавшая ему днем грузить раненых.

— А мы? — тихо спросила она, и столько укора звучало в ее голосе, что Матвей выпустил повод.

— Раненые при вас...

— С ними мужчины. А нам нельзя! Нельзя! Ведь там — немцы! — закричала она.

— Сколько вас?

— Двенадцать.

Горбушин колебался. Искать плавсредства бесполезно, по берегу бродят тысячи людей. Рискнуть по прямой дороге в город? Там есть надежда попасть на катер или на тральщик.

— Добро, — сказал он. — Пошли!

Они послушно двинулись за старшим лейтенантом.

Поднялись по крутому откосу и километров пять шагали по пустынной дороге, огибая воронки и разбитые автомашины. Слева и впереди били пушки, но за последние дни все так привыкли к стрельбе, что никто не обращал на это внимания. Навстречу медленно ехала грузовая машина. Горбушин бросился к ней, выхватив пистолет, рванул дверь. Шофер затормозил. Голова его была заперелена бинтами, виднелся лишь рот и глаза.

— Куда едешь?

— Не знаю, — прошептал водитель. — Вшех — побило, меня тоже побило.

— Сажает девушек — и в город! — распорядился Матвей.

— Мне вше равно, — покорно согласился шофер. — Вше равно конец нам пришел!

— Не ной! Поживем еще!

Водитель находился в состоянии такой апатии, что Матвей решил сесть рядом с ним. Было уже темно, когда они добрались до холмов. Ехали медленно и, пожалуй, только это спасло их. Шофер вдруг остановил машину и сказал равнодушно:

— Видишь танки немецкие?

Грузовик стоял на склоне холма, а метрах в ста ниже ползли по ровному полю черные тяжелые машины. Танкисты не заметили грузовик, подъехавший сзади. Немцы изредка стреляли, озаряя степь вспышками. И по танкам тоже стреляли: несколько снарядов разорвалось возле них.

Будь Матвей один, он не рискнул бы еще раз испытать судьбу. Рванул бы к морю, снял баллон и поминай как звали! Но девчонки? Ведь у машины всего шесть баллонов!

— Вправо! — шепотом скомандовал он шоферу. — Давай вправо и гони по степи!

— Вше равно бесполезно, — сказал шофер и погнал машину по ухабам с такой скоростью, что Матвея мотало в кабине, как на торпедном катере во время шторма. Их обстреливали, освещали ракетами, но шофер не остановился, пока грузовик не ворвался в город и не уперся в какие-то горящие развалины. К машине бросились красноармейцы. Горбушин вылез из кабины покачиваясь. Из кузова выпрыгивали девушки. И когда все были уже на земле, а Матвей помогал выйти шоферу, одна из девушек тихо ойкнула и упала, цепляясь за руки подруг. Ее оттащили

за угол, все сыпанули в стороны от освещенного места.

На девушке разорвали гимнастерку, обнажили до пояса. У нее были узкие плечи и острые ключицы. Твердо торчали маленькие груди. Пуля вошла под лопатку и вышла пониже соска, оставив чуть заметное, почти не кровоточащее отверстие.

Умерла она сразу. Высокая девушка с треугольниками старшины на петлицах хотела нести ее с собой, но Матвей сказал: «Не нужно». Наскоро углубил лопатой воронку, завернул убитую в плащ-палатку и присыпал землей... Потом он шагал к бухте, пробирался среди развалин, а в руках не пропадало ощущение легкого и гибкого тела, и он почему-то жалел, что не разглядел и не запомнил ее лица. Им овладела тоска, незнакомое ему чувство, которое не испытывал при виде убитых мужчин. Перед глазами стояли хрупкие слабенькие ключицы и темная ранка на белой коже. Ей, наверно, всего-то лет девятнадцать... И Оле было девятнадцать, когда Матвей впервые увидел ее.

Он повел девушек в порт. Чем ближе к бухте, тем больше людей встречалось им. Некоторые подразделения шли навстречу, к окраине, где гремел бой, но еще больше было мелких групп и одиночек, которые брели от окраин к порту. То в одном, то в другом месте рвались снаряды, но несмотря на это много красноармейцев спало на улицах и на пустырях.

У причалов не было ни одного судна. Матвей понял, что катера, сейнеры и боты не подходят сюда, боясь, что на них хлынет тысячная толпа. В дежурке он застал двух насмерть замученных и охрипших капитан-лейтенантов из штаба базы. Они сказали, что штаб базы перебирается на Тамань, что организовать эвакуацию пехоты не удастся, так как немцы на окраине и бухта уже под обстрелом. Плавсредства будут подходить к мысу севернее города и перевозить раненых на Чушку. Там, на мысу, большое скопление людей и машин.

— Везде большое, — ответил Горбушин. — Вы-то сами как? Зимовать здесь останетесь?

— На рейде стоят два тральщика. Возим командный состав шлюпками, с той стороны, от маяка.

— Со мной одиннадцать девушек, — сказал Матвей. — И один раненый.

— Там и без вас много, — покачал головой капитан-лейтенант. — Попробуй, если сумеешь.

Матвей расспросил, куда подходят шлюпки, и повел свою команду. На пути к маяку им встретилось оцепление. Краснофлотцы с автоматами сдерживали натиск толпы, но, увидев старшего лейтенанта, расступились и пропустили тех, кто шел с ним.

За оцеплением народа было меньше, но, когда появилась из темноты шлюпка, навстречу ей бросились в воду десятки людей. Краснофлотцы отталкивали их веслами.

— Полуидра! — властно крикнул Горбушин. — Товарищи, выгребайте ко мне!

Шлюпка развернулась в сторону моря и, описав полукруг, приблизилась снова.

— Внимание! Старший здесь я! — скомандовал Матвей. — Всем вернуться на берег! Соблюдать порядок или шлюпка уйдет обратно!

Это подействовало. Люди вылезали из воды, появилось даже какое-то подобие очереди.

Шестивесельный ял ткнулся носом возле Горбушина. Гребцы сидели, не убирая весел. Из темноты показалась другая шлюпка.

Двумя рейсами Матвей отправил нескольких раненых полковников, шофера и всех медичек. Высокая девушка, прощаясь, хотела сказать что-то, но он подтолкнул ее:

— Скорей! Не задерживайте!

— Весла-а-а! — протяжно пропели в шлюпке. — На воду!

Матвей оттолкнул нос яла. А когда шлюпка скрылась, вызвал из оцепления мичмана и поставил его вместо себя наводить порядок.

По изрытой воронками улице шел быстро, срываясь на бег. Эти тральщики — последняя надежда, надо успеть. В свою пещеру ввалился запыхавшийся, мокрый от пота. Вошел и остановился, пораженный спокойствием и тишиной, от которых отвык за последние дни. В комнате было светло и уютно. Ярko горела керосиновая лампа. На кровати, под белой простыней, лежал Максимилиан Авдеевич и читал книгу.

— Немцы в городе! — с порога сказал Матвей.

— Знаю-с, — ответил Квасников. — Между прочим, я много слышал о благородстве моряков, но не думал, что это так глубоко...

— О чем вы! — перебил Горбушин.

— Спасибо, что забежали.

— Я за вами,— сказал Матвей.— Еще есть возможность.

— Нет-с... Я очень благодарен вам,— произнес Квасников, с трудом садясь на кровати.— Дайте мне вашу руку.

Пожатие у него получилось слабым, пальцы были вялыми и холодными.

— Моя песенка спета,— негромко сказал он.— Жил на пределе, и вот финиш. Доканали жара и нервы. Аневризма-с, ничего не поделаешь! Спасибо за ваш порыв, но я, если и дойду, то только до двери.

— Немцы на окраине,— повторил Горбушин.

— Да-с. Я отпустил шофера, может, он доберется. А у меня есть все: вино, таблетки, жареная рыба, пистолет и две гранаты. Я запру дверь и попробую пострелять.

— Ну, хватит!— Матвей схватил со стула брюки и гимнастерку интенданта.— Одевайтесь немедленно, или я поволоку вас в одном белье! В нашем распоряжении час. Уезжайте в свой Куйбышев и хныкайте там под крылышком любимой жены, а мне некогда!

— Вы серьезно?

— Вполне.

— Ну что же,— поднимаясь, заворчал Квасников.— В жизни бывает всякое. Попробуем еще раз...

Идти сам он не мог. Охватив шею Горбушина правой рукой, Максимилиан Авдеевич с трудом переставлял ноги, хрипел, задыхался, но ни разу не попросил сесть. Около дежурки, куда они добрались перед самым рассветом, Квасников едва живой опустился на землю. Но пососал таблетку, глотнул из фляги вина и сразу приободрился.

Погрузка на тральщики уже закончилась. Возле дежурки стояла под высоким настилом последняя шлюпка, которую прислали за оставшимися на берегу моряками. Она была настолько перегружена, что борта едва поднимались над водой. Матвей понимал, что один резкий поворот, одна небольшая волна, и ял сразу пойдет на дно. И все-таки он попросил:

— Товарищи, еще двое. До тральщика недалеко, доберемся.

— Нет,— ответили ему.— Невозможно!

Гребцы уже заносили весла.

— Возьмите больного! Прошу!— крикнул Горбушин.

— Возьмите!— резко сказал на шлюпке чей-то командирский голос.— В крайнем случае я поплыву рядом.

Матвей спустил Квасникова на протянутые снизу руки. Шлюпка угрожающе качнулась. Максимилиан Авдеевича положили на дно, он скрылся среди тесно сидящих людей.

— Присмотрите за ним!— крикнул Горбушин, и опять тот же резкий голос ответил ему, что присмотрят, и что завтра ночью катера попробуют пробиться сюда.

— До свидания!— прохрипел где-то внизу Квасников.

— Попутного ветра!— Матвей помахал вслед шлюпке рукой и медленно пошел с причала. Усталость гнула его плечи, но он чувствовал себя легко и спокойно. У него не было теперь никаких дел, ни о ком не надо было заботиться. Только о себе. А о себе он еще успеет подумать.

Не обращая внимания на суету, на участвовавшие разрывы, Матвей добрался до пещеры, съел целую сковородку жареной рыбы, допил вино и, не раздеваясь, грохнулся на кровать.

Разбудил его назойливый треск где-то над головой. Спросонок показалось, что работает швейная машинка. Матвей взглянул на часы и присвистнул: стрелки показывали пятнадцать тридцать. Впрочем, спать некуда, он сам себе хозяин.

Горбушин побродил по комнате, разыскал две банки консервов, конфеты и батон черствого хлеба. Прежде чем пообедать, вымыл у рукомойника ноги, переменял носки, почистил ботинки и пуговицы кителя. Свежих подворотничков у него не оказалось и Матвей оторвал полоску от простыни.

Он брился, ел, а треск наверху все продолжался и это в конце концов стало раздражать. Пришлось выглянуть на улицу. Метрах в ста от него, на скале, невидимые снизу, били два пулемета. Очереди были длинные, на половину ленты. Едва смолкал один пулемет, начинал другой.

Из этого Матвей заключил, что немцы близко и медлить больше нельзя. Он собрал свой чемоданчик, порывшись в вещах Квасникова — не забыл ли сосед что-нибудь ценное. Нашел бутылку вина, любимого Максимилианом Авдеевичем, и прихватил ее с собой.

Выбритый и начищенный, с чемоданчиком в руке вышел Матвей на улицу. Хотел подняться на скалу, узнать, в кого бьют пулеметки, да поленился. Раз бьют, значит, знают куда. А ему надо в порт, к морю.

Он, наверно, выглядел диковинно в этом задымленном городе, среди грязных солдат, среди трупов и разбитых

машин. Он заметил, что на него смотрят не только с удивлением, но и с уважением, как на человека, не потерявшего свое лицо. Бухта была пуста. На темной воде то в одном, то в другом месте взметывались белесые столбы разрывов. Немцы били по причалам, где скопилось много людей. Вдали синей полоской виднелась заманчивая Тамань: далекая, спасительная земля! Некоторые смельчаки плыли туда: нет-нет и мелькнет среди сверкающей ряби черная голова.

Бой грохотал в самом городе. Иногда посвистывали пули. Немцы не кидали бомб, боялись угодить по своим. Их самолеты пролетали севернее, на мыс, куда отошли крупные силы советских войск.

Возле перекрестка стояли две 76-миллиметровые пушки, тут же сидели десятка полтора красноармейцев. Матвей спросил, почему они не стреляют. С ящика поднялся сержант с нашивками за ранения и не спеша, устало объяснил, что у них нет командиров и они не знают, что делать: или ждать тут, или тянуть орудия в порт.

— Снаряды есть?

— Половина боекомплекта.

— Это сколько же? — уточнил Горбушин. Он хоть и служил артиллеристом на сторожевике, но в сухопутных нормах не разбирался.

— Полсотни на ствол.

— Тогда — вперед! Эй, там, последние, на шкентеле! Поживее! — прикрикнул он, и красноармейцы охотно подчинились его бодрому уверенному голосу. Облепили орудия, покатали их на пологий подъем.

Матвей улыбался, помахивая чемоданчиком. Он помнил, что неподалеку, в конце этой улицы, есть сквер с кустарником. Потом — ровное поле до самых холмов, хороший обзор, удобное место для стрельбы.

Однако до сквера они не добрались, там трещали винтовки и автоматы. Высунувшись из полуразбитой хибары, Матвей разобрался, что к чему. По ближнему краю сквера тянулась ломаная линия окопов, тут были наши. А дальше, среди редких акаций, перебегали немцы. Они накапливались в канаве, метрах в пятистах от сквера. Возле холмов поднималась пыль; оттуда подходили танки или автомашины.

Мимо хибары проковыляли двое раненых.

— Товарищи, какая часть? — окликнул их Горбушин.

— Разные, — ответил боец. — Есть и пехота, и танкисты есть.

— А командир где?

— Да мы не знаем. Тут кто как. Кого прижал немец, тот и стреляет.

Матвей вышел к артиллеристам и приказал выкатить орудия на прямую наводку. Артиллеристы оказались ребятами умелыми и сноровистыми. Сержант, поняв, что моряк не особо силен в их деле, распорядился сам. Дал десять выстрелов по автоматчикам в кустах, потом перенес огонь на канаву, расстреливая плотно сбившихся немцев.

— Дай мне! — попросил охваченный азартом Матвей.

Сержант показал наводчику: отойди. Матвей припал глазом к прицелу, чуть повернул ствол пушки, увидел машину, выползавшую из пыльной завесы. Выстрелил — и промахнулся. Промазал и в другой раз. После этого сержант уважительно, но твердо сказал ему:

— Товарищ командир, снаряды у нас считанные.

Матвей опять забрался в хибару, наблюдая за боем. Вот ведь как: достаточно двух орудий, чтобы заставить немецкую пехоту откатиться на километр. Есть люди, есть пушки, но нет организованности. Если бы каждый участник трехсуточных заседаний в подземелье возглавил оборону на одной улице, то на двадцати улицах немцы дали бы задний ход...

Вечером фашисты бросили на этот участок самолеты. Машина за машиной отваливалась от строя и с ревом неслась к земле, засыпая сквер мелкими бомбами. Тут уж ничего нельзя было сделать, лежи да грызи горелый кирпич, чтобы не завопить от страха.

Бомба разбила орудие. Уцелело пятеро артиллеристов и три снаряда. Матвей приказал выпустить их по гитлеровцам: знайте, мол, что мы живы. Сержант вынул из орудия замок, и все пошли к бухте.

Наступила ночь, немцы освещали порт «люстрами» и непрерывно обстреливали его. Матвей побродил по берегу, поискал, нет ли автомашин с уцелевшими скатами. Но все грузовики были «разуты». Что ж, море спокойное, ориентиры хорошие, можно плыть и так.

Матвей не спеша разделся, сложил на камни брюки и китель. Тельняшку не снял. Хоть она и будет стеснять движения, но к ней пришит карманчик, в котором, в клеенча-

том пакете, хранятся партийный билет и удостоверение личности.

Вода сверху была теплой, внизу — холоднее: не успела прогреться. Горбушин вернулся к одежде, достал из кителя английскую булавку, прицепил к тельняшке. Если сведет ногу — будет чем уколоть.

Он поплыл, сохраняя ровное дыхание, не вынося рук из воды. Это только спортсмены да пижоны машут руками, не берегут сил. Первые гонятся за скоростью, а вторые выдрючиваются перед девицами на пляжах... Матвей усмехнулся: какая ерунда лезет в голову... Лучше ни о чем не думать и плыть размеренно, переворачиваясь на спину, когда появляется усталость.

Прошел, наверное, час, прежде чем Матвей решил отдохнуть. Приподняв голову, он долго смотрел на город, освещенный пожарами. Выстрелы теперь сверкали возле самой воды. Да, сегодня еще можно уплыть, а завтра будет поздно. Вечная память ребятам, пехотинцам и артиллеристам, которые остались там, на пылающем берегу!

12

Катерный тральщик шел только до Анапы, но Горбушин решил отправиться на нем. Из Анапы чаще ходят корабли в Новороссийск, легче добраться. Вода, будто покрытая темным лаком, была совершенно спокойна. Небо ослепляло синевой. С суматошными криками проносились белые чайки. За бортом катера проплывали бревна, спасательные круги, солома. Много раздувшихся трупов несло течение из Керченского пролива в открытое море.

Горбушин сидел на горячих, выдраенных до цвета старой слоновой кости досках палубы, шевеля пальцами босых ног. В Тамани он с грехом пополам раздобыл потертые брюки, рабочий китель, узковатый в плечах, и фуражку, хоть и без «краба», но все же флотскую. Не нашел только ботинок. С обувью был дефицит, на одном из катеров ребята дали ему сандалии с дырочками, он так и щеголял в них, но они были тесны, сжимали ступню, словно обручем.

Приближался берег. Издалека увидел Горбушин людей на широком песчаном пляже, там работали женщины, натягивали возле воды колючую проволоку. В кустарнике стояли замаскированные зенитки. Линия фронта прохо-

дила теперь тут: пляж был удобным местом для вражеского десанта.

К длинному деревянному причалу, как мухи к липучке, приклеились десятка полтора мелких судов. Для катерного тральщика не осталось свободного места. Пришлось швартоваться бортом к морскому охотнику. Командир охотника, коренастый, крепенький главстаршина, стоял на палубе, и Матвей, прежде чем сойти на берег, потолковал с ним. Оказалось, что завтра два охотника уйдут в Новороссийск. Снимаются в девять ноль-ноль. Если старший лейтенант желает, то может пока разместиться в его каюте... Нет, с обувью плохо. А «краб» есть. Правда, старенький, потемневший, но есть.

Горбушин привел в порядок свою фуражку и сошел на причал. Отступил в сторону, не мешая рабочим, катившим бочки, и вдруг услышал радостный возглас:

— Товарищ командир! Это вы?!

Миловидная светленькая девчонка в солдатской гимнастерке кинулась к нему, неумело тыкалась горячим носом в щеку Матвея. Он даже оторопел от неожиданности, потом припомнил: кажется из тех, керченских. Отвел ее руки, спросил грубовато, глядя в сияющие глаза:

— Меня, что ли, ждете?

— Ой, мы только о вас и говорили все время! — всплеснула она руками. — Ведь это как чудо, правда? Мы уж там отравиться хотели. Вечером совсем похоронили себя, а утром уже здесь были. Нас корабль прямо сюда привез. Сели на песочек, и солнце теплое, и наши люди вокруг. Сидим и ревом. И никто даже не знает, как вас зовут, моряк и моряк...

— Матвей мое имя, — сказал Горбушин. — А вы что же, все здесь?

— Все до одной. Госпиталь заново формируется, а мы отдыхаем и дежури́м посменно, если раненых с Керчи привезут... Пост у нас тут.

Девушка взяла его под руку и сказала решительно:

— Пошли к нам, товарищ Матвей. Если я вас не приведу, меня девчонки в море утопят! Руфина знаете как обрывается!

— Какая Руфина?

— Да Руфка, старшина наша! Она сказала, что вы самый надежный мужчина, каких она только видела!

Горбушин засмеялся и пошел. Медички жили на ближ-

ней к причалу улице, в белой мазанке за плетнем. С улицы мазанку почти не было видно: скрывали сирень и акация. Во дворе зеленели грядки, тянулись, набирая силу, молодые стебли подсолнухов.

Девушки загорали в саду под яблонями, при появлении Матвея поднялся такой радостный крик и переполох, что даже в соседнем доме выскочила на крыльцо хозяйка. Горбушин не узнавал их. В Керчи, усталые и грязные, они казались на одно лицо, а теперь вдруг выяснилось, что девчата эти молодые, румяные и симпатичные. Носы у всех были прикрыты бумажками. Девчонки сказали ему, что они всю весну просидели в каменоломнях, когда попали на солнце, у них сразу обгорели носы и теперь облезает кожа.

Откуда-то прибежала Руфина. Запыхавшись, подошла к Матвею и поцеловала его в губы.

— За всех! — сказала она.

— А может, мы сами хотим! — крикнула беленькая, и все снова засмеялись.

Руфина повела его в дом, напоила холодным квасом и принялась готовить яичницу. Разговаривая с девушками, Матвей исподволь поглядывал на нее. Ему нравились уверенность и спокойствие Руфы. Она высока ростом, даже, пожалуй, выше Горбушина. Волосы у нее черные и густые, в мелких колечках; черные брови с изломом, вразлет. Нос немножко великоват, губы большие, яркие, чуть-чуть вывернутые. «Хохлушка... Или молдаванка», — подумал Матвей.

Когда она наклонилась, обнажив сзади полные ноги, Матвей отвернулся и смолк, чтобы дрогнувший голос не выдал волнения.

Он перестал замечать других девушек, хотя среди них были и моложе, и красивей Руфины. Смотрел только на нее, она смущалась под его пристальным взглядом, отворачивалась, скрывая зардевшееся лицо.

Матвею нужно было сходить в город, разыскать старшего морского начальника, узнать обстановку, договориться об отправке в Новороссийск. Медички отпустили его, взяв слово, что вернется вечером и они вместе отметят свое спасение.

К полудню старший лейтенант выяснил все, что хотел, потом часа три подремал на узкой жесткой койке командира морского охотника. Идти к медичкам одному было не-

ловко, им не особенно весело будет при единственном кавалере. Матвей пригласил с собой крепенького, коренастого и бравого на вид главстаршину и двух краснофлотцев с охотника. Ребята почистились, нацепили медали и вышли на берег торжественные, как женихи.

Главный старшина, возбужденно похохатывал, расспрашивал, какие там девушки и хватит ли спиртного.

— Ну и устроим шум на лужайке, — говорил он. — Основное, не теряться! Чем решительней атакуешь, тем ближе победа!

Матвей промолчал. Болтовня эта ему не нравилась и он даже пожалел, что захватил главстаршину. Но едва вошли во двор, вся лихость слетела со старшины, он сник и проявил полное неумение ухаживать за девушками. Зато краснофлотцы оказались ребятами веселыми. Один сразу ухватился за гитару, играл на ней весь вечер, а другой танцевал без устали.

Стол накрыли в саду, под деревьями. Раздобыли где-то скатерть и даже тарелки с вилками. Принесли редиску, сало и жареную рыбу — закуска не отличалась разнообразием, но было ее много, да и выпивки тоже хватало. Шесть бутылок с вином из подвалов Абрау-Дюрсо, два больших графина разведенного спирта. И еще стоял целый жбан коричневого холодного кваса.

Матвей пил спирт и квас, с удовольствием ел, не чувствуя опьянения. Дышало прохладой близкое море, сверкали звезды сквозь резную крышу листвы, негромко звенела гитара, молодые девушки были вокруг, рядом сидела притихшая Руфа, заботливо ухаживала за ним, прикасаясь к плечу Матвея теплой грудью. От всего этого хорошо и спокойно было на душе, далекой и неправдоподобной казалась горящая Керчь, трупы на улицах и та мертвая девушка с маленькой ранкой на белой коже...

Он пошел танцевать с Руфой, они оказались в дальнем конце сада и здесь, среди сирени, Матвей обнял ее.

— Не вернемся, — предложил он. — Будем вдвоем, ладно?

Руфина повела его через калитку в соседний сад, оттуда во двор, торопливо открыла ключом замок на двери. Матвей услышал, как звякнул за спиной засов. В маленькой горнице белела на кровати горка подушек.

— Сюда не придут, — сказала ему Руфа. — Никто.

Он легко приподнял ее, горячей щекой коснулся прохладной подушки.

— Подожди, в сапогах ведь! — попросила она.

— Потом! Все потом! — отвел ее руку Горбушин.

...Через полчаса, снимая одеяло и взбивая смятые подушки, Руфина сказала с тихим смешком:

— Нетерпеливый ты... Разве так можно?

Она вытянулась, обнаженная, на белой простыне, подогнув колено. Глядя на нее, Матвей пил молоко из кувшина. Руфина повернулась к нему, протянула руки:

— Ну, хватит! Иди...

Ночью они почти не разговаривали. Утром, когда в горнице стало светло, Руфина начала вдруг, будто оправдываясь, рассказывать о себе.

— Ты не думай, — говорила она. — Ты ведь у меня первый за всю войну. Я когда форму надела, так и сказала себе: пока война не кончится, никого не будет!

— Я и не думаю, — засмеялся Матвей.

— Нет, ты можешь подумать. За мной многие ухаживали, даже хирург наш ухаживал, а я ни с кем. Знаешь, как нелегко это? Ведь я замужем была.

— Ты что же, раскаиваешься?

— Ни капельки. Ты нас от такого спас, что и вспомнить страшно.

— Вот оно что! — разочарованно протянул Горбушин. — Отблагодарила, значит...

— Молчи! — ладонью прикрыла она его рот. — Хочешь, страшную клятву дам, что, кроме тебя, ни с одним мужчиной не лягу?

Он отрицательно мотнул головой и погладил ее прохладные плечи...

Руфина накормила Матвея завтраком, пошла проводить его. Горбушин был рад, что никто из знакомых девушек не встретился им. Шли молча. Припекало солнце. Под ногами скрипел песок. Остановились недалеко от причала, у кромки прибоя.

— Писать будешь? — спросила Руфина. — Адрес возьми, — протянула она листок.

— У меня нет постоянного, — сказал Горбушин. — Как брошу якорь — сообщу.

Руфа, прищурив глаза, смотрела на сверкающее под солнцем море. Произнесла нарочито безразлично:

— Если ребенок будет, то как?

— Смотри сама, — поколебавшись, сказал он. — Война ведь, ты знаешь.

— После войны тоже кто-то жить должен. Если будет — оставлю, — решительно тряхнула она головой.

— Ты откуда сама-то? Искать тебя где?

— Из Краснодара. И родители там... Да ты не беспокойся, ничего нет, наверно. Все это просто так, — горько усмехнулась она.

— Не дури, Руфка! Увидимся! — обнял ее Матвей, и она, на секунду, всей своей тяжестью повисла на его сильной руке.

В девять ноль-ноль два морских охотника задним ходом отошли от причала и, развернувшись, взяли курс на Новороссийск. Матвей попросил у командира бинокль. Устроившись на корме, над kloкочущим буруном, долго следил за одинокой фигуркой на пустынном пляже. Женщина в гимнастерке стояла на песке возле проволочного заграждения и махала вслед катерам солдатской пилоткой.

Когда скрылись беленькие домики Анапы, Матвей подумал со вздохом: что же ему делать? После стольких смертей, после встречи с Руфой, он без волнения вспоминал Ольгу, скорее, даже не ее, как человека, а свою вину перед ней, и вина эта казалась теперь мелкой, не тревожила совесть. Но что-то упрямо, вопреки логике, вопреки настроению подсказывало ему, что пройдет некоторое время, забудется то, что кажется сейчас важным, и его девушка, первая его девушка, снова вытеснит все и снова займет в нем свое место.

Голова была тяжелой, думалось плохо. Горбушин спустился в каюту командира и уснул там под равномерный гул двигателя и плеск волн.

* * *

Цемесская бухта, глубоко врезавшаяся в материк, удобна для стоянки судов. С двух сторон прикрыта она от ветров длинными мысами, зыбь с моря разбивается о бетонный волнолом. Городские постройки тянутся от бухты к голым высоким горам, лепятся на крутых склонах.

После того как Черноморский флот ушел от берегов Крыма, Новороссийск стал основным местом базирования

боевых кораблей. Горбушин увидел в бухте и эсминцы, и лидер, и даже крейсер. Несколько транспортов стояло в порту. Отсюда уходили караваны судов в Севастополь, на причалах высились, накрытые брезентом, ящики с боеприпасами, мешки и кули с продовольствием.

На раскаленных солнцем улицах было душно. Непрерывно дымили высокие трубы, цементная пыль густо держалась в воздухе, серой пленкой покрывала траву и листья деревьев.

В штабе военно-морской базы Горбушин был зачислен в резерв. Два дня он потратил на то, чтобы выбить у интендантов новое обмундирование. А когда экипировался, пошел по госпиталям разыскивать Квасникова: тяжело раненных и больных вывозили из Керчи в Новороссийск, это он знал точно.

Максимилиан Авдеевич встретил его в длинном пустом коридоре, шагал к нему торопливо, тяжело переваливаясь. Старик так расчувствовался, что красные пятна выступили на щеках. Дышал хрипло, с натугой, и Матвей поспешил усадить его на скамью.

Выглядел Квасников неважно. Мешками висела под глазами дряблая кожа. Пальцы слушались плохо, он с трудом застегивал пуговицы на пижаме. Сразу пожаловался Матвею, что его пичкают лекарствами, а вина не дают, и что лекарство без вина для него — пустой звук. Горбушин пообещал принести вечером пару бутылок.

— У этих эскулапов все нельзя, — ворчал Максимилиан Авдеевич. — Пить нельзя, курить нельзя, по бабам ходить тоже нельзя. В общем, и жить нельзя. Только лежать и в потолок харкать.

— Вы и раньше-то насчет баб не очень... — засмеялся Горбушин.

— Мало ли что! Тут не сам факт важен, а сознание, что ты, когда хочешь, тогда и пойдешь. Дух важен! Эти лекаришки намерились по чистой меня в расход списать. Дудки-с! — показал он кукиш. — Еще полежу недельку и сбегу из этого морга. В Севастополь хотел, но там духота. Я уже знакомым письмом послал, чтобы на север меня... Вот так-то! — искося, по-петушиному глянул он на Матвея.

— Да что вы кипятитесь, — возразил Горбушин. — Хватит вам на пределе-то жить... Поезжайте к семье, поправитесь, а потом опять в строй.

— Не могу-с! Это уж как хотите! Мне надо немца убить. Из пушки или из автомата, все равно, но одного фашиста убить совершенно необходимо.

— Почему это вам так приспичило?

— Именно приспичило, — помрачнел Максимилиан Авдеевич. — Я две войны на фронте, и все в тылах, все накладными заведу. И ни единого противника, понимаете, ни единого, не уничтожил собственноручно. Потому что видел немцев только в качестве пленных и вынужден был кормить их нашей российской кашей. Такая аномалия-с!..

— Вы бы меня про Керчь, что ли, спросили? — перевел разговор Горбушин, пытаясь уйти от темы, слишком уж волновавшей Квасникова.

— А чего спрашивать? Я здесь в госпитале об этом счастье по горло наслушался, — ответил тот. — Вернулся живым, и хорошо. А подробности рассусоливать я не любитель. Кстати, про Мехлиса-то слышали? — засмеялся он хрипло, давясь кашлем. — Погорел Мехлис-то наш, проза-седался! Сняли со всех постов и звание до корпусного комиссара ему срезали. Теперь если и будет дело портить, то не больше, чем в масштабе армии, а это все-таки поправимей.

— Чему вы радуетесь-то? — не понял Матвей.

— Естественному отбору радуюсь. Сановники-прихлебатели летят вверх тормашками, а на их места жизнь настоящих людей ставит. Эти люди не заседать, а командовать будут. Я не сторонник виновных искать, на войне война виновата. Но в Керчи случай особый, тут сразу видно, кто нас в дерьмо посадил. А ведь какие условия для обороны! Не хуже, чем у севастопольцев. И людей больше, и техники больше, и с тылом своим связь...

— Ну, вы скажете тоже! — возразил Матвей. — Керченский полуостров с Севастополем не сравнишь. Там флот, там моряки держат.

— Не вижу-с особой разницы.

— А я вижу. Вы вспомните только, где самая прочная оборона была. Севастополь в Крымской войне — раз. Порт-Артур — два. И теперь тоже возьмите. Хоть Одессу, хоть Ленинград, хоть Мурманск. Ни одной флотской базы немцы с ходу не взяли, везде их намертво стопорят. Вы думаете, этого там, вверху, не понимают? — ткнул пальцем Горбушин. — Все понимают. Как где аврал — туда моряков тянут. Сколько морских бригад под Москву бросили!

И с Тихоокеанского флота, и даже с Северного, хоть там тоже нелегко было. Пехота драпает, а матросы бушлат долой, бескозырку на голову — и в атаку. Назад не смотрят! Вперед — смерти нет! С гранатами под гусеницы ложатся, чтобы наверняка: об этом вы слышали?

— Моряки-то, что же, люди особые? — прищурился Максимилиан Авдеевич. — Такие же грешники, как и все.

— Правильно. Тесто одинаковое, а пироги разные. Море — оно как в кузне характер выковывает. Сколько летчик в воздухе находится? В лучшем случае час в сутки. Ну, и слава ему. А моряк годами на железной коробке торчит. Обшивка с палец толщиной, за ней пучина. Каждый шаг — риск. Попробуйте ночью во время шторма по палубе пробежать. Волна сбивает, палуба скользкая. Зазевался на секунду — готовый харч для акулы. И ведь это не раз, не два, а пять лет для рядового матроса... Один человек ошибется — весь корабль на дно отправит. Отсюда доверие, спайка. Один за всех, все за одного — для нас это не фраза, а жизнь! А пехоту как формируют? Соберут с бору по сосенке и юнцов, и бородачей, погоняют месяц-второй — и на передовую. Рота рассыплется — лепят новую. Люди друг друга не знают, командиров не знают.

— Условия такие, — сказал Максимилиан Авдеевич. — Текучесть в пехоте огромная, и ничего не сделаешь.

— Ну, вот я и говорю, что люди одни, а закалка разная.

— Все, отступаю, — поднял Максимилиан Авдеевич пухлые белые руки. — Отступаю, хотя бы потому, что слаб. Вам не со мной, с молодыми бы спорить. А мне еще пожить нужно.

Матвей спохватился: в самом деле, что это он развоевался перед больным! Пришел, называется, провести и успокоить.

13

В июне положение Севастополя резко ухудшилось. Немцы стянули войска, освободившиеся под Керчью, перебросили дивизии с других участков. День за днем без передышки продолжался штурм. Город был блокирован и с моря и с воздуха. В середине месяца с трудом прорвался в Севастополь транспорт «Белосток». Это было последнее судно, доставившее осажденным боеприпасы и под-

крепления. В дальнейшем через блокаду прорывались только быстроходные военные корабли, но они не могли принимать на борт много груза.

Утром 26 июня старшего лейтенанта Горбушина вызвали в штаб флота, разместившийся в десяти километрах от Новороссийска. Помощник начальника штаба ожидал Горбушина с готовым предписанием.

— Вчера немцы разбомбили севастопольскую Панораму. Какие повреждения, мы не знаем. Приказано вывезти все, что уцелело. Это наша национальная ценность. Немедленно отправляйтесь на «Ташкент». Командир предупрежден. Примете в Севастополе картины и доставите сюда.

— Есть! — с привычной бодростью рубанул Матвей и побежал к ожидавшей его машине. В Севастополь — это обрадовало его. Но поручение озадачило. Он помнил большое круглое здание Панорамы с крышей, как купол, припоминал даже детали картины: матросов у пушек, адмирала Нахимова... Но что с ней делать?

На «Ташкенте» он сунулся было к командиру корабля капитану 2-го ранга Ерошенко, но тому было не до Горбушина. Грузились пехотинцы, требовалось разместить их, принять и закрепить ящики с боеприпасами. Вокруг командира толпились флагманские специалисты. Матвей решил подождать лучших времен, пошел к помощнику и тот устроил его в каюте корабельного минера.

В середине дня лидер покинул Цемесскую бухту и взял курс к берегам Крыма. Обогнав «Ташкент», вперед ушел эскадренный миноносец «Безупречный». Матвей с кормового мостика смотрел ему вслед, любовался стройным быстроходным эсминцем, и даже глаза пощипывало от волнения. Он воспринимал эти корабли как поэму, как высшее создание человеческого разума и интеллекта. Строгие, благородные обводы корпуса, устремленность вперед, подчеркнутая скошенными мачтами и срезом труб, собранность, стремительность, сила — в них было все и они порой казались Матвею одухотворенными существами. Горбушин начинал на эсминцах флотскую службу, и с тех пор остались в нем восторг и преклонение перед этими быстрыми, отлично вооруженными кораблями.

— Правый борт, курсовой тридцать! — громко крикнул сигнальщик. — Три самолета!

Матвей мгновенно спустился по крутому трапу на

палубу. По кораблю неслись резкие, прерывистые сигналы колоколов громкого боя; топая ботинками, бежали матросы. Замерли на своих местах встревоженные пехотинцы.

— Тут те не земля, тут не зароешься! — сокрушенно произнес кто-то.

Лидер резко увеличил ход. Короткими трескучими очередями ударили зенитки. Встреченные плотным огнем, самолеты снизиться не решились. Бомбы, сброшенные с большой высоты, легли впереди лидера. Через минуту корабль шел над этим местом, вода там почти успокоилась. Среди мутной пены поблескивала глушенная рыба.

Под вечер на траверзе Ялты, когда завиднелась вдали позолоченная солнцем корона Ай-Петри, прилетели немецкие торпедоносцы. Головной самолет сразу пошел в атаку и, сбросив торпеду, промчался над кораблем, едва не задев мачту. Матрос-зенитчик успел всадить ему в хвост пулеметную очередь, простым глазом видно было, как сыпались от оперения то ли щепки, то ли железки. Но самолет сделал крутой разворот и ушел к берегу.

Впереди, где отбивался от бомбардировщиков «Безупречный», как раз против Ласточкиного гнезда, взметнулся вдруг черно-белый столб дыма и пара, оттуда докатился низкий, дребезжащий гул.

Лидер рванулся, словно подстегнутый, помчался на помощь своему младшему брату, но было уже поздно. Там, где должен был находиться эсминец, разлился жирно блестящий мазут, плавали люди — очень много людей: ведь, кроме своей команды, на борту «Безупречного» был еще батальон пехотинцев — четыреста человек.

Низко, почти над головами людей, носились немецкие самолеты, вспенивая воду пулеметными очередями. Артиллеристы «Ташкента» шквальным огнем разогнали их, с борта летели спасательные круги и плотки. Матросы готовили к спуску баркас и шлюпки.

Отбиваясь от самолетов, лидер постепенно, словно бы неуверенно, замедлял ход. Из воды обрадованно кричали черные от мазута люди, плыли ближе к кораблю, радуясь близкому спасению. Но были и такие, которые старались отплыть подальше от лидера, махали руками: проходи скорей, не задерживайся! Таких было немного — те, кто уцелел из экипажа «Безупречного». Они знали: лидеру нельзя останавливаться! Если он застопорит ход, то его,

как неподвижную мишень, сразу расклюют стервятники. И тогда погибнут все.

Взаимная выручка — священный закон моряков. Каждый готов пожертвовать жизнью ради товарищей. Но есть высший закон, еще более гуманный, хотя и кажется жестоким на первый взгляд. Морские правила запрещают командиру заниматься во время боя спасательными работами, если это ставит под угрозу корабль и может сорвать выполнение боевой задачи.

По движению лидера Матвей Горбушин чувствовал, как колеблется командир Ерошенко. Вот «Ташкент» еще сбавил ход, начал описывать круг. Новая группа бомбардировщиков пошла на него, но лидер отвернул, и бомбы легли как раз там, где плавали среди обломков люди.

«Ну, решайся, решайся», — мысленно торопил командира Матвей, сам не зная, что же все-таки лучше предпочесть: спасти людей или уходить?! В воде было человек двести. А на лидере одних пехотинцев больше тысячи... И все-таки Матвей, будь он командиром, не смог бы бросить тех, кто ожидал помощи, хотя знал и понимал, что это безрассудство, смертельный риск.

Но командир поступил по-другому. Лидер увеличил ход и продолжал свой путь, отстреливаясь от вражеских самолетов. Горбушин снял фуражку и рукавом вытер пот, заливавший глаза...

Еще на переходе Матвей узнал, что Северная сторона уже занята немцами и в Северную бухту корабли не заходят. При свете луны «Ташкент» медленно втянулся в бухту Камышевую, мелкую и опасную из-за подводных скал, и остановился возле полузатопленной причальной баржи.

Над Севастополем бушевало пожарище, гул и грохот катились оттуда. Пехотинцы высадились с корабля, быстро построились и ушли к городу. Берег бухты был заполнен людьми, тут лежали тысячи раненых, их сразу же принялись переносить на корабль. Много было мужчин в штатском и женщин. Поблизости рвались снаряды. Дважды сыпали бомбы ночные бомбардировщики, но никакой паники, никакого волнения не увидел Матвей. Эти люди привыкли за восемь месяцев к более страшному.

Горбушин собрался было ехать на попутной машине в город на улицу Ленина, чтобы узнать на командном пункте флота, где находится картина. Кто-то сказал ему,

что немцы простреливают весь центр не только из пушек, но даже из пулеметов, посоветовал сходить на 35-ю батарею, в казематы которой перебрался Военный Совет.

Матвей вернулся на причал, и тут выяснилось, что картина, разрезанная на куски, уже привезена из города. Матросы начали грузить ее.

Экипаж корабля работал быстро, без отдыха. За два часа лидер принял с берега больше двух тысяч раненых. Их укладывали на рундуки, на подвесные койки и прямо на палубу, один к другому, оставляя узенькие проходы. Потом поднялись на борт женщины с детьми, инженеры и рабочие — специалисты с севастопольских предприятий. Было тесно, некоторые не могли даже сесть. Люди увозили с собой в карманах и платочках пригоршни сухой земли. Стояли тесной толпой, многие плакали, обнажив головы.

Часть рулонов не поместилась в кормовом кубрике, их пришлось уложить на палубе. Горбушин и двое гражданских товарищей, сопровождавших полотно, уселись тут же. Узнав, что сопровождающие ничего не ели больше суток, Матвей принес колбасу и хлеб. Один из гражданских, нервный, дергающийся, с большими глазами на иссохшем лице, с жадностью набросился на колбасу. Второй ел неторопливо, рассказывая Горбушину, как спасали Панораму.

— Пикировщики на нее налетели, — по-украински мягко говорил он. — Низко шли, прямо над куполом. Попали точно: и купол разбили, и стену. Сразу пожар начался. Туда кинулись бойцы с поста противовоздушной обороны, краснофлотцы сбежались. И ведь надо — так повезло: Анапольский там оказался. Здание горит, рушится, а он собрал людей, показал, как плотно резать. Пожарники тушат, а моряки картину снимают. Окатывали краснофлотцев водой, чтобы не обгорели.

— Кто такой Анапольский? — поинтересовался Матвей.

— Моряк наш, старшина первой статьи, он сам художником до войны был.

— А раньше-то почему не вывезли Панораму? Не додумались, что ли?

— Трогать не хотели, ветхая очень. Уж и так ее чинили и подлатывали все время. Надеялись мы, что не тронут немцы. Специально возле Панорамы никаких воинских частей не ставили, ни одной зенитки вокруг не было.

Немцы знали об этом. Не обстреливали и не бомбили. А теперь, видно, совсем озверели.

— Озверели, — подтвердил глазастый мужчина, приканчивая колбасу. — Сколько их тут побили — не перечесть. Нигде столько не побили, как под Севастополем. Тут на каждый квадратный метр два трупа крест-накрест положить можно. А теперь все, — у него будто в ознобе задержались плечи и шея. — Теперь не удержим. Да и держать нечего, одни развалины. Продали нас керченские боягузы. Сама спаслись, а нас продали!

— А что Керчь? — недовольно сказал Горбушин. — В Керчи тоже не мед был.

— Продали нас керченцы, — упрямо твердил глазастый. — Руки немцу развязали, он на нас всю силу послал, всю авиацию. Немцы в Керчи тысячу орудий целенькими взяли, двести танков исправных. И все — на нас. Из русских пушек русскими снарядами Севастополь били. А у нас на всю оборону тридцать восемь танков, да из них половина, которые из тракторов сделаны. А ты говоришь — керченцы! Немцы вон репродукторы ставили, кричали нам, что под Керчью целые армии сдались.

— Брехня! — резко произнес Горбушин. — Я сам в последний день оттуда ушел.

— Видать, пловец ты хороший, — мужчина нахохлился, как воробей перед дракой. — Что же теперь, поклониться тебе? В ножки упасть?

— Товарищ тут не при чем, — спокойно сказал украинец, обнимая его трясущиеся плечи. Подмигнул Горбушину: извини, мол, не в себе человек. — Товарищ помогать нам пришел, а ты бьешь без разбора.

Никакой вины не чувствовал за собой Матвей, но слова глазастого покоробили его, неприятно и неловко было сидеть рядом с ним. Матвей поднялся, шагнул к леерам.

Осталась позади Камышевая бухта. Часа полтора корабль быстро шел без всяких помех. Под палубой натужно гудели машины, весь корпус вибрировал от напряжения. Потом в ясном утреннем небе появился одинокий самолет-разведчик. Описал большой круг и медленно удалился к берегу. А вскоре оттуда, из-за высоких гор, вырвалась первая пара «юнкерсов». Следом за ней — вторая, третья, четвертая.

Двухмоторные бомбардировщики то резали кораблю

курс, то заходили с носа, со стороны солнца, то налетали с кормы. Стреляли зенитки, оглушительно ухал главный калибр, трещали пулеметы. С гулом рвались бомбы, взмывая белые кипящие фонтаны, обдавая потоками воды палубу. Корабль маневрировал, на полном ходу рыскал то вправо, то влево, ложился на борт так круто, что люди падали друг на друга, в кубриках вываливались из коек раненные.

Горбушин и оба сопровождающих планшмя лежали на рулонах. Раза три или четыре их окатило водой, и украинец, потеряв спокойствие, начал жаловаться, что картина промокнет, приставал к Матвею: нельзя ли перенести рулоны в закрытое помещение? Горбушин даже выругался: по палубе и без груза пройти нет никакой возможности. Да и все помещения забиты людьми.

В коротких перерывах между налетами, когда смолкала стрельба, становилось вдруг необычно тихо. Слышались гул двигателей да плеск волн. Негромко переговаривались рабочие, отряхивались, закуривали. Возле торпедного аппарата все время плакал ребенок. Но вот опять раздавались тревожные крики сигнальщиков, с мостика звучали команды. И снова — рев, свист, треск, рывки из стороны в сторону. Во время шестого налета две бомбы легли рядом с лидером, осколки посекали тех, кто стоял возле борта, нескольких человек смыло водой и они исчезли в бурлящем белом потоке за кормой.

Через несколько пробойн в корпусе хлынула вода. Она затопила носовые отсеки, ворвалась в кочегарку. Вышло из строя рулевое управление. Корабль полз, словно раненый, продолжая отбивать вражеские атаки. Нос его все глубже опускался в воду, корма поднималась...

Добраться самостоятельно до Новороссийска лидер не смог. В открытом море его встретили эсминцы, сняли раненых и пассажиров. На «Ташкент» подали буксирный конец и медленно потянули его в базу кормой вперед.

В Новороссийске Горбушин сдал свой груз. На причал пришли автомашины, специально выделенные для перевозки картины. Украинец сказал, что рулоны придется просушивать и упаковывать заново. Предстоял долгий путь поездом до Новосибирска. Но Матвея это уже не касалось. Он отправился в штаб флота, чтобы доложить: задание выполнено.

* * *

Вечером, прихватив бутылку вина, Горбушин пошел в госпиталь. Новостей накопилось много, было о чем поговорить с Квасниковым.

У входа на второй этаж старшего лейтенанта остановила санитарка.

— Возьмите халат.

— Да я в коридоре побуду.

— Вы к кому?

— К Квасникову из девятой.

Санитарка посмотрела на него внимательно, спросила, наклонившись над столиком:

— Вы кто ему будете?

— Друг-приятель, — засмеялся Матвей.

— Его нет, — сказала санитарка, не повернув головы. —

Обратитесь в регистратуру.

«Удрал! — подумал Горбушин. — Обещал удрать и удрал! Может, даже в одной пижаме, с него станет!»

За маленьким окошком в фанерной перегородке сидел аккуратный седой старичок с черными веселыми глазками.

— Я по поводу Квасникова, — улыбнулся Матвей. — Сбежал он от вас?

— Квасников? — регистратор перебирал карточки. — Максимилиан Авдеевич?

— Точно, — подтвердил Горбушин.

— Сбежал, — кивнул старичок, прищурив глаза. — Сбежал от нас, дарство ему небесное! Вчера и похоронили.

— Что?! — вскрикнул Горбушин. — Что вы сказали?

— Вчера, говорю, похоронили Квасникова. На городском кладбище. Если желаете, номер могилки могу...

* * *

В полдень город содрогнулся от взрывов. Поспешно, вразнобой ударили зенитки. Где-то высоко в небе гудели моторы, а в бухту и на причалы падали бомбы.

Немцы произвели массированный налет. «Юнкерсы» появились неожиданно. Они прилетели не с моря, как всегда, а выскочили со стороны берега, из-за гор. Отбомбились и сразу ушли.

То, чего фашисты не смогли сделать в море, в открытом бою, они сделали исподтишка. Когда Матвей прибежал на

берег, бухта радужно сверкала и переливалась под солнцем; толстым слоем растекся по ней мазут, плавали в нем черные бревна и еще что-то, похожее на бесформенные мешки.

Как памятники над могилами, высились над водой надстройки и мачты искалеченных боевых кораблей. Среди них увидел Матвей разбитые покореженные надстройки лидера. Красавец корабль, десятки раз пробивавшийся в Севастополь, затонул возле берега, оставив в себе многих моряков своего экипажа.

Ошеломленный Матвей долго стоял на бетонной стенке. Его давила нелепость, нелогичность случившегося. Он никогда не верил в судьбу, в пророчества, а тут вдруг подумал, что, может, действительно есть для каждого человека и для каждого корабля точка, в которой оборвется его жизненный курс? А если так, то зачем беречься, зачем заботиться о себе? Что будет, то и будет. Правильно говорили в старину: кому суждено быть повешенным, тот не утонет!

14

Три победы: под Изюм-Барвенково, на Керченском полуострове и в Севастополе — сразу изменили обстановку на фронте в пользу гитлеровской армии. Немцы в эти дни говорили, что посев был очень удачным и что осенью следует ожидать богатой жатвы. Советские войска ослабли, остались без стратегических резервов. А германское командование еще не ввело в действие свои главные силы. На фронте от Курска до Таганрога стояли пять полностью укомплектованных армий. Еще три армии: итальянская, румынская и венгерская — сосредоточивались за их спинами. На союзников возлагалось решение второстепенных задач. Главные лавры немцы готовили для себя.

Теперь не было никаких помех, чтобы начать великое летнее наступление. Группа армий «А» движется через нижнее течение Дона на Кубань, захватывает Майкоп, Грозный, Баку. Группа армий «Б» захватывает Воронеж, а затем выходит к Волге по обе стороны Сталинграда. Впереди — отличная местность, ровная степь, будто специально созданная для действий танковых корпусов. Впереди — богатейшие места южной России. Впереди — нефть, которая поможет победить не только здесь, но и во всем мире!

* * *

— Слушай, приятель, что-то не нравится мне вся эта катавасия, — сказал Вышкварцев, выглядывая в амбразуру. — Опять стервецы какую-то пакость придумывают. Ночью они броды прощупывали, теперь на мотоциклах катаются. Немец — человек аккуратный, он зазря каплю горючего не изведет.

— Да много ли их? — спросил Виктор, откладывая учебник немецкого языка.

— За роту ручаюсь, а может, и больше.

— Скажи Гафиуллину, чтобы пулеметом пугнул.

— Далеко, не захватит.

— Тогда не мешай заниматься. Мне сегодня двадцать слов зазубрить надо и страницу перевести.

— Подумаешь, академик, кто с тебя спросит?!

— Сам спрошу.

— А мне что же, со скукидохнуть?

— Поспи или письмо напиши.

— А ну, — отмахнулся Емельян. — Вчера писал. Пойду лучше Гафиуллину голову брить, он еще утром просил. Ты, приятель, поглядывай здесь.

Вышкварцев надел каску и по земляным ступенькам поднялся в траншею. Наверху нещадно палило солнце, раскаленный воздух над степью казался синим и переливался, как жидкость. Душно и в дзоте. Со стен сыпалась сухая земля. Одно спасение — не попадали сюда горячие лучи.

Виктор встал с ящика, присел несколько раз, чтобы разогнать кровь. Хотел помахать руками — но ударился локтем: в дзоте не развернешься, полтора метра от стены до стены. Через амбразуру виднелась впереди кочковатая низина, за ней поблескивала среди зеленых зарослей река Оскол, а еще дальше, на высоком правобережье, петляла серая от пыли дорога. Обычно немцы пользовались ей только ночью, но в последние дни обнаглели, их мотоциклисты и даже грузовики появлялись в любое время.

Еще на Северном Донце пристали Дьяконский и Вышкварцев к гвардейской дивизии, вырвавшейся из окружения. Всю первую половину июня медленно отходили на восток, сдерживая немецкую пехоту, теряя в боях людей. Остановились только на Осколе, неподалеку от города

Купянска. Здесь, по восточному берегу, тянулся хорошо оборудованный рубеж с дотами и дзотами, с глубокими траншеями и целой сетью ходов сообщений. Немцев тут задержали, но в дивизии не осталось и тысячи бойцов. В батальоне уцелело девяносто красноармейцев и сержантов и только один командир, старший лейтенант по званию. А дали батальону участок обороны в три километра. Получалось по три человека на сто метров. Виктор, Емельян и татарин Гафиуллин сидели возле дзота, не видя соседей. Как на пустынном острове, особенно ночью.

В темноте немецкие разведчики лазили по «ничьей» земле. Порой забирались даже в траншеи. Поэтому до рассвета дежурили все трое, постреливая для острастки из пулемета. Артиллеристы, стоявшие за спиной пехоты, не шибко надеялись на нее, вырыли окопчики впереди батарей и держали там собственное прикрытие из езовых и другого люда, без которого можно обойтись непосредственно на огневой.

Немцы, не беспокоившие нашу оборону целую неделю, опять оживились. И движение по дороге, и набеги разведчиков, и пристрелочная стрельба с закрытых позиций — все это неспроста. Можно было ожидать новой атаки. Но не раньше, чем утром. Немцы любят светлое время. Темнота мешает им использовать технику...

Наверху послышался какой-то шум. Виктор вылез в траншею. Там стоял командир батальона, недавний ротный, разбитой парень-фронтовик, раза три повалившийся в госпиталих. Вероятно, он только что подошел: запыхался, лицо потное.

— Эй, Дьяконский, у тебя какое образование, восемь классов? — спросил комбат.

— Среднее.

— Чего же ты молчишь, так твою так!

— А ты спрашивал?

— А чего мне спрашивать, начальство спрашивает. Мотай вместе с Вышкварцевым в штаб дивизии.

— Зачем?

— Откуда я знаю! Приказано выслать в штадив всех, у кого восемь и больше. Так что валяйте. Я тут сам с вашим татаринцом посижу. А вы — рысью, к четырнадцати чтобы быть там!

Штаб дивизии находился в редкой березовой рощице, в четырех километрах от передовой. Виктор, хоть и легок

был на ноги, все же взмок, пока добрался туда по такой жаре. Рядом со штабом в землянках, врытых в склон оврага, размещались медсанбат и дивизионный обменный пункт.

Сержантов и старшин, вызванных с передовой, собрали возле крытого грузовика. Прибежал распаренный майор, дал каждому по анкете, отпечатанной на машинке, и велел скорее заполнить. Два писаря вытащили из землянки стол, принесли ручки и чернила.

Виктор посмотрел вопросы: год и место рождения, национальность, образование, партийность, когда принял присягу, в каких частях служил и на какой должности, какие награды, ранения... О родителях ничего не спрашивалось, и он облегченно вздохнул.

Майор собрал листки, приказал всем почиститься и надеть медали, у кого есть, а сам исчез. Вышкварцев прицепился к писарям: в чем дело, почему спешка? Те отмалчивались, но настойчивый старшина все же выведал, что в штабе дивизии находится сейчас сам командующий армией и что был большой разнос...

Кто-то выпросил у радистов сапожную щетку. Ребята принялись чистить заскорузлые разбитые ботинки и сапоги. Двое брились, поставив осколок зеркала на подножку машины. Почти у всех были медали, а у одного старшины даже орден Красного Знамени.

— Вот это народ! — с восхищением сказал Вышкварцев. — Вот таких посади сорок гавриков на километр, мы любую атаку отразим!

— Пока что по сорок не получается, — усмехнулся Дьяконский. — Пока что по два гаврика...

Только успели бойцы навести с помощью слюны и щетки кое-какой блеск на свою обувь, пришел интендант и повел их к обозным двуколкам. Там каждый получил новенькие сапоги с зелеными брезентовыми голенищами: легкие и удобные, как раз для лета.

Через пару часов все выстроились на полянке. Появился командующий армией — худощавый и по-кавалерийски кривоногий генерал-лейтенант. Поздоровался басовито, кивнул, довольный дружным ответом. Взял у командира дивизии лист и неторопливо зачитал приказ о присвоении званий младших лейтенантов. Поздравил, прошел перед строем, взглядываясь в лица. Остановился перед старшиной с орденом, спросил:

— За что?

— Взял в плен немецкого майора, товарищ генерал-лейтенант! — гаркнул тот.

— Подвернется полковник — не упускай. А сейчас наша задача — стоять на Осколе и ни шагу назад. Немцы подтянули танки, вот-вот начнут. На вас, на ветеранов, самая большая надежда. Пока есть еще время — учите бойцов. Ну, желаю вам успеха в бою!

Командующий ушел, а командир дивизии вместе с майором распределили новоявленных младших лейтенантов по полкам. Десять человек, среди них Вышкварцев и Дьяконский, были назначены командирами рот, остальные — взводными. Командир дивизии был сердит и выговаривал майору, что тот не воспользовался случаем и не собрал больше людей, так как сорока лейтенантов не хватит и на половину вакантных должностей.

Потом их повели получать пополнение. Дьяконскому дали восемнадцать человек, из них шестеро казахов. Люди все в возрасте, лет за тридцать, но на фронте впервые. Виктор прикинул: два десятка бойцов осталось у них в роте, да еще восемнадцать, это уже кое-что.

Теперь он спокоен за свой километр фронта и за левый фланг: слева была рота Вышкварцева. Сам развел новичков по местам, приставил к каждому опытного бойца, назначил двух сержантов командирами взводов.

Вечером явился в гости Емельян. Сказал, посмеиваясь:

— Ну, приятель, в гору пошли, только далеко ли уйдем? Этот кубик в петличках наполовину шансы выжить убавил. Если смотреть на круг, кто в первую очередь на войне гибнет? Командиры рот да Ваньки-взводные. В атаку всегда впереди, всегда личным примером...

— Ладно, — в тон ему ответил Виктор. — Мы в батальонные командиры выйдем. А батальонных реже закапывают. Они все-таки чуть подальше от переднего края.

— Значит, будем делать карьеру? — подмигнул Емельян. И уже серьезно спросил: — Ты доволен, Витя, ты ведь хотел командиром быть?..

— Доволен, конечно, — не совсем уверенно ответил Дьяконский. — Понимаешь, я знаю, что у меня получится; это не самоуверенность, это просто по силам. Но вот радости настоящей не испытываю. Мечтал, рвался, любил военное дело... А теперь на многое по-другому смотрю. Война опротивела.

* * *

Под прикрытием минометов рота немецких автоматчиков переправилась через Оскол, залегла среди кочек. Фашисты явно прощупывали оборону. Прошлым летом по ним начали бы палить из всех средств, но теперь — дудки! Молчала наша артиллерия, молчало большинство пулеметов. Лишь когда немцы сняли огонь с траншеи и перенесли его вглубь, когда автоматчики перебежками двинулись вперед, накапливаясь для броска, по ним прицельно ударили из винтовок.

Фашисты отошли. Они, наверно, закрепились бы на восточном берегу, но Виктор с тремя бойцами и ручным пулеметом пробрался по балочке, по кустам до окопа боевого охранения. Гафиуллин резанул оттуда пулеметным огнем по открытому флангу. Немцы бросились к броду. Пока фашисты переправлялись, Гафиуллин и два пулеметчика из дзотов прицельным огнем расстреливали их. Истощенные вопли разносились далеко вокруг. На западный берег выбралась жалкая горстка.

— Вот так-то, — сказал Виктор. — Мы вас научим стучаться, прежде чем в дверь входить!

Немецкие минометы продолжали свирепствовать, но бойцы отлеживались в нишах и «лисыих норах», только один наблюдатель был ранен в челюсть...

Атака началась утром. В шесть часов ударила немецкая артиллерия. Била она точно — помогал висевший в небе корректировщик. Траншею затащило дымом и пылью, остро воняло тротилом. В серой пелене багрово вспыхивало пламя разрывов.

На участке Дьяконского снаряды разрушили два дзота из пяти, во многих местах засыпали траншею. Будь тут много людей, снаряды нарубили бы кровавого мяса. Но немцы молотили почти по пустому месту.

Форсирование Оскола фашисты повели сразу на всем видимом пространстве. Перебирались бродом и вплавь; на лодках и на плотках перебрасывали пулеметы и минометы.

Заработали наши артиллеристы. Но огневая завеса была негустой, фашисты просочились сквозь нее, рассыпались по лугу.

Укрываясь в кустах и траве, немцы ползком и перебежками двинулись к траншее. На Виктора шла большая

группа: фашисты вскакивали с криком, тарахтя автоматами. Гафиуллин прижал их к земле длинной очередью.

Между траншеей и речкой одновременно во многих местах появились полосы дыма. Фашисты зажгли дымовые пашки. Ветра не было, отдельные полосы слились в плотную завесу. Ни пулеметчики, ни артиллерийские наблюдатели не видели теперь, что творится на берегу, но сквозь стрельбу все явственней доносилось гудение двигателей. Дьяконский понял: противник переправляет танки.

* * *

Вечером стало известно, что севернее Купянска немцы прорвали оборону и продвинулись далеко на восток. В той стороне горели деревни, туда большими косяками, по восемнадцать-двадцать машин, пролетали фашистские самолеты. Дивизия получила приказ отойти на новый рубеж.

Опять, как в прошлом году, потянулись горькие дни отступления, только теперь было еще хуже. В Белоруссии, в северной Украине много лесов, перелесков, есть где укрыться от авиации. А тут — голая степь, изрезанная балками, лишь кое-где видны на ней старые одинокие деревья. Под такими не спрячешься.

Трое суток немецкая мотопехота шла по пятам. Каждое утро остатки дивизии занимали оборону фронтом на север и на запад. Вспыхивали мелкие стычки. К вечеру дивизия опять начинала отход, оставив небольшие заслоны. Главные силы фашистов действовали севернее, бои откатились на Воронеж. Дивизия таяла от бомбежек. Красноармейцы разбегались по степи при появлении самолетов, многие отставали.

С курганов видно было, как по дорогам, по балкам и прямо по травянистой целине бредут на восток сотни людей. Вся степь усеяна была беженцами и группами солдат. Не то что дивизия — в бескрайних придонских просторах рассеялась целая армия.

Машины, в которых отправляли на восток раненых, обратно не возвращались. Дивизия осталась без колесного транспорта. Даже полковник шагал пешком, вел за собой колонну в шестьсот штыков при пяти пушках и с десятком повозок.

Возле станции Миллерово они оторвались, наконец, от преследования и, пройдя еще сто пятьдесят километров,

вышли к хутору Базки. Дон здесь круто, почти под прямым углом, ломал свое течение. Вдоль восточного берега тянулась длинная улица станицы Вешенской, а правей ее зеленел лес, радующий после голой степи.

Работала только одна переправа, сюда стекались машины, повозки и пеший люд со всех окрестностей, от станицы Казанской и севернее. И вверх и вниз по течению, насколько хватал глаз, копошился серый муравейник. Эта людская масса, выкатившаяся из степи, принесла с собой столько пыли, что и трава, и кусты, и дома в хуторе — все было покрыто толстой коростой. Мутной казалась вода в реке.

Оттаявшие дожидаться очереди на переправу, многие перебирались вплавь. Повсюду маячили на воде черные головы. И по тому, как сносило пловцов, чувствовалось, что течение здесь сильное. Множество бесхозных подвод и грузовиков скопилось в кустарнике и на песчаной косе.

Пока Дьяконский и Вышкварцев мылись и стирали в Дону выгоревшие до бела гимнастерки, Гафиуллин раздобыл где-то молодого барашка и умело освежевал его. В крайнем доме хозяйка затопила печь, принялась стряпать на весь батальон.

Командир дивизии вернулся с переправы мрачный, приказал отдыхать до утра. Поужинав, Виктор пошел в огород, прилег на теплую землю среди подсолнухов. Рядом вытянулись на плащ-палатках Вышкварцев и комбат. Распухшее усталое солнце медленно оседало к земле, протянув вдоль реки длинные багровые полосы.

— Эй, приятель, ты знаешь место какое тут знаменитое? — спросил Вышкварцев.

— Знаю, — неохотно ответил Виктор, покусывая травинку. — Давно мечтал побывать.

— Да, Витя, для меня это самая любимая книга. Всегда она у нас с отцом на столе, как евангелие, лежала.

— Ребята, о чем вы, так вашу так?! — приподнялся комбат.

Дьяконский скользнул по нему невидящим взглядом, вспомнил вслух:

— Вешенская — вся в засыпи желтопесков. Невеселая, без садов, станица... Кажется, так...

— Не видно песков-то, — снова сказал комбат.

— Далеко, вот и не видно, — отмахнулся Вышквар-

цев. — А Базки-то вроде по описанию крепко на хутор Татарский смахивают. Я сперва даже удивился, будто в знакомое место попал.

— Возможно, — кивнул Дьяконский. — Когда переправимся, обязательно дом разыщем.

— Да ведь самого-то нет здесь, он на фронте наверняка.

— Все равно посмотрим.

— Дьяконский, так твою так, чего темнишь? Знакомые, что ли, у тебя тут?

— Знакомые, — спокойно сказал Виктор. — А если ты еще раз обратишься ко мне с матом, спущу под обрыв. Понятно?

— Понятно, — сказал комбат. — Телячьи нежности. В бою небось не обижался.

— Там дело другое.

— Да, ты уж привыкай с людьми по-человечески, а не по-собачьи, — поддержал Вышкварцев.

— А ну вас, так вашу так, — засмеялся комбат. — Ну, чего навалились двое на одного? Я ж ведь от всей души к вам. А раз не нравится, значит, не буду.

* * *

Рано утром, едва дивизия успела переправиться через Дон, появились немецкие самолеты. Первые бомбы упали в реку. По берегу, подальше от опасного места, брызнули в обе стороны красноармейцы. Виктор лег на спину возле самой воды, следил за темными машинами, пронесившимися над рекой. Он видел, как отделяются от них черные капли бомб, и каждый раз точно угадывал: это дальше, это левее, это на тот берег! Когда тройка самолетов вырвалась из-за хутора, он понял — сюда!

Нарастающий вой заглушил все звуки. Виктор закрыл глаза и сразу подумал: зачем? Приоткрыл их, увидел кусок синего неба, исполосованный дымом, и в эту секунду на него с треском обрушилось что-то черное: подбросило и закрутило. Ему казалось, что он летит в воздухе, он пытался раскинуть руки, чтобы упасть плашмя, но упал боком, и по всему телу мгновенно разлилась сильная боль.

Когда Вышкварцев и Гафиуллин подоспели к нему, Виктор лежал вытянувшись во весь длинный рост, ноги

его до колен были в воде. В десяти метрах левой дымилась цепочка неглубоких воронов.

— Ой, команды-ы-ыр! Ой, команды-ы-ыр! — по бабьи причитал Гафиуллин, ползая около Дьяконского на коленях. Емельян разордал окровавленную гимнастерку Виктора, приложил ухо к груди. Сердце билось. Осторожно смыл кровь на голове. Осколок, как бритвой, срезал Дьяконскому половину правого уха.

— Ничего, — сказал Вышкварцев. — Это ничего, кость не задета.

Другой осколок пробил Виктору шею возле ключицы. Рана была неглубокой, но из нее сильно текла кровь, и Емельяну она показалась опасной. Он крепко забинтовал ее.

15

6-я немецкая армия, по своим силам и средствам в пять раз превосходившая любую советскую армию тех дней, рвалась к Сталинграду самым кратчайшим путем. Быстро выдвинувшись из района Миллерово в излучину Дона, немцы стремились захватить удобные переправы, особенно мосты около Калача. К этой излучине было приковано внимание обеих воюющих сторон. Советское командование бросало сюда свежие части, в том числе только что прибывшие с Дальнего Востока. Из рассеянных по степям войск спешно формировались новые полки.

Гвардии младший лейтенант Вышкварцев с остатками своей роты вышел к железной дороге южнее станции Фролово к будке обходчика. Там их встретил незнакомый капитан с тонким, как лезвие, носом, надменный, но вежливый.

Вышкварцев попробовал объяснить, что они отходят организованно, что сзади, в главной колонне, движутся остатки их дивизии во главе с командиром. Но капитан не стал слушать. Приказал младшему лейтенанту отправиться на сборный пункт вместе с красноармейцами.

Вечером погрузились в теплушки. Эшелон пошел на юг, к Сталинграду. Высадились на окраине города, возле казарм, вокруг которых были вырыты сотни землянок.

Дела тут вершились с завидной быстротой. Вышквар-

цеву дали трех сержантов и тридцать красноармейцев, назначили в роту молодого спокойного парня — политрука. К вечерней поверке младший лейтенант едва успел составить списки и разбить людей на три взвода. Только начина бойцы устраиваться на нарах, поступил приказ строиться. Пошли на склад. Там каждому красноармейцу выдали лопату с полый металлической ручкой. Старшина-кладовщик объяснил Вышкварцеву, что это не просто лопата, но к тому же еще и миномет. Действительно, в комплекте с минометом-лопатой бойцы получили крохотные, будто игрушечные, минки.

— Дожили, — ворчал кто-то. — Скоро котелок-каску изобретут. В бою на голове носи, а в обед кашу из нее трескай.

Со склада батальон повели на плац. Здесь уже ожидала колонна грузовиков. Началась посадка.

— Ну и спешка! — удивился Вышкварцев.

— Значит, дыра где-то, — ответил политрук. — Дыру затыкать поедом.

Машины пошли на запад и под утро проскочили по мосту через Дон. Высадив пехоту километрах в пятнадцати от реки, машины сразу повернули обратно. Люди начали окапываться, но твердая, спекшаяся под солнцем земля поддавалась с трудом. Да и непривычно было рыть этими полулопатами-полуминометами... Никто не знал толком, как ими пользоваться, того гляди еще поломаешь.

Быстро светало. Впереди лежала ровная, как стол, степь с серой от пыли невысокой травой. Слева тянулась дорога, по ней двигались пешие и повозки. Сзади, на курганчиках, разместились артиллеристы. За позициями своей роты Емельян насчитал двенадцать противотанковых пушек (целый дивизион!) и столько же гаубиц. Подобного скопления артиллерии Вышкварцеву никогда видеть не доводилось, и он сказал себе с удивлением: «Ого, тут, кажется, воюют всерьез!»

Взошло солнце, и сразу стало жарко. Бойцы сняли гимнастерки. Над полоской разрытого чернозема мельтешили, склоняясь и разгибаясь, желтые спины. Людей не надо было подгонять, сами торопились зарыться поглубже, чтобы не остаться наедине со смертью в голой степи, на юру.

Несмотря на то что дорогу и переправу через Дон немцы бомбили без передыху, на рубеж продолжали прибывать подкрепления. Приехали на грузовиках броне-

бойщики. Противотанковые ружья было приказано расположить впереди окопов. Пешим порядком прибыл сводный курсантский полк. Он прямо с марша развернулся в степи и начал окапываться. Левей курсантов, перехватывая дорогу, занимала оборонительную линию морская бригада.

Ни моряки, ни курсанты окопаться не успели. Тремя волнами прошли над ними бомбардировщики, последняя волна сбросила бомбы на рубеж Вышкварцева и на артиллеристов. Степь зачернела кругами воронок.

Едва кончилась бомбежка — начали рваться снаряды. От пыли и дыма померк солнечный свет, видимость сократилась настолько, что Емельян с трудом мог разглядеть позиции курсантов. Там возникли громоздкие темные силуэты. Вышкварцев, пригнувшись, пробежал по окопу, приказал приготовить противотанковые гранаты.

Несколько раз принимались отрывисто лаять за спиной противотанковые пушки. Емельян лежал рядом с молчаливым политруком, не зная, что делать. Немецкой пехоты не было видно, а танки до окопов не доходили.

Противник отбросил курсантов. Отступали они организовано, группами, прикрывая друг друга огнем. Откатились до рубежа пехотинцев и задержались тут. В окопах сделалось тесно. И сразу же прекратилась стрельба. Немцы будто успокоились на достигнутом.

Красноармейцы и курсанты углубляли окопы, начали рыть ходы сообщений. Из тыла доставили харч: по два сухаря и по две воблы на человека. Вышкварцев матюкнулся: это надо было сообразить — люди и без того изнывали от жажды. Молчаливый политрук постучал воблу по прикладу автомата, умело очистил и съел с трудом — не лезла в сухое горло. Потом сказал Емельяну:

— Пойду на капе, вытрясу чай и еду.

— Вытряси, — обрадовался младший лейтенант. — Тряхни покрепче, может, и противотанковых гранат нам подкинут.

Политрук скоро вернулся и сообщил, что воду и боеприпасы обещают привезти ночью, а сейчас велено собрать по три человека от взвода и всех командиров, будут зачитывать приказ, который называется «Ни шагу назад!».

— Прямо в окопах? — спросил Вышкварцев. — Ну и нашли место! Мы ведь и сами знаем, что надо насмерть стоять... Еще с прошлого года знаем.

— Это особый приказ, — понизил голос политрук. — Это приказ Сталина, сегодня его зачитывают во всей армии, во всех ротах, эскадронах и батареях. Но нас он касается в первую очередь.

Емельян промолчал: если уж бойцам читают приказ Верховного Главнокомандующего, то это дело серьезное.

Незадолго до заката, в роту пришел батальонный комиссар в новенькой гимнастерке и огромных солдатских сапогах. Вышкварцев разместил людей в том месте, где от окопа отвешивался ход сообщения к батареям. Командиры и красноармейцы стояли тесно, плечом к плечу; а сзади напирали, просили подвинуться.

Батальонный комиссар протер очки в роговой оправе, надел их, потом снова снял и протер. Листок бумаги развернул бережно, разгладил складки и гулко откашлялся. Голос его напоминал левитановский.

Вышкварцев стоял рядом с комиссаром и не пропустил ни одного слова. Да, это было что-то совсем новое. Еще никогда не говорилось так прямо и откровенно о неудачах и поражениях... Наши войска без приказа оставили Ростов и Новочеркасск, открыли дорогу на Кубань и к Волге. Потери велики. Немцы захватили огромную территорию, богатые районы. Дальше отступать невозможно. Вспомните, какими глазами провожают нас матери, жены, сестры... Народ заклеймит нас позором... Отходить некуда. Теперь может спасти только одно: ни шагу назад! Расстреливать трусов и паникеров. Не считаясь со званиями. Расстреливать тех, кто дрогнул или попытлся, кто отошел без приказа...

Емельян старался покрепче запомнить все, что читал и о чем говорил батальонный комиссар. Надо подумать потом на досуге. Вспомнил разговор с Виктором о тех, кто сдается в плен. Да, сейчас не до жалости, сейчас разбираться некогда. Волга и Урал («Неужели Урал!» — ужаснулся он) — это последние рубежи. Люди ожесточились. Как ни скверно было в прошлом году, но тогда знали, что все беда — от неожиданности, надеялись на скорые перемены. Зимой поверили, что перемена пришла. А теперь — никакого просвета. Немцы опять наступают, скоро не останется ни земли, ни людей. Сколько живет государство Российское, а враг никогда еще не отхватывал такую территорию. Разве что при татарах...

Вышкварцев посмотрел на своего политрука. Тот стоял

насупившись. Поймал взгляд Емельяна и усмехнулся с горечью, через силу.

— Ну и как? — спросил младший лейтенант.

— Все правильно, — ответил он и, отвернувшись, добавил невнятно: — Мимо дома я отступал. Мать сказала: немца не стонишь — не приходи. И крестик в карман сунула.

— Ты береги, — строго сказал Вышкварцев. — Может, вернемся...

— Берегу, — кивнул политрук. — Со смертным медальоном ношу. Проволочкой их скрутил...

Батальонный комиссар ушел читать приказ в соседнюю роту. Багровое солнце коснулось земли и будто сплющилось, медленно стекая за темную черту горизонта. Потрескивали редкие выстрелы. Фашисты получили отпор и теперь притихли, ожидая, вероятно, новых сил. Из окопов на «ничейную» землю поползли разведчики. За ними — санитары, подбирать раненых.

Привезли, наконец, воду в бочках. Красноармейцы наполняли котелки, наливали в каски. Потом приехала кухня с кашей, но к этому времени почти все измученные бойцы уже спали.

Вышкварцев и политрук отдыхали по очереди. Емельян поднялся во втором часу, прошел по окопу, угостил крепкой махоркой дежурных пулеметчиков и загнул им пару соленых анекдотов, чтобы разогнать сон.

На курганчиках слышались громкие голоса, стук металла о металл — там чинили подбитые пушки. Кто-то ругался — привезли не те снаряды. За позициями фашистов скользили полоски света. Немцы ездили по степи с включенными фарами. Вдали тянулась цепочка желтых мигающих огоньков: к передовой приближалась колонна вражеских машин. По ним не стреляли — артиллеристы, как всегда, берегли свои «огурцы».

Пришел лейтенант-сапер посоветоваться, какое направление танкоопасное и где ставить мины.

— Тут везде опасно, приятель, везде место ровное. А много ли у тебя мин?

— Сто штук.

— И то хлеб, — обрадовался Вышкварцев. — Давай воткнем их перед окопами бронбойщиков, чтобы ребята целились поспокойней.

Саперы выползли вперед, принялись за работу. Когда начало светать, фашисты заметили их. Раздался резкий

скрип, утреннюю тишину разорвал грохот взрывов. Это ударили немецкие шестиствольные минометы — «ишаки». Снова запахло дымом и горелым тротилом. Красноармейцы забивались в подбрустверные ниши.

Вышкварцев вспомнил про минометы-лопаты. Их в роте больше тридцати штук, надо попробовать. Поставил лопату наклонно, прикинув на глазок угол. Опустил в игрушечный ствол игрушечную мину. Пыхнул легкий дымок, и мина улетела неизвестно куда. Наверно далеко, так как взрыва Емельян не увидел. Он сократил дистанцию, выстрелил в бугорок, метрах в двухстах от окопа. Но мина отклонилась на пятьдесят метров в сторону.

— Пускай из этой трубки сам изобретатель пуляет, — разозлился младший лейтенант. — От нее такой же толк, как от кривого ружья.

— Да нет, ничего, — сказал политрук, наблюдавший за действиями Вышкварцева. — Если метров на двести ударить сразу целой ротой, то эффект будет. А в общем, конечно, ни лопата, ни миномет. И мин для них никогда нет. Нам весной выдали такие лопатки, а через неделю их бросать начали. Пришлось собирать да в тыл...

Емельяну нравилось спокойствие этого парня. Вот и сейчас он сидел на земляной приступке, грыз воблу, не обращая внимания на разрывы. Поблизости не было бойцов, и Вышкварцев спросил негромко:

— Как думаешь, приятель, удержим мы этот рубеж?

— Думаю, что нет, — рассудительно ответил тот. — Если не у нас, то у соседей немцы прорвутся.

— А как же приказ?

— Ты знаешь, зачем нас здесь держат? — в свою очередь спросил политрук. — Что, позиция здесь удобная?

— Нет, приятель. Мы тут, наверное, вроде амортизатора. Тормозим немцев, пока наши на восточный берег переправятся, пока там оборону наладят.

— По Дону, — сказал политрук. — Я думаю, после этого приказа мы их по Дону остановим. Река поможет.

Емельян кивнул и тоже взялся за воблу.

Немецкие машины, ездившие ночью с фарами, укрылись где-то в оврагах и суходолах. Степь казалась безлюдной. Только оттуда, где вчера оборонялись курсанты, летели и летели мины. Через каждые десять минут пронзительно скрипели шестиствольные «ишаки». В роте появились раненые.

С запада слышалось гудение моторов. Как и вчера, немецкие бомбардировщики шли широким фронтом. Вслед за первой волной из-за горизонта наполнила вторая. Емельян посмотрел на часы: только одиннадцать! Ох, до чего же длинные эти летние дни, как еще долго до темноты!

После бомбежки Емельян с трудом разлепил забитые пылью глаза. Вокруг ворочались, вставая, осыпанные землей люди. Слева окопы метров на сто были изуродованы воронками, и там никого не осталось в живых.

Впереди появились вражеские танки. Они неслись на полной скорости, чтобы ворваться на рубеж сразу после бомбежки, не дав русским опомниться. Навстречу им сухо забили противотанковые пушки, ударили уцелевшие бронейки. Саперы, оказывается, успели поставить мины; несколько машин взорвались на них. Головные танки замедлили бег, маневрируя и стреляя, сзади накатилась новая цепь: опять танки и густо бегущая следом пехота.

Емельян схватился за ручной пулемет, притиснул к плечу приклад. Нажал спусковой крючок, пулемет жестко затрясся, застрекотал. Вышкварцев повел стволом вправо, влево, целясь по фигурам, мелькавшим в просветах между машинами. Щелкнул вылетевший из зажимов пустой диск. Второй номер поставил новый. Опять длинная очередь. Немцев больше не видно. Нет, вон они, шевелятся возле воронки. Еще очередь. Щелкнул пустой диск... Какой там черт снимает с него сапог!

— Ложись! Ложись! — тянул его вниз второй номер. Но Емельян не успел. Танк прогрехотал рядом, обдал вонючим газом. Он шел на батарею, хлеща пулеметным огнем. Второй номер лежал на дне окопа, по гимнастерке расплзлось темное кровавое пятно. Вышкварцев снова схватился за пулемет, но диск был пуст. Перед самым лицом завертелась вдруг граната с длинной белой ручкой, и Емельян нырнул в окоп. Взрыв полыхнул над головой.

Инстинктивно чувствуя опасность, он поднял автомат и начал бить вверх. Струя пуль налету подрезала немца, прыгнувшего в окоп. Он упал на Емельяна со стоном, обмякший и почему-то мокрый. Столкнув его, младший лейтенант бросил через бруствер гранату и только потом высунул голову. Неподалеку ярко горел танк, возле него перебежали немцы. Больше ничего нельзя было разглядеть в черном дыму. Слева стрельба перекатывалась вдоль линии окопов, Вышкварцев послал туда двух красноармейцев. Пошел сам,

но что-то случилось с ногой, он запнулся, упал и выругался. Сапог был наполовину снят, он и не заметил в горячке.

Емельян натянул сапог — это привычное дело как-то вернуло ему спокойствие. Он улыбнулся и сказал себе, что не надо метаться по траншее, надо стоять и стрелять. Пошарив возле пулемета, разыскал в нише снаряженные диски и дал несколько очередей по немцам возле горящего танка.

Чувствовалось, что противник не выдержал напряжения. Уцелевшие танки блуждали среди дыма, пехота начала отходить. Стрельба стихала. Казалось, что еще несколько минут и наступит передышка. Но в это время на окопы накатилась новая цепь атакующих. Танки устремились дальше, на артиллерийские батареи. В окопах немцы и наши сошлись врукопашную.

Емельян отбивался гранатами. Одну за другой швырял их через бруствер, гранаты рвались недалеко и не подпускали немцев. Возле ротного сбился кучка красноармейцев, они стреляли вдоль окопа и в тыл, по выпрыгнувшим из машины танкистам.

Гранаты кончились, Вышкварцев схватился за автомат, но с бруствера, гортанно крича, посыпались вниз немцы, падали друг на друга, на наших бойцов, стреляли, куда попало. Емельян отпрыгнул за поворот, выставил автомат и в упор, очередь в живот, уложил набежавшего солдата. Резко обернулся на крик, но было уже поздно: лицо обожгли острые язычки пламени.

Он сползал вниз медленно, цепляясь слабеющими руками за сыпучую землю. Немец выстрелил еще раз, оттолкнул его плечом и побежал дальше.

* * *

Как ни спешили фашисты к реке, но в этот день они не смогли выйти на берег Дона. Прорвавшиеся танки были оснащены артиллеристами. Пятьдесят шесть бронированных машин горели в степи, возле окопов и на курганах. Сотни трупов валялись среди воронок, особенно много их было в окопах и ходах сообщений. В иных местах убитые немцы и русские лежали в несколько слоев. Раненые из последних сил тянулись к оружию и стреляли в стонавших рядом недобитых врагов.

Ночью через Дон переправились восемь орудий и пол-

торы сотни бойцов. Это все, что уцелело от морской бригады, курсантского полка и стрелковых частей. Утром к реке подошли вражеские танки. Но они опоздали. Все переправы были взорваны. Вдоль восточного берега тянулся оборонительный рубеж, занятый подоспевшими сюда советскими войсками.

Прорваться к Сталинграду кратчайшим путем немцам не удалось.

16

Когда началось большое летнее наступление 1942 года, Гитлер перенес свою ставку в Винницу, ближе к фронту. Берлин самодовольно переваривал приятные новости. Газеты прославляли генералов Манштейна и Гота. При блеске новых успехов имя Гудериана совсем померкло. О нем не вспоминали. Даже полковник Шмундт и тот ни разу не позвонил ему.

С двойственным чувством следил Гейнц за ходом событий. Как патриот, он радовался успехам армии. Но зависть мешала ему быть объективным. Особенно болезненно воспринимал он победы своего старого коллеги генерал-полковника Гота. Да, танкисты снова показали себя. Маневр был блестящий, как раз в том стиле, который проповедовал Гудериан.

Прорвавшись от Курска к Воронежу, танкисты Гота проложили путь пехоте, а затем повернули круто на юг, стремительным маршем через степи вышли в большую излучину Дона. Русские сумели задержать войска, наступавшие к Сталинграду по прямой. И тогда Гот совершил еще один превосходный маневр: переправил свои танки через Дон возле станицы Цимлянской, захватил станцию Котельниково и устремился на Сталинград с юга.

Наступление большими массами повернули круто на юг, оперативных просторах! — разве не об этом мечтал всегда Гейнц. В прошлом году такая возможность была ограничена местностью. А у Гота идеальные условия. Он действует на равнине, не привязан к дорогам. Гот пользуется сейчас славой. Гудериан утешал себя мыслью, что нация никогда не забудет того, кто создал танковые кулаки, кто научил их наносить дробящие, неотразимые удары...

Операции развивались успешно. Оптимисты снова заговорили о близком конце восточной кампании. Но как это

ни странно, Гудериана не покидало внутреннее беспокойство, подсознательная тревога. Сначала он приписывал это шоку, который сам пережил на Восточном фронте. Разве не казалось тогда ему, что победа совсем рядом? А теперь? Теперь тем более. Один из старых знакомых прислал ему из России перевод приказа «Ни шагу назад!» Даже сам Сталин признавал, что Советский Союз находится на краю катастрофы, что какие-то считанные метры отделяют русских от пропасти. В немецкой армии такой приказ, такое обращение к солдатам было бы невозможным даже при самом плохом положении дел. Вполне естественно, что фюрер сразу сделал из этого свои выводы, бросил вперед все силы, не оставив резервов. Но разве можно до конца понять русских? Когда немцы напрягали под Москвой последние силы, русские нашли вдруг в глубине своей огромной страны несколько новых армий. Где гарантия, что подобное не повторится?

Два факта особенно беспокоили Гудериана. Советские войска изменили тактику. Теперь они не удерживали территорию, они научились маневрировать, уходить из-под ударов. Немцы смогли рассеять и потеснить несколько русских армий. Но наступление велось только фронтально. Все попытки окружить большие массы войск оканчивались неудачей. А ведь прошлым летом окружение было главным козырем.

В мае — июне, всего за восемь недель и на сравнительно небольших участках, в районе Харькова и в Крыму, немцам удалось захватить большие трофеи и полмиллиона пленных. Теперь войска продвинулись до Волги и до Кубани, отвоевали огромную территорию, но, по точным данным генерального штаба, взято в плен всего восемьдесят тысяч человек. Очень уж непропорционально выглядели эти цифры. Говорили они прежде всего о том, что русские пытаются сохранить свои главные силы, что решающие сражения еще впереди. И тогда... Тогда фюрер снова позывает его в строй! — к этому сводились в конце концов все размышления Гудериана.

17

В Новороссийске формировались морские батальоны. Два эшелона уже ушли на Краснодар, навстречу немцам, катившимся от Дона к Кубани. Готовился третий эшелон.

Людей было достаточно: краснофлотцы и старшины с погибших кораблей, из Керченской базы, бойцы, вывезенные из Севастополя, моряки, выписавшиеся из госпиталей. Молодежи совсем мало, народ подобрался лихой, выдавший виды. В роте старшего лейтенанта Горбушина из 90 человек почти половина имела награды.

Строй выглядел пестро. Те, кто недавно сошел с кораблей, щеголяли во всем флотском: и клещи, и фланелевки, перепоюсанные пулеметными лентами, и даже хромовые ботинки первого срока. Кое-кто в гимнастерках, у большинства форма сборная. Флотские брюки заправлены в обмотки, или еще чище: на плечах роба, галифе синие, командирские, на ногах армейские сапоги. Но тельняшки и бескозырки — это у всех. Даже бронебойщики, присланные с пересыльного пункта, и те сразу обзавелись тельняшками.

— Лирическая смесь, — сказал Горбушин мичману, назначенному старшиной роты. — Попробуйте привести к общему знаменателю.

— Есть, — ответил розовощекий здоровяк мичман и добавил осторожно: — Огорчатся ребятишки, если флотское отберем... Да и не отберешь: попрятчут... Меня самого, товарищ старший лейтенант, два раза в хаки переодевали, а я все в черном.

— Да не про хаки речь. Может, морскую форму раздобудем?

— Попробую, но вряд ли. Форма в Поти лежит, а тут норовят зелень всучить.

Матвей и сам опасался, как бы не приказали переодеться в армейское обмундирование. Но скоро успокоился. Командир батальона, щеголеватый капитан-лейтенант с черными баками, в мягкой фуражке с крутым «нахимовским» козырьком, сказал, что такого указания нет и не будет — об этом он позаботится. Больше того, этот пробивной одессит раздобыл где-то триста фланелевок еще довоенного шитья, с красными звездами на рукавах. Их хватило почти на весь батальон.

Прошла неделя. Матвей познакомился с людьми, прочитал боевой устав пехоты, наставления по тактике. Провел несколько занятий с матросами. Слушали его без особого интереса.

Краснощекый мичман Морозов прямо сказал ему:

— Знаете, товарищ старший лейтенант, все это алала-алала. Пустой звук. Попадем на место и будем действо-

вать по обстоятельствам. Не как бумаги говорят, а как голова подскажет. Не первый раз.

Матвей промолчал, но мысленно согласился с мичманом. Вспомнилась Керчь — какой устав там приложишь? Какими параграфами предусмотрены морские батальоны? Ими затыкают самые опасные пробоины, чтобы остановить течь...

Во время обеда на камбуз пришел капитан-лейтенант в парадной форме с двумя орденами, в скрипучих, чуть запыленных ботинках. Снял свою чудо-фуражку, крикнул весело:

— Товарищи, просите добавку. Через два часа едем! Командиры взводов и старшины рот — ко мне!

С крайнего стола какой-то краснофлотец спросил:

— Каким курсом, товарищ капитан-лейтенант?

— Ишь, любопытный, — засмеялся тот. — Кубанские казачки о нас соскучились.

— Развеселим! — сказал мичман Морозов. — Это мы можем.

На станции батальон погрузился в десять теплушек. Моряки задыхались в тесных коробках. Воздух, раскаленный горячим августовским солнцем, казался белесым. Но вот поезд тронулся, в открытые двери вагонов потянул ветерок. Вдали, за голыми гребнями гор, осталось синее море.

Ехали без задержек, сходу проскакивали мимо вокзалов, мимо запруженных беженцами перронов. Остановились только в сумерках — путь впереди был разбит. Командир батальона дал команду: «Выходи строиться!»

В степи ожидали моряков десятка полтора верховых: все пожилые, усатые, в красноверхих шапках-кубанках, с шашками, с лампасами на шароварах. Это были казаки — добровольцы из кавалерийской дивизии, прикрывавшей отход войск к горам. От них моряки узнали, что Краснодар уже сдан.

Выстроившись колонной, быстро двинулись на северо-восток. Навстречу шли толпы людей, катились автомашины, скрипели длинные, крытые жестью, арбы. Колхозники гнали гурты скота, ни на минуту не утихало мычание, ржали лошади, блеяли овцы. А чуть дальше от дороги тянулась цепочка огней, несло оттуда горьким дымком. Там, возле костров, останавливались на отдых уставшие.

Казаки ехали впереди, где уговорами, где угрозой, а где

и нагайками расчищали путь. Беженцы теснились к обочине, пропуская моряков: к фронту шли только они. Горбушина удивляло, что им часто встречаются большие группы красноармейцев, пешие и на машинах. Вразброд прошла колонна: целый батальон с пушками в конной упряжке. Люди шагали вяло, усталые и равнодушные. Пестрели в рядах белые повязки.

— Драпает пехота-то, — сказал мичман Морозов, и не понять было, то ли усмехается он, то ли тревожится. Он вообще был жизнерадостным человеком, этот краснощекий здоровяк. Шел с улыбочкой, чуть посвистывая, хотя кроме полной боевой выкладки тащил на себе мешок с сухой колбасой и еще баян. А баянист, худенький, похожий на подростка старшина 2-й статьи, шел сзади налегке, с одной винтовкой да с гранатами. Морозов шефствовал над ним, оберегал всячески, зато в свободное время требовал играть не отдыхая и «классно».

Матвеем без привычки идти было трудно, разговаривать не хотелось. Он промолчал, но мичман сказал снова:

— Кисло, значит, там, товарищ старший лейтенант, раз пехота удочки сматывает.

— Перегруппировка, — ответил Горбушин, освоивший к этому времени кое-какие сухопутные термины. — Или на новый рубеж отходят.

— Ясно и понятно, товарищ старший лейтенант. Организованный отход по приказу командования. Им суток двое или трое организовано драпать придется, чтобы в горы уйти. А нас прикрывать заставят, это уж как пить дать.

— Раз надо — прикроем.

— Конечно, — сказал Морозов. — Это мы можем. Только неуютно здесь, обстановка не та. В Севастополе, бывало, оглянешься — за спиной море. Дышать веселей. Воздух чище. — Мичман помолчал, передернул плечами, удобней устраивая свой груз, и предложил весело: — Товарищ старший лейтенант, что это мы как на похороны идем? Песню рвануть надо.

— Среди ночи-то?

— Не все ли равно? Немец не услышит. А если услышит — ему хуже будет. Пусть знает — матросы идут!

— Подожди, комбата спрошу.

Прибавив шаг, Горбушин догнал капитан-лейтенанта, возглавлявшего колонну со взводом разведчиков. Тот понял с первого слова.

— Песню? Добро!

Сам остановился, пропуская первую роту, крикнул за-
певалам, чтобы начали, да веселей. Те без задержки броси-
ли на дымный степной ветер знакомый мотив:

Якорь поднят, выпел алый
Плещет на флашто-о-оке!

Тут же в сотню глоток с подвисистом грянула рота:

Краснофлотец, крепкий малый,
В рейс идет далекий!

Сразу подравнялись, подтянулись шеренги, роты будто
спружинились, сократив интервалы, ноги сами чеканили
шаг.

На родном борту линкора
В небо смотрят мачты.
Я вернусь, подружка, скоро,
Не грусти, не плачь ты!

Невесть откуда появилась вдруг бричка на высоких
колесах, в нее тотчас прыгнул гибкий, как кошка, баянист
Костя, мичман на ходу передал ему инструмент, и старши-
на рванул во всю ширь мехов заливчатское «Яблочко».

Заглушая отзвуки канонады, далеко катились по стене
флотские песни. Останавливались на дороге беженцы, схо-
дили на обочину отступавшие части, спешили от костров
люди, бросив котелки с кулешом. Шпалерами стоял по
обе стороны народ, глядя на черные, плотно сжатые ко-
лонны. И когда пропылили вслед за колоннами пароконные
повозки, груженные пулеметами, какая-то старушка сказа-
ла радостно:

— Слава те господи! Матросики пошли. Теперь и за-
ночевать можно. А то ведь буренка-то моя совсем ноги под-
била!

* * *

После полуночи батальон, свернув с дороги, втянулся в
узкую балку. По цепи передали: не шуметь, командиров
рот и политруков — в голову колонны.

Командиры собрались в землянке, врытой в склон ов-
рага. Вход в нее был завешен одеялами. Горела толстая,
чуть ли не в кулак, свеча. В дальнем углу полулежал на
куче седел кавалерийский полковник с худым изможден-
ным лицом. Он был, вероятно, болен, его знобило, он
кутался в бурку. Капитан-лейтенант сел с ним рядом,
долго отмечал что-то на карте. Потом полковник,

обращаясь ко всем, заговорил резким скрипучим голосом:

— Вчера немцы форсировали Кубань и выбили нас с
курганов. На плацдарме до полка пехоты. Танки пока на
том берегу, но немцы наводят понтонный мост. Нам не
видно. Они наверху, а мы в низине. Стрелять по площади
бесполезно. Если они переправят сегодня танки, значит,
отрежут дорогу к горам. Ваша задача — захватить курга-
ны. Посадим туда корректировщиков и разобьем перепра-
ву. Атаку начнем на рассвете. Артиллерийская подготов-
ка — пять минут. Мало снарядов.

— Не надо, — сказал командир батальона. — Подготов-
ки не надо. Она только насторожит. Мы пойдем тихо.

— У них дежурят пулеметчики и наблюдатели, — воз-
разил полковник.

— Какое тут расстояние? Триста метров?

— Двести пятьдесят, триста.

— Один рывок. Они не успеют очухаться. Они не зна-
ют, что здесь матросы, мы попробуем, какие у них нервы.

— Меньше самоуверенности, капитан.

— Извините, я ношу звание капитан-лейтенанта, — по-
правил командир батальона. — Мы добежим за несколько
минут. Это надежней.

— Как хотите, — устало сказал полковник. — Но курга-
ны надо взять. Если не возьмем, расстреляют и вас, и меня.

— Товарищ полковник, — поднялся командир батальо-
на. — Я не люблю таких шуток, это слишком дешевый
юмор.

— Мне звонили из штаба армии.

— Если вас побеспокоят по этому поводу еще раз, то
передайте, пожалуйста, что моряки приучены выполнять
боевой приказ. Атаку начнем в указанное время.

Полковник, откинув бурку, с уважением смотрел на ка-
питан-лейтенанта. Да и Горбушин сейчас просто залюбо-
вался им. Худощавый, высокий, в подогнанной по фигуре
форме с кортиком на боку, он стоял, вытянувшись по ус-
тавному и в то же время сохраняя достоинство. Губы на
тонком красивом лице кривились чуть-чуть иронически,
глаза спрятаны в тени крутого козырька. Вот только
пижонские баки на щеках не нравились Матвею. Но что
поделаешь, черноморцы всегда были любителями пофасо-
нить.

Капитан-лейтенант повел командиров рот и политру-
ков в окопы, где жидкой цепочкой держали оборону спе-

шенные казаки. На местности выделил участок для каждой роты. Впереди проступали темные очертания курганов. За ними, вероятно возле реки, что-то горело, порой курганы обрисовывались настолько четко, что можно было разглядеть даже кусты на склонах. Красными глазками вспыхивали там редкие выстрелы.

Перед ротой Горбушина высотка была приметная, двугорбая, как спина верблюда. Матвей наметил ось движения, привел командиров взводов, показал им.

За час до рассвета капитан-лейтенант распорядился собрать батальон на дне балки. Моряки отдыхали, сидя на земле. Комбат влез на бричку. «Сейчас про жлобов скажет! — восхищенно шепнул Горбушину мичман Морозов. — Я его в Одессе перед атакой слушал. И в Феодосии тоже!»

— Товарищи! — в полный голос заговорил капитан-лейтенант, поигрывая кортиком. Никакого другого оружия при нем не было. — Ребята, я знаю, что вы устали. Но у нас есть еще одно дело. Надо пробежать триста метров. Там не стадион, но в две минуты уложимся. Эти жлобы, — показал он большим пальцем через плечо, — эти жлобы хотя Черного моря. Мы им покажем Черное море... Форма старая: тельник и бескозырка. Ну, ветер в бизань!

Он спрыгнул с брички и пошел по склону балки. Вслед за ним командиры рот повели в окопы своих моряков.

За десять минут до атаки матросы начали раздеваться. Снимали фланелевки, складывали рядом с вещевыми мешками. У кого были каски, оставляли их тут же. На бескозырках золотом блестели названия: «Ташкент», «Незавоужник», «Беспощадный», «Безупречный». Здесь были частички всего Черноморского флота.

Горбушин, поколебавшись, тоже снял китель. Подвернул рукава тельняшки. Предупредил матросов:

— Пока не добежим, гранат не бросать. Пойдем полным ходом, как бы своих не задело!

Солнце еще не поднялось над горизонтом, но его лучи быстро размывали темные краски, небо будто поднялось выше, превращаясь из серого в голубое. Поставив ногу на земляную приступку, Горбушин напрягся, готовясь к прыжку.

— Бегом! Смерти нет! — крикнул он, услышав шипение ракеты, и, опершись на руку, перебросил через бруствер свое невесомое тело. Впереди уже рябили тельняшки,

кто-то опередил его. Матросы бежали молча, слышалось только соление да топот ног. В тишине оглушительной показалась пулеметная очередь.

— Даешь! — взревел чей-то бас. — Полундра!

Впереди, над бугорком сухой земли, мелькнула темная каска. Матвей дал очередь и с разгона прыгнул в глубокую траншею. Прямо перед ним — заспанная, помятая морда, выпученные глаза. Горбушин пнул ботинком в низ живота, немец ойкнул и поднял руки. Из темного отверстия блиндажа ударил выстрел, Матвею сбило фуражку, он упал и бросил в блиндаж гранату. Она рванула глухо.

Из соседней дыры на карачках лезли полуголые немцы, Горбушин, лежа, короткими очередями бил их по одному, но они лезли и лезли, как отумелые. Потом там замелькали тельняшки, и Матвей перестал стрелять.

Вокруг были только свои. Рядом, перевесившись через бруствер, лежал мертвый матрос. Горбушин выполз наверх. Впереди зеленели заросли камыша и тускло блестела спокойная гладь реки. К повозкам и машинам, стоявшим на берегу, бежали немцы; бежали прытко, большинство без оружия и в одних трусах. Их догоняли матросы, на ходу косили автоматными очередями. Через реку тянулся готовый понтонный мост, чуть изогнувшийся по течению. На нем тоже суетились вражеские солдаты.

Сзади подошли артиллерийские наблюдатели. Телефонист сел с аппаратом на дно траншеи, корректировщик вылез к Горбушину. Первый снаряд взметнул воду рядом с мостом. После четвертого снаряда батарея стала бить на поражение. Цепочка понтонов повалась посередине, начала медленно разворачиваться двумя рукавами к берегу, будто открылись ворота. Немцы сыпались с понтонов в кипящую от взрывов воду.

Матросы подожгли машины на берегу и теперь возвращались к траншее. Мичман Морозов прибежал запыхавшийся, приволок на спине связанного поросенка. Другие ребята тащили кур и гусей. Двое катили на курган бочку. С правого берега начали бить немецкие минометы, матросы падали при разрывах, но бочку не оставляли. Несколько человек кинулись к ним на помощь.

— Вино, — отдышавшись, сказал старшему лейтенанту Морозов. — Там целый обоз с харчами, не пропадать же добру!

Командиры взводов доложили Горбушину о потерях: в

роте двое погибших и пять раненых. Захвачено сорок пленных, а убитых немцев сосчитать трудно: большая часть фашистов полегла от гранат в блиндажах, не успев выскочить. Там такое кровавое месиво, что никто не хотел спускаться. Если брать приблизительно, фашистов уложили около двух сотен. Матвей сперва даже не поверил такой цифре, но потом прикинул — да, точно: двести фрицев без всякого преувеличения.

Пленных отправили в тыл, к казакам. Оттуда пришел кавалерийский полковник. Он был уже без бурки, смотрел весело: наверняка хватил стаканчик на радостях. Полковник сказал, что морякам повезло. Фашисты, сволочи, обнаглели, дрыхнут спокойно. Но если бы матросы замешкались...

— Не положено, — ответил капитан-лейтенант, успевший уже надеть китель и почистить свои скрипучие ботинки. — На кораблях даже по трапу — только бегом. Задержись на секунду — собьют.

— Да, выучка, — кивал полковник. — Чувствуется выучка, коллектив. Вы, товарищ капитан...

— Капитан-лейтенант!

— Да, товарищ капитан-лейтенант, представьте отличившихся. Буду ходатайствовать о награждении. Отберите человек пять-шесть. За такую атаку следует.

— Всех! — сказал командир батальона. — Или всех, или ни одного.

— Ну, это много, — махнул рукой полковник. — Столько не утвердят.

— Мне выделять некого. Все равны... Надеюсь, вы положили в штаб армии, что переправа разбита, немцы за Кубанью? А здесь осталось по три трупа на каждого матроса.

— Шут с вами, представляй всех! — засмеялся полковник. — У вас не поймешь, что возможно, а что невозможно.

Проводив начальство, капитан-лейтенант приказал накормить людей — и спать. Вахту будет нести пулеметная рота, не принимавшая участия в атаке и рассредоточенная теперь по всей траншее. Мичман Морозов хотел раздать краснофлотцам сухую колбасу, но никто не взял. Ели консервы, шоколад и копченую рыбу, захваченную в немецких повозках. Запивали по вкусу, кто вином, кто чаем. Бочка с вином быстро опустела, а термос с чаем так и остался почти не тронутым...

Немцы опомнились только к середине дня. На их берегу становилось все оживленной. Подошла колонна грузовиков. Остановилась далеко, едва различимая глазом. Оттуда небольшими колоннами подтягивалась к реке пехота. Танки не появлялись, зато начали свирепствовать минометы.

Прилетела шестерка каких-то странных неуклюжих самолетов. Они прошли на большой высоте и сбросили бомбы неточно: между рекой и траншеей. Полковник, наблюдавший за ними с КП, сказал Горбушину, что это итальянские «капрони», такие были еще в Испании. Вслед за итальянцами подошли «фокке-вульфы», засыпали траншею мелкими бомбами, прочесали пулеметным огнем. Матросы вжимались под бруствер, в небольшие углубления, кое-кто рискнул спуститься в блиндажи, из которых уже тянуло сладковатым трупным запахом.

«Фокке-вульфы» уходили, а потом появлялись снова через час десять минут. «Работала» одна эскадрилья, аэродром ее, вероятно, был где-то не ближе Ростова. И каждый раз, как только раздавались вдали высокие, ноющие звуки моторов, баянист Костя усаживался на дно траншеи рядом с Морозовым и начинал играть. Бомбы выворачивали сухую землю, в ушах гудело от треска и рева, а Костя только бледнел, склонял ниже голову, будто прислушиваясь, и во всю силу наяривал «Амурские волны». При первых налетах казаки-бронбойщики, угнездившиеся по соседству с моряками, сползали на дно ячеек и обалдело слушали эту жуткую музыку: бомбы с баяном. Потом либо устыдились, либо ожесточились: приспособили две бронбойки для стрельбы вертикально и ударили навстречу пикирующему самолету. Сбить не удалось, но немцев все-таки поднапугали, они перестали ходить над самой землей, забрались повыше.

Вечером хоронили убитых. От бомбежки в роте погибло семь человек. Мичман Морозов, контуженный взрывной волной, сидел на пустой бочке и ворчал, что так можно без боя потерять всех людей, что надо набить морду тем, по чьей вине фашист режется в воздухе без всякой опасности.

— Ладно, мичман, ребят не вернешь, — сказал Горбушин. — Пойдем, надо раненых отправлять.

Едва скрылись грузовики с ранеными, пришел приказ покинуть рубеж. Первыми снялись артиллерийские батареи. За ними свернулись в колонны стрелковые роты. Воз-

ле реки остались прикрывать отход человек тридцать казаков из местных добровольцев, знавших все тропы и овражки в степи.

Батальон вышел на ту самую дорогу, по которой шагал с песней всего сутки назад. А теперь никому не хотелось петь. И не от усталости, не от того, что многие моряки были легко ранены или контужены. Угнетала злоба. Сколько ни бей немцев, сколько ни сдерживай их — все равно приходится отступать.

Дорога была пустынна. Валялись обочь ее поломанные арбы, остатки разбитых машин, вздувшиеся конские трупы. Изредка мелькали в зарослях конопли, в кустарнике по склонам балок робкие огоньки костров. А впереди, на юге, все небо охвачено было багровым заревом, полыхавшим по горизонту от края до края. Горели казачьи станицы, горели хлеба, горела майкопская нефть, к которой с таким упорством рвались немцы.

18

Жаром обдавал размякший асфальт, к нему прилипали подошвы. Идти по шоссе было невозможно. Роты, поломав строй, шли по обочинам, по тропинкам, стараясь укрыться в жидкой тени тополей, поседевших от пыли. Впереди синими тучами вырастали горы. Появились холмы, покрытые дубовыми перелесками.

Заслышав частый цокот копыт, Матвей оглянулся. По шоссе галопом неслись трое всадников. Казаки догнали колонну и осадили мокрых, с пеной в пахах, лошадей.

— Где командир?

— В голове колонны.

— Танки сзади! Километра три! — Казак прищиприл коня. Пламенем метнулся за его спиной алый башлык.

— Рота, стой! — закричал Горбушин. — Кру-гом! Вправо, цепью, развернись!

На середину шоссе выбежал капитан-лейтенант, сложил ладони рупором, командовал громко:

— Первая рота разворачивается слева! Пулеметчики — слева. Бронебойки ближе к дороге! Огонь по команде! Ребята, не тушуйтесь, есть случай посмотреть металлолом! Ветер в бизань!

Моряки падали в пыльную траву, прятались в ямках,

за стволами дубков. Еще перебегали, ища укрытия, люди, а на дороге уже появились фашисты. Впереди катился разведывательный броневик. Танки сползали с шоссе, на ходу выстраивались уступами вправо и влево, образуя клин. Головные машины открыли огонь.

Горбушин лежал за мшистым камнем. От напряжения занемели пальцы, стиснувшие гранату, но Матвей боялся разжать их, боялся, что ослабнет, не выдержит, вскочит.

Он вздрогнул, когда рядом заиграл на баяне Костя. Играл громко, и все те же «Амурские волны».

— Заткнись! — заорал кто-то.

Костя приглушил баян, приподнялся, спросил презрительно:

— Эй, на палубе, кого слабит?

— Давай! — крикнул мичман Морозов. — «Варяга» давай!

— «Варяга» поберегу ближе к смерти, — сказал Костя и снова рванул вальс.

Возле дороги, как бичи, защелкали бронебойки. Мимо Горбушина прополз Морозов со связкой гранат. Матвей высунулся из-за камня и сразу упал: танк лез прямо на него.

Стиснув зубы, Горбушин привстал, бросил гранату в блестящую гусеницу. Столько силы вложил он в этот бросок, что граната перелетела через танк. Тяжелое чудовище прогромыhalo рядом, в каком-то метре. Матвей откатился к валявшемуся баяну. Хотел кинуть вторую гранату, но за танком бежал Костя. Когда машина замедлила ход, разворачиваясь к дороге, матрос метнул в жалюзи бутылку. Танк помчался быстрее, то ли убегая, то ли пытаясь сбить охватившее корму пламя.

Немецкие пехотинцы, высадившиеся из грузовиков, не пошли в атаку, начали окапываться вдалеке.

Появилась, наконец, наша авиация. Прилетели с юга четыре трескучих фанерных У-2. Низко прошли они над вражеской пехотой, над колонной грузовиков. Простым глазом видно было, как высывается из второй кабины штурман, руками бросает мелкие бомбы.

— Товарищ старший лейтенант! — позвали Горбушина матросы. — Мичман погиб!

Морозов лежал метрах в десяти перед камнем, лежал ничком, вытянув вперед руки с гранатами, которые так и не успел бросить. Мертвый, он казался еще более огром-

ным. Рядом сидел худенький Костя и плакал, бескозыркой вытирая с лица слезы.

* * *

По узким ущельям, по берегам быстрых речушек шли моряки на юг, догоняя откатившийся фронт. Горное эхо далеко разносило гремевшую впереди канонаду. Бой клочкотал где-то на перевалах, на пути к Туапсе. Казаки вели моряков обходными тропами, через вековые девственные леса. Матвей и не подозревал раньше, что по соседству с обжитым курортным побережьем есть такие глухие дебри. Затеняли землю старые дубы и буки, выше их крон пробилась островерхие сосны. Густой подлесок был непролазно опутан плющом. Под зеленым пологом стойко держался запах прелой листвы и гниющих деревьев. Было сумрачно и прохладно.

В долинах, в дубняке встречались стада жирных, отъевшихся за лето кабанов. Их мясо было для моряков главной пищей. Казаки умудрились подстрелить даже молодого медведя.

Двигались медленно, растянувшись на узкой, заросшей папоротником, тропе. Каждые полчаса менялись пары у носилок с ранеными. Подъем выматывал людей. Горбушин тащил на спине тяжелый футляр с баяном. Сам Костя с трудом плелся в конце колонны. У этого худенького старшины с безжизненным, будто из воска вылепленным лицом, еще зимой было пробито легкое и сломаны шесть ребер. Его хотели демобилизовать. Только по знакомству, через мичмана Морозова, баяниста оставили в батальоне.

Краснофлотцы пытались отобрать у него винтовку и противогаз, предлагали помощь, но Костя отвечал, иронически усмехаясь:

— Мальчики, не волнуйтесь, я еще жив. Горный воздух делает чудеса...

На пятые сутки батальон добрался, наконец, до своих. Казачий дозор, встреченный на тропе, вывел моряков к проселочной дороге. Тут, на поляне около лесного кордона, расположился эскадрон кубанцев, охранявший фланг стрелковых частей, дравшихся на перевале.

Многие казаки ушли из своих станиц с семьями, как в старину, увели с собой жен и детей, угнали скот. На поляне стояли десятки арб, на окраине леса паслись лошади

и коровы. Женщины суетились возле костров, бегали дети, несколько стариков в фуражках с выцветшими околышками невозмутимо грелись на солнце.

Командир эскадрона, плотный, грузноватый мужчина лет сорока с вислыми прокуренными усами на коричневом лице, пригласил капитан-лейтенанта и ротных командиров в сторожку.

— О людях не беспокойтесь. Помоем, накормим и спать уложим, — заверил он. — Фельдшер пошел к вашим раненым. Тяжелых сразу отправим в госпиталь. У нас тут порядок.

Две пожилых женщины быстро и бесшумно собирали на стол. Подросток сапогом раздувал под окнами самовар. В комнате пахло медом.

— Наслышаны о вас, — сказал командир эскадрона, поднимая наполненную до краев алюминиевую кружку. — Позвольте предложить за ваши громкие дела, за ваше здоровье!

— От кого же вы про нас слышали? — спросил Матвей. — Полковник, что ли, здесь был?

— И от своих слышал, и от немцев. Пленные про черных комиссаров рассказывали, — командир эскадрона крикнул, вытер усы, умелым движением разорвал пополам жареную курицу. — Пленные брешут, что у вас весь батальон из одних политруков создан.

— Ну, ерунда чистейшей воды, — засмеялся капитан-лейтенант.

— Я и сам думал, что ерунда, — сказал командир эскадрона. — Только почему у матросов звезды-то комиссарские на рукавах?

— Не комиссарские, просто форма такая. До войны так ходили.

— А я вот тоже не знал, — объяснил эскадронный. — На море-то я не ездил, вот и подумал: может, правда, какая-нибудь отборная часть.

— Отборная, — согласился капитан-лейтенант. — Целый год война отбирала.

— Тогда понятно. А немцев-то вы не разубеждайте, пусть боятся будут. Они и так вас вроде бы смертниками считают. Даже указание у них есть: бить морских комиссаров артиллерией и авиацией, а танки и пехоту беречь. Вы это учтите. В горах тесно, тут ближний бой — самое милое дело. В горах человек силен, на технику здесь цена падает.

— Минометы, — возразил капитан-лейтенант. — Они везде хороши, а здесь просто незаменимы. В любом ущелье, под любой скалой гадов достанут.

— И переносить их легко. Я на лошадей выучу, — оживился командир эскадрона.

Горбушин подумал, что начинается шибко деловой разговор, подвыпившие командиры готовы затеять семинар по обмену опытом. Матвею и слышать не хотелось о военных делах, так все это обрыдло, осточертело. Надо же, наконец, хоть как-нибудь разрядиться, дать отдых и нервам, и мозгам, и телу.

Узкая длинная поляна вытянулась вдоль дороги, как просека. Ниже, под крутым обрывом, журчал ручей, оттуда несло сыростью и прохладой. Справа — пологий подъем, непролазно заросший диким лесом. Куда ни посмотришь — везде зеленое море, курчавое вблизи и ровное поодаль, потемневшее в долинах, куда не попадало вечернее солнце. Цепи гор, возраставшие к востоку, были похожи на гряды зеленых волн, а их голые каменные вершины казались шапками серой пены, кипящей на гребнях.

Матвей пошел по тропинке среди кряжистых невысоких дубов. Останавливался на открытых местах, у каменистых россыпей, чуть прикрытых жесткой, выгоревшей до желтизны травой.

Впереди что-то белело. Горбушин сделал несколько шагов, оглянул куст, и увидел женщину; она лежала в зарослях папоротника на плащ-палатке, высоко взбитая юбка не закрывала ног, кофтенка была расстегнута, мешочками свешивались на одну сторону груди. Большой темной рукой она осторожно гладила волосы моряка, который спал, уткнувшись лицом ей под мышку. Матвей узнал Костю.

Такой мирной, такой естественной была эта картина в тихом, вечном лесу, в неясном свете уходящего дня, что Горбушин не испытал никакого стеснения и даже залюбовался ими: эта, пусть случайная, пара олицетворяла собой природу, олицетворяла жизнь.

Спустившись пониже, он сел прямо на тропинку, среди вылезших из земли корней, прислонился к стволу дуба. Глядя в прозрачное небо, думал: хорошо, что встретила моряку эта женщина. Совсем недавно дважды искалеченный паренек Костя бежал в атаку навстречу смерти. Подавив страх, играл он под бомбежкой «Амурские волны»,

озверев, гнался за танком, своими руками похоронил лучшего друга, а потом шагал и шагал, тупой от усталости, час за часом, день за днем, чтобы не отстать от товарищей... Это же невыносимая нагрузка для двадцатилетнего паренька. Что там у него вместо души? Одни клочья. А эта женщина согреет, успокоит его. Костя проснется не от взрыва, проснется от поцелуя, в его памяти что-то ослабнет, отодвинется вдаль. Он почувствует вкус жизни, почувствует радость, и ему легче будет идти дальше, в следующий бой.

От кавказских лесов ох как далеко до Германии! И если все-таки удастся остановить немца, если кто-то догадается потом до немецкой столицы, то среди них наверняка не будет ни Кости, ни капитан-лейтенанта, ни самого Горбушина. Кто их вспомнит тогда? Дай бог, чтобы фамилии сохранились в архивах. Очень все-таки нужно, чтобы после тебя остался человек, ребенок, который хоть и не видел отца, но все равно будет думать, интересоваться. И внуки потом тоже... Ты останешься в памяти людей отцом, дедом, прадедом. Это чудо способна сотворить женщина, которая лежит с Костей. А для него, для Матвея, такое же чудо способна сделать Руфа, Руфина...

Он усмехнулся: ну, чепуха, Руфина молодая, красивая, зачем ей случайный ребенок? Наверно, уже и забыла обо всем. Был муж, были у нее другие встречи, будут и после Матвея. Время начисто сожрет Горбушина в ее памяти. А вот Ольга не забудет: по-плохому ли, по-хорошему, но он для нее был и останется единственным.

Мужчина помнит всегда первую любовь, а женщина — первого мужчину. От этого не уйдешь.

Повинуясь нахлынувшему вдруг чувству, Матвей вытащил из планшетки тетрадь, карандаш и начал писать быстро, не думая. Писал, что сидит в лесу, что вокруг горы, со стороны моря ползут розовые облака. С дуба срываются тяжелые желуди и щелкают, как пули. А недавно был бой, они потеряли многих товарищей и с трудом пробивались к своим. Ольга — это самое светлое, что было и есть в его жизни. Он мечтает увидеть ее, побыть рядом. После такой встречи он станет сильнее и спокойнее. Он давно уже понял свою вину, и если еще не искупил, то искупит обязательно. Сейчас только одна просьба: хочется получить весточку, хоть несколько строк. Ведь он ни-

когда не видел ее почерка, но так явственно вспоминает запах герани...

Горбушин не стал перечитывать письмо, боялся, что раздумает отправить. Складывал треугольник вздрагивающими пальцами. Смотрел и не верил, что этот листок попадет в руки Ольги, что она развернет бумагу, может быть, вскрикнет обрадованно...

Почти бегом спустился он на поляну, подошел к коновязи, где фыркали в сумерках лошади, спросил пожилого казака, как отправляется почта.

— А вот ящичек на дереве, — показал тот. — Какное утро почтарь увозит. — Помолчал и добавил с гордостью: — Это у нас в аккурате.

Матвей опустил треугольник в прорезь ящика и сразу почувствовал почти физическое облегчение. Вся тяжесть сомнений и раскаяния осталась на том тетрадном листочке. Как это просто — написать, и как трудно было решиться...

Веселый и довольный собой вернулся он в сторожку. Там, при тусклой свече, все еще сидели несколько командиров. В нос ударило сивухой и махорочным дымом.

— Эй, товарищи, хоть бы проветрили, — укорил Горбушин и спросил без всякой последовательности: — Долго отсюда письмо до Тулы пойдет?

— Месяца полтора, — сказал эскадронный. — Раньше напрямик почта шла, а теперь далеко. Теперь до Сухуми повезут, потом в Тбилиси, потом на Каспий, а оттуда уж и не знаю куда. Может, даже через Среднюю Азию... — И, видя огорченное лицо Матвея, успокоил: — Если в пути не погибнет, месяца через полтора дойдет!

* * *

Ослабленный потерями, батальон был переименован в морской отряд и придан стрелковой дивизии, медленно отходившей вдоль ущелья к перевалу. Немцы напирали двумя дивизиями, каждый день «обрабатывали» ущелье авиабомбами, засыпали его минами. Но тут им негде было развернуть танки и тяжелую артиллерию.

Фашисты выбрасывали в горы разведывательные группы, пытались нащупать обходные тропинки, ведущие в тыл русских, на Туапсе. Морской отряд получил приказ перекрыть единственную в этих местах тропу, которую могли использовать гитлеровцы. Она была настолько крута, что

по ней не прошли даже вьючные лошади. Весь груз: и оружие, и боеприпасы, и пищу — матросы несли на себе.

К концу второго дня рота Горбушина поднялась на каменистую, поросшую сосняком вершину. Выслали вперед боевое охранение. Бойцы прилегли, отдыхая, ели хлеб с набранными в пути дикими грибами, запивали маленькими глотками из фляг: все знали, что вода осталась далеко внизу, на горе нет никаких источников.

Потом принялись долбить камень, перекашивать гранитные глыбы, чтобы создать укрытия для стрелков и пулеметчиков. Место было удобное, тропа убегала вперед по лысому некрутому склону, противника можно было увидеть метров за триста.

Вечером в роту пришел капитан-лейтенант. Был он необычно хмур и раздражен, чего не случалось с ним при любой неудаче. Приказал Горбушину, не прерывая работу, собрать по десять человек от взвода. Моряки построились на западном склоне. Командир отряда постоял с минутой, оглядывая знакомых матросов, чуть подобрел лицом. Скомандовал резко:

— Снять головные уборы! — и сам снял свою щегольскую фуражку. Строй шевельнулся и замер.

— Товарищи! — голос капитан-лейтенанта звучал глухо. — Ребята, десятого сентября жлобы взяли Новороссийск.

У Матвея в руке хрустнул козырек мичманки... Последняя большая база для кораблей, последняя опора флота... Немцы теперь с трех сторон...

— Ребята, — снова заговорил капитан-лейтенант. — Там три дня дрались на улицах врукопашную. Там легли многие наши, которые с Одессы и которые с Севастополя. Но и гадам там тоже кисло было. Наши ушли из города, но держат цементные заводы, сидят на восточном берегу бухты. Там жлобов на Туапсе не пропустят. Но они идут здесь...

Капитан-лейтенант остановился на полуслове, махнул рукой и сел на камень.

— Ну, все. Давайте закурим.

Моряки сгрудились вокруг, молча крутили сигарки, щелкали зажигалками. Кто-то спросил тихо:

— Как там батальон Вострикова, не слышали?

— Батальон жив. А люди — вы сами знаете, какие там люди!

— Бездомные мы теперь, — сказал Костя. — Мы теперь совсем как пехота...

— Ну-ну, стоп травить, — резко повернулся к нему капитан-лейтенант. — Флот жив и нас помнит! Флот в Потю ушел. А нам дальше отступать некуда. Крышка, ребята, тут последние перевалы. Тут бросим последний якорь.

Матросы смолкли. В прохладном воздухе слышно было, как стучат ломы и шаркают о камни лопаты. Низом, по ущелью, докатывался дальний грохот, будто в горах раз за разом срывались обвалы. Там, где днем черной тучей висела дымовая хмарь, где в сумерках появилось расплывчатое багровое облако, теперь все яснее очерчивался на краю горизонта огненный конус. В той стороне пылали леса, пылали сами горы, облитые с самолетов горячей жидкостью.

— Жлобы уже на тропе, — негромко сказал капитан-лейтенант. — Сюда идет полк горных егерей. Они знают, как воевать среди скал, но они еще не знают, как воевать с матросами. Готовьте им салют наций и передайте всем, что здесь наш Севастополь!

19

В любом бою, в любой операции и целой кампании обнаруживается явление, которое можно назвать законом взаимного притяжения сил. Наступающий стягивает свои войска в определенный район. Естественно, что и обороняющийся постарается укрепить свое положение в этом районе. Столкнувшись с упорным сопротивлением, наступающий вынужден подбрасывать все новые и новые части.

Особенно проявляет себя этот закон, когда военные действия развертываются стремительно и на больших пространствах. Причем подспудное влияние закона не сразу и обнаруживается в горячке событий, но в конечном счете бывает очень сильным.

Летом 1942 года немцы наносили главный удар в направлении Баку. Завоевать кавказскую нефть — такую цель выдвинул фюрер. Туда и намеревались гитлеровцы направить основную массу войск.

Директива № 41, ставившая германской армии задачи на летнюю кампанию, даже не предусматривала обязательного захвата Сталинграда. Немцы должны были по-

пытаться достигнуть этого города «или по крайней мере подвергнуть его воздействию тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций». Однако в ходе боев фашисты столкнулись в излучине Дона с крупными силами советских войск. Гитлеровцы просто не могли оставить на своем фланге такую угрозу и вынуждены были повернуть на Сталинград те части, которым предписывалось вначале действовать на Кавказе. И чем дальше, тем больше центр тяжести переносился именно сюда, к берегам Волги, хотя это явно противоречило вражеским планам.

Да и на Кавказе немцы совершенно неожиданно встретили сильнейшее сопротивление в районе Новороссийска и Туапсе. Чтобы сломить это сопротивление и обезопасить тыл, они вынуждены были стянуть туда больше половины войск, предназначенных для прорыва на Баку. Все немецкие армии на юге были скованы тяжелыми боями, несли большие потери, испытывали трудности со снабжением. К тому же близилась зима, а до нефти было еще далеко.

Стремясь высвободить свои дивизии для борьбы на решающих направлениях, немцы выдвинули на второстепенные участки фронта войска союзников. В августе — сентябре по правому берегу реки Дон, от Воронежа и до города Серафимовича, заняли оборону венгерская, итальянская и румынская армии. Центральную часть этой полосы, от Павловска до станицы Вешенской, заняли итальянцы.

* * *

Все лето генерал-майор Порошин провел в далеком тылу, на Урале, где формировалась его дивизия. Только в конце августа, когда части были полностью укомплектованы людьми и техникой, поступил приказ: дивизия передавалась в состав Воронежского фронта. Ночью первые эшелоны отправились на восток.

В штабе армии Порошин познакомился с обстановкой. Его соединению отводилась двадцатикилометровая полоса на берегу Дона. Участок тихий, активных действий не производится. Там сейчас сводный полк из саперов и остатков отступивших подразделений. Дивизия Порошина должна занять жесткую оборону и готовиться к наступательной операции с ограниченной целью. Генералу рекомендовали

подумать о захвате плацдарма на правом берегу и через неделю доложить свои соображения.

Головной эшелон дивизии еще только разгружался на станции в ста километрах от реки, а Порошин уже выехал на рекогносцировку местности. Отправился вместе со своим комиссаром на новехоньком, без единой царапины, американском «виллисе». Машина была хоть и неказистая с виду, но сильная, хорошо шла по бездорожью и легко брала подъемы.

В деревне с разбитой церковью разыскали командира сменяемого полка, пожилого майора из запасников, с черными петлицами инженерных войск. Сапоги у него были стоптанные, пилюлька измята, гимнастерка выцвела и застиралась, стала грязно-серой.

Комиссар, заметив, как схлынула с лица Порошина кровь и побледнел лоб, решил, что сейчас будет разнос за неряшливый вид. Но генерал сдержался. Приказал майору лезть в машину и показывать дорогу. Тот спокойно сел рядом с водителем, да еще и напялил на нос очки с аляповатой дужкой из медной проволоки. Комиссар кивнул на его сутулую спину и развел руками. Порошин сердито отмахнулся: что с него возьмешь, он инженер, сунули его не в свои сани.

Дорога напрямик резала сжатые поля с высокой стерней, бежала мимо стогов соломы, мимо редких перелесков. Впереди завиднелась полоска реки и пологие высоты на правом берегу Дона.

— Оборона у противника не сплошная, — глуховатым голосом докладывал майор, повернувшись к Порошину. — Сидят главным образом на высотах, в трехстах-четырестах метрах от воды. Очаги обороны имеют хорошую огневую связь. Пулеметы простреливают реку фланкирующим огнем.

— Танки?

— Были здесь танки первые дни. Но место для переправы неудобное. Артиллеристы постреляли по танкам, они ушли.

— Какие части обороняются в вашей полосе?

— Итальянский альпийский корпус, горные егеря. А номеров я не знаю.

— Что, пленных не было?

— Давно не было, — подтвердил майор. Спокойствие и отсутствие какой-либо робости перед начальством распо-

лагали в нем, но Прохор Севостьянович никак не мог подавить неприязнь, вызванную внешним видом этого человека.

Дорога повернула влево, вдоль Дона, то приближалась, то удалялась от него, спрямляя изгибы реки.

— Близко едем, — забеспокоился комиссар. — Увидят нас.

— А они давно уже видят, — сказал майор. — Вон высота — Лысая называется. Итальянцы с нее километров на десять наш тыл просматривают.

— Пульнуть могут.

— Нет, стрелять сегодня не будут, сегодня суббота.

— А по субботам что же — перемирие?

— Не то чтобы перемирие, а так уж само собой получилось, что этот день у нас без стрельбы, — все тем же глуховатым спокойным голосом объяснил майор. — С утра наши в реке моются, бельишко стирают. После обеда итальянцы. Плазуют вдоль берега, лягушек на праздничный обед ловят.

— Да вы что? — удивился комиссар. — Каких еще лягушек?

— Разных, — сказал майор, и в голосе его Порошин уловил чуть заметную иронию. — Ловят подряд, а потом сортируют. Оказывается, в пищу употребляют не всех, каких-то особенных.

— С голода, что ли? — не мог уразуметь комиссар. — Так зачем же вы им позволяете?

— Деликатес, — сказал майор. — Есть среди них любители. Разрешаю не я, разрешают сами бойцы. Им раз в неделю портянки постирать нужно.

— А вы куда смотрите? Вы командир или кто?

— Людей мало, они устали, они в напряжении целыми сутками...

— Но это же политическое дело... Если противник начнет атаку?

— Днем не начнет. Они переправились в ночь на среду, — сказал майор. — Пришлось снять людей с других участков. Отбросили.

Комиссар продолжал возмущаться, но Порошин уже достаточно хорошо знал этого молодого, шумливого, и, в общем-то, добродушного товарища. Пошумит и отойдет. А то, что рассказывал майор, было действительно интересно. Прохор Севостьянович начал догадываться, что этот инже-

нер в стоптанных сапогах не такой уж простак и не случайно вроде бы между делом сообщает начальству эти подробности.

— Слушайте, майор, — тронул его за плечо Порошин. — Откуда вы знаете, что итальянцы сначала всех лягушек ловят, а потом сортируют?

Инженер сверкнул в сторону генерала очками и в голосе его первый раз прозвучала живая нотка:

— Ребятишки рассказывают. Да и женщины ходят иной раз к родным.

— Через реку? — уточнил Порошин.

— Да.

— Черт знает что! — выругался комиссар.

— Подожди, это интересно, — остановил его Прохор Севостьянович. — Можно с этими ребятишками потолковать?

Майор взглянул на часы, подумал:

— Придется проехать еще километров пять. Петька футбол смотрит, наверное...

Прохор Севостьянович давно знал, что на войне бывает всякое. Где-то, скажем, идет бой, гибнут люди, а рядом, за горкой, сидят в обороне бойцы, попивают чаек и режутся в карты. Трудно было удивить генерала Порошина, но тут даже он удивился.

На береговом откосе среди кустов чинно, рядками, сидели десятка три красноармейцев, все пожилые, все из саперов. Здесь же виднелись и пестрые бабьи платочки. Внимание этой публики было приковано к правому берегу. Там, за рекой, меньше чем в полукилометре от них, гоняли на широкой луговине мяч итальянские футболисты. Люди разговаривали негромко, степенно, обсуждали промахи, сравнивали с предыдущей игрой. В стороне, на голом холмике, собрались болельщики «активные» — молодые красноармейцы и босоногие ребятишки. Там кричали, махали руками, называли игроков по имени.

Порошин оставил в машине генеральскую фуражку, накинул плащ так, чтобы скрыть петлицы. Когда к майору подбежал командир роты и хотел дать команду, предупредил: не шумите. Сел под куст, пригласив туда же инженера. Комиссар стоял рядом, нетерпеливо поглядывал на Прохора Севостьяновича. Чего он медлит? Ударить бы по итальянцам из пулеметов, благо и пулеметы находились поблизости, и дежурные пулеметчики сидели возле них

на бруствере, следя за игрой. Надо расстрелять пару лент и кончить эту комедию...

Но Порошин не торопился. Разглядывал в бинокль итальянцев, которых собралось на игру сотни две, да еще с высоток наблюдали за ней многие. Спрашивал, где и какая команда. Командир роты сдержанно объяснил, что в белой форме — это «свои» из горно-стрелковой дивизии. В полосатых футболках — приезжие. Они играют тут в первый раз.

— Летчики, — подсказал какой-то сержант. — Полосатые — это летчики. Но им слаб против горных стрелков.

— Вы что, за стрелков и болеете? — спросил Порошин.

— Играют они неплохо. Для нас это вроде спектакля. Мы же не то что представления, даже кино больше года не видели... А макарошники — они насчет боя не очень, зато в футбол хорошо рубятся...

Игра кончилась. Итальянцы скрывались в окопах и ходах сообщения. Некоторые не спеша шагали к высоткам. Человек десять направились к реке. Было хорошо видно, как итальянцы жестикулируют, обсуждая, вероятно, ход матча.

Постепенно опустел и наш берег. На бугре осталось красноармейцев не больше взвода. Остальные ушли далеко. И справа и слева от бугра не было никаких укреплений, даже окопчиков. «Не оборона, а дыры одни, — подумал Прохор Севостьянович. — Тут, действительно, сапоги стопчешь, тут побегаешь, чтобы прорехи заткнуть», — посочувствовал он майору.

Между тем инженер привел белобрысого паренька лет двенадцати, босого, в коротких обтерханных штанах.

— Петьки нет, — сказал инженер, не называя Порошина по званию. — Сашок здесь оказался. Вот, Сашок, товарищ с тобой поговорить хочет.

— Здравствуйте, — паренек стянул с головы замусоленную пилотку, с любопытством поглядывал на Порошина и на комиссара. — Дяденьки, это ваша машина?

— Наша.

— Вы, случаем, не в деревню?

— Можем и в деревню. Подбросить тебя?

— Ага! Я ишшо на такой машине не сидел ни разу...

Мальчишка втиснулся между Порошиным и комиссаром. Поехали не спеша, обогнав по пути нескольких красноармейцев.

— К нашим солдаткам пошли, — знаяще пояснил парнишка.

— Ты, говорят, даже за реку в гости ходишь? — весело спросил Прохор Севостьянович.

— Ха, какие там гости! Деревню вон видите? С края, за Лысой горой? Там бабка Настя живет, а тут бабка Клёня живет. Тут меня бабка Клёня от пуза кормит, а бабку-то Настю итальянцы объели, только ишшо картоху на огороде не тронули. Я сам туда гостинцы таскаю...

Вопрос за вопросом, посмеиваясь, задавал Порошин. Польщенный вниманием, Сашок охотно рассказывал, что итальянцы — они ничего, только шибко крикливые и за девками бегают. Все девки из деревни на эту сторону перебрались. Кто на лодках, кто вплавь. Итальянцев-то возле реки нет, они ночью только на горах сидят, а между горами их патруль ходит. От горки до горки два раза в ночь, человек по десять. Когда дождь, то и патрулей нет. Итальянцы зябкие, в избах сидят, чтобы не простудиться.

Этот мальчишка знал, где у противника окопы и блиндажи, где часовые, с какой стороны можно подойти к Лысой горе.

— Вот что, — сказал ему Порошин. — Я тебе приказываю три дня сидеть дома, на ту сторону не ходить, и ни с кем о нашем разговоре ни слова!

— А зачем дома сидеть?

— Так нужно. Выполнишь? И чтобы без болтовни!

— Я что, трепач? — обиделся Сашок. — Выполню, честное пионерское под всеми вождями!

Паренька ссадили у околицы. Когда он скрылся за плетнем, Прохор Севостьянович повернулся к инженеру.

— Товарищ майор, можно за одну ночь навести легкий мост против Лысой горы?

— Навести можно. Только надо заранее приготовить все в тылу, потом собрать.

— Вам приходилось выполнять такую работу?

— Приходилось, — сердито ответил майор. — Двадцать лет строил. А потом разрушал.

Прощаясь с ним, Порошин предупредил, что смена полка, возможно, задержится и чтобы на передовой ничего пока не менялось. Пусть сохраняется тот режим, к которому привыкли итальянцы. Майор понимающе посмотрел на генерала, сказал, что так и будет.

Машина покатила дальше. Комиссар протянул Порошину напирсы.

— Ну, как мы теперь с ним?

— На свое место его надо поставить.

— Надо, конечно. Это же преступление. Чуть ли не братание на фронте устроил. Пусть прокуратура займется.

— Я говорю: на саперный батальон его надо поставить, нам еще много мостов строить придется.

— Преступник он, Прохор Севостьянович, а ты о мостах.

— Слушай, комиссар, — повернулся к нему Порошин. — Человека сперва научить полагается, потом требовать. Тут он делал, что мог и как мог, и судить его не за что. Вот если по его вине мост рухнет, тогда дело другое.

— Да чего-ты к мостам привязался?

— Идея у меня есть, и кажется неплохая. Этот майор отличную обстановку для нас создал.

— Куда уж лучше... Как первая батарея прибудет, сразу надо в работу ее. Пусть припугнет итальянцев и поломает к чертовой матери это дурацкое перемирие. Везде воюют, а тут какое-то позорище. Еще и нам с тобой шек намывают.

— Нет, комиссар. Ни одной батарее, ни одной роты мы подтягивать не будем. Сосредоточим их пока в лесу. Потом ударим. Неожиданно. Удастся нам Лысую гору захватить — мы над всей округой хозяева. В лоб ее штурмовать — сотни людей положим. А если осторожно, продуманно... Ну, ты меня понимаешь?

— Стараюсь понять, — ворчливо произнес комиссар. — Хочу понять и не хочу мешать тебе, Прохор Севостьянович. Но о том бардаке, который тут развели, я обязан сообщить в политдонесении.

— Потерпи, — попросил Порошин. — Не в службу, а в дружбу. Дней через пять сообщишь. Иначе понаедут комиссии, поднимут треск, заставят стрелять. Толку никакого, лишь итальянцев насторожат.

— В штабе армии люди не глупей нас с тобой.

— Не глупей, — начал раздражаться Порошин. — Но они со своей колокольни смотрят. Нам та обстановка, которая сейчас на участке, выгодна. Очень выгодна, неужели тебе не ясно? Ты не о высоких материях, о конкретной задаче подумай!

— Подумаю, — с оттенком обиды произнес комиссар.

О высоких материях — это ты зря. Тут не о материях речь, о принципиальной позиции.

— Позиция сейчас одна — бить противника. Вот подойдут два головных батальона и сразу ударим. С этим ты согласен? Можно готовить приказ?

— Готовь, подпишу, — кивнул комиссар. — Руководить кто будет?

— Сам. Первая операция, притом — важная. Плацдарм с господствующей высотой: за это нам десять раз спасибо скажут, если получится. На ту сторону Бесстужева с его батальоном пошлем.

— Можно командира полка послать. Надежней. По крайней мере будет с кого спросить.

— Сами с себя спросим. Командиры полков новые, я их в деле не видел, а Бесстужева хорошо знаю.

— Ты его вообще в гении записал.

— Не в гении, командир он умелый. Злой, напористый. И главное — головой воюет.

— Решено, — согласился комиссар. — Но политдонесение я все-таки отправлю. Торопиться не буду, а о майоре сообщу, тут уж ты как хочешь. Это моя обязанность.

* * *

За три спокойных месяца, пока дивизия формировалась в тылу, Игорь отъелся и отоспался. Каждое утро и вечер ходил в спортивный городок, крутился на турнике, прыгал через «коня». Сам чувствовал, как возмужал, как вновь налились силой и будто стальными сделались мускулы. Гимнастерку пришлось взять на номер больше.

Раньше мечтал, чтобы скорей росла борода, мечтал посолднить. Теперь волос пошел так густо, что приходилось бриться через день, и это надоедало.

Шофер Гиви, получивший звание сержанта, совсем обленился. Ночью храпел, днем дремал на солнце, поглаживая брюхо, шевеля щетинистыми усиками и мурлыча, как сытый кот.

В спортивный городок он не навещался, по вечерам исчезал часа на четыре, когда возвращался, от него пахло спиртным и духами.

При начале формирования Игорь просил направить его политруком в батальон капитана Бесстужева или в дивизионную разведку, но генерал Порошин сказал решитель-

но: «Куда тебе в строй, у тебя нога сломана. Катайся в драндулете со своим грузинком». Сам выбрал ему должность инструктора политотдела дивизии по работе среди войск противника. Титул был пышный, а обязанности — не бей лежачего. Игорь получил крытый грузовик с радиоусилителем и громкоговорителями. В грузовике разместился весь штат: он сам, Гиви, радиотехник и переводчик, выполнявший по совместительству обязанности машинистки, благо печатать было пока нечего.

Игорь догадывался, что Прохор Севостьянович нарочно держит его поближе к себе. Как-никак, знакомы они еще с довоенной поры. Генерал Порошин, резковатый на людях, заходил порой к Булгакову «отвести душу», повздыхать о Степане Степановиче, послушать, что пишет Настя. Один раз даже велел Игорю получить причитавшиеся командиру дивизии продукты и отправить их с оказией в Москву, Евгении Константиновне. Это тронуло Игоря — не забывает старуху, хоть и чужая.

Перед отправкой на фронт политрук Булгаков вместе с начальником политотдела разработал подробный план на месяц вперед: опрос пленных, анализ вражеских писем, дневников и других документов, подготовка материалов для листовок, пропагандистские передачи для немецких солдат на передовой. Но все пошло намарку, когда выяснилось, что перед ними обороняются итальянцы. Языка итальянского в дивизии никто не знал, да и подход к ним, вероятно, должен быть какой-то другой.

— Не горячись, политрук, — успокаивал Гиви. — Зачем горячиться? Итальянцев мало, немцев много. Сегодня работы нет, завтра работа будет.

Узнав, что батальон капитана Бесстужева готовится к операции, Игорь попросил разрешения отправиться на передовую, познакомиться с обстановкой. Может, там не только итальянцы, но и немцы есть?

— Хорошо, — одобрил начальник политотдела, — Пойдете, как наш представитель. Я вот доклад готовлю: «Роль комсомольцев в бою», постарайтесь собрать фактический материал. Несколько рядовых надо показать, двух-трех сержантов и одного лейтенанта тоже желательно.

— Будет сделано, — козырнул Булгаков.

К Бесстужеву как раз собрались ребята из дивизионной разведки. Игорь поехал вместе с ними верхом.

Два батальона, выделенные для участия в операции,

расположились в перелесках, километрах в восьми от Дона. Старшины рот выдали бойцам добавочные патроны и по пять гранат. Люди плотно пообедали и теперь отдыхали.

Игорь нашел капитана Бесстужева в просторном шалаше. Капитан только что отпустил ротных и теперь брелся, соскребая с загорелых щек жесткую белесую щетину.

— А, пришел, — сказал он Булгакову. — Ты будто чувствуешь, когда интересную кашу завариваем.

— Такая наша судьба политотдельская, — ответил Игорь, садясь на кровать. Он уже привык к равнодушному, чуть насмешливому тону капитана. Бесстужев говорил так со всеми, даже с начальниками, делая исключения только для Порошина — генерала он уважал.

К Игорю комбат тоже относился хорошо, часто вспоминал переправу через ледяную Шать. Когда заговаривали они о Дьяконском, сразу веселели у него глаза и мрачноватый капитан со шрамом на темном испитом лице становился вдруг похожим на доброго юношу. Но ненадолго. И после таких разговоров становился еще молчаливей. Кто-то из новых товарищей сказал Игорю, что Бесстужев наверху псих: забрался в себя, как рак в нору, одна служба в нем и ничего человеческого. Но Игорь-то помнил, как крутили они в лыжном батальоне трофейную хронику и как страшно закричал тогда Бесстужев, увидев танк, раздавивший женщину...

Капитан кончил бриться, попросил полить ему воды из котелка. Вытираясь полотенцем, сказал:

— Открой консервы на столе. Я хлеба добуду. Чихнем по маленькой — и спать. Три часа в нашем распоряжении.

Игорь стопку вынул, а спать не лег. Пошел разыскивать комсорга. Но комсорг писал письмо домой, Булгаков не стал мешать ему и отправился к саперам, которые, стуча топорами, сбивали плоты и конопатили старые лодки, собранные со всей округи.

В сумерках к реке двинулся головной отряд: рота автоматчиков и десяток специально подобранных бойцов из полковой и дивизионной разведки.

Головному отряду отводилась в операции решающая роль. Ему надо было скрытно переправиться на тот берег, пройти между двумя опорными пунктами в тыл противника, неожиданным ударом разгромить штаб у подножия высоты Лысой и захватить на этой высоте ключевые пози-

ции итальянцев. Два стрелковых батальона поддержат отряд атакой с фронта.

Игорь поленился идти пешком, сел в один из грузовиков, которые везли к реке лодки. В километре от реки грузовики догнали отряд и остановились. Дальше автоматчики понесли лодки на плечах.

Неподалеку от Дона Игорь снова разыскал Бесстужева. Капитан сидел в просторном окопе вместе с командиром отряда и давал ему последние указания. Здесь же переминался с ноги на ногу парнишка лет тринадцати, босой и в красноармейской пилотке.

— Три ракеты, — сказал Бесстужев. — Как увижу три ракеты, начинаю атаку. Вот вам Сашок. Он доведет до деревни, покажет, где штаб и блиндажи. А начнется бой — Сашка сразу в подвал. Какая у тебя бабка там? Клёня или другая?

— Бабка Настя.

— Беги к ней и нос не высовывай, пока не позволю, — наказал Бесстужев. — Сам пойми: поможешь ты нам здорово, а в бою от тебя толку нет.

— Я ружье возьму, — шмыгнул носом мальчишка. — Я из ихних ружьев умею, у них предохранитель вот как стоит, — показал он.

— Я тебе дам предохранитель! Раз идешь в операцию, выполняй приказ. Понял?

— Да, понял, — неохотно произнес паренек и ногой потчесал ногу.

Ночь наступила безлунная и ветреная. Было по-осеннему темно. Игоря беспокоило, как бы бойцы не потеряли друг друга. Решил держаться вместе с разведчиками, которые побывали на берегу днем, осмотрели местность.

В лодку сели четвером. Едва отчалили — сразу начало покачивать. Плескалась вода, волны били в борт, обдавая мелкими брызгами. Разведчики гребли осторожно, стараясь не стучать веслами. Один лежал на носу и смотрел вперед. Что уж он там видел, один аллах ведает, но несколько раз шепотом говорил гребцам: «Правее. Еще правее».

Наконец, лодка мягко ткнулась в песок, Игорь и трое разведчиков потихоньку выбрались на берег, а лодка сразу ушла обратно, взяв других бойцов. Прошли метров десять по высокой траве, легли на мокрую землю. Здесь уже были люди, Игорь узнал командира отряда и паренька.

— Тихе, — предупредил командир.

— Да они тут и днем не бывают, а ночью подавно, — почти в полный голос сказал парнишка. — Тут топь впереди, они ишшо ни разу сюда не ходили. Только проволоку по краям поставили.

Ровно в полночь отряд двинулся дальше. Сапоги хлюпали по болоту, но постепенно начался подъем, грунт делался тверже. Справа время от времени строчил пулемет. Ему вторили еще несколько. Они отвечали первому почти сразу, только один немного запаздывал. Пулеметчик, наверно, дремал.

Умолкали недлинные очереди, и снова наступала тишина, нарушаемая лишь унылым свистом ветра. Игорь пытался представить себе, как идут сейчас через Дон десятки лодок и плотов, как выпрыгивают из них бойцы и ложатся на мокрый прибрежный песок, ожидая сигнала.

Командир отряда, замедлив шаг, негромко сказал Булгакову:

— Пулемет справа будет мешать нашим... Бери трех разведчиков, только без шума...

— Парамонов! — позвал Игорь знакомого бойца. — И ты, и ты тоже — за мной!

Они отделились от отряда и прошли метров двести, спотыкаясь о кочки. Как-то само собой получилось, что вперед выдвинулся разведчик Парамонов. Огромный, тяжеловетесный, он крался сейчас бесшумно, как кошка. Игорь вспомнил, что это он лежал на носу лодки и показывал, куда править.

Парамонов остановился и сел. Остальные опустились возле него.

— Ты что? — шепнул на ухо Булгаков.

— Погоди, пусть постреляет. Не видно.

Минут десять лежали они на росистой траве, напряженно прислушиваясь. Пулемет ударил вдруг так близко и так резко, что Игорь вздрогнул. Видны были даже острые язычки пламени, вылетавшие из ствола. И опять, как по команде, ему ответили еще несколько пулеметов, и опять один, вдали, опоздал на минуту.

Парамонов осторожно пополз вперед. Игорь — за ним. Когда разведчик остановился, Булгаков больно стукнулся лбом о его сапог.

Вслед за Парамоновым Игорь на спине съехал в окоп. Здесь темнота казалась еще гуще, но все-таки можно было рассмотреть пулемет с длинным стволом, стоявший на

земляной площадке. Рукоятки пулемета были еще сухими и теплыми, а людей не видно.

Парамонов молча взял политрука за локоть, вложил в ладонь веревку. Она тянулась от пулемета в неглубокий ход сообщения, потом выбегала на открытое место, в овражек. Разведчики поползли рядом с ней. Игорь выругался шепотом: вот, сволочи, как спокойно живут! Скучно им в окопе сидеть. Постреляли — и отдыхать! Даже веревочку протянули, чтобы не сбиться.

Впереди мелькнул огонек. Там, вероятно, был блиндаж, часовой-итальянец прогуливался возле него, забросив винтовку за спину и покуривая сигарету. Парамонов передал Булгакову свой автомат, знаком показал: оставайся на месте. Вытащил финку и пополз бесшумно, не прямо к часовому, а левее, среди кустов.

Игорь приподнялся, готовый рвануться вперед. Рядом с ним темными изваяниями застыли разведчики. Медленно тянулось время. Парамонов исчез. Итальянец подошел ближе, топтался на месте, хлопая ладонью о ладонь, напевая негромко. И когда у Игоря уже истощилось терпение, когда он сам готов был броситься на часового, из кустов тенью метнулся Парамонов. Раздался глухой удар, два тела свалились на землю. Булгаков в несколько прыжков очутился рядом. Разведчик лежал на итальянце, придавив его своей тяжестью, рукой зажав рот. Поднялся медленно, сдерживая дыхание. Сунул в ножны финку и взял свой автомат. Игорь шепнул едва слышно:

— В блиндаж!

Парамонов кивнул и опять пошел мягко, пружинисто, чуть пригнувшись.

Конец веревки был привязан к колышку возле дощатой двери. Игорь рванул ее и первым вошел в земляной тамбур. В нос ударило теплым затхлым воздухом, сладковатым дымком. Тускло горела коптилка, возле нее сидел за столом солдат в шинели и каске. Он писал что-то. Огонек коптилки качнулся, и солдат, не поворачиваясь, ворчливо произнес несколько слов: наверно просил закрыть дверь.

Оттолкнув Игоря, вперед бросился Парамонов. Итальянец едва успел привстать, как сильнейший удар в челюсть отбросил его в угол землянки, на кого-то из спящих. Второй разведчик сгреб в охапку винтовки, стоявшие у самого входа.

— Ахтунг! — скомандовал Игорь. — Хенде хох!

Итальянцы вскакивали с нар, подтягивая шелковые кальсоны, очумело протирали глаза. Трое русских с автоматами наготове стояли у входа. Четвертый — богатырь в окровавленной гимнастерке — ходил по блиндажу, покрикивал что-то, бросал итальянцам одежду, торопил: одевайтесь!

Их оказалось одиннадцать, считая того, которого сбил кулаком Парамонов и который все еще ворочался на полу. Игорь, рассовывая по карманам взятые со стола бумаги, соображал, что делать с пленными.

— Погоним к реке, — сказал он Парамонову. — Только не разбежались бы в темноте.

— Не разбегутся, — хмыкнул разведчик. — Мы им пуговицы на штанах обрежем. С этим как? — кивнул он на итальянца, пытавшегося подняться. — Этот не ходок. Прикончить его?

— Нет. Пусть сами своего несут.

Они поднялись наверх. По высотам, по всей линии итальянской обороны, грохотал бой. Особенно сильно — возле Лысой горы. Пулеметы захлебывались там длинными очередями, слышны были разрывы гранат. У подножия горы пылала деревня, освещая ее склоны, там мельтешили маленькие фигурки. С левого берега начала стрелять наша артиллерия, ей ответили итальянские пушки.

Автоматы затарахтели совсем близко. И пленные и разведчики бросились на землю. Над головой светлячками проносились трассирующие пули.

— Эй, вы! — заорал Игорь. — В кого бьете?

— А ты кто? — крикнули оттуда.

— Свои тут!

Стрельба прекратилась. Минута молчания, потом чей-то голос приказал:

— Эй, ругнись!

— Ты что... твою мать! — ответил Игорь, и, вторя ему, басовито с вывертом рубанул Парамопов.

Впереди появились настороженные согнутые фигурки. Разведчики поднялись им навстречу.

— Верно, свои! — остановился возле Игоря какой-то мокрый с головы до ног командир. — А это кто?

— Пленных ведем. Живей шевелитесь, тут чисто до самой деревни.

— Да мы только что переправились, — будто оправды-

ваясь, сказал командир. — Пулемет потопили, нырять пришлось. Мы левый фланг прикрываем.

— Это вам к деревне надо. Да побыстрее идите-то, в деревне наши уже.

От зарева пожаров и от ракет было теперь совсем светло. Разведчики вывели итальянцев к реке. Лодки и плоты продолжали перевозить бойцов, обратным рейсом уходили пустые. Игорь велел погрузить пленных.

Едва высадились на левый берег, подполковник, руководивший переправой, приказал идти на командный пункт дивизии: Булгаков был первым, вернувшимся с той стороны. Генерал Порошин не показал удивления, когда увидел Игоря. Выслушал его доклад, уточнил, где встретилась им рота, посланная обеспечивать левый фланг. Приказал немедленно допросить пленных.

— Допрашивать некому, никто не знает по-итальянски, — возразил Игорь.

— Кто-нибудь из итальянцев наверняка владеет немецким языком. — Порошин помолчал, исподлобья взглянул на Булгакова. — А вам, товарищ политрук, кто разрешил идти с головным отрядом? У вас свои обязанности.

— Разрешил начальник политотдела, товарищ генерал, — подавил улыбку Игорь. — Нужен материал для доклада!

Прохор Севостьянович погрозил ему пальцем, но в это время телефонист протянул ему трубку, сказал значительно:

— Грач на проводе.

— Да! — говорил Порошин, светлея лицом. — Да, да! Ну, хорошо, хорошо! Сейчас дам команду. А ты закрепляйся. Теперь главное — закрепиться!

Он бросил трубку телефонисту и на секунду прикрыл глаза. Все, кто находился на КП, стояли молча.

— Взяли! — резко произнес генерал. — Бесстужев сидит на Лысой горе. Полковник!

— Я!

— Переправляйте третий батальон, переправляйте противотанковую артиллерию. Весь дивизион. Раздайте по-батареино каждому батальону. Закрепляйте фланги, это самое важное. Завтра попробуем навести мост.

Начальству было теперь не до политрука Булгакова, и он ретировался незаметно, радуясь, что так хорошо кончилось дело. Этот Бесстужев, действительно, молодец!

И еще Игорь подумал, что так и не выполнил поручение начальника политотдела, не подобрал ему нужные фамилии. Впрочем, одна фамилия есть — Парамонов. И те разведчики, которые были с ним. Надо только узнать, состоят ли они в комсомоле.

Но и с этим Игорю не повезло. Когда он вернулся к реке, разведчиков там уже не было. Они сдали пленных комендантскому взводу, а сами опять переправились на правый берег, в головной отряд, который закреплялся сейчас на плацдарме.

20

Опомнившись от неожиданности, итальянцы попытались вернуть господствующую высоту и отбросить русских за Дон. Бой не затихал трое суток. Двенадцать атак отбили закрепившийся на плацдарме полк. В атаках принимали участие немецкие подразделения, подтянутые из тыла. Но и они уgomонились, потеряв полтора десятка танков и усеяв склон высоты серыми бугорками трупов.

Генерал-майор Порошин вернулся из штаба армии в отличнейшем настроении и с новым орденом Красного Знамени. Командующий отдал специальный приказ, в котором подчеркивал важность захвата плацдарма и объявлял благодарность бойцам и командирам. В личной беседе командующий сказал Порошину, что высоту Лысую надо держать зубами и руками. Это трамплин для прыжка. Туда надо перебросить достаточно сил, особенно против танков. И еще командующий сказал, что в тылу итальянского корпуса появилась немецкая пехотная дивизия. Фашисты подтянули ее сюда, в угрожаемый район, не очень-то надеясь на союзников. А дивизия эта, по всем данным, должна была двигаться к Волге.

— Вот она — настоящая помощь сталинградцам! — произнес командующий. — Вы там шевелитесь на плацдарме, стреляйте побольше, чтобы немцы не решились дивизии снять. Я полк гвардейских минометов для вас выделяю, чтобы жить веселей было!

После захвата Лысой, щедро давались награды. Капитан Бесстужев получил Красное Знамя, а Игорь Булгаков — Красную Звезду. Даже шофер Гиви, прямого касательства к операции не имевший, получил медаль

«За боевые заслуги», не столько за прошлое, сколько в счет будущего.

После вручения орденов генерал Порошин подозвал к себе Булгакова, легонько толкнул в плечо:

— Ну что, политрук, второе отличие завоевал? Скоро и вешать некуда будет!

— Я гимнастикой займусь, товарищ генерал, чтобы грудь пошире была! — бойко пообещал Игорь.

— Ладно, займись. Вечером ко мне приходи. Сегодня отдохнуть можно. Заслужили.

Штаб и политотдел дивизии стояли в деревне, но сам генерал вместе с оперативной группой почти безвылазно сидел на командном пункте, на небольшой высоте, километрах в двух от реки. Здесь же, на западном скате высоты, саперы оборудовали для него землянку, хорошо замаскированную среди кустов. Сюда и приехал Булгаков вскоре после наступления темноты.

Почти половину землянки занимали большой стол, накрытый зеленым сукном, и две длинные лавки. На столе красовался хрустальный графин и солидная, с тарелку величиной, пепельница. Дальняя стена была завешена ковром, возле нее стояла раскладушка. Вешалка да несограемый шкаф — вот и вся мебель. В полуземлянке было сухо, чисто, хорошо пахло какой-то травой.

Игорь хотел доложить, но Прохор Севостьянович прервал его, сказал дружелюбно:

— Пришел? Ну, раздевайся, садись.

Сам снял китель, остался в синих галифе и белой рубашке, перехваченной подтяжками, — будто подчеркнув, что встреча у них не официальная. С ним вообще было лучше в этом отношении: Степан Степанович Ермаков всегда, бывало, выделял Игоря, показывал свое расположение к нему. А Порошин строго выдерживал разницу: служба есть служба, для дружеской беседы — особое время. В такие часы Прохор Севостьянович сам отдыхал, вероятно, от начальнического бремени, а Игорь чувствовал себя с ним свободно, мог и закурить без разрешения и даже поспорить. Мало ли что он генерал! Он еще и человек и даже, может быть, влюбленный в Нелю-козу.

Прожив год у Степана Степановича Ермакова, повидав у него разных командиров, Игорь пришел к выводу, что все начальники, даже очень большие, в общем-то, обычно-

венные люди, имеющие всяк свои слабости. Поняв это, Игорь вовсе не утратил уважения к их знаниям и к их опыту, но в нем не осталось такого слепого почтения перед чинами и должностями. Ну, командир дивизии, ну и что же? Поучи другого — тоже лет за пятнадцать в генералы произвести можно. Незаменимых людей у нас нет, это теперь все знают.

Если сказать по совести, то Игорь уважал и даже чуть-чуть побаивался не генерала, а именно самого Прохора Севостьяновича, как такового. Была в Порошине какая-то скрытая страшная сила, не знающая преград. Сам Игорь ни разу не видел Прохора Севостьяновича в гневе, но, когда тот начинал раздражаться, когда каменно смыкались его губы, выступал вперед массивный, будто обрубленный подбородок, когда багровело, наливалось кровью лицо, оставляя белым только высокий лоб, — Игорь чувствовал, что эта жесткая, безжалостная сила может вот-вот выплеснуться наружу и разнесет все. Прохор Севостьянович умел сдерживать себя, но эта сила кипела в нем, как магма в вулкане. Наверное, она помогала Порошину подчинять себе людей и посылать их на смерть. Игорь вот мог сам идти в любое дело, на любой риск. А доведись послать в разведку Гиви или кого-либо другого, переживал бы за них больше, чем за себя. Нет, не хватало Игорю чего-то такого, что имелось у Прохора Севостьяновича, и, видно, не было у него шансов стать генералом, чем он, впрочем, нисколько не огорчался.

— Ну, расскажи, какую вы там графиню разыскали? — спросил Порошин.

— Это не мы, это разведотдел из тыла привез. Старушка такая, что уж скрючилась от возраста, но зато и французский, и итальянский знает. Она и на допросах у нас, и документы нам переводит. Мы ее бережем. Одежду теплую достали, трофейного кофе целый мешочек выдали. По-моему, она и живет только на одном кофе.

— Письма переводили?

— Сорок штук. И один дневник. Но только последние записи. В общем-то, ничего интересного. Все больше лирика, про любовь пишут, про то, как скучают. Или уж они такие любвеобильные, или военной цензуры боятся.

— А настроение?

— Уверенное у них настроение, Прохор Севостьянович, — хмуро сказал Игорь. — Уверенное и спокойное. На-

деются, что к зиме фронт встанет по Волге до Астрахани, а за зиму мы сами задохнемся без угля, без нефти, да и без людей. Их офицер так и пишет. Зимой, мол, авиация разобьет советские заводы на Урале, а потом останется только маршировать... Ну, еще и о посылках много. Посылки им разрешили отправлять. Перечисляют, что послано, просят ответить, когда получили.

— Уверены они, значит? — негромко переспросил генерал.

— В том-то и дело! — незаметно для себя повысил голос Булгаков. — От меня требуют: листовку для итальянцев готовь. А что в ней напишешь? Сдавайтесь в плен? Они только посмеются: русс отступает, а сам в плен зовет!

— Ну, после боев за Лысую не очень-то посмеются, — возразил Прохор Севостьянович. — Это, конечно, частность, однако для итальянцев урок предметный.

— Они не на Лысую, они на юг смотрят, — сказал Игорь. — Они же видят, что немцы Северный Кавказ взяли и Сталинград возьмут со дня на день.

— Ты что-то спешить очень.

— Я не спешу, я передаю, что пленные говорят. А если по совести сказать, то и среди наших такие разговоры ведутся. Гиви вои выпил вчера и причитает: «Ай, бедная жена, ай, как ты будешь! В Персию не пойдешь, в Турцию не пойдешь, куда пойдешь? Самой конец, ребенку конец! Мне тогда зачем жить?»

Порошин усмехнулся, очень уж похоже, с акцентом, передал Игорь речь своего шофера. Спросил:

— Ну, а ты, политрук, с такими разговорами бо-решься?

— Пресекаю. Начальник политотдела велел пресекать, я теперь и говорю своим: не надо, товарищи, языками работать, легче не станет. А тут еще «Фронт» в газете напечатали. Вот и рассуждают люди: это что же такое получается, умных людей затирают, мы за всякие дурацкие ошибки жизнь отдаем... Прохор Севостьянович, ну разве так? Ну, зачем эту пьесу-то печатать? Да не где-нибудь, в самой «Правде», в самом авторитетном органе! Разве это правильно?

— Правильно! — резко произнес Порошин. Встал с лавки, прошел вокруг стола, поскрипывая лакированными сапогами, и еще раз повторил: — Правильно! Ты вот

об авторитетах говоришь. Не пьеса их подорвала. Что там пьеса, когда мы и без нее завязли в дерьме! До самой Волги врага пустили! Некоторые полководцы наши ни к черту не годны, это факт! И я рад, что людям теперь сказали все прямо, в открытую, содрали повязку с язвы. В этом, брат, наша сила, а не слабость. Народ должен знать все, не только следствия, но и причины. Один недостаток вижу — надо было бы раньше такую пьесу пустить. Еще в прошлом году. Возьмись мы пораньше язвы лечить, может, и не шарахнулись бы на Дон и на Волгу.

— Тогда что же, не видны были язвы эти? — спросил Игорь.

— Может, и не очень видны сверху, может, и решительности кое у кого не хватало. Ведь этих Горловых у нас много, и все они у рулей стояли. Ну и считалось, наверно, что научатся помаленьку...

Порошин остановился, повернулся к Игорю, сел рядом:

— Ты что думаешь, одни солдаты спорят да рассуждают? Все рассуждают, все мучаются, только молчат. Ответственность чувствуют. Ты помнишь, в приказе сказано: «Отступать дальше — значит загубить себя и вместе с тем нашу Родину...» Да разве только в нас дело? Я дневник свой забросил, писать боюсь, такие мысли в голову лезут, — Порошин поморщился, вырвалось у него лишнее. Помолчал и спросил спокойнее: — Вот ты как считаешь, почему немцы нас гонят?

— Ну, наверное, потому, что сильнее.

— Конкретней. В чем сила-то?

— Техники у них больше, танков больше.

— Позвольте-ка мне с вами не согласиться, — усмехнулся Порошин, и Игорь не без робости отметил, как багровеют щеки генерала и жестким становится голос. — В артиллерии немец никогда не был силен, ни в ту, ни в эту войну. Артиллерия, между прочим, наш традиционный конек, и пушек у нас больше, и кадры лучше, и организация на высоте. Вот минометов у противника больше было, но и в этом отношении мы сравнялись. Да и танков имеем не меньше, чем немцы, и по качеству наши машины не хуже, а лучше. И если уж говорить о технике, то немцы с начала войны и до сих пор бесспорно превосходят нас только в одном — в авиации. Тут нам еще далеко до них. Я не знаю, как по количеству машин, но по качеству они впереди. Кадры в авиации у них отличные. В воздухе они хозяева, этим

и дают. Это, конечно, факт очень важный, но главный корень не в этом, главный корень в организации боя, во взаимодействии. Ты видел, как мы зимой наступали? Наспех, комом, без отдыха, без подготовки. Пехота с артиллерией еще более-менее связана, да и то только в начале боя. Потом идет на «ура!», как бог на душу положит. Танки сами по себе в лес по дрова едут, авиация сама по себе. А немцы что делают? Немцы не спешат. Они сначала подготовятся, свяжут воедино все элементы, тогда уж бьют, дают всей массой огня и стали. У них пехота просто так вперед не ползет, танки на рожон не попрут. У них твердая схема. Сперва авиация пробомбит, проштурмует противника, прижмет к земле, следом, пока воронки дымятся, пока противник не очухался, лезут танки с пехотой. Да не просто лезут, а при поддержке артиллерии и минометов. Такой массированный удар выдержать трудно, ты сам знаешь. И это еще не все. Мы иной раз неделями штурмует деревню или паршивый городишко. Людей гробим, технику гробим. Зачем? Да не зачем, командарм или еще кто-либо упрется: приказано взять, и баста. А немцы ткнутся в одном, в другом, в третьем месте и рвутся там, где мы слабее. Пробьются без лишних потерь — и вперед. Вот оно как.

— Значит, взаимодействие у них лучше? — негромко спросил Игорь, стараясь не раздражать Порошина.

— Уяснил, — снова усмехнулся тот. — Взаимодействие родов войск, управление боем, точный оперативный расчет — вот в этом сейчас их главная сила, так я считаю. Второй год мы воюем, и за это время многому научились. Научились наши солдаты, сержанты, командиры младшего и среднего звена. Наша пехота не слабее немецкой, если брать один на один, рота на роту, батальон на батальон. Ты возьми этого сержанта, с которым ты итальянцев забрал.

— Парамонов, — подсказал Игорь.

— Да, Парамонов. Это же специалист войны. У нас даже в новой дивизии процентов тридцать таких... А Бесстужев? Мастер боя, он со своим батальоном любой немецкий батальон раздает под орех. И ведь что главное: среди других наших батальонных командиров Бесстужев не очень и выделяется. Обыкновенный комбат, ну, может, чуть получше. В звене взвод — полк мы воевать научились, всеми приемами овладели. А высшее командование в звене армия — фронт застыло на мертвой точке. Там много

таких, которые учиться не способны, новое воспринимать не могут, живут только старыми заслугами, на старом авторитете. В этом наша беда. Чтобы спасти положение, убирать их надо, гнать надо как можно скорей. Вот об этом и сказано в пьесе. И я считаю: правильно партия сделала, что в «Правде» пьесу напечатала. Она теперь вроде бы директивной для нас стала. Генералы, учитесь, мол, воевать, да поживей. А не умеете — катитесь к чертовой матери!

Порошин хотел сказать еще что-то, но в это время, постучавшись, вошел пожилой сержант с корзиной в руках. Быстро и молча он накинуд на стол белую скатерть, поставил тарелки, хлебницу, рюмки, разложил ножи и вилки на три персоны. Игорь и Порошин отошли в угол, чтобы не мешать ему.

— Товарищ генерал, комиссара вызвали в политуправление, — негромко сказал сержант, откупоривая бутылку. — Комиссар велели передать: если вернутся до двадцати одного часа, то придут поздравить вас и обмыть орденом. Прибор я ему поставил.

— Хорошо, — кивнул Прохор Севостьянович, мельком взглянув на часы. — Горячее принесешь минут через двадцать, договорились?

— Вы тогда крикните, — попросил сержант. — Может, закуска понравится, чтобы без спеха. А у меня все готово.

— Раньше поваром в ресторане работал, — кивнул ему вслед Прохор Севостьянович. — Дока в своем деле. Только обижаются на меня, никак оценить не могу. Все некогда основательно за стол сесть... Ну, давай, устраивайся и наливай по стопочке.

— Бесстужев в таких случаях говорит: зробым по чарци, или еще так: чихнем по маленькой, — улыбнулся Игорь.

— Вот я ему почижаю, он у меня дочихается, — несердито проворчал Порошин, закатывая рукава рубашки. — Ну что же, вдвоем мы... Ты уж ради праздника гост какой-нибудь изобрази.

— За орден! — встал Игорь. — За вашу награду, Прохор Севостьянович, чтобы блестела и не ржавела. И чтобы вы их получили еще много, чтобы никогда не были таким, как Горлов, чтобы всегда были таким, как Огнев, а лучше всего — оставались самим собой!

— Да ты, я вижу, тосты произносить научился! — засмеялся Порошин. — Раньше я не замечал за тобой...

— Это от Гиви. У него перед каждой рюмкой целая лекция.

— Ну, догоняй!

Прохор Севостьянович опрокинул стопку, не поморщившись, потянулся за закуской. Сержант, действительно, постарался. Приготовил какой-то необыкновенный салат, холодный, острый, так и таявший во рту. Огурчики были засолены с чесноком и с перцем, настолько круто, что жгли небо. Квашеная капуста лежала на большом блюде, выбирай хоть шинкованную, хоть кусками, прямо в четверть кочна. Игорь, навалившись на все эти прелести, не мог не вспомнить Бесстужева. Капитан, конечно, тоже обмывает награду. Сидит в блиндажке на этой самой Лысой горе при свете копчушки, пьет разведенный спирт, закусывает консервами, а может, просто куском хлеба с солью и с луком. Вот бы его сюда! Только, наверно, он не чувствовал бы себя здесь свободно. Он настоящий фронтовик. Это уж у Игоря судьба такая — вечно околачиваться по тылам.

— Ты чего вздохнул? — спросил Прохор Севостьянович. — От серьезного разговора?

— Разве вздохнул? — удивился Булгаков. — Я и не заметил. А насчет разговора — так я не очень расстроился. Просто понятней стало теперь, что к чему. Вот только одного в толк не возьму: откуда же они берутся, эти бесаланые полководцы. Ведь их не поштучно считают, их много, если даже в «Правде» про них написано.

— Откуда берутся? — переспросил Порошин. — Да из того же места, откуда все. Это не проблема. Суть в том, как они сумели посты занять. На этот вопрос ответить трудно, тут разные мнения могут быть. Ты вот историк, закончишь после войны институт, повзрослеешь, подумаешь, разберешься. Издалека видней.

— Ну, до этого еще дожить надо, — возразил Игорь. — Это нескоро. У вас-то, наверно, есть на этот счет свое мнение?

— Мне пора, — засмеялся Порошин. — Мне и по возрасту и по чину без своего мнения обойтись трудно. Ты-то еще молодой, а я, можно сказать, так и вырос в Красной Армии. И в ней, и с ней.

— И что же, эти командиры вас учили, которых теперь

ругают? — съязвил Игорь. Прохор Севостьянович дернулся, гляннул сердито, но сдержал себя. Достал огурец, разрезал пополам, ответил спокойно:

— В армии было у кого поучиться. Мне такие таланты встречались — высотой с Монблан. Не виделся я с ними последние годы и вроде даже перспективу терять начал, в повседневной тине увяз.

— А раньше-то? — настаивал Игорь. — Как же все-таки генералы Горловы фронтами и армиями командовать начали?

— Ох и пристал! — вздохнул Прохор Севостьянович, наполняя стопку. — Ну, за всех знакомых наших, за всех близких!

Выпил, закусил вяло, не глядя в тарелку, и сразу потянулся за папиросой.

— Я тебе вот что скажу: в тридцать пятом году на Киевских маневрах мы показали такое, о чем в западных странах еще и не думали. Массовое применение парашютных десантов, массированный удар танков! По общему мнению наша армия тогда была самой сильной. наших военачальников в Германию приглашали, они немецкому генералитету лекции читали...

— А потом что же?

— Потом всякое было, — невесело усмехнулся Порошин. — Срок короткий, но кадры у нас основательно изменились. К началу войны некоторые в нашем высшем составе были выходцы из Первой конной. А то, что некоторые генералы еле-еле фамилию свою писать научились, на это внимания не обращали. Ты про маршала Кулика слышал? Он в военном искусстве разбирался не лучше, чем кукушка в разведении крупного рогатого скота. Доверили ему всей артиллерией Красной Армии руководить, он и наруководил! До его прихода у нас начали упор на противотанковую артиллерию делать. А Кулик отменил. Что это, дескать, за шишакки? Давай гаубицы крупных калибров, как в гражданскую!.. Вот и остались мы против немецких танков с одними бутылками, пришлось промышленность перестраивать. Маршала Кулика разжаловали в генерал-майоры. А сейчас, кажется, и вообще из армии вытурили. Но те, которые чуть поумней да похитрей, до сих пор держатся. О них-то и написал Корнейчук. Но жизнь их сама потихоньку выталкивает. Растут новые военачальники, у которых талант, которым Совет-

ская власть образование дала. Генерал Рокоссовский видишь как выдвинулся? Фронтом командует. Или возьми Ватутин Николай Федоровича. С виду прост, а ум замечательный. Сам знаю, под его началом служил. Ему теперь тоже фронт дали. В них я верю, они у немецких генералов умом сражение выиграют, а наши солдаты — в бою победят.

— Вот это да! — произнес Игорь. — С виду пьеса как пьеса, а за ней целая эпоха скрывается...

— Многое за ней стоит, — согласился Порошин. — Это я тебе для будущего, как историку, рассказываю. Таково мое мнение. Но это не для разговоров с бойцами.

— Да вы что же, дураком меня считаете?! — обиделся Игорь.

— Нет, просто предупреждаю. Знаешь, как у Шекспира: держи подальше мысль от языка, а необдуманную мысль — от действий... Эти мысли еще крепко обдумывать надо.

— Понимаю, Прохор Севостьянович, у меня ведь тоже голова есть.

— Она у тебя пока вихрастая, — засмеялся генерал. — Ты ее береги, после войны такие головы очень нужны будут. — И продолжал без видимой связи с предыдущим, следуя каким-то своим мыслям: — Ватутин и Рокоссовский теперь тоже под Сталинградом... Лучшие кадры туда собирают. Немцы-то узким клинышком вперед вырвались.

— Чуйков, который в самом Сталинграде, он тоже из боевых генералов? — спросил Игорь.

— Да, ему знаний и опыта не занимать, — кивнул Прохор Севостьянович. — И начальник штаба у него такой, что общешься — не найдешь. Генерал-майор Крылов, который Одессу и Севастополь оборонял. У Крылова опыт уличных боев богатейший. Его рука там основательно чувствуетя...

Зазвонил полевой телефон. Порошин снял трубку.

— Да? Вернулся? Нет, не сплю. Давай, жду.

Игорь догадался, что Прохор Севостьянович говорит с комиссаром. Хотел уйти, но генерал задержал его — втроем веселее.

Комиссар пришел тотчас, сбросил у порога мокрую плащ-палатку. Щеки его покраснелись от холода, он принес с собой запах осенней сырости. Лицо было не-

довольное и вроде даже обиженное. Скользнул взглядом по Игорю, сказал равнодушно: «А, Булгаков», и сразу потянулся за стопкой, погреться. На вопросительный взгляд генерала ответил хмуро:

— В Сталинграде скверно. Последние метры держим.

— За этим тебя вызывали?

— Нет. С Указом Верховного Совета познакомили. Можешь радоваться, Прохор Севостьянович, с завтрашнего дня не комиссар я, а твой заместитель по политической части.

— Ты что, провинился, что ли?

— Не знаю, кто провинился, но институт комиссаров в Красной Армии упраздняется. Вводится полное единоначалие. Ты командир, ты и распоряжайся один.

— И отвечай тоже один?

— Само собой разумеется.

— В общем-то, это хорошая новость, комиссар. Освобождают нас от опеки, от утряски и согласования.

— Я и говорю — радуйся.

— Во всяком случае огорчаться не буду, — спокойно произнес Порошин, будто не заметив иронии. — Мы только сейчас с Булгаковым говорили, что люди у нас выросли, научились. А самолюбие, комиссар, это дело второстепенное. Ты что, за унижение сочтешь подчиняться мне? Не беспокойся, злоупотреблять не буду.

— Не век же мне, Прохор Севостьянович, с тобой служить. — Комиссар посмотрел на Игоря и добавил, поморщившись: — Ну, не в этом дело. Указ принят, и значит он правильный. Только очень уж неожиданно, без подготовки. Армия, можно сказать, на грани стоит, за Волгой для нас земли нет, и вдруг такая ломка.

— Значит, назрело, — сказал Порошин.

Игорь неловко чувствовал себя при разговоре начальников. Попросил разрешения уйти. В тамбуре сержант сунул ему сверток, проворкотал сердито:

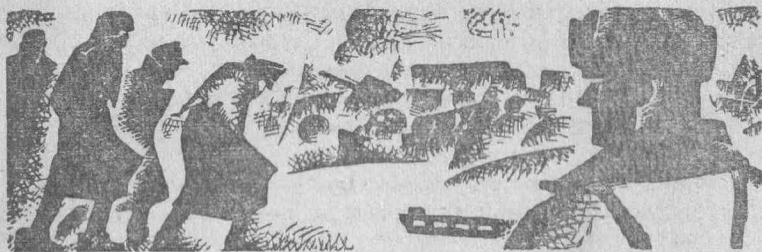
— Возьми на завтрак. Готовишь для них, стараешься, а они одни огурцы едят. Жаркое перегрелось давно...

Машина ожидала Булгакова в овражке, в километре от командного пункта. Игорь пошел полем, натываясь в темноте на кусты. Мелкий холодный дождь освежил лицо. За Доном взлетали тусклые оранжевые шары ракет.

Игорь думал о разговоре с Порошиным. Все-таки стран-

но, что такие неспособные люди, как генерал Горлов, стали командовать армиями и фронтами. Кто в этом разберется? Может, верно говорили студенты-скептики, что история есть не что иное, как политика, опрокинутая в прошлое? И не лучше ли заниматься археологией, первобытным обществом? Там все просто и ясно, там одни факты... Угу, конечно... Он примется выкапывать битые печные горшки, а Ольга всю жизнь будет терзаться думами об отце. Подрастет Николка и тоже спросит о деде.

Нет уж! Никаких соблазнов! Надо отвоевать, закончить институт, потом заняться историей своего века. Работать, думать, искать истину, говорить людям только одну правду, какой бы она ни была и чего бы это ни стоило!



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Еще с весны Василиса начала примечать в отце какую-то скрытность. Чуть свет ковылял Герасим Пантелеевич в правление, на старой лошаденке мотался по полям. Работа у него была нелегкая, в колхозе остались одни бабы, план из района спустили такой, как до войны, даже прибавили малость. Герасим Пантелеевич пообедать не всегда находил время. А для другого вот находил. То рубаху ему кто-то заштопает, то, как у молодого, заведутся у него вышитые носовые платки. Один раз вернулся заполочь и навеселе. На вопросительный взгляд дочери ответил смущенно, подергивая жидкую бороденку:

— В район ездил.

Василиса в колхозе работала мало, только в страду. Отец как-никак председатель, жили не бедно. Ей нужно было и ребятишек обстирать, и корову подоить, и за птицей присмотреть, и обед приготовить. Да и мало ли дел по хозяйству. Хоть и надоело все это Василисе, но куда денешься, раз уж выпало остаться в семье заместо матери. Сидя дома, она не знала того, о чем знала, пожалуй, уже вся деревня.

Как-то под вечер пошла она к запруде полоскать белье. На мостках встретилась ей Алена Булгакова, черная, худощавая, заезженная работой. Поздоровалась с Василисой ласково, как с родной. Поговорили о дяде Иване: ничего, живой, бог миловал. Служит в танках, вместе с дубковским Лешкой.

Потом, полоская ребячьи штаны, Алена сказала негромко:

— Ты уж отцу-то не становись поперек пути. Девка ты взрослая, понятие должна иметь, что у нас три калеки на всю деревню. А Герасим-то Пантелеевич — мужик еще в силе, негоже ему на корню сохнуть. Да и тебе легче будет.

Василиса, чуть помедлив, спросила:

— Кто?

— Да Аришка соседская. Она хоть лицом не вышла, зато и тихая, и хозяйственная. И на ребятенков у нее сердца хватит.

— Свой ведь ребенок есть у тетки Арины.

— Ну и что? У вас мальцов двое, да ее третий. Под одним крылом и вырастут. На улице-то, чать, все равно вместе бегают.

— Не могу я, чтобы чужая после мамки пришла... Я ведь берегу все. У нас все, как при ней стоит, — всхлинула Василиса.

— Ну, нельзя же так всю жизнь прожить. Ты помнишь, а ребятишки небось позабыли уже. Ты скоро свое гнездо ладить будешь, а они с кем останутся?

Смутная вернулась Василиса с реки. Поставила посреди двора корзину с бельем, села на траву в конце сада и заплакала потихоньку, вытирая шершавой рукой слезы. Думала о тетке Арине. Правда, она добрая, тихая. Муж у нее вместе с отцом на финской был, там и пропал. Вдовье бабы потом и мужиков принимали, и молодых ребят смаи-вали. А тетка Арина ни с кем. Все только работает да работает. Избенка у нее старая, внутри чисто.

Вспомнилось Василисе, как зимой вместе топили они баньку, как сидели на полке в горячем пару. Тетка Арина будто стеснялась ее, прикрывалась веником. Когда терла спину Василисе, сказала восторженно: «Ой, девонька, кожа-то у тебя какая! Прямо шелковая!»

От этого воспоминания стало Василисе почему-то еще горше. Даже в голос хотелось закричать: люди добрые, что же теперь будет?.. Но на улице замычали коровы — шло стадо. Надо было бежать за подойником, потом кормить ребятишек и укладывать их спать. В корзинке лежало еще не развешенное белье...

Ночью Василиса почти не спала. Лежала на спине с открытыми глазами, следила через оконце за месяцем, который вроде стоял на месте, а сам все полз и полз и в конце концов скрылся за краем рамы. Прикидывала девушка и так, и сяк, и под конец надумала.

После третьих петухов поднялась вместе с отцом. Быстро пожарила ему яишню с салом, налила в немецкую фляжку кваску на дорогу. Села против Герасима Пантелеевича, вглядываясь в его морщинистое, темное лицо с глубокими провалами глаз. В бородке впервые заметила седые волосы. И не было в ней сейчас обиды на отца, даже какая-то жалость возникла.

— С теткой Ариной у тебя так просто или по-серьезному? — спросила она.

Герасим Пантелеевич поперхнулся, долго кашлял, прикрывая рот рукой. Глотнул молока и сказал со вздохом:

— По-сурьезному, дочка.

— До осени погодить можешь?

— Это дело неспешное. А осенью что переменится? — насторожился отец.

— Уеду я, — сказала Василиса и, заметив испуг на его лице, добавила спокойно: — Да ты не думай, по-хорошему я. Учиться поеду. Отпустишь теперь?

Герасим Пантелеевич сидел взъерошенный и жалкий, глядя в пол, тер между колен ладони. Подняв глаза на Василису, улыбнулся несмело, будто прося извинения, сказал и с горечью, и с облегчением:

— Поезжай.

В тот же день Василиса собрала документы и отправила их в Тулу, в педагогический техникум. Приложила даже похвальную грамоту за седьмой класс. Ответа не было очень долго. Василиса потеряла всякую надежду, когда пришло наконец казенное письмо. Учебный год начинался поздно, с 15 октября. Ее вызывали к этому числу и требовали, чтобы привезла справку о работе в колхозе.

На дно фанерного чемодана положила она два платья, кофту с юбкой и совсем почти новые башмаки на каблучках и с высокой шнуровкой: их подарил своей жене Герасим Пантелеевич на другой год после свадьбы, и за всю жизнь не хватило у нее времени износить праздничную обувь.

В заплечную котомку взяла Василиса сухари, крупу, сало и помаленьку всякого баловства: меду, орехов, сушеных грибов и сушеной малины.

С утра сходила на кладбище поклониться маме, Демиду и Григорию Дмитриевичу. Хотела собрать букеты из анютиных глазок и доцветавших по канавам лиловых ко-

локольчиков, но отдумала. Нарвала охапки багряно-желтых кленовых листьев и осыпала ими могилки.

Снарядилась в дорогу тепло. Плюшевая жакетка, платок, длинная юбка. Отец починил и добротнo смазал дегтем ее сапоги.

Поцеловала зарезанных ребятишек и, глядя на них, сама едва удержалась от слез. С теткой Ариной простилась по-хорошему: не за что было сердать на нее. Раз уж идет в их избу новая женщина, то пусть переступит порог без злобы, с легкой душой.

Герасим Пантелеевич запряг телегу и повез дочь до Одуева. Медленно ехали они среди голых мокрых полей, под серым дождем. Отец сразу отправился обратно, а Василиса остановилась у Булгаковых, ожидать оказии. Были у Светловых и другие знакомые в городе, но Ольгу считала девушка своею родней. Кроме того, жутковато казалось ей первый раз попасть в большой город, надо было порасспросить, что да как. Ведь Ольга знает, она в самой Москве жила. И еще хотелось чуть-чуть погордиться. Вот ведь и трудно, и страшно, а она все-таки поехала, и не только для себя, но и для Вити, чтобы ему не скучно было потом с неученой колхозницей...

В доме Булгаковых встретили ее с радостью; очень уж редко заглядывали теперь гости. Вечером долго сидели возле самовара, в тепле и уюте. И никому не хотелось вставать: кончится чаепитие и опять нахлынут заботы, тревоги. Славка, сидевший на отцовском месте, с отцовской кружкой в руках, деловито расспрашивал, много ли в стояловском пруду карася, на какие вещи спрос в деревне, если пойти и менять. Марфа Ивановна жаловалась, что трудно с молоком для Людмилы и Николки, сокрушалась, как это отправится девушка одна в такое время на чужую сторону... Людмила колола молоточком орехи, попадала себе по пальцам, но не плакала, а допытывалась у тетеньки: разве у белок тоже есть молоточки? Зубками орехи грызут? Как же у них зубки не поломаются? А у бабушки поломались.

Даже Антонина Николаевна, сняв пенсне и отложив в сторону пачку тетрадей, посидела часок за столом. Ее интересовало, кто преподает сейчас в стояловской школе, много ли учеников, есть ли дрова. Она посоветовала Василисе после техникума обязательно поступить в институт.

Маленький Николка ворочался в деревянной кровати,

с трудом, но все же вставал на ноги и улыбался, довольный. Ольга придерживала его рукой, рассказывала:

— Годик ему скоро, он уже хорошо понимает. И «мама» давно говорит, и «баба», и «дядя». А «папа» — не произносит. Я ему фотографии Игоря показываю, учу его, а он никак не привыкнет.

— Фотографией человека не заменишь, — вздохнула Антонина Николаевна, ревнивым взглядом следя за внуком. — Он же ни голоса, ни рук отцовских не знает...

После чая Ольга достала из гардероба несколько платьев. Ей они были теперь тесны и в груди, и в талии. А Василисе пришлось почти в пору: рост у них один, потребовалось лишь убавить кое-где по фигуре. Василиса как глянула на себя в трюмо, так и обмерла: совсем городская девушка — стройная, светленькая, в шелковых чулках и нарядном платье. И даже лицо будто другое стало, и умней, и красивей. Вот только руки какие-то длинные, большие, неловкие и некуда их девать.

Ольга стояла возле нее, улыбалась, а сама думала с грустью, что по сравнению с этой восемнадцатилетней девушкой она выглядит солидной дамой. Лицо постаревшее, морщинки собираются возле глаз. Конечно, Василисе не тягаться с ней ни фигурой, ни статью. Но была в девушке та прелестная свежесть, та милая наивность и угловатость, которые Ольга утратила уже навсегда.

Они вместе уложили Николку, а потом долго сидели вдвоем впотьмах, Ольга рассказывала шепотом про Москву, про то, как Витя был маленьким. Все это казалось Василисе далеким и нереальным, будто происходило в волнующей красивой сказке. Она прижалась к большому горячему телу Ольги и ей было очень спокойно рядом с такой серьезной и умной женщиной.

— Третий раз его ранило, — вздохнула Ольга. — И на шее теперь шрам будет и ухо оторвано... Писал он тебе?

Василиса, уловив беспокойство в ее голосе, еще тесней прижалась к Ольге:

— Да на что оно ухо-то? Да пускай без рук, только бы живой вернулся!

— Знаешь, пусть лучше и с руками и с ногами придет, — улыбнулась Ольга и поцеловала ее в щеку.

Всю ночь и весь следующий день за окном шумел дождь. Падали с деревьев желтые мокрые листья, густо

покрывая лужи и набрякшую землю. Несколько раз выходила Василиса на шоссе, залитое жидкой грязью, но никакого движения не было на нем. Даже тяжелые грузовики, шедшие к Белеву, к фронту, и те стояли возле заборов: шоферы не рисковали ехать в такую распутицу. Не было ходу ни колесу, ни полозу, и непогодица эта могла теперь зарядить до конца октября. Хотя и не ближний свет семьдесят пять километров, но оставалось только одно — идти пешком.

Марфа Ивановна дала Василисе большую старую клеенку, закутаться от дождя. Славка снарядился провожать ее, одел отцовский охотничий плащ и высокие сапоги, захватил корзинку, чтобы собрать грибов на обратном пути: дождь-то теплый.

До самого леса шел с ней Славка, и на всем этом пути не встретили они ни одного человека, если не считать красноармейца, дежурившего на бугре возле пушек. Идти по раскисшей дороге не было никакой возможности, шагали то по обочине, то по стерне, то по тропинкам, срезая изгибы.

В лесу остановились передохнуть. Под густыми лапами елок разожгли костер, испекли десяток яблок. Не спешили их с хлебом, сидя на пне. Василиса приладила поудобней мешок за спиной, повязалась вместо платка клеенкой и взяла чемоданчик. Славка пожал ей руку, а потом долго смотрел вслед. Девушка шла, чуть сутулясь, оглябая лужи, и вот скрылась за поворотом, за дымчатой пеленой дождя. А с деревьев все сыпались и сыпались мокрые листья, падали без шороха, скрывая следы, заматавая тропинки.

* * *

Грибы искать — надо знать место. Не теряя времени, Славка сразу пошел к выкошенной опушке, где перемешались на краю старого леса молодые березы и елки. Тут, прямо на виду, важно стояли красноватые мухоморы, а рядом с ними, как солдаты в строю, вытянулись боровики с массивными бронзовыми шляпками, которые подернуты были сизым туманным налетом, словно на них, на холодные, дыхнул кто-то. Ближе к комлю росли грибы большие, дородные. А по прокоосу убегали боровички поменьше — последние были совсем как коричневые пуговицы, чуть высунувшиеся из земли.

Летом Славка потерял ножик, и теперь носил с собой крышку консервной банки, загнутую с одной стороны и остро заточенную с другой. Он присел и начал неторопливо брать грибы, с удовольствием ощущая их упругую крепень, любуясь белоснежными срезами тугих ножек. Дышали боровики холодным и чистым запахом почного леса, как дышит утренняя роса: вроде и нет в ней никакого запаха, а веет от нее радостной свежестью.

Почти до краев наполнил Славка корзину, но вспомнил, что Ольга любит жареные маслята. С сожалением выложил на тропинку боровики покрупнее, а сам отправился в глубину, к сырým полянкам. Побавиваясь холода, маслята семьями прятались в небольших углублениях, в колеях и канавках. Заметив один гриб, Славка на ощупь разыскивал другие в поседевшей траве.

Домой возвращался не спеша. Прошагав половину пути, сел покурить на поваленный телеграфный столб. Отсюда, с гребня косогора, хорошо видна была река, стальным серпом огибавшая Одуев, был виден и сам город: окраинные улицы, выползавшие в гору, кирпичные здания центра, Георгиевская колокольня, высившаяся над темными крышами. Надо же было создать природе такой здоровенный бугор среди обширных равнин! Говорят, что какой-то иностранец, проезжавший здесь еще в начале тысячелетия, написал в своем сочинении, что град Одуев есть пуп земли Русской. И верно, похож.

Летом, когда все зеленое, яркое, выглядит он красиво. А сейчас — нет. Бурые склоны, почерневшие от сырости дома, узкая лента грязной дороги. Опавшая листва обнажила разбитые стены, печные трубы на месте пожарниц. Вокруг города тянется изгородь из колючей проволоки, где в три, а где и в шесть кольев. Склоны оврагов скрыты эскарпами и контрэскарпами, которые на ровных местах переходят в глубокий противотанковый ров. А выше рва виднеются холмики дотов и дзотов. Приглядишься получше, и можно увидеть зияющие чернотой амбразуры.

Такая же проволока, такие же дзоты на другом берегу реки, тоже крутом и высоком. Возле дорог вырыты блиндажи и артиллерийские дворники, в них стоят зеленые, закрытые чехлами пушки. Фронт близко, за Белевом. Но если даже немцы и захватят Одуев, то дальше, за реку, пробиться им будет трудно. Теперь не прошлый год. С самой зимы расположилось тут ВПС — военно-полевое стро-

ительство, каждый день гоняют на земляные работы жителей. Под Сталинградом большие бои, там, наверно, нужны подкрепления. А здесь много пушек стоят вроде бы даже без дела. Но Славка понимает, стоят не зря. Охраняют дорогу к Москве. Немцы, наверно, знают, какая тут сила, и не очень рыпаются.

Славка изрядно устал, но у него было на сегодня еще одно дело, а он приучил себя выполнять то, что задумал. Иначе не проживешь в такое трудное время, да еще когда ты один мужчина в доме на трех женщин и двух детей.

Спрятав корзинку в кустах, он сделал километра полтора крюку и спустился к Упе. Раздвигая густые гибкие прутья ивняка, выбрался на берег. Водоросли уже опустились зимовать на дно, осела туда же и всякая муть, вода была прозрачная, как родниковая, и холодная даже на взгляд. Но Славка все же разулся, чтобы не зачерпнуть в сапоги, закатал штанины выше колен. Поеживаясь, он ступил в воду, нагнулся, одной рукой держась за ивняк, а другой нащупывая привязанную к коряге леску. В этом глухом месте, куда не забегали вездесущие пацаны, стояли у него пять закидок на голавлей. Летом голавли хорошо шли на лягушат. Славка приносил в неделю две-три рыбины, и это было большим подспорьем. Но теперь время кончилось, надо убирать снасти до следующего лета.

Три закидки оказались пустыми. А когда Славка потянул четвертую, сразу почувствовал — есть. Леска шла туго, но рыба не дергалась, не билась: вероятно, сидела на крючке не первый день и успела уже «уходиться». Осторожно подтянув закидку, Славка увидел в воде темную рыбью спину. Заведя голавля на мелководье, рывком выбросил его в траву.

Вот теперь Славка был доволен, день не пропал зря. Ужик сегодня будет не из одной картошки. Да и на завтра едой обеспечены. Конечно, кое-какие запасы они с бабкой создали на зиму. Но чем экономней, тем лучше. Да и разнообразие не помешает. Людка маленькая, ей нужны всякие там витамины. И Ольге тоже, чтобы молоко было хорошее.

Шагал Славка по грязной дороге навстречу мутному осеннему вечеру, грузно переставляя ноги в тяжелых отцовских сапогах и думал о том, как бы приспособиться ловить зайцев. Капканы, что ли, ставить? Второй год ни-

кто не охотился на зайчишек, много их развелось теперь в перелесках. Но как взять добычу, если нет ни собак, ни ружья?!

2

Не знала Антонина Николаевна, радоваться или огорчаться ей младшим сыном. Раньше был он ласковым, добрым мальчиком, и помечтать любил, и пошалить, как и все. А когда прошел через Одуев фронт, когда побывал Славка на отцовской могиле, его будто подменили. Улыбался редко, говорил мало, морщил лоб в постоянном раздумье. Игорь вот успел повоевать, повидал многое, но остался прежним, понятным. Не убавилось в нем доброты, жил с открытой душой, тянулся к людям. А Славка становился сухим и рассудочным. Сделает все, что попросишь. Даже просить не надо, сам догадается. Но ласкового слова от него не дождешься.

Антонина Николаевна взяла в школе большую нагрузку — тридцать часов в неделю. Дома, не разгибаясь, проверяла тетради. Но деньги настолько обесценились, что их хватало лишь на то, чтобы выкупить хлеб по карточкам да заплатить за молоко малышам. Ольга одевала всю семью, перешивая старье. И рада была бы заказам со стороны, да шили теперь мало, от случая к случаю. Главными кормильцами в семье стали Славка да Марфа Ивановна.

С весны вспахали они под картошку не только огород, но и большую часть сада. Вырастили много моркови, свеклы и огурцов. Все это убрали впрок. Одной капусты нашинковали две бочки. Поснимали яблоки, часть посушили, часть оставили целиком, переложив сеном. Давно уже перестали ходить в лес грибники, а Славка носил и носил корзины маслят, груздей, свинушек и боровиков. Баба едва успевала солить и сушить их. «Мы теперь, как барсуки, — говорила она. — Натаскать бы побольше в норку, чтобы до июня хватило, до первого щавеля. Зима-то долгая...»

Ко всему прочему Славка с самой весны по восемь часов в день работал в военно-полевом строительстве, из колючей проволоки крутил на деревянном станке спирали Бруно, которыми прикрывали проходы в заграждениях. И так наловчился со своим напарником, что их ценили, давали добавки к пайку. На работе Славка перекусывал чем-

нибудь домашним, а два раза в месяц отправлялся с мешком на склад, приносил буханки хлеба, мясные консервы, сахар, чай, лавровый лист и две больших пачки слабого ароматного табака. Все вываливал бабке на стол, лишь табак оставлял себе. Курил открыто, даже попыхивал иной раз старой отцовской трубкой, а у матери не хватало решимости запретить.

В августе стукнуло Славке шестнадцать. Высокий, худой, костлявый, он будто стеснялся своего роста, ходил, наклонив голову. Нового ему ничего не покупали, donaшивал Игоревы рубашки и отцовские галифе. Но все было для него широко и коротко.

Без всякой охоты учился он в девятом классе. Домашние задания делал только письменные, да и то на скорую руку. Многие уроки пропускал, нанимаясь на поденную работу в совхоз: то снимал капусту, то возил сено, и каждый раз обдуманно, с выгодой. Двое суток вкалывал на поле, где спешили убрать до мороза редьку. Работал сдельно, за натуру, и вечером второго дня привез домой редьки целый мешок.

Мать вздыхала: не было у сына юности. С девочками он не дружил, приятелей растерял, не ходил даже в кино. Если случался свободный вечер, играл с Николкой или садился за книгу. Читал быстро, с интересом, но вкус у него был странный. Игорь и его друзья увлекались в таком возрасте рассказами о героях, о гражданской войне. Славка же фыркал скептически: «Пышные фразы, как на собраниях. А немцы до Волги дошли. Болтовни бы поменьше...» Брал с полки либо путешествия, либо классику — девятнадцатый век.

После знакомства с романом «Отцы и дети» привязалось к нему словечко «идеалисты». И произносил его Славка, как самое худшее ругательство. Себя он считал материалистом и говорил, что одно маленькое дело лучше ста слов и советов. Марфа Ивановна поглядывала на него уважительно и даже немножко робела от таких недопустимых ей рассуждений, как робела раньше от мудреных словечек Григория Дмитриевича.

* * *

В первых числах ноября почтальон Мирошников принес в дом письмо — треугольник с синим штемпелем военной цензуры.

— Извиняйте,— сказал он.— Задержался малость, старый адрес на нем обозначен.

Ольга, как взяла письмо, сразу изменилась в лице: на треугольнике ясно была выведена фамилия отправителя: «М. Горбушин». Эта бумажка — как пощечина. Уж конечно, на почте посмотрели, кто пишет Дьяконской. И опять пополазут по городу сплетни да пересуды.

Она быстро пробежала глазами по строкам, брезгливо морщась. Было такое ощущение, будто держит в руках что-то грязное, липкое. И в то же время в глубине памяти всплыли вдруг интонации давно забытого голоса...

— От кого это?— спросила Антонина Николаевна.

У Ольги прихлынула к щекам горячая волна крови и слезы выступили из глаз. Чувствовала себя, словно преступница. Дашь это письмо — и кончится мир в семье. Не дашь — все равно узнают, будет еще хуже.

Она молча положила развернутый лист перед Антониной Николаевной и отошла к стене. Славка заглядывал через плечо матери, вытягивая шею.

Антонина Николаевна сняла пенсне, долго сидела молча, потирая морщинистые руки. Потом сказала сухим, надтреснутым голосом, обращаясь к Марфе Ивановне:

— Вот, мама, извольте видеть, Горбушин ей написал... Вспомнил ее.

— А что? — испуганно сжалась бабка. — К себе зовет?

— Пока нет, а может, и позовет. — Антонина Николаевна повернулась к Ольге: — Ты, конечно, как хочешь... Но внука я не отдам.

— Как вам не стыдно! — только и могла сказать Ольга.

— Чего мне стыдиться! — вскипела Антонина Николаевна, не обращая внимания на бабуку, пытавшуюся удерживать ее. — Чего мне стыдиться? Я всю жизнь с мужем прожила, со стороны писем не получала...

— Хватит! — негромко произнес Славка, но голос его прозвучал так, что все трое повернулись к нему. Он стоял возле печки, прислонившись спиной к изразцам, как бывало отец, с хлюпаньем раскуривал старую трубку. — Хватит истерик! Ничего не случилось!

— Да что же это такое? — вскрикнула мать. — Мне в своем доме и слова сказать нельзя? Кто здесь хозяин?!

— Я! — твердо ответил Славка. Похлопал трубкой и обратился к Ольге: — Сегодня же напиши ему. Сообщи, что замужем, что у тебя сын, что ты не хочешь иметь

с ним дела и чтобы он больше не приставал. Поняла?

— Так я и хотела, — благодарно кивнула Ольга.

— Бабушка, готовь чай, — приказал Славка и добавил с осуждением: — Эх вы, идеалисты! Из пустяков скандалы устраиваете, разве так можно?!

Антонина Николаевна возмущенно передернула худыми плечами, но промолчала.

* * *

Соня Соломонова, работавшая теперь на почте, в том же доме, где и жила, часто засиживалась по вечерам в конторе, читая чужие письма. И уж тем более не могла она пропустить письмо Горбушина. Ведь сама когда-то была равнодушна к Игорю, ревновала его к Ольге, а теперь переживала за свою подружку Настю.

Ужасно разволновалась она в этот вечер. А что если Ольга опять сойдется с Горбушиным? Вот какая радость для Насти-то будет!

Поколебавшись, она написала подруге о случившемся, попросив держать это в большой тайне. Коноплева ответила недели через две. Подробно рассказывала о своей работе, убеждала, что Соне, мол, лучше перейти в больницу. Ведь она тоже хочет стать врачом, пусть сначала освоит практику, тогда и с теорией будет легче. Лишь в самом конце длинного письма была такая строчка: «Мое отношение к Игорю ты знаешь. А то, что делает Ольга, меня не касается».

И все. Соня в который раз позавидовала подружке: какой же у нее твердый характер!

3

Пулеметчик Гафиуллин, сопровождавший Дьяконского в тыловой госпиталь, сказал на прощанье:

— Товарищ командыр, ты лечись, я ждать буду. Не хочу к чужим людям ехать.

И вот ведь сдержал свое слово упрямый маленький татарчонок! Три месяца умудрился прожить в городе. То заявил, что после контузии плохо видит — его начали таскать по комиссиям, то нагрубил какому-то начальнику и просидел пятнадцать суток на гауптвахте, то устроился

на пересыльном пункте в хозяйственную команду и уехал в колхоз убирать картошку. При всем том он регулярно приносил или присылал Виктору передачи, главным образом арбузы. И по тому, как много доставлял он арбузов и дынь, можно было понять, что приобретает их Гафиуллин не на базаре и не за деньги, а «заимствует» на окрестных бахчах.

Осень в этом году была какая-то особенно унылая, ветреная, сырая. В госпитале держался запах плесени, по белым стенам расползались желтые пятна. Ночью спали под двумя одеялами, спасаясь от влажного промозглого холода. И люди были подавленные, мрачные. По радио передавали однообразные, не радующие, сводки: в Сталинграде ожесточенные уличные бои, на других участках существенных изменений не произошло. Раненые ругали англичан и американцев за то, что те не открывают второго фронта. Говорили, что если зимой немцев не отбросят, то на следующее лето они дойдут до Урала. А может, и совсем крышка...

В ноябрьские дни как никогда ждали выступления Верховного Главнокомандующего и Народного Комиссара Обороны Сталина. Должен же он сказать, как жить дальше, на что надеяться! И так хотелось людям верить в хорошее, что из приказа Наркома больше всего запомнились слова: недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!

Эти слова повторялись тысячи раз, тихо и многозначительно. Раненые обсуждали: когда? где? Каждому хотелось выписаться из госпиталя к началу горячих событий, хотелось самому врезать удар в ненавистную фашистскую рожу, почувствовать свою силу и распрямиться душой.

На медицинской комиссии врачи долго проверяли слух Виктора. Шептали ему слова и справа и слева, меняя расстояния. Подписывая заключение, председатель комиссии сказал Дьяконскому:

— Внутренние органы в полном порядке, воевать можете.

В тот же день Виктор оформил документы на себя и на Гафиуллина и выехал к новому месту службы — в гвардейскую часть, стоявшую возле Тамбова.

Дьяконский был приятно удивлен, оказавшись в полнокровной дивизии, укомплектованной полностью по шта-

ту, имевшей много пулеметов, орудий, противотанковых ружей. А рядом стояли другие дивизии, не уступавшие той, в которую попал Дьяконский.

По густоте расположения войск, по большому движению транспорта на дорогах и по многим другим признакам, понятным опытному фронтовику, Виктор мог определить, что в этих местах сосредоточены крупные резервы. Но он видел немного, только то, что находилось вблизи, и даже не представлял себе реальных размеров той силы, которая накапливалась здесь.

Начиная с октября в Тамбовской области развертывалась по приказу Ставки 2-я гвардейская армия. В нее вошли два стрелковых корпуса, имевшие каждый по три дивизии, и механизированный корпус. Кроме того, — части усиления. Армия насыщалась техникой, особенно полевой и противотанковой артиллерией. В каждый стрелковый корпус включен был свой танковый полк.

Костяк соединений составляли бывшие моряки, воевавшие на Дону и под Сталинградом, а также фронтовики, которые выписывались из госпиталей. В армию направлялся проверенный в боях командный состав. Возглавляли ее опытные полководцы — генерал Малиновский и начальник штаба генерал Бирюзов. По количеству и качеству людей и техники эта армия была самой мощной из всех создававшихся до сих пор. Ставка оснащала и готовила ее основательно, без спешки, для каких-то еще неблизких, но важных дел.

Вспоминая теперь фразу «Будет и на нашей улице праздник!», Виктор чувствовал, что это не просто слова, брошенные на ветер. Они имели под собой основу, прочную и обнадеживающую.

4

Шло время, и Гудериан постепенно смирился со своим положением. Неторопливые прогулки, беседы с Маргаритой о сыновьях, теплый халат по вечерам — в этом тоже была своя прелесть. За обстановкой на фронте он следил по газетам и радиопередачам: на фронте управлялись и без него.

В штаб армии резерва, при котором он числился, Гудериан ездил только от случая к случаю. Да и то не за

информацией, а чтобы решить дела, связанные с именем, которое пожаловал ему фюрер. Надо было получить государственную дотацию, заложить дом, обработать участок. Незаметно для себя он из боевого генерала начал превращаться в помещика.

Маргарита радовалась этой перемене. Всю жизнь они встречались урывками: на неделю, на месяц; всю жизнь Гейнц был занят своими делами и мыслями, уезжал, торопился. А теперь судьба вознаграждала ее за это.

И вдруг Маргарита заболела. Глухая случайность — заражение крови. Неделю была она на грани жизни и смерти, неделю Гейнц не отходил от ее постели. По ночам, сидя возле жены, разметающейся в горячечном бреде, он мысленно обращался к богу, прося, чтобы всевышний не оставил его одного. Только теперь он понял, как дорога ему Маргарита. У сыновей своя жизнь, фюреру он не нужен. И если не станет жены, вокруг появится пустота, он останется один, все потеряет свою ценность: и поместье, и скопленные им богатства. Никто не позаботится о нем, не с кем будет поделиться такими мыслями и переживаниями, которые можно доверить только самому надежному другу — жене. Если бы она умерла, это была бы самая величайшая несправедливость по отношению к нему. Но, к счастью, этого не произошло.

Жена поправлялась, и осенью у них снова начались тихие мирные дни. Гудериана опять потянуло к военным сводкам. Долгие дождливые вечера он коротал в своем кабинете, вооружившись циркулем и карандашами. Анализировал данные, записывал в толстую тетрадь свои соображения: что сделано не так, и что, по его мнению, нужно было бы сделать.

Раньше он любил полное одиночество, даже присутствие Маргариты мешало ему. Теперь она всегда была с ним. Тихо сидела в кресле, в темном углу кабинета с вязальными спицами в руках. Когда он раздражался, когда начинал доказывать, что на фронте совершена очередная глупость, жена сочувственно выслушивала его, а главное — не возражала, давая Гейнцу возможность излить свою желчь и успокоиться.

Гудериан привык видеть в Маргарите хорошую хозяйку и хорошую жену, но не предполагал, что ее могут интересовать политика или война. Он был изрядно удивлен, когда в один из таких вечеров жена спросила:

— Мой дорогой, ты веришь, что мы когда-нибудь победим этих русских?

— Не понимаю тебя, — повернулся он.

— Очень похоже на прошлый год, — сказала Маргарита. — Мы все время наступали, потом русские остановили нас под Москвой. Мы должны были взять ее со дня на день... Потом началась зима...

Он был поражен: она так просто и коротко сформулировала то, что беспокоило его последние дни! Сам он еще не проводил таких аналогий, но они действительно напрашивались.

Гейнц ответил: да, на востоке совершается очередная ошибка. Войска выдохлись, захватив огромную территорию, хотя цель наступления не достигнута. Теперь надо занять выгодные оборонительные позиции, дать войскам отдых и переждать зиму, накапливая силы для нового броска. Но происходит обратное. Наступление пытаются продолжать. При этом основные силы прикованы к Сталинграду. А зачем? Ведь Сталинград — единственный участок, где одержана победа. Использовать Волгу русские не могут, так как немцы вышли к реке севернее города и держат ее под обстрелом. Сам город разрушен и на две трети захвачен немцами. Те полоски земли, которые еще удерживает противник, не имеют ни стратегического, ни оперативного значения. Ими можно пренебречь. Можно вообще вывести войска из развалин города, и от этого ничего не изменится. Там сейчас решаются не военные проблемы, а вопросы самолюбия, вопросы престижа. Фюрер во что бы то ни стало хочет захватить город,носящий имя Сталина. Противник стремится отстоять город по той же причине. Там столкнулись два упрямых характера. Там — второй Верден, там — борьба на истощение сил. Но для чего? Разве в России нет других целей?

И еще Гейнц сказал, что упрямство русских можно понять. Бой в Сталинграде для них выгоден. Каждый укрывшийся среди развалин русский солдат способен убить трех-четырех наступающих немцев. Противник вообще хорошо обороняется в городах, а немцы не могут использовать свои технические преимущества. Поэтому битва за Сталинград стала для немцев не только бессмысленной, но и угрожающей. Туда брошены огромные силы, которые могли бы успешно наступать на других участках. Сталинградская группировка вырвалась вперед уз-

ким клином, фланги ее растянуты на сотни километров, прикрывают их румыны, венгры и итальянцы, оснащенные хуже немцев, не имеющие большого опыта. Обстановка для контрнаступления русских сейчас благоприятней, чем была под Москвой. Русские, конечно, понимают это. Но они тоже втянуты в Сталинградскую мельницу, перемалывают там свои дивизии, сковывая немцев, и не имеют сил, чтобы использовать выгодную ситуацию.

Впрочем, как знать. В прошлом году тоже считали, что противник бросает в бой последние батальоны...

Гудериан так разгорячился, что жена поспешила переменить разговор. Гейнц умолк неохотно и вскоре почувствовал резкую, нарастающую боль в сердце. Нет, не надо ему так волноваться, тем более что от этого ничего не изменится!

Бесшумно ступая, Маргарита принесла ему лекарство. Она ругала себя за то, что обратилась к нему с такими вопросами. Глядя на побледневшее лицо Гейнца, решила никогда больше не касаться тем, которые могут вывести его из душевного равновесия. Она готова была сделать все, чтобы оградить мужа от забот и волнений. Но вокруг них существовал огромный тревожный мир, от которого никому и нигде невозможно было укрыться.

Через неделю, 24 ноября, раздался телефонный звонок. Говорил шеф-адъютант Гитлера, теперь уже не полковник, а генерал Шмундт. Ловя скудные слова мужа, Маргарита пыталась понять, о чем идет речь, что принесет в их дом этот телефонный разговор. Шмундт спрашивал о здоровье, о поместье, видимо, пошутил — Гейнц засмеялся хрипло и коротко. Потом на его лице появилось напряженное выражение, плотно сомкнулись тонкие бескровные губы. Маргарита поняла — Шмундт сообщил что-то очень важное.

Положив трубку, Гейнц несколько секунд стоял недвижимо, потом потер виски и повернулся к жене. Встретив ее вопросительный взгляд, сказал рассеянно:

— Ничего, дорогая, просто позвонил Шмундт... Они не вспоминали меня, когда дела шли хорошо... Шмундт передает самые лучшие пожелания и завтра привезет твои любимые цветы. А сейчас я должен ехать к генералу Фромму¹ узнать последние новости. Оказывается, мое мнение еще кого-то интересует.

¹ Командующий армией резерва.

Из штаба армии резерва он вернулся только в седьмом часу вечера. Сбросил шинель и, отказавшись от ужина, сразу прошел в кабинет. Маргарита приготовила кофе, сама понесла ему. Гейнц сидел над картой и быстро писал что-то на листке бумаги.

Осторожно поставив тяжелый серебряный поднос на край стола, Маргарита бесшумно пошла к двери, но остановилась, услышав резкий голос:

— Они подняли меч Немезиды и отрубили весь выступ. В котле больше трехсот тысяч. Такого не было с нами со времен Иены и Ауэрштедта. Но тогда против нас был Наполеон... В котле нет горючего, лошади остались на зимних пастбищах. Вокруг — снег и степь. Это расплата, и я не знаю, чем это кончится...

Гудериан умолк. Маргарита так и не поняла, обращался ли он к ней или говорил сам с собой. Она постояла еще немного, но Гейнц ничего больше не говорил, и она вышла, потихоньку прикрыв за собой дверь.

Часы медленно отсчитывали минуты, а она, пытаясь подавить тревогу, ждала, когда муж позовет ее. Пора было спать, но беспокоить Гейнца она не решилась.

В кабинете было очень тихо. Потом Маргарита уловила странный звук: там что-то упало. Поколебавшись, она заглянула туда и вскрикнула от ужаса: Гейнц лежал на ковре возле стола, прижав к сердцу обе руки, будто умоляя о чем-то.

Ей показалось, что муж мертв, и она упала рядом с ним, продолжая кричать и пытаясь поднять его. Прибегавшая прислуга помогла ей. Кто-то звонил по телефону, вызывая профессора.

Гудериан был без сознания, но сердце его билось, хотя толчки едва ощущались. С помощью Маргариты профессор снял с Гейнца мундир, умелым движением разорвал нижнюю рубашку. Сопровождавший его врач раскладывал на столике лекарства и какие-то блестящие инструменты.

— Приступ. Сердечный приступ, — сказал профессор и добавил успокаивающе: — Сейчас это у многих. Такое время.

И как ни взволнована была Маргарита, она все же подумала, что о Сталинградском «котле» не писали в газетах и не сообщали по радио. У Гейнца будут неприятности,

если кто-то увидит его карту или прочитает его записи. Она подошла к столу и убрала в ящик все бумаги.

Только на третьи сутки вернулось к Гудериану сознание. Он так ослаб, что с трудом поднимал тощую бледную руку. Маргарита влила ему в рот несколько ложек куриного бульона.

В этот день профессор сказал ей, что теперь за жизнь больного можно не опасаться. Это было серьезное потрясение для всего организма, но Гудериан справился с ним.

5

В начале декабря почти каждую ночь густо валил снег. По утрам подразделения выходили расчищать подъезды к железнодорожным станциям и платформам. Дороги все время поддерживались в хорошем состоянии. Только это и говорило о том, что войска вот-вот должны отправиться на передовую.

Роты усиленно занимались боевой подготовкой. План, спущенный штабом полка, предусматривал все, вплоть до строевых занятий. Но Дьяконский не очень-то считался с этим планом, делал то, что подсказывал опыт.

Молодых бойцов в его подразделении не было. Процентом семьдесят — фронтовики, а остальные — люди солидного возраста, призванные из запаса. Вот на них и пришлось обратить основное внимание, познакомить их с новым оружием, приучить к дисциплине.

В дивизию понагнали немало грузовиков, но командиры относились к этому довольно скептически. Впереди зима, снежные заносы, бездорожье, надо рассчитывать не на моторы, а на старый надежный способ передвижения. Виктор был уверен, что в бою ребята не подведут, закалка у них крепкая, особенно у бывших моряков. А вот ходить на большие расстояния они не умели. Да и пехотинцы «отяжелели» в госпиталях, не говоря уже о недавних запасниках. Поэтому Виктор первой своей задачей считал втянуть роту в переходы, сбросить лишний жирок.

Начали с марша на тридцать километров и при этом половина людей отстала, не выдержав быстрого темпа движения с полной выкладкой да еще по снежной дороге. После этого Дьяконский принялся водить роту на большие дистанции чуть ли не через день. Тридцать пять, сорок,

сорок пять километров. Да в пути устраивал еще краткие тактические учения.

Бывшие моряки, ребята с характером, почти все имевшие награды, без обиняков выложили ротному свои претензии: чего ты из нас соль выжимаешь? Мы к войне готовимся, а не к кроссу по пересеченной местности. Сидели бы в кубрике, читали всякие там уставы, ну, показывали бы новичкам, как из бронебойки стрелять. Другие вон все больше возле казармы, а ты нас по сугробам таскаешь. Мы привыкли жить круто: если воевать, то с полной отдачей, а когда можно отдыхать, то на всю катушку.

Дьяконский попробовал по-хорошему убедить ребят, потолковал с ними вечером. Моряки хоть и согласились с его доводами, но в поле шли неохотно. Про Виктора между собой говорили, что командир он дельный, только в доску сухопутный, смотрит на все эти учебные штучки очень серьезно, без юмора. Пулеметчик Гафиуллин горячо спорил с ними, доказывая, что гвардии лейтенант старается для них же самих.

Но в общем-то все это были мелочи, главное заключалось в другом. Люди словно сбросили с себя какое-то душевное опеченение, в них опять проснулась надежда. Немцы окружены под Сталинградом, за короткий срок там взято 75 тысяч пленных — такого еще не бывало! Газет в роту приходило десятка три, к вечеру их замусоливали так, что и читать невозможно, особенно ту страницу, где помещалось сообщение «В последний час». На привалах политрук ходил от костра к костру, едва успевая отвечать на вопросы.

Виктор был уверен, что их бросят именно туда, к Сталинграду. Ведь армии, окружившие немцев, понесли потери, ослабели в боях; нужны новые силы, чтобы разгромить противника. Так думали, на это надеялись почти все. Когда батальон погрузился в вагоны, когда эшелон, набирая скорость, пошел на юг, у людей не осталось больше никаких сомнений.

* * *

Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн считался в немецкой армии самым опытным полководцем. Большие знания, острый оперативный ум и точность расчета соче-

тались в нем с хорошими организаторскими способностями, с незаурядной силой воли. За его спиной была слава Крымского победителя. Он был одним из немногих, кто решался противоречить фюреру и отстаивать свое мнение. Именно Манштейну, лучшему военачальнику вермахта, поручил Гитлер деблокировать окруженную группировку, соединиться с Паулюсом и восстановить фронт. На карту были поставлены судьба трехсоттысячной армии, военный и политический престиж. Манштейн получил широкие полномочия, ему были подчинены все войска, действовавшие на участке фронта в 600 километров, от станции Вешенской до реки Маныч. В его распоряжение перебрасывались дивизии с Кавказа, из-под Орла и Воронежа, из Германии и даже из Франции.

Казалось, что направление для деблокирующего удара может быть только одно: от реки Чир, от станции Нижне-Чирской на восток. Здесь — самое короткое расстояние до окруженных, всего сорок километров. Однако сюда было приковано внимание советского командования, сюда перебрасывались резервы. У русских были тут удобные позиции для обороны, а немцам потребовалось бы форсировать Дон.

Взвесив все это, Манштейн принял решение, удивившее коллег, но казавшееся ему более целесообразным. Он приказал нанести удар на северо-восток из района станции Котельниково, хотя расстояние до окруженных превышало на этом направлении сотню километров. Зато войска могли наступать вдоль железной дороги, имея надежную связь с тылом. Да и русские не ожидали тут наступления, их 51-я армия, действовавшая на этом участке, состояла главным образом из стрелковых частей и была ослаблена в предшествующих боях.

За несколько дней Манштейну удалось собрать возле Котельникова ударный кулак из трех танковых, одной авиационной немецких дивизий и двух румынских корпусов. Туда же подтягивались моторизованная дивизия и дивизия СС «Викинг». Пятьсот танков, двигаясь впереди этой лавины, должны были таранить советскую оборону и за трое-четыре суток прорваться к окруженным.

В ставке Гитлера возникла идея поручить эту операцию мастеру танковых бросков генерал-полковнику Гудериану. Но ему понадобилось бы время, чтобы войти в курс дела. К тому же выяснилось, что Гудериан только

начинает поправляться после тяжелой болезни. Возглавить наступление было приказано генерал-полковнику Готу, отличившемуся в летних боях.

12 декабря группа Гота двинулась вперед, отесняя противостоящую ей советскую стрелковую дивизию. Было ясно: как бы стойко ни сопротивлялись русские, как бы ни цеплялись за каждую удобную позицию, они не смогут задержать противника. Крупных резервов русские вблизи не имели.

В Москве и в Берлине на картах генеральных штабов ежедневно отмечалось продвижение немцев. Но если на немецкой отчетной карте была только одна стрела, то на советской — две. Красная перемещалась навстречу синей, она ползла, огибая окруженную группировку. Это из района севернее «котла», с участка Донского фронта спешила навстречу Готу 2-я гвардейская армия. Ей надо было пройти по бездорожью, по снежной целине больше двухсот километров, чтобы стать на пути врага.

Юго-западнее Сталинграда, на поддороге между волжским городом и станцией Котельниково, есть неприметная речонка Мышкова. Даже не речонка, а ручеек, наполнину пересыхающий летом, промывший себе в степи глубокое ложе. Дальше, до самого города, раскинулась ровная степь без всяких препятствий.

Мышкова была последней естественной преградой на пути немецких танков, спешивших помочь Паулюсу, последним рубежом, удобным для обороны. 2-я гвардейская армия должна была остановить немцев на ее берегах. 51-я армия получила приказ напрячь все силы, затормозить движение врага, не позволить ему выйти к Мышковой раньше гвардейцев. С каждым часом таяли, гибли под немецкими танками последние полки 51-й армии, уже до шестидесяти километров сократилось расстояние между группой Гота и окруженными фашистами, а гвардейцы еще пробивались где-то сквозь пургу.

Сильной, очень сильной была гвардейская армия. В нее включили еще один, четвертый по счету, танковый корпус, полноценный и отдохнувший. У нее имелось все, но у нее не было времени. Простые подсчеты показывали: чтобы хоть немного опередить немцев, дивизиям требовалось пройти двести километров без отдыха. Это было выше человеческих сил.

Утром, по легкому морозцу, рота шла хорошо. Виктор останавливался на пригорках, смотрел вокруг. Насколько хватал глаз, ползли по двум параллельным дорогам темные, извивающиеся колонны. Люди, тракторы, пушки, и опять люди, люди... В небе проносились истребители прикрития. Они кружились над колоннами почти все время, хотя немецкая авиация не появлялась.

К полудню пригрело солнце, снег разбух, сделался влажным. Бойцы были одеты тепло: в ватники, в полушубки. Ноги вязли, валенки намокли и отяжелели. У Виктора горело лицо. Он давно снял подшлемник, но все равно из-под шапки скатывались на глаза капли пота.

Слабые бойцы начали отставать.

Пехоту обгоняли танки. Шли прямо по целине, оставляя широкие следы. Дьяконский сперва считал: машин восемьдесят, обогнало его рота. Потом усталость взяла свое: лень было поворачивать голову на рев моторов.

Ранние сумерки принесли с собой режущий ледяной ветер с мелким колючим снегом. Дул он с юга, прямо в лицо, обжигал щеки. Заледевели мокрые валенки, сделались будто чугунные, звенели при ударе один о другой. Они теперь не только не грели, а, наоборот, охладили ноги. На ходу это не особенно чувствовалось. Но когда устроили пятнадцатиминутный привал, несколько человек не поднялось: прихватило ступни.

Негде было положить обмороженных, ослабевших. Деревни встречались редко. Сохранившиеся в них дома были забиты до отказа. Дьяконский, не обращая внимания на крики хозяйки, приказал разобрать какой-то сарай. Разожгли костер, оставили возле него с десятков бойцов и пошли дальше.

Темно и мутно было в степи. Был ветер, бил в лицо снегом, крутил поземку, рвал полы полушубка. По сторонам дороги черными гробами стояли машины, обогнавшие днем колонну. Возле танков, оставшихся без горючего, прыгали замерзающие танкисты. Многие машины и тракторы поломались. Артиллеристы отцепляли от тягачей свои пушки, впрягались в брезентовые лямки и тянули орудия вперед по растоптанной дороге, тянули с натугой, почти ложась на снег.

Днем потеплело, опять набухли валенки, взмокли от пота люди. Теперь по дороге двигалась уже не стройная колонна, а тапились медленно группы бойцов, брели одиночки. Много красноармейцев лежало прямо на снегу — спали мертвецким сном. Виктор разрешил и своим поспать два часа. Ходил между ними вместе с Гафиулиным и двумя командирами взводов, переворачивал с боку на бок, чтобы не обморозились.

К ночи вновь задул ветер со снегом. На малом привале доели последние сухари. Дьяконский сосчитал людей. Из девятидесяти девяти человек осталось шестьдесят два.

Капитан из штаба полка, догнавший их верхом, отвел Дьяконского в сторону и сказал: завтра надо дойти. Даже если в роте останется двадцать человек, все равно.

Бойцы отдыхали, сидя на снегу. Лица пепельные, небритые щеки ввалились, дышат тяжело. Но Виктор знал: он даст команду, и они поднимутся, побредут дальше, сгибаясь под грузом оружия и собственной тяжести. Побредут из последних сил, пошатываясь, как в полусне. Найти бы в себе несколько слов, чтобы подбодрить их, зажечь в них огонек.

Он боялся спать: вставать потом будет слишком трудно. Стоял и думал. Когда кончилось время привала, когда взводные кое-как построили людей, он подошел ближе и произнес хрипло:

— Товарищи, фронт большой... На две тысячи километров. И на всем фронте сейчас мы самые главные. Вот ты, ты, ты,— показал он пальцем.— Все мы сейчас главные. Нам нельзя падать. Нам нужно дойти. И убить по одному немцу. Хотя бы по одному... Шагом марш! —скомандовал он и пошел вперед, не отвертывая лицо от резкого ледяного ветра.

В двух километрах от берега Мышковы, на перекрестке засыпанных снегом дорог стоял дивизионный комиссар в длинной генеральской шинели и серой папахе. За его спиной прыгали с ноги на ногу, потирая щеки, несколько командиров. С юга явственно долетала канонада, порой грохот орудий слышался совсем близко, и под ногами, под снегом подрагивала, как в ознобе, земля.

Когда утихал грохот на юге, далекий приглушенный гул докатывался с севера. И с той, и с другой стороны были немцы.

Час назад член Военного Совета говорил по телефону с командующим 2-й гвардейской армией генералом Малиновским. Голос командующего казался чужим, незнакомым. Малиновский тоже не спал уже третьи сутки.

Командующий сообщил последние новости: весь автотранспорт брошен на дороги, чтобы доставить горячее танкам и тягачам. Но танки и артиллерия придут не раньше завтрашнего дня. А немцы близко. Их головные отряды подойдут вечером, в крайнем случае — ночью...

Член Военного Совета хорошо представлял, что будет потом. На северном берегу Мышковы — жиденькая цепочка пехотинцев. Вражеские танки прорвутся, не задерживаясь. От реки до окруженной группировки — тридцать пять километров. А когда останется тридцать, генерал Паулюс нанесет удар из «котла» навстречу Готу. Через пробитую брешь хлынут многотысячные толпы остервеневших немецких солдат, сомнут наши тылы. Остановить фашистов будет невозможно. И это может произойти еще сегодня, 18 декабря. Неужели в этот день бесславно закончится героическая эпопея, начавшаяся на берегу Волги? Только пехота, магушка-пехота, могла спасти положение. Дивизионный комиссар выехал к ней навстречу, чтобы поторопить бойцов.

Много раз попадал он в трудную, отчаянную обстановку, но раньше всегда думал только о деле, о других, забывая о самом себе. А сегодня ему не давала покоя мысль: что же будет потом с ним и с командующим?

Они служили бок о бок и были дружны уже давно, с первых месяцев войны. Вместе руководили войсками, вместе росли. Сначала им доверили армию, потом целый фронт. И они неплохо управлялись со своей работой, во всяком случае не хуже других. Но слишком неравными были силы: немцы прорвались на Ростов, на Кавказ.

Их обвинили в развале фронта. Вызвали в Москву. Летели в пустом транспортном самолете, который неимоверно болтало. Было очень холодно. Началась рвота.

На аэродроме их никто не встретил, пришлось добираться до города на попутной машине.

Потом был тяжелый разговор с Верховным Главнокомандующим. Потом ожидание: суд или назначение?

Снова беседа. Им оказали доверие. Но Верховный предупредил, что в случае неудачи...

После этой беседы дивизионный комиссар почувствовал: что-то изменилось в нем, исчезла уверенность в своих силах, он подолгу колебался, прежде чем принять ответственное решение. И никак не мог забыть последнюю фразу, будто вскользя оброненную Верховным: ответите перед народом!

Он даже тряхнул головой, чтобы отогнать эти мысли. Сейчас важно только одно: сегодня немцы выйдут к Мышкове. А отсюда один дневной переход до «котла»...

Дивизионный комиссар давно уже послал трех командиров навстречу войскам, поторопить их. Хотел и сам поехать, но шофер сказал, что машина не пойдет по такому снегу.

Сквозь белесую завесу, крадучись, напознали сумерки. Был уже четвертый час, когда на дороге появилась голова колонны. Дивизионный комиссар молча пропустил мимо себя походное охранение. Люди шагали медленно, пошатываясь, не поднимая голов. Они так устали, что даже не обратили внимания на человека в генеральской папаше.

Без строя брели по дороге облепленные снегом бойцы, навьюченные оружием, тяжелыми мешками с боеприпасами. Бронбойщики по двое несли на плечах длинные ружья, похожие на жерди. Пулеметчики, согнувшись, тащили на себе пулеметы. Человек десять сгрудились возле противотанковой пушки, с фанатичным упорством тащили ее вперед.

Дивизионный комиссар видел, как падают люди. Словно убитые, лицом в снег. Многие, полежав, поднимались, некоторые вставали на четвереньки, ползли вперед, опять падали и опять ползли.

Люди шли кучно, потом поток иссякал, по дороге тащились отставшие, ползли ослабевшие. И снова сгусток — остаток какого-нибудь подразделения, лепившегося к своему командиру.

Член Военного Совета подумал, что вот этих людей он хотел поторопить... Этих шатающихся, обмороженных, опирающихся на винтовки? Этих, которые падают? Вот этого бойца, который ползет на карачках и тянет, тянет за собой на веревке деревянный ящик со снарядами?

Он приказал адъютанту взять ящик, донести до мес-

та и оформить на бойца наградной лист. Потом вышел на край дороги и крикнул:

— Друзья, осталось два километра!

Больше он не говорил ничего, только повторял громко все ту же фразу:

— Осталось два километра!

Для людей это было сейчас самым главным.

* * *

Виктор шагал словно в полузабытьи, ничего не замечая вокруг, механически переставляя ноги. Как сквозь вату донесся до его слуха приглушенный голос. Слов он не разобрал, но голос показался знакомым, всплыли в памяти желтые листья на темной воде, мост, покрытый свежими белыми латками, хмурое лицо Юры Бесстужева, коренастый пожилой комиссар в новой фуражке... Но это было давно, на Ворскле. А сейчас зима. Уже вторая зима... Он напрягал память, стараясь разобраться, где сон, а где явь. И вдруг снова услышал знакомый голос, теперь уже сзади. Он даже вздрогнул и обернулся: уж не сходит ли с ума? За снежной пеленой различил группу командиров и среди них — генеральскую папаху. Хотел вернуться, подойти, но трудно было ломать автоматический ритм шагов. Да и зачем? «Не все ли равно?» — подумал Виктор, чувствуя, как им снова овладевает равнодушие, как тускнеют, заволакиваются туманом мысли. В полусне легче было идти.

Через километр или полтора он увидел на краю дороги еще одного командира, того самого капитана, который приезжал к ним вчера. Лошадь его лежала тут же, и снег уже присыпал ее. Капитан подозвал к себе Дьяконского, вытянул правую руку и произнес натужно, сорванным голосом:

— Туда. Найдешь капитана Попова и становись правей его. Людей сколько?

— Тридцать четыре. Три пулемета и две бронебойки.

— Занимай двести метров правей Попова. Там старые окопы по берегу. Иди.

Им повезло. Они, конечно, совсем неспособны были сейчас копать твердую землю, но возле Мышковой сохранились еще с осенних боев траншеи, пулеметные ячейки и даже несколько полуобвалившихся блиндажей. Все это

было занесено сугробами, и бойцы своими телами умяли еще некрепкий пушистый снег.

К полуночи Дьяконский организовал на своем участке оборону, установил связь с соседями. А в половине первого подошел немецкий головной отряд. В темноте, без разведки, фашисты побоялись пустить танки; их автоматчики начали прощупывать северный берег, подбираясь к самым окопам. Двум дежурным пулеметчикам Виктор приказал бить короткими очередями в темноту — для остротки.

Бойцы выгребли снег из большой землянки, заткнули шинелью дыру в потолке. Человек пятнадцать спали впопыхах, согревая друг друга. Командир взвода и еще один, из бывших моряков, рослый, занозистый парень, стояли у входа и нещадно курили, чтобы не заснуть. Виктор хорошо знал этого моряка: он не отвечал, когда к нему обращались со словами «товарищ сержант», у него было флотское звание старшины 1-й статьи.

— Гвардии лейтенант, отдохните, — сказал Дьяконскому командир взвода. — Мы дежури́м со старшиной, не беспокойтесь.

Виктор велел разбудить себя через два часа. Хотел спуститься на пол, но колени не гнулись. Он просто упал возле самого входа, заснув еще на лету. Моряк и командир взвода разожгли возле его ног маленький костерчик, чтобы было теплее.

* * *

Всю ночь к Мышковой подтягивались группы пехотинцев, уплотняя оборону по северному берегу. Гвардейцы, потеряв больше половины обмороженными и ослабевшими, оставив в пути тяжелое оружие, успели все-таки выйти к рубежу на несколько часов раньше немцев. Но сотни танков, сотни орудий, машины с «катюшами» — вся эта чудотехника еще стояла в снежных заносах или медленно тащилась далеко позади.

Противнику было легче. Фашисты двигались по хорошей дороге, выбросив танковый кулак. Впереди оставалось только одно препятствие. А там, за Мышковой, рукой подать до окруженных дивизий Паулюса. Внутри «котла» немцы готовились к прорыву навстречу деблокирующей группировке. Наступило 19 декабря: в этот день должна была решиться судьба операции.

Утром погода сыграла в пользу немцев. Расчистилось небо, высоко поднялись легкие перистые облака. И сразу же появились фашистские штурмовики. Пока рвались бомбы, пока лежали на дне траншей советские бойцы, прижатые ливнем пуль, вражеские танки вышли на рубеж атаки.

Перед ротой Дьяконского берег был крут для броневых машин. Они стремились прорваться там, где ровней, ближе к дороге. А на участке Виктора лезла вперед пехота. Два раза пьяные немцы добирались до траншей, и оба раза гвардейцы отбрасывали их за речку.

Потом опять началась метель. В степи и без того трудно ориентироваться, а тут еще видимость сократилась до сотни метров. Войска перемещались. Немецкие танки, прорвав оборону, блуждали где-то по советским тылам. Немецкая пехота просочилась во многих местах, но, потеряв управление, не знала, что делать, куда идти. Повсюду слышалась перестрелка, но нельзя было понять, кто стреляет. И немцы, и русские, извалявшись в снегу, выглядели одинаково в этом белом месиве.

Чтобы не побить своих, Дьяконский собрал уцелевших бойцов к большому блиндажу. Заняли круговую оборону. Все бронебойщики погибли, но одно противотанковое ружье сохранилось. Виктор сам взял его и лег рядом с пулеметом Гафиуллина. Правее лежал со связкой гранат моряк: тот занозистый парень, который упорно именовал себя старшиной 1-й статьи.

Несколько раз появлялись за крутящейся мутью расплывчатые фигуры. Виктору казалось, что это немцы, и он приказывал Гафиуллину бить по ним. Татарин бил точно, ровными короткими очередями. Фигуры сразу же пропадали.

Потом вынырнули немецкие танки, но не со стороны Мышковой, а с тыла. Они ползли медленно, словно на ощупь. Стрелять в них было удобно. Виктор целился спокойно, выбирая место, где бортовая броня послабее. Третьим выстрелом он подбил танк, над кормой метнулось густое багровое пламя. Танк рванулся вперед, водитель не разглядел крутого откоса, и машина вдруг скользнула носом вниз, встала вертикально и перевернулась через башню, задрав еще вращающиеся гусеницы.

Остальные танки в упор ударили по траншее из пушек.

Виктор успел свалиться в блиндаж. На него упали моряк и Гафиуллин.

Минут через пять танки ушли и тут выяснилось, что и татарин и моряк — оба ранены. Виктор перевязал старшине 1-й статьи ступню, потом забинтовал Гафиуллина руку. К пулемету лег сам.

Дьяконский пытался по звуку определить обстановку. Вероятно, немцы форсировали Мышкову, бой отодвигался на север. Но и вдоль берега реки продолжали трещать выстрелы... Надо было решить, что целесообразней, — оставаться в траншее или уходить? Возле него было пятеро здоровых бойцов и двенадцать раненых. Не бросишь же их? И не имеют права они покинуть рубеж. Если даже немцы прошли на север, все равно бойцы в траншеях сковывают противника. Надо сидеть тут по крайней мере до ночи.

Все-таки, видимо, крепко мешали они фашистам, потому что через час враги навалились снова, на этот раз переправившись через Мышкову. Виктор, стреляя, видел, как моряк пополз по траншее навстречу им, сжимая связку гранат. За поворотом траншей грохнул взрыв. Там раздалась вопли, и немцы с той стороны больше не появлялись.

* * *

Командный пункт дивизии разместился на кургане, метрах в трехстах от дороги. Чуть позади — разрушенный хутор с двумя домиками. Окна были заткнуты тряпьем и матрацами, но в комнату все равно проникал снег, хрустел под ногами. В коридоре, у входной двери, намело целый сугроб. Тут было холодней, чем на улице.

Связисты протянули сюда провод. Член Военного Совета хотел поговорить с командующим, узнать общее положение, но генерал куда-то выехал, а начальник штаба не мог сообщить ничего утешительного.

После полудня стало понятно, что пехота не выдержала. Бой приближался к хутору. По дороге и по целине брели в тыл раненые. Потом начали отходить остатки подразделений. Командир дивизии доложил, что до пятидесяти танков противника вырвались на дорогу и движутся на север. А в дивизии нет никаких резервов.

Да, танки противника шли по дороге. Дивизионный комиссар сам слышал их тяжкий гул. Отсюда, с этого ру-

бежа, оставалось как раз около тридцати километров до окруженной группировки. Там уже знают об успехе танкистов, там тоже готовят прорыв. Не случайно же особенно сильно грохочет там артиллерия. Теперь немцы зажмут с двух сторон рассеянную среди снегов гвардейскую армию...

Он думал об этом, а в подсознании все время звучали слова, произнесенные Верховным Главнокомандующим, жестко, с резким акцентом: ответите перед народом... Да, второй раз ему и генералу не будет, конечно, прощения. Им дали такую отличную армию, дали такую технику! А они не сумели... И никаких объективных причин!

Он был утомлен войной, запуган угрозами, этот еще недавно решительный, умный, волевой человек. Может быть, сказало напряжение трех бессонных суток — во всяком случае он не сумел справиться со своими нервами...

А через час, всего только через час, немецкие танки были встречены на дороге огнем полевых и противотанковых пушек. За ночь шоферы успели доставить горючее. Где на тракторах, где руками артиллеристы протаскивали через сугробы орудия, с ходу заняли огневые позиции, выставив на узком участке сотни стволов. Следом за ними пробивались сквозь снега танковые бригады. Они довершили то, что начали артиллеристы.

К вечеру остатки немецких войск были отброшены на южный берег Мышковы.

* * *

Адъютант дивизионного комиссара докладывал командующему в полночь. Генерал выслушал молча и долго стоял, повернувшись спиной к адъютанту. Генерал понял все. Он так хорошо знал своего боевого товарища, что мог бы проследить ход его мыслей и переживаний. Всю жизнь комиссар верил в людей и учил этому других. Он усомнился, не поверил только один раз, и это стоило ему жизни.

— У дивизионного комиссара было слабое сердце, — тихо произнес генерал.

Адъютант молча наклонил голову...

В ту же ночь, с 19 на 20 декабря, командующий армией отдал своим войскам новый приказ. Уже не о том, чтобы задержать немцев. Приказ предписывал разгромить и

отбросить ослабленную в боях группировку генерал-полковника Гота.

В сражение вводились новые гвардейские полки и дивизии.

* * *

На сборном пункте Дьяконский разыскал многих бойцов, отставших от роты на переходе. Он не упрекал их. Даже не напомнил о том, как ворчали во время тренировочных маршей. Они теперь на собственной шкуре попробовали, что к чему.

Дьяконский был доволен: когда выстроил роту, оказалось, что в ней, вместе с легкоранеными, осталось сорок пять человек. Подразделение снова было боеспособным.

На листе бумаги, выданном из какой-то бухгалтерской книги, написал он ходатайство командиру батальона о награждении медалями двенадцати бойцов. А пулеметчика Гафиуллина просил наградить орденом Красной Звезды.

Молодой татарин наотрез отказался уходить в госпиталь лечить рану.

— Товарищ командир, не гони! — просил он. — Не нужен мне госпиталь, не нужен мне орден. Оставь с собой — лучший орден будет!

И Виктор, тронутый такой привязанностью, не решился обидеть его.

* * *

В конце 1942 года немецкое командование впервые по настоящему испытало на себе то, что до этой поры испытывали советские полководцы. Немцев начали бить планомерно и организованно, не давая времени подготовить контрудары или закрепиться на выгодных рубежах. Едва фашистам удавалось заткнуть одну прореху на фронте, возникала другая и третья.

Значительное преимущество в силах русские имели только в районе Сталинграда, в этом эпицентре землетрясения, колебавшего теперь весь восточный фронт. Однако они рвались вперед не только там, но и на широком пространстве в большой излучине Дона. Они сделали самое главное: сломали оборону немцев, вывели их из равновесия и не давали остановиться. На этот раз русские захватили инициативу настолько прочно, что после рождества германское командование уже не думало ни о каком

наступлении. Все помыслы сводились к одному: как задержать советские армии?!

А на огромном фронте быстро назревали новые события. Пользуясь тем, что внимание фашистов приковано к району Сталинграда, советские войска готовили крупные операции на Кавказе, возле Воронежа и на севере — под Ленинградом.

6

Вечер выдался морозный: какой-то хрусткий, прозрачный, будто стеклянный. Матово светились пышные сугробы, четко обрисовывались на фоне звездного неба белые контуры высоты Лысой. Редкие выстрелы потрескивали сухо и коротко. Сегодня подразделения на плацдарме получили приказ не ввязываться в огневой бой. Сегодня требовалась тишина.

До начала радиопередачи оставалось десять минут. Игорь стоял у входа в землянку, потирая стынущие щеки. Отсюда, от этой двери, убегали к передовой несколько черных шнуров. В окопах, в кустах, на склоне высоты и даже на «ничьей» земле были замаскированы пять мощных громкоговорителей.

В жарко натопленной землянке суетился радиотехник, проверяя готовность аппаратуры, подремывал в углу Гиви, а за столом торжественно восседала сухонькая старушка в старомодном черном платье с большой брошью на груди, прицепленной по поводу торжественного мероприятия.

Эта ветхая женщина, обнаруженная дивизионными разведчиками где-то в тыловой библиотеке, не любила говорить о двух вещах: о своем возрасте и о прошлом. Лицо у нее было сморщенное, усохшее, жидкие волосы успели не только стать совершенно седыми, но начали даже желтеть. Судя по этим признакам, ей шел по меньшей мере восьмой десяток лет, однако голос ее звучал звонко и молодо.

В особом отделе Игорю сказали, что она — бывшая дворянка и чуть ли не из графской семьи, но ей можно доверять, так как родственников за границей у нее нет, а два сына сражаются на фронте. Она в совершенстве знала итальянский и немецкий языки, свободно разговаривала по-французски. Когда сердилась, у нее вырывались почему-то польские фразы и она шипела, как кошка.

Игорю не нравилась ее категоричность. В чужие дела нос она не совала, но уж если скажет что-нибудь, то обязательно настоит на своем. Так было, когда готовили тексты для передач. Работали втроем: Булгаков, Цновская и представитель политотдела армии. Опрашивали пленных, читали захваченные солдатские письма, набрасывали черновики. Игорь мыслил так: надо рассказать солдатам противника, что фашизм — злейший враг народов, что Муссолини ведет Италию к гибели, что против гитлеровской коалиции ополчилось все свободолюбивое человечество. Следующую передачу посвятить обзору военных действий. Фашистов бьют и под Сталинградом и в Северной Африке. У Советского Союза огромная территория и неисчерпаемые ресурсы. Враг будет уничтожен. Уцелеют только те солдаты и офицеры, которые сдадутся в плен.

— Я не согласна. Вы совсем не знаете итальянцев. Такие холодные слова могут повлиять на рассудочных немцев. Но и в этом я не уверена. Это казенная пропаганда. Итальянцы — люди пылкие и впечатлительные. Надо обращаться к их чувствам. Страх смерти, тоска по родному дому, воспоминания о жене, о детях — вот что нужно для них. Они остро воспринимают поэтическое и красивое.

— Их надо припугнуть, — настаивал Игорь, — пусть поймут безнадежность своего положения.

— Они не пугливые, — возразила старушка. — К тому же Рим слишком далеко от Дона, чтобы положение казалось безвыходным.

На сторону Цновской стал инструктор поарма, и это решило дело. Старушка сама подготовила тексты. Игорь вынужден был согласиться. А инструктору поарма тексты так понравились, что он обещал размножить их листовками.

Сейчас у противника ужин. В траншею принесли вареные макароны и куски замерзшего вина. Пленные жалуются — их кормят только этим, никаких фруктов и овощей, у многих шатаются зубы. А вино наполовину разбавлено водой — интенданты стараются для себя.

Да, южанам-итальянцам тут приходится хуже, чем немцам. И кормят союзничков скверно, и одеты они не для русской зимы. Кителя и шинели легкие, на рыбьем меху. Красивая у них форма, даже солдаты носят рубашки с галстуком. Но галстук не греет, а в бою только мешает...

В морозном воздухе раздался вдруг высокий и чистый

голос женщины. Наверное, многие вздрогнули при этих громких звуках, таких необычных среди снежной пустыни. Итальянский пулемет, стрекотавший слева, ближе к реке, поперхнулся и смолк.

Игорь столько раз перечитывал текст, столько раз слышал, как Цювская тренировалась перед микрофоном, что знал его наизусть. Он в уме повторял сейчас то, что женщина говорила на чужом языке.

«Итальянцы! В этот тихий зимний вечер перенеситесь мысленно на свою родину, к своим близким. Над вашей прекрасной страной еще не зашло солнце. Подумайте о своих родителях. Как тоскливо им без своих сыновей. Кто позаботится о их старости? Они надеются увидеть вас живыми и прижать вас к своему сердцу.

Вспомните о своих детях! Что принесла мать им на ужин? Кусок черствого хлеба и глоток воды? Ваша жена проклинает тех, кто послал вас сюда и оставил семью без кормильца. Ваша жена плачет по ночам и молит бога, чтобы вы вернулись живыми.

Молодой солдат, где сейчас твоя невеста? Она пишет письмо тебе, она надеется увидеть тебя. А может быть, она ласкает сейчас немца, чтобы не умереть от голода?

Итальянец, ты нужен дома, ты нужен матери, жене, детям! Ты — мужчина, и они пропадут без тебя. Ты знаешь, что происходит под Сталинградом? Там окружена четверть миллиона немцев. Они гибнут бессмысленно, подыхают от голода, коченеют в сугробах. Так погибнут все, кто пришел на восток. И ты никогда не увидишь теплого солнца над своей чудесной страной.

У тебя две дороги. Брось ненужную винтовку и приходи к нам. После войны ты вернешься домой, вытрешь слезы матери, возьмешь на руки детей и обнимешь жену. Ты будешь жить! Но если ты не сделаешь этого — навек останешься здесь. В этих снегах будет твоя могила.

Третьего выхода не дано.

Итальянец, подумай, пока есть время!»

Сделав небольшую паузу, женщина начала читать текст снова. Говорила она с таким чувством, с такой сердечностью, что Игорь подумал: нет, это выступление не пройдет даром. Даже у него защемило сердце. А итальян-

цы и без того неуютно и скверно чувствуют себя в наших просторах.

Игорь имел инструкцию: если противник откроет огонь, чтобы заглушить передачу, прекратить чтение и дать музыку. У него было пять пластинок с лирическими грустными песнями каких-то знаменитых итальянских артистов. Но враг молчал. Все шло отлично. Завтра можно дать обзор событий под Сталинградом и в Северной Африке. Послезавтра — выступление пленного солдата. Этот веселый столяр из Вероны охотно согласился обратиться к своим товарищам.

«Испорчу аппетит нашему красавчику майору», — сказал он. Столяр был человеком одиноким. Другие солдаты отказывались выступать: они боялись, что фашисты репрессируют их семьи...

Когда Цювская читала текст уже третий раз, ударила наконец вражеская артиллерия. Била в те места, где стояли громкоговорители. Никакого ущерба этот огонь не причинил, но продолжать передачу не было смысла: разрывы мешали слушать. Игорь велел радиотехнику прокрутить одну пластинку и на этом закончить.

С левого берега Дона понеслись тяжелые снаряды наших орудий. Рвались они далеко, нацупывая позиции вражеских батарей. Итальянские гаубицы, сохранившиеся, наверно, еще со времен первой мировой войны, тявкнули несколько раз и смолкли. Продолжали стрелять только минометы.

На следующий вечер Игорь убедился, что итальянцы слушают передачу охотно. Опять они открыли огонь с большим опозданием, вероятно, по приказанию сверху.

А еще через сутки Булгаков перебрался со своим имуществом на другой участок плацдарма, и все повторилось снова.

* * *

План предстоящего наступления радовал Прохора Севостьяновича широтой и смелостью замысла. Полоса боевых действий превышала двести пятьдесят километров. Наносилось одновременно три удара: два на флангах, чтобы окружить вражескую группировку, и один в центре, чтобы рассечь ее надвое. Воронежский фронт не имел численного превосходства над врагом. Итальянцы, венгры и немцы хорошо укрепились на высотах донского право-

бережья, имели две-три оборонительных полосы, систему противотанковых и противопехотных заграждений, резервы в тылу. Чтобы прорвать такую оборону и развить успех, командование Воронежского фронта приняло необычное решение: сосредоточить в ударных группировках девяносто процентов всей пехоты и артиллерии, а также все имевшиеся танки. Другие участки, составлявшие четыре пятых исходного района, оставались почти не прикрытыми. Противник при желании мог где угодно прорвать жиденькую цепочку подразделений. И все-таки риск был полностью оправданным.

Если и прорвутся на левый берег отдельные вражеские группы, это ничего не изменит. Наступать противник не собирался, и даже не помышлял об этом. Какое уж тут наступление, когда на южном крыле зияет огромная брешь, пробитая советскими войсками, когда немцы отходят и на Кавказе, и в излучине Дона. Итальянцы и венгры больше смотрели назад, чем вперед: как бы не засидеться в своих укреплениях слишком долго и не угодить в такой же гигантский котел, как 6-я армия под Сталинградом.

На подготовку операции давалось три недели. Срок вроде порядочный, не то, что бывало раньше: наспех, впритык. Но когда Прохор Севостьянович прикинул, сколько предстоит сделать, даже этого времени показалось ему мало. Дивизия получала пополнение — нужно обучить молодняк. Требовалось перегруппировать силы, расчистить дороги, накопить боеприпасы, продфураж, и многое-многое другое.

Генерал установил себе строгий режим: на сон оставалось пять часов, с трех до восьми. Хотел даже ограничить себя четырьмя часами, но побоялся, что вымотается.

Днем казалось, что никаких изменений в полосе дивизии не произошло. Пусто было на дорогах, безлюдно в населенных пунктах. Жизнь начиналась только в сумерках. Один полк Порошина и большая часть артиллерии по-прежнему оборонялись на плацдарме у высоты Лысой. А два других полка были отведены в тыл. По ночам подразделения «штурмовали» укрепленную полосу — коню той, где сидели итальянцы, учились вести уличный бой в населенных пунктах. Командиры отрабатывали взаимодействие с артиллерией и танками. Саперы, таская воду из прорубей, наращивали лед на реке, готовили надежную переправу для техники.

Главные трудности были еще впереди. Плацдарм за Доном невелик, а накануне наступления туда требовалось перебросить всю дивизию и приданные ей части усиления. Как разместить их там, укрыть от вражеского огня? Боевые порядки будут слишком плотными. Если итальянцы заметят сосредоточение, полки понесут серьезные потери еще до атаки.

Конечно, скрыть подготовку наступательной операции в масштабе всего фронта было практически невозможно. У противника действовала и войсковая, и агентурная, и авиационная разведка. Обеспокоенные фашисты начали перебрасывать на угрожаемый участок новые силы. Поступили сведения о прибытии отдельной танковой бригады и некоторых частей 88-й пехотной дивизии. Если теперь и можно было рассчитывать на неожиданность, то лишь на тактическую. Прохор Севостьянович рассудил: лучше не рассчитывать вовсе. Дивизия готовилась прорывать укрепленный рубеж по всем правилам, после основательной артиллерийской подготовки, при поддержке авиации.

За четверо суток до начала наступления решено было произвести разведку боем, уточнить силы противника и расположение его огневых средств. Для засечки целей на передовую выдвинулись штабные командиры и артиллерийские наблюдатели.

Задача была ответственная, и поэтому Порошин поручил ее лучшему комбату — капитану Бесстужеву. А у того давно уже руки чесались. И ему и его бойцам осточертело сидеть в отрыве от своих, на пяточке, где не высунешь носа из траншеи, не сварить горячего, не погреешься у костра. Раз в сутки, ночью, доставляли на плацдарм полуостывший борщ и теплый чаек. Таким провиантом особенно не забодришься.

Юрий давно знал, что разведка боем — это, пожалуй, сложнее, чем просто атака. Лезь вперед и вызывай на себя вражеский огонь, будто ты мишень на двух ногах. Противник не дурак, он подпустит поближе и резанет из всех видов оружия. Наши наблюдатели засекут цели, чтобы подавить их потом при артиллерийской подготовке перед наступлением. Дело будет сделано, но попробуй вернуться под огнем в свою траншею, да еще по ровному полю! При отходе бывают самые большие потери. Поэтому Бесстужев собрал ротных и взводных командиров и сказал им так: атакуем решительно, захватываем первую позицию и за-

крепляемся. Назад не пойдем, во всяком случае до ночи. И еще Бесстужев предупредил — пусть у всех бойцов ушки шапок будут завязаны на затылке. Это — опознавательный знак. Итальянцы тоже теперь обзавелись белыми халатами, как бы не перепутать в горячке.

С вечера к вражеским позициям уползли саперы: резать колючую проволоку и снимать мины. Перед рассветом ударила наша артиллерия. Ударила не густо, не раскрывая своих сил. Три с половиной сотни бойцов поднялись из траншей и молча пошли вперед, утопая по колено в снегу. И тут случилось неожиданное. Итальянцы не сопротивлялись. Постреляли немного из пулеметов и оставили хорошо оборудованную, почти не пострадавшую от артиллерии траншею. Батальон ворвался в нее, потеряв всего пять человек.

Противник, вероятно, посчитал, что началось большое наступление. Тень Сталинградского «котла» сделала итальянцев нервными. Возможно, сыграла свою роль и агитация. Однако Бесстужеву некогда было раздумывать о причинах. Оказавшись в глубокой чистой траншее с дощатым полом и с множеством маленьких блиндажей, он прикинул: а что же теперь? Задачу он выполнил и даже перевыполнил. Но зачем останавливаться, если итальянцы драпают?

Капитан послал к командиру полка связного с просьбой закрепить первую траншею, оставил на флангах заслоны и повел батальон дальше. В полутора километрах от первой находилась вторая траншея. И справа, и слева итальянская оборона перекипала огнем. Трепали пулеметы, рвались мины, ухали пушки. Но враг в предрассветных сумерках не мог понять, что к чему. Лупили куда попало. Появились группы итальянцев, убежавших из первой траншеи. По ним били из второй, а красноармейцев там принимали за своих.

На бегу расстреливая итальянцев, бойцы ворвались во вторую траншею. Вспыхнула короткая рукопашная схватка. Отступавших не преследовали. Бесстужев приказал скорей закрепляться, используя захваченные пулеметы. Их было много...

В восемь тридцать командир полка, уяснив обстановку, связался с генералом Порошиным. Выслушав его взволнованный доклад, Прохор Севостьянович спросил:

— Что вы предприняли?

— Послал в первую траншею две роты. Больше не могу, оголяю плацдарм.

— Хорошо. Ждите.

Нужно было найти единственно верное решение в этой неожиданной ситуации. К тому же — без всякого промедления. То, что произошло у Бесстужева, это случайность, редкая удача. Через несколько часов враг опомнится, ударит по Бесстужеву и с фронта и с флангов. Полтора батальона там не удержатся. И отводить их рискованно. При дневном свете враг расстреляет бойцов в открытом поле перекрестным огнем... Можно прикрыть артиллерией, создать «коридор». Но от потерь не спасешься. Да и зачем отводить людей? Чтобы через четыре дня снова штурмовать те же позиции? Второй раз противник не отдаст их с такой легкостью. Надо использовать удачу, ввести в прорыв всю дивизию... Но это меняет план фронтовой операции, это не в его воле... А если ввести? Противник бросит к месту прорыва свои резервы, ослабит другие участки, облегчит задачу наших главных ударных группировок...

И Прохор Севостьянович решился. Он позвонил на плацдарм и велел командиру полка расширить участок прорыва. Второй полк, поднятый по тревоге, сразу же выступил к Дону. Третий был готов к выступлению.

После этого генерал Порошин связался по телефону с командующим армией. Стараясь говорить спокойно, он доложил о том, что произошло, какие меры приняты и высказал свои соображения. «Хорошо, — ответил командующий. — Подождите».

Прохор Севостьянович ясно представлял себе, как высокий моложавый командарм шагает сейчас по комнате, обдумывает, взвешивает... Теперь он, наверно, разговаривает по телефону с командующим фронтом и слышит такой же ответ: «Хорошо. Ждите».

Командующий фронтом по комнате ходить не будет. Он грузный, осанистый. Он думает сидя, положив на стол тяжелые руки, поглядывая на карту. Может, он позвонит сейчас в Ставку...

Вся эта цепочка «работала» час двадцать минут. За это время фронт прорыва был расширен на два километра, через Дон переправился полк и рота танков.

— Порошин? Слушаете меня? — раздался в трубке

голос командарма. — Бросайте вперед всю дивизию! Правый и левый сосед поддержат! Начинайте всерьез! В двенадцать буду у вас!

Прохор Севостьянович повесил трубку и засмеялся от радости, сказав себе: ну, ей-богу, научились же мы воевать, если за каких-то пару часов поломали громоздкий и сложный план. Оперативная гибкость — это ведь свидетельство зрелости!

Он вызвал машину и поехал на плацдарм. По дороге в расчлененных колоннах быстро шли батальоны. Над Доном появились было немецкие самолеты, но, встреченные истребителями, повернули обратно, сбросив не больше десятка бомб.

С высоты Лысой хорошо просматривались позиции противника. Батальон Бесстужева ушел уже далеко вперед и вел теперь бой за населенный пункт — там, на самом горизонте, ползали вверх черные клубы дыма. Два полка, введенных в прорыв, «свертывали» вражескую оборону и вправо и влево. Многочисленные дзоты и заграждения противника оказались теперь бесполезными. Итальянцы отходили, почти не сопротивляясь. Через реку гнали на восток первые группы пленных.

День был необыкновенно удачным. Две стрелковые дивизии, вошедшие в прорыв, расширили его на пятнадцать километров. И на столько же километров в глубину продвинулся передовой полк, поддержанный танками. Но Прохор Севостьянович прекрасно понимал, что это только начало. Ближе к вечеру усилилось сопротивление, все чаще появлялись в воздухе немецкие самолеты. Из штаба армии сообщили: противник перебрасывает к месту прорыва крупные силы, в том числе танковую дивизию. Это значит, что главное удалось, что резервы противника скопаны.

Через Дон двумя потоками двигались на западный берег повозки и грузовики. Переправлялись артиллерийская бригада и стрелковые части. Приказ торопил их скорее выйти в первую линию, чтобы встретить контратакующего врага.

Глубокой ночью Прохор Севостьянович узнал еще одну хорошую новость. Ставка утвердила новое решение командующего фронтом. Утром, на трое суток раньше срока, в наступление перейдут главные ударные группировки, сосредоточенные на флангах.

Мороз перевалил за двадцать градусов. Северный ветер гудел в чистом поле, растягивал длинные зыбкие полосы поземки. Иногда в черном небе мутным пятном проглядывала луна, становилось видно, как бегут и клубятся под ней тучи.

Деревянный кузов радиомашин был обтянут снаружи брезентом, дверь закрывалась плотно. И все же в кузов проникали ледяные струйки. Радиотехник подкидывал сухие щепки в маленькую печурку, но она горела плохо, не было тяги, ветер загонял дым обратно.

Грузовик буксовал, Игорь с радиотехником выскакивали на мороз, разбрасывали деревянными лопатами свежие сугробы, толкали машину плечами. После полуночи оставились совсем. Впереди замерли десятки машин. Вдоль колонны прошел незнакомый Игорю полковник, вероятно, из другой дивизии. Он приказал всем без исключения идти в голову колонны и расчищать снег, готовить объезд. В снегу застряли пушки артиллерийского полка, которые позарез нужны на передовой.

Это была собачья работа! Леденели на ветру щеки. Пока кидаешь снег, еще ничего. Но остановишься на минуту распрямить спину, и тебя сразу охватывает холод.

Переводчица Цновская тоже вышла из машины и принялась ковырять снег какой-то доской. Ее потертое с облезлым воротничком пальто было крест-накрест перехвачено белым платком. На тонких ногах — допотопные боты.

Игорь сразу попросил ее уйти, однако Цновская сказала, что она служащая Красной Армии, что полковник приказал чистить снег всем, и вообще политрук молод ее учить. Вскоре Гиви заметил: у старушки побелел нос. Она начала тереть его шерстяной рукавицей. Игорь даже выругался в сердцах: одна переводчица на всю дивизию, что делать, если она обморозится?!

Закричал зло:

— Слушайте, вы, мадам Цновская, я вам приказываю, понимаете, приказываю лезть в кузов и сидеть там возле печки! Шагом марш!

Переводчица остолбенела, потом сказала с обидой:

— Да. Я подчиняюсь. Но я буду жаловаться! Разве я «мадам»? Я как и все...

Гиви, очень тактичный по отношению к женщинам,

обнял ее за плечи и отвел к грузовику. А вернувшись, накиннулся на Булгакова:

— Ай, политрук, зачем так? Зачем такой слова говорил? Она умный человек, хороший человек, а теперь плачет сидит...

— О ней же забочусь!

— Такой заботой убить можно!

Игорь буркнул: «Ладно, переживет», но осадок у него остался неприятный. И вообще ему надоело возиться с этим дурацким снегом: все равно, что тришкин кафтан чинить — только расчистишь, как ветер вновь наметает поперек дороги волны сугробов. Тут можно провозиться и сутки, и двое. Потом ребята в политотделе спросят: где был во время наступления? Что же скажешь? Снег ковырял? Начно всегда требует, чтобы политработники шли в головных подразделениях, заботились о доставке патронов, пищи, чтобы становились на место погибших командиров.

Конечно, протолкнуть вперед колонны машин, везущих все необходимое для боя, это сейчас одна из главных задач. Отстанут патроны, отстанут снаряды, и наступление захлебнется. Но очень уж не нравилось ему это топтание на месте, очень хотелось попасть ближе к настоящему делу. И когда в обгон колонны пошли пушки, он оставил Гиви за старшего, а сам присоединился к артиллеристам.

Колеса орудий в некоторых местах наполовину зарывались в сугробы, но крепкие отдохнувшие лошади (по шесть в упряжке), шли легко и быстро — подгонял мороз. Игорь то вскакивал на зарядный ящик, то бежал рядом с ним, согреваясь.

Все чаще попадались на дороге заколеченные, вмерзшие в снег трупы. По сторонам колеи было их, наверно, еще больше, но там все сравняла метель, запорошила и наших, и итальянцев.

Виднелись брошенные автомашины. Игорь обратил внимание: у них целы двигатели — сразу видно, что тут бежали не немцы. У немцев приказ — даже в самом крайнем случае обязательно взрывать мотор. Взрывчатка так и лежит у шофера в кабине. Много трофейных машин видел Игорь под Москвой — и все без двигателей, не сядешь и не поедешь.

Ближе к утру потянулись навстречу цепочки пленных. Итальянцы шли скрючившись, сунув руки в рукава, обмотавшись тряпьем, тяжело передвигали ноги, черпая снег

громоадкими соломенными ботами. Но эта роскошь была не у всех, многие коченели в своих легких красивых шинелях и пилютках с наушниками. Обессилев, садились на снег, а то и валялись пластом. Пленные равнодушно шли мимо. А конвоиры покалывали штыками, заставляли вскакивать, бежать, тереть лицо снегом. Тех, которые не вставали, укладывали на розвальни вперемешку с ранеными красноармейцами.

Ездовой среднего уноса, молодой парнишка, только что попавший на фронт, свешивался с заиндеветой лошади, рассматривая итальянцев. Когда на рассвете попалась колонна немцев, таких же скрюченных, заснеженных, только одетых получше, в сапоги, в валенки да русские полушубки, паренек даже спрыгнул на землю. Стоял, приоткрыв рот, с наивным изумлением глядел на пленных. Особенно удивил его маленький немец, повязавший голову белой скатертью. Этот очкастый фриц отстал от своих и ковылял в одиночку, опираясь на палку.

— Товарищ политрук! — возбужденно сказал ездовой, догнав свое орудие. — Это и есть фашисты? Это они до Волги дошли?

— Ты их в бою посмотри, тогда скажешь, — ответил Игорь.

— А я думал, они страшные, — простодушно признался парнишка. — А у них вон и мелюзга всякая.

Ездовой говорил еще что-то, радостно делился своим открытием, а Игорь подумал, что у этого паренька с самого начала не будет перед немцами страха. И он не узнает, не поймет, что такое немец сорок первого года, наглый, самоуверенный солдат-профессионал... А этому пареньку повезло, он попал на фронт при наступлении и первого немца увидел пленным. Всем бы так начинать!

Утром артиллеристы остановились в только что освобожденной деревне. Ожидая, пока подтянутся отставшие, пушки грелись возле догорающих изб. Смекалистые солдаты снимали фляжки с немецких трупов. Командир орудия угостил Булгакова ромом. Два глотка — и сразу стало теплее.

Когда подтянулись все двенадцать орудий, дивизион двинулся дальше. Но проехали немного. За деревней, за ровным полем, виднелись кирпичные дома совхоза. Там трещали выстрелы, и оттуда, из низкорослых яблоневых посадок, появилось вдруг множество темных фигурок. Они

растекались цепью, огибая дома совхоза и направляясь к дороге. Сперва их приняли за своих, но, когда следом за ними появились пять танков с низкими продолговатыми башнями, сразу раздался крик: «Немцы!»

На минуту движение замерло: все, кто был на дороге, застыли, будто загипнотизированные. Бойцы ждали команду, офицеры соображали, что делать. У Игоря перехватило горло: если кто-нибудь побежит, за ним кинутся все, и немцы догонят, подавят. Надо прервать этот шок! Он спрыгнул с зарядного ящика, но не успел раскрыть рта. Командир батареи, ехавший впереди, поднял на дыбы свою лошадь, взмахнул пашкой, заорал что-то визгливо и протяжно.

Батарея рванулась с места рысью и на полном скаку сделала вольт влево. Развернув пушки, ездовые отцепили упряжки. Номера быстро готовили орудия к бою, от зарядных ящиков бегом несли на руках снаряды.

Немецкие танки открыли огонь. Первым же разрывом убило в одной из упряжек лошадей головного уноса. Остальные рванулись в стороны, перепутав построения. Ездовые, матерясь, распутывали их, рубили построения топорами. Лошади кричали дико и страшно, их крики совсем не напоминали ржание.

Танковый снаряд угодил в крайнее орудие, выбил колесо: пушка осела на один бок; возле нее на почерневшем снегу лежали артиллеристы. И почти в то же мгновение ударили три уцелевших орудия; следом за ними грохнула батарея, развернувшаяся правой. Расстояние было невелико, снаряды ложились точно. Немецкая пехота сразу попадала в снег, а танки стали пятиться к яблоневым посадкам, отстреливаясь на ходу. Но вот одна машина задымилась. Тогда остальные увеличили скорость и скрылись в невысоких посадках: видны были только их черные башни, будто гигантские животные прокладывали себе путь в лесу, оставляя позади просеки.

Одна батарея была по уходившим танкам, другая — по пехоте. Немцы стреляли в артиллеристов из винтовок и пулеметов, в расчетах появились убитые.

Так начался этот день, надолго потом запомнившийся Игорю. Враг подтянул сюда, на острие прорыва, танковую дивизию и пехоту. Немцы и итальянцы контратаковали раз за разом. Они выбили из совхоза головной полк, но дальше, к деревне, продвинуться не могли.

Танки выходили группами, по десять-пятнадцать штук, за ними густыми цепями валила пехота. Но из деревни беглым огнем били по ним наши артиллеристы, из окраинных садов строчили пулеметы, и противник опять откатывался за кирпичные постройки.

Ровное поле между совхозом и деревней, такое чистое утром, к вечеру почернело от гари и копоти. Дымились коробки сожженных танков. Трупы сразу коченели на морозе. Вражеские солдаты, наступая перебежками, прятались за ними от пулеметного огня, а потом сами превращались в такие же застывшие трупы и становились укрытиями для новой волны атакующих.

В батарее, с которой приехал Игорь, уцелело только одно орудие. Его перетащили в деревню. Рядом стояла пушка, брошенная итальянцами. Пушку развернули на запад и начали стрелять. Булгаков работал за наводчика. Потом кончились трофейные снаряды, и он остался без дела. Хотел разыскать батальон Бесстужева, но это оказалось невозможным. В деревне перемешались части, отступившие из совхоза и прибывшие из тыла. Были тут даже подразделения соседней дивизии.

В сумерках поступил приказ занять круговую оборону. Противник обошел деревню с трех сторон. Звук боя слышались в тылу, там взлетали ракеты. Игорь начал подумывать, что эта история может кончиться скверно. Немцы зажмут их тут, как в мышеловке.

И вдруг все переменялось. Огонь противника ослаб. Отдалился, а потом и совсем исчез гул танковых двигателей. Бойцы недоумевали.

Немцы уходили, оставив заслоны. Их командование поняло, наконец, свою ошибку. Оно бросило сюда, на центральный участок, основные резервы, оголив фланги. И как раз на флангах, в ста километрах севернее и в ста километрах южнее, русские нанесли свои решающие удары. Там в образовавшиеся прорывы вошли советские танки, вошел кавалерийский корпус. И сразу же наметились очертания огромных клещей, которые могли зажать основную массу фашистских войск, находившихся на среднем Дону: венгерскую армию, итальянский альпийский корпус, 24-й танковый корпус немцев и ряд других соединений. Гитлеровским генералам не осталось ничего другого, как оттянуть свои резервы с центрального участка и попытаться заштопать дыры на флангах.

Когда стихло напряжение боя, Игорь почувствовал голод и сильную усталость. Взял у старшины батареи кольцо замерзшей колбасы и, грызя на ходу, отправился искать какой-нибудь подвал или сарай, какое-нибудь местечко, пригодное для сна.

На дороге возобновилось движение, прерванное днем. Шли колонны пехоты вперемешку с тягачами, тащившими пушки. Потом появились машины. Возле костра стоял политотдельский «виллис» с дырками в кузове. Шофер возился у заднего ската.

— Товарищ политрук! — обрадовался он при виде Булгакова. — Живой! А ведь мы думали — крышка вам!

— Ничего, дышу пока! Ты давно с Дона?

— Да только вот. Редактора дивизионки привез, материал собирает. Еле проскочили, танк прямо на перекрестке стоял.

— Мою машину не видел? Гиви не попадался тебе?

— Гиви? — переспросил шофер. — А вы давно здесь?

— С утра.

— Вот оно что... — протянул шофер.

— Ну, говори! — подступил к нему Игорь. — Ты чего темнишь? Выкладывай!

— Накрылась ваша машина, товарищ политрук.

— А Гиви?

— Все там накрылись.

— Поехали! — хрипло приказал Булгаков.

— Сейчас редактору скажу.

— Поехали! — повторил Игорь, и шофер больше не стал возражать. Развернул «виллис» и погнал его по дороге, обгоняя сани с ранеными.

Проехали километров пять. Водитель резко затормозил и показал рукой:

— Здесь.

Игорь увидел несколько искореженных грузовиков и с трудом узнал среди них свою радиомашину. Остов ее лежал на боку, кузов был разнесен в щепки. В гряде припудренного снегом дерева и металла можно было различить клочья одежды. Чуть в стороне, рядом с уцелевшим громкоговорителем лежал труп без рук и без головы. По валенкам Игорь опознал радиотехника. Поднял какую-то

тряпку, похожую на воротник, но без меха. От нее удушливо пахло паленым. «Пальто, — сообразил Игорь. — Пальто Цновской».

— Два снаряда, — пояснил шофер. — А может, и три. В куски, даже зарывать нечего.

— Схороним. Все равно схороним, — упрямо сказал Булгаков. — Как же они так, без меня...

Он смотрел на темную гряду, где с досками и железом перемешались останки старой русской графини и энергичного, полного жизни грузина.

Как мечтал Гиви вернуться после войны к жене и обязательно обзавестись сыном! И еще была у него неотвязная идея: Гиви не мог забыть разговора с пленным немецким ефрейтором после боя на Бородинском поле. Злился, вспоминая, как этот высокомерный немчик не мог понять его слов и с какой уверенностью приглашал на свидание в Москве.

Любил Гиви порассуждать: вот дойдут они до Берлина, явится он в немецкую квартиру, заставит мать и сестру того фрица выстирать и выгладить его гимнастерку, сварить кофе. Он ляжет спать на той самой кровати, на которой спал ефрейтор, а этот ефрейтор пусть вкалывает в России, строит то, что разрушил. «Один ляжешь или с кем?» — смеялся Игорь. «Там посмотрим! По обстановке!»

Далеко не дошел до Германии горячий грузин, остался в гряде железа в донских степях. А Игорю надо идти. И за него, и за себя, и за многих. Сесть в немецкой квартире и пить кофе, не спеша, по-хозяйски, как хотел Гиви. Но надежды на это так мало... Надо дать берлинский адрес Бесстужеву, Порошину, послать дяде Ивану и Вите Дьяконскому. Может, хоть один из них дойдет до Берлина, разыщет эту квартиру и докажет, что прав был Булгаков, когда назначал свидание в немецкой столице.

— Товарищ политрук, — тихо сказал шофер. — Ехать мне надо, редактор там.

— Подожди, — резко ответил Игорь. — Помоги мне.

Он велел шоферу натаскать в воронку досок, облить бензином и поджечь, чтобы костер отогрел землю. А сам принялся искать возле машин лопату. Надо было углубить воронку и закопать в нее то, что осталось. И обязательно поставить дощечку с надписью, чтобы прочли и узнали люди.

Во время наступления командир полка, человек пожилой, осторожный, то по радио, то по телефону предупреждал Бесстужева: не торопись, не теряй связи, закрепляй рубежи. Будь его воля, он развернул бы полк по фронту, намертво сцепил бы фланги с соседями и полз вперед медленно, планомерно, не отставая от других и не выскакивая. Но обстановка требовала другого: гони врага, не давая ему опомниться, обходи укрепленные пункты, прорывайся в тыл, сей там панику. Этого же требовал и генерал-майор Порошин. Командир полка вынужден был подчиняться, хотя не очень верил в непривычные формы ведения боя. Он не настаивал на своем, только просил, предупреждал капитана Бесстужева, чтобы тот не погубил батальон — боялся ответственности.

А Юрий не боялся. Началось настоящее дело, и сейчас самое неподходящее время беречь себя и людей. Надо выложить все душевные и физические силы, отбрасывать противника так же стремительно, как он шел сюда. Очень ведь далеко до границы! Что там до границы, даже до Киева, до Харькова сотни километров! Когда это доберешься туда?

Самому Юрию столько пришлось отступать, так глубоко освоил он эту школу, что теперь без особого труда мог думать за противника, ясно представлял психологию драпающего солдата. Все шло, как по нотам, как бывало и раньше, только с одной существенной разницей: стороны поменялись ролями. Фронт противника прорван, контратаки его резервов отбиты. Части врага отходят разрозненно, управление нарушилось, приказов они не получают, что происходит рядом — им неизвестно. Сейчас один батальон во вражеском тылу способен сделать больше, чем дивизия, наступающая по фронту. Враг услышит пальбу у себя за спиной и начнет отходить.

Нашим при отступлении было все-таки легче. Своя земля, свои люди. Можно было укрыться в лесах, спрятаться в деревнях, переждать, потом пробраться на восток. А где укроются итальянцы и немцы? В лес не пойдешь, там снег выше пояса. В деревне бабы да ребятишки покажут красноармейцам, куда спрятались вражеские солдаты. Вот и старались гитлеровцы держаться кучей, не отставать от своих.

Сбивая в коротких стычках заслоны противника, батальон Бесстужева каждые сутки проходил по пятнадцать-двадцать километров. За собой тащили три противотанковые пушки. Приспособили к ним брезентовые лямки, впрягались посмеянно и волокли по зыбкому снегу. Почти каждый боец обзавелся немецким «шмайсером» — автоматом. Трофейных патронов было много, а своих не доставляли.

На пути встретилось большое районное село, занятое противником. Командир полка приказал по радио остановиться и готовить атаку. Бесстужев велел радисту ответить, что сели аккумуляторы и связь прекращается. На всякий случай выделил один взвод, чтобы тот постреливал возле села, и рванул дальше на запад. К вечеру противник сам оставил районный центр. Колонна итальянцев отступала по следам Бесстужева. Юрий вынужден был развернуть батальон назад, лицом к востоку. Итальянцы оказались в западне. Голова колонны уткнулась в засаду, хвост тоже прижали русские, а вокруг сугробы.

Противник выкинул белый флаг. Сдались сразу человек шестьсот.

Через неделю после начала наступления, на подходе к железной дороге Валуйки—Лиски, Бесстужев встретил передовой отряд советского танкового корпуса, прорвавшегося с юга. Танкисты прошли ходом километров двести, перехватив все пути на запад, и вражеская группировка оказалась теперь в окружении. Почувствовав угрозу с тыла, итальянцы, немцы и венгры хлынули к станции Алексеевка, надеясь спастись. На дорогах все перемешалось. Советские подразделения оказывались порой впереди противника или шли рядом, по параллельным проселкам. Враг бросал машины и пушки, убегая налегке, побыстрей.

Бесстужев подумывал: не остановиться ли ему? Батальон таял не по дням, а по часам, хотя потерь почти не нес. Надо было выделять бойцов для охраны раненых, для конвоирования пленных, выставять посты у захваченных складов.

Такое напряжение, такой азарт владели Бесстужевым последнее время, что он даже не вспоминал о водке. Толи некогда было, то ли и без нее чувствовал себя хмельным от злобной радости. Сперва отказался выпить даже с танкистами в честь встречи. Разговор пошел «всухую».

— У меня задача железную дорогу заклинить, — сказал командир танкистов. — Если перехватим рельсы, тогда всем фрицам крышка, которые от Алексеевки и до самого Дона. Горючее у меня есть, но без людей, ты сам знаешь... Захватить можем, а закрепиться трудно. Немец озверел, плена боится. Собьет нас без пехоты.

— Там немцев нет. Венгры и итальянцы, — возразил Бесстужев. Он колебался. Станция Алексеевка не входила в полосу их дивизии. И не только дивизии, там, наверно, полоса соседней армии. Могут взгреть за самовольство. Да и людей мало... Но танкист рассуждает правильно.

— Итальянцев там не должно быть, — устало произнес танкист, помаргивая красными, воспаленными без сна глазами. — Итальянцев мы уже отсеки. А на железной дороге венгры. И двадцать четвертый танковый корпус. Немецкий.

— Ты наверняка знаешь? — заволновался Бесстужев; вверх и вниз ползали его брови.

— Вчера из штаба разведсводку получил. Остатки двадцать четвертого грузятся в эшелоны.

— Какие дивизии?

— Про дивизий не сказано.

Юрий и раньше слышал, что этот танковый корпус действует где-то поблизости. В прошлом году в него входила 4-я танковая дивизия, может, она и теперь там? Последний раз он встречался с нею под Тулой. У него еще большой счет к тем молодчикам, которые давили людей под Столбцами...

Время затушило, подернуло пеплом боль, сжигавшую его после смерти Полины. Он даже улыбался иногда, вновь научился смеяться. Но время от времени боль вспыхивала с новой силой.

— Хорошо, — сказал Бесстужев, помрачнев и опустив голову. — Тут партизаны в деревне. Человек восемьдесят. Волью их в батальон.

— А не всыпят тебе за это?

— Плевать. Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют. А дело мы сделаем. Готовь машины. Двести бойцов у меня будет. Возьмешь на броню?

— Всех подниму.

— Ну, раз так — доставай флягу. Эх-хе-хе! Зробым по чарци, как, бывало, в Бресте у нас говорили! — вздохнул Бесстужев.

* * *

Танки шли быстро, заглушая гулом и скрежетом все остальные звуки, вздымали за собой снежную пыль. Бойцы стыли под ветром, на холодной броне, сидели, вцепившись во что придется, чтобы не слететь при толчках.

Обгоняли группы и целые колонны немцев, но не задерживались и не стреляли по ним. Спешили, да и руки у людей были заняты. Эту мелкую добычу подберут те, кто идет сзади.

Ошеломленные немцы шарахались с дороги, валились в снег и тоже не открывали огня. Лишь раза три возникали небольшие стычки.

Под утро, когда приблизились к станции, когда завиднелись горящие дома, танки остановились. Со стороны станции слышались выстрелы. Бесстужев прыгал, согриваясь, возле головного танка и ругался вслух: обидно, что кто-то опередил их.

Но вот возвратился броневик, посланный на разведку. Откинулась покрытая инеем стальная дверь, выскочил из черного нутра машины лейтенант в шлеме. Доложил, посмеиваясь: на станции свалка, все лезут в вагоны, немцы стреляют в венгров, итальянцы в немцев и вообще там кавардак и неразбериха. Самое время ударить.

Командир танкистов вопросительно посмотрел на Бесстужева. Тот помолчал, морща лоб, предложил:

— Давай так: заходи через поселок. Пусть немцы не к домам, а в поле бегут. Там не зацепятся.

— Сделаем!

Командир опустил за собой тяжелую крышку люка. Юрий залез на броню.

К станции вышли по двум улицам, огибая свежие воронки авиабомб. Машины вырвались к платформе и почти в упор ударили по эшелонам. Сразу вспыхнул огонь, начали рваться боеприпасы.

Никогда не слышал Юрий такого многоголосого дикого воя. Тысячи солдат в ужасе метались по путям, сыпались из вагонов, спотыкались и падали под ноги толпе. Грохот стрельбы не мог заглушить отчаянных воплей. Танковые пулеметы стрекотали не переставая. Автоматчики били не целясь, в темную массу, разом приканчивая весь диск. Трупы лежали один на другом, как мешки с песком. Вы-

ползали из-под убитых раненые, завалы шевелились, разрушались, а сверху падали новые трупы.

Пламя, охватившее вагоны, бушевало так сильно, что танки вынуждены были попытаться к станционному скверу. Да и врагов уже не было видно. Те, кто уцелел, бежали в поле, к дальнему лесу. Туда, отсекая им путь, пошли через переезд два броневомобиля.

Работа была закончена. Бесстужев вывел людей на окраину поселка, к перекрестку грунтовой и железной дорог. Бойцы начали окапываться фронтом на восток, чтобы закрыть путь тем колоннам, которые шли сюда, стремясь вырваться из мешка. За домами замаскировались танки.

— Ну, ты возглавляй здесь, — сказал Юрий командиру танкистов. — Я пойду приятелей поищу, — усмехнулся он.

Пленных стогнали в длинный и низкий сарай возле разрушенного вокзала. Бесстужев велел им выстроиться возле задней стены. Скомандовал через переводчика:

— Солдатам и офицерам двадцать четвертого танкового корпуса — три шага вперед!

Из пестрой толпы разномастных шинелей и полушубков отделилось полтора десятка фигур.

— Кто служил в четвертой танковой дивизии — шаг вперед!

На этот раз выполнили команду только трое.

— Сейчас будет проверка! — пригрозил переводчик, однако никто больше не вышел.

Перед Бесстужевым — высокий унтер в очках, в изодранной русской шапке, с опорками на ногах. На вопросы переводчика он отвечал быстро и заискивающе. На фронт прибыл из Франции летом сорок второго года. Специалист по аккумуляторам, в русских не стрелял.

Двое других были совсем молоды, лет по восемнадцати, смотрели испуганно и злобно. У одного на грязных щеках остались полоски от слез. Бесстужев подумал, поморщившись, что этот вояка час назад ревел белугой и звал маму. На фронт их привезли минувшим летом, они даже не слышали, что есть в Белоруссии такой город — Столбцы.

Эти остроносые сопляки были противны Юрию, но той страшной ненависти, которая заставляла его раньше стрелять в упор, испытывая мстительное удовлетворение, — такой ненависти он не ощущал. Ведь это были другие немцы. А может, чувство мести притупилось сегодня:

столько набили фрицев, что смерть еще двоих ничего не прибавит. Не стоит руки марать.

— Что с ними делать, товарищ капитан? — спросил переводчик.

— Скажи, что им повезло, — презрительно процедил Бесстужев. — И нечего им здесь курорт устраивать. Гоните всех на рельсы. Пускай своих зарывают. Поезду пройти негде, а у наших саперов и без того забот много.

9

С огнем и дымом вырывается из кратера поток лавы, ползет по склону вулкана, сжигая все на пути, ускоряя движение, расширяясь, захватывая новые участки. И нет никакой возможности остановить его. Он расплавит, испепелит любую преграду.

Как огненная лава, ширилось и разрасталось наступление Воронежского фронта, раздвигая свои границы, втягивая в сражение армии соседнего Брянского фронта.

Пехота продолжала добывать остатки пятнадцати вражеских дивизий, попавших в окружение, а севернее, в районе Касторной, образовался уже новый «котел», в который угодило с десяток немецких соединений. Подвижные войска, танки и кавалерия ушли вперед, к рекам Осколу и Тим. А в штабах планировали развивать наступление еще дальше, на Харьков и Курск.

Раскаленный вал войны разрушал и сжигал то, что создано было природой и человеком, оставляя за собой великое множество могильных холмов. Хорошо, если успевали товарищи погибших красноармейцев поставить над могилами дощатые конусы с жестяными звездочками, хорошо, если знали они, какие фамилии написать на табличке.

Новые смерти заслоняли боль вчерашних потерь: стирались в памяти имена, забывались места, где зарыли павших — и знакомых, и совсем неизвестных. Так велика, так обширна и мучительна была эта война, что забывались не только люди, но и бесконечные бои. Даже целые операции, отнявшие десятки тысяч жизней, тускнели на фоне других, более броских событий, не оставляя в памяти заметных следов.

Внимание людей было приковано к Сталинграду, где

задыхались в железных тисках 22 немецкие дивизии. Все ждали, когда развяжется этот кровавый узел. А в том же морозном январе 43-го года западнее Воронежа легли костыми сразу 26 немецких, венгерских и итальянских дивизий, и пленных там было взято больше, чем под Сталинградом.

Острогожско-Россошанская, Воронежско-Касторненская операции: очень уж прозаические, труднозапоминаемые названия носили они. Промелькнули в газетах эти названия два-три раза, а потом больше не упоминались. Только уцелевшие в этих сражениях ветераны долго еще говорили о них. Ведь не шутка, разгромить такую махину, не имея превосходства над ней. А все потому, что воевали с умом, толково, по широкому замыслу.

Прохор Севостьянович подумывал, что если ему доведется когда-нибудь преподавать в академии, он будет приводить эти операции в пример слушателям как образец быстроты, решительности, гибкости руководства. А то, что в газетах мало писалось о боях западнее Воронежа и что не курился вокруг них фимиам, — это Порошина не волновало.

Сталинград стал своего рода фетишем. Ну и правильно. Там остановили противника, там впервые окружили врага. Пусть и слава витает над тем местом. Людям трудно радоваться успехам вообще, в каких-то незнакомых районах, в заурядных городах, которых не упомнишь и не перечислишь. Успех должен воплотиться в конкретной форме. Сталинград особенно подходит для этого. История у него революционная, защитники отличились, имя он носит громкое!

* * *

Деревушка была пустяковая, полтора десятка изб в одну улицу. Но стояла она на возвышенности, вокруг чистое поле, и никакой обходной дороги вблизи. Немцы вцепились в нее, прикрывая отступление. Засели в погребах, в снежной траншее с ледяным бруствером, укрыли за срубами несколько танков. Имей Бесстужев хотя бы батарею 76-миллиметровых орудий, он размолотил бы всю эту оборону за полчаса. Но у него было две легкие пушки. Издали бить бесполезно, а на прямой выстрел немцы не подпускали.

Возле этой деревушки Юрий провозился с остатками

своего батальона до утра. Сам взял роту и пошел в обход. Километров пять лезли по глубокому снегу, вымотались начисто, даже ватники взмокли от пота. И только когда вышли к деревне с тыла, немцы сели на подводы и уехали, заслонившись танками.

Юрий чувствовал себя совершенно опустошенным и разбитым. Недели две спал урывками, кое-как. Зарос грязью, тело чесалось. Умываться приходилось снегом, бриться — от случая к случаю.

Жалко было людей, погибших у этой деревни. Тринадцать бойцов и один командир взвода — это чувствительная потеря для батальона, в котором едва насчитывалось сто человек.

Теперь бы надо накормить красноармейцев, но чем? В каком-то подвале политрук разыскал кучу подмороженной репы. Раздали ее по штучке на двоих. Вскипятили воду для чая в котле уцелевшей баньки. На таких харчах много не навоюешь. Но ведь еще не было ни одной армии в мире, где интенданты вовремя обеспечивали бы войска в наступлении.

Согревшись голым кипятком, Бесстужев потащился в избу поспать на соломе. Шел как старик, шаркая валенками. Его покачивало от усталости, плечи давили вниз, словно налитые свинцом. Ощущение было такое, будто прожил он сотню лет и тяготится своим одряхлевшим телом. Испытал он и горе и радость, столько раз видел возле себя смерть, что давно стал равнодушным к ней и не ждал от будущего ничего хорошего, ничего нового.

Только приткнулся он возле печки рядом с похрапывающим политруком, прибежал младший лейтенант, выделенный на дежурство, доложил испуганно, что приехал командир дивизии, приказал разыскать капитана, а сам пьет кипяток в баньке.

«Черти его принесли! — мысленно ругнулся Бесстужев. — Опять задачу поставит. Просто так генералы по дорогам не шатаются!»

Он стряхнул с ватника солому, запихнул поглубже вату, вылезшую из-под заплаты на колене, одел засаленный, прожженный на боку полусубок и затянулся ремнем. Провел рукой по колючей щеке. «А, ладно... Все равно не успею».

На улице стояли несколько автомашин, среди них легковая и еще одна, штабная, с крытым кузовом, с антен-

ной над крышей. Возле баньки гоготали здоровые румяные автоматчики из охраны, все в новых козьих полушубках, в высоких валенках. На Бесстужева они и внимания не обратили. Но навстречу капитану вышел генерал, и автоматчики сразу смолкли, попятились к грузовику.

— Ну, здравствуй! — протянул руку Порошин, внимательно оглядывая Бесстужева. — Замучился, комбат?! Начальство кланешь небось?

— Клян, — сказал капитан. — Людей нет, жратвы, извиняюсь, нет. Патронов неделю не доставляют, немецкими патронами воюем.

— Знаю, знаю, — кивнул генерал. — Дороги, видишь, какие? Машины в сугробах стоят. Но патроны и продовольствие будут. Сегодня подбросят на «уточках», я уже приказал... Вот, подарок тебе привез. Вручаю первому офицеру в дивизии, — протянул он маленький сверток. — Носи, воюй! После войны для парадов золотые дадут. А пока эти...

В свертке оказались погоны с двумя полосками и со звездой. Юрий даже растерялся немного. О введении погонов слышал, но увидеть довелось впервые.

Он теперь офицер. Слово-то какое непривычное, так и режет слух... И еще странно: в газете писали, что капитан должен носить четыре маленьких звездочки.

— Товарищ генерал, это ошибка, наверно, — сказал Юрий. — Погоны-то вроде майорские?

Прохор Севостьянович будто ждал такого вопроса, сразу заулыбался, обнял плечи Бесстужева.

— Никакой ошибки, товарищ майор! Досрочно тебе присвоили, за прорыв на станцию, ясно? Хотел сообщить, а потом подождать решил. Чтобы сразу со всеми праздниками тебя поздравить. Ну, рад?

— Конечно, товарищ генерал, спасибо вам! — ответил Юрий, а сам все не мог погасить в себе мысль: неужели Порошин приехал только за этим?

— Ну, полчаса у меня еще есть, — посмотрел на часы Прохор Севостьянович. — Стол тут найдется какой-нибудь? Нет? Тогда пойдем в машину ко мне. Чихнем по маленькой, как ты говоришь.

Юрия даже в жар бросило — откуда генерал знает про эту присказку?

— Эге, да ты, оказывается, еще краснеть можешь?! — удивился Порошин. — Ну, не стесняйся. Я не большой

любитель этих чиханий, но по праздникам можно. А в такие праздники, как у тебя, и сам бог велел. Сколько тебе стукнуло? Двадцать четыре?

— Чего? — не понял Бесстужев.

— Да ты что, забыл, что ли? — развел руками Порошин и умолял, видя, как неестественно расширились и остановились глаза Бесстужева, как задержалась изуродованная шрамом щека.

— Забыл, — одними губами шепнул Юрий и вдруг, всхлипнув, закрыл руками лицо.

— Ну, что ты, что ты, — растерянно говорил Прохор Севостьянович, трогая его локоть. — Ну, успокойся давай!

А Бесстужев повернулся и быстро, вобрав голову в плечи, пошел к баньке, не отрывая от лица рук. Захлопнул за собой дверь и бросился на лавку, не сдерживая больше рыданий.

— Да, нервы, нервы, — сказал сам себе генерал. — Переутомление, вот это что. Даже такие кремни, как Бесстужев, и то стерлись...

Не знал Прохор Севостьянович, что Юрия, выросшего без отца и без матери, за всю жизнь поздравляли с днем рождения только дважды: один раз Полина, и вот теперь генерал Порошин, листавший его личное дело совсем недавно, когда представлял к досрочному званию.

10

Пятнадцать месяцев провел Альфред Ермаков возле Пулковских высот. На всем земном шаре не было места, такого знакомого и такого ненавистного ему. Здесь он нашел друзей: капитана Реброва, лейтенантов Ступникера и Новикова — и здесь потерял их. Здесь дважды ранило его самого. Здесь научился он применять математику не для созидания, а для уничтожения, для убийства, и применял ее настолько успешно, что сам стал командиром дивизиона.

Возле железнодорожной насыпи, где минометчики хоронили убитых, выросло целое кладбище. Почти два раза сменился на батареях личный состав. Из ветеранов остались только трое: Ермаков, телефонист и один командир расчета.

Альфред разучился ходить прямо. Траншей, ходы сообщения рылись на средний рост, а он был высок, всегда

гнулся. Даже во время сна: слишком короткими были для него земляные нары. И это положение стало таким привычным, что начинали болеть кости, если он пробовал выпрямиться.

Мозг его, как и все тело, будто бы сохся от постоянного голода. Сил хватало только для того, чтобы справиться с делами дивизиона, голова быстро тупела и отказывалась соображать, думать ни о чем не хотелось, да и не было смысла. Альфреду казалось, что война, развязанная людьми, превратилась в нечто самодовлеющее, в стихию, которую невозможно обуздать и направить...

Он знал каждый бугор на склоне высот, каждую траншею, каждый обгорелый пенек. С любым местом в округе у него было связано какое-нибудь воспоминание. Вон лощина. Там год назад сосредоточивался для атаки наш полк, туда же подтянулись конные обозы. А немцы накрыли лощину из орудий крупных калибров. Много там осталось разорванных на куски трупов. Измученные голодом минометчики ходили туда за кониной, вырубали мясо из затвердевшего снега. Альфред сначала крепился, опасаясь, что попадет не конина. Но организм требовал, организм боролся за жизнь. И Ермаков тоже начал есть, и этим, вероятно, только и спасся от голодной смерти.

То, чего он боялся, все же случилось. Один из бойцов сошел с ума. Альфред сказал, что расстреляет каждого, кто пойдет в лощину. Вместо этого он отправлял по два-три человека в тыл на бывший мясокомбинат. Там они разскивали старые кости. Их подолгу варили, в костях попадался мозг, получалось что-то вроде бульона.

Недавно, в сентябре—октябре, минометы стояли в строю у поселка, за церквушкой. Место там низкое, открытое. Все время лили дожди. Немцы обстреливали каждый день, велики были потери. Темные пятна крови быстро исчезали с земли, а лужи не просыхали. Там погиб капитан Ребров: осколки снаряда вспороли ему грудь. Тогда Альфред сочинил самое грустное свое стихотворение, которое начиналось так:

Вновь горизонты затеня,
Тоскою мокрой осень гложет,
И кровью сытая земля
Дожди принять в себя не может.

Судьба войны решалась на других участках, где велись большие сражения. А тут люди сидели в сырых землян-

ках, мерзли зимой, голодали, стреляли по немецким траншеям, не видя немцев, и гибли от прилетавших издалека снарядов.

Альфред свыкся с мыслью, что рано или поздно тоже погибнет здесь, даже приказал в случае чего похоронить себя рядом с капитаном Ребровым. И когда в штабе дивизии его познакомили с коротким предписанием: немедленно откомандировать старшего лейтенанта Ермакова А. С. в штаб артиллерии Ленинградского фронта,— он растерялся. Как же оставит он своих бойцов? Как тут обойдутся без него? Да и сам он привык к своей работе, научился командовать дивизионом, а больше ничего не знал в военном деле.

Настолько трудно было покидать ему это привычное место, что он даже попросил послать вместо себя кого-либо другого. Но начальство не захотело слушать — принципиальных доводов у него не имелось, а сентиментальные шуточки на войне неуместны.

Он вообще с трудом привыкал к новым людям и к новой обстановке. Но особенно трудно пришлось ему в этот раз. Сломалось все, с чем сросся он за пятнадцать месяцев. Из грязной прокопченной землянки Альфред попал в теплое и чистое командирское общежитие. По неделям не мыл, бывало, свой котелок — воды не хватало и для питья, научился начисто облизывать ложку после еды и носить ее за голенищем. А тут — столовая с настоящими тарелками, с белыми скатертями. Первые дни Ермаков старался ходить в столовую попозже, стеснялся своей неуклюжести, своих черных рук, с которых никак не мог отмыть въевшуюся в поры грязь и копоть; ему казалось, что он слишком громко чавкает и сопит носом.

В штабе артиллерии фронта служили главным образом кадровые командиры, все подтянутое, в аккуратном обмундировании, с уверенными манерами. Альфреду тоже выдали новую форму, хорошие сапоги и даже скрипучую португую. Но и в ней он выделялся среди сослуживцев: большой, сутулый, с добрыми глазами под толстыми стеклами очков, Альфред выглядел белой вороной, каким-то инородным предметом в строгой и даже торжественной обстановке высокого штаба.

Он сам чувствовал себя неуместным тут, боялся насмешек, с тревогой ловил любопытные взгляды, не догадываясь, чем они вызваны. Он совершенно упускал из

виду, что у него на груди два ордена, что о нем несколько раз писали в газете и что начальство считало его одним из лучших минометчиков фронта. Больше того, он узнал, что командующий артиллерией когда-то служил вместе с его отцом, не раз спрашивая о Ермакове, ставил его в пример: вот, мол, два поколения советских артиллеристов. Альфред думал, что отозван с передовой только благодаря старому знакомству отца, и это особенно смущало и угнетало его.

Здесь даже мыслили совсем не теми масштабами, к которым привык Альфред. Для него «противник» был понятием конкретным, его дивизион стрелял по вражеским траншеям, по скоплениям немцев, по наблюдательным пунктам. А здесь враг существовал только на бумаге, а немецкие позиции — только на карте. Воплощением войны был для Ермакова поселок Пулково, раньше он считал очень важным, если нашим войскам удалось продвинуться на двести метров вперед и зацепиться за край оврага. Такая операция оплачивалась сотнями жизней. Но здесь даже и не слышали о ней. А если и слышали, то не придавали значения. На штабной карте участок под Пулковом занимал три сантиметра, а позицию дивизиона можно было обозначать лишь точкой.

На первых порах его удивили две вещи: огромное количество бумаг и явное отсутствие целесообразности в использовании людей. Штаб составлял множество планов, отчетов, различных заявок. Все сотрудники что-то считали и что-то писали. Бумаги уходили и к начальству, и к подчиненным, и казалось, что существуют они сами по себе, заставляя работать многих квалифицированных офицеров.

Вот оперативный отдел штаба артиллерии фронта. Он занимает большой дом, имеет начальника, заместителя, трех старших помощников, шестерых помощников (один из них — Ермаков), писарей-чертежников и машинистку. Одиннадцать офицеров только в одном отделе! А таких отделов в штабе артиллерии несколько. Но и штаб артиллерии — это лишь маленькая частица огромного фронтového управления, которое руководит и пехотой, и авиацией, и саперами, и бронетанковыми войсками, и службой тыла.

Кроме штаба фронта, есть еще штабы армий, в которых существуют свои командующие родами войск со своими штабами, тоже достаточно громоздкими. В штабах собраны

самые грамотные, самые умелые работники, а на передовой не хватает офицеров, на передовой сидит в грязи и в холоде жидкая цепочка солдат. Если послать штабных работников в траншею, то количество командиров там увеличится, наверное, вдвое и воевать станет легче. А главное — Альфред просто не понимал: зачем нужен этот сложный механизм управления, зачем нужно столько штабников. На позициях в Пулковке Ермаков не чувствовал ни их влияния, ни их помощи. Пехота требовала огня, минометчики стреляли — вот и все. Знаком был Альфред только с ремонтниками да со снабженцами. Первые возвращали в строй поврежденные минометы, а вторые никогда не могли обеспечить достаточное количество боеприпасов, не говоря уже о всем прочем. Вот тут и подумал, для чего же все-таки существуют огромные штабы с сотнями и тысячами офицеров? Если для отчетности и переписки, то с этим могут справиться простые писари.

Альфред попал в штаб артиллерии как раз в то время, когда развернулась подготовка Шлиссельбургской операции. Войска 67-й армии Ленинградского фронта должны были прорвать вражескую оборону на участке в 13 километров между Московской Дубровкой и Шлиссельбургом, форсировать Неву и, разгромив противника, соединиться с войсками Волховского фронта, наступавшими с юга. Как только будет снята блокада, инженерные войска сразу проложат железную дорогу вдоль Ладожского озера, в Ленинград пойдут эшелоны с продовольствием, с горючим, с другими грузами, в которых так нуждались жители и войска.

Шлиссельбургский выступ — узкая полоска лесистой болотистой земли, примыкавшая к Ладоге, была превращена немцами в сплошную крепость. Многочисленные траншеи, запасные и отсечные позиции, доты и дзоты, минные поля и проволочные заграждения, заборы из нескольких рядов бревен, покрытые обледеневшим снегом — вот что соорудил здесь враг, чтобы не допустить прорыва советских войск. Артиллерия должна была разрушить эти укрепления, разбить скрытую в них технику, поразить живую силу противника, открыть дорогу пехоте.

Выполнять эту задачу те пушкири, которым прикажут участвовать в прорыве. В артиллерийских полках есть свои штабы, свои разведчики и наблюдатели. Они засекут цели,

сами решат, что следует бить в первую очередь. Штаб артиллерии армии обеспечит доставку боеприпасов, контролирует готовность, окажет помощь. Ну, а штаб артиллерии фронта осуществит общий контроль, выделит, что можно, из резерва. С таким делом вполне справятся несколько человек — так думал Альфред. Но к его недомению работы оказалось столько, что в иные дни некогда было даже сходить в столовую: писари приносили кашу и хлеб прямо в отдел, а машинистка, отрываясь от «ундervуда», тут же готовила чай.

Трудность вставала за трудностью. Надо было выяснить, с каких участков можно без большого риска снять артиллерию и незаметно для врага перебросить к месту прорыва. Надо было рассчитать, каких и сколько потребуется боеприпасов, куда подвезти их, где расположить склады. Какие части включить в группу артиллерии дальнего действия? Какой калибр выгоднее использовать в контрминометных группах, которые впервые создавались в стрелковых дивизиях? Каким способом сопровождать наступающую пехоту? Как использовать противотанковую артиллерию?

В районе намеченного прорыва удалось сосредоточить 1873 орудия и миномета калибром от 76 миллиметров и крупнее. Средняя плотность достигала 140 стволов на один километр фронта. Если вытянуть пушки и минометы в одну линию, они стояли бы почти сплошной цепочкой на протяжении тринадцати километров. Альфред, привыкший считать поштучно не только свои минометы, но и мины к ним, просто не мог представить себе, как выглядит эта невероятная сила. Ему очень хотелось увидеть самому результаты одновременного удара всей этой массы снарядов и мин, и он попросил включить его в оперативную группу, выехавшую в 67-ю армию, к месту боевых действий.

В плане артиллерийского наступления нерешенным оставался один принципиальный вопрос. Укрепления противника начинались возле самого берега Невы. Если пушки ударят по ним с закрытых позиций, то не избежать рассеивания снарядов, не избежать попаданий в реку. Получится так, что своя же артиллерия взламывает лед и отрежет дорогу пехоте. Но, с другой стороны, прибрежные позиции врага особенно опасны в начале форсирования. Ширина Невы почти полкилометра. Немецкие пулеметчики рас-

стреляют нашу пехоту, когда она выйдет на ровное ледяное поле.

После рекогносцировки на местности в штабе пришли к выводу: основной удар артиллерии нанести по главной позиции противника, тянувшейся на расстоянии 200—250 метров от реки. А по прибрежным укреплениям бить только орудиями прямой наводки, наверняка, не задевая лед. Таких орудий выделили по два десятка на километр.

Начало операции откладывалось несколько раз, изменялись составы артиллерийских групп и их задачи. Каждый раз требовалось заново пересматривать всю схему организации огня, вносить дополнения в плановые таблицы. Потом документация снова уходила в нижестоящие штабы, там конкретизировались задачи групп и частей, определялись цели и объекты для дивизионов и батарей, записывались установки прицела для каждого орудия на каждый этап боя. Потом в замысел операции вносились новые изменения, снова начиналась ломка и снова работала сверху и донизу вся сложная машина артиллерийского хозяйства.

Альфред понимал важность этой работы, но по-прежнему считал, что слишком много людей занято бумагами, что штабы во многом дублируют друг друга. С делом он освоился очень быстро. Тут была знакомая стихия: математика. Он радовался, что легко вспоминает давно, казалось бы, забытые формулы и без всякого напряжения решает такие задачи, перед которыми становятся в тупик его товарищи. То, на что коллеги его тратили сутки, он делал за несколько часов; не ставя это в заслугу себе. Ведь артиллерийские офицеры имели за спиной в лучшем случае среднюю школу и несколько лет училища. А он закончил университет и аспирантуру. Он даже сожалел, что сложные задачи встречаются редко: элементарные расчеты отнимали много времени и не приносили удовлетворения. Это была не научная, а скорее бухгалтерская работа, и Альфред подумывал, почему это артиллеристы до сих пор не изобрели решающую машину? Ведь принцип расчетов один и тот же, ход решения почти не меняется, только вводятся новые данные. Такая машина не допускала бы ошибок, высвободила бы людей для других дел и пригодилась бы не только артиллеристам. Он хотел сделать предварительные наброски, но не хватало времени.

Альфред не замечал, что становится своего рода

«мозговым центром» оперативной группы, что к нему обращаются по всем сложным вопросам, связанным с расчетами. Он чувствовал облегчение от того, что не нужно самому стрелять и убивать, что имеет дело только с числами, не думая при этом, сколько жизней оборвет каждое решение, быстро и точно найденное им.

11

В ночь на 12 января 1943 года в Ленинградской области резко понизилась температура. Ртуть в термометрах упала до 25 градусов. Холодно блестели вмерзшие в черное небо звезды.

С вечера Альфред поспал часа три, а потом больше не мог, мешало волнение. Накинув полушубок, то и дело выходил из теплого блиндажа на улицу, курил, слушал. Изредка доносились приглушенные голоса. Высоко, под самыми звездами, проплывали невидимые самолеты. Стихал звук моторов, а через несколько минут докатывались глухие удары. Авиация бомбила немецкие аэродромы, штабы и узлы коммуникаций.

Обычная фронтовая ночь. Даже, пожалуй, более тихая, чем всегда. И Альфред никак не мог поверить, что рядом с ним, вокруг него укрылись среди снегов, в темноте, десятки тысяч людей, две тысячи орудий и минометов. Он побывал днем на нескольких батареях, видел замаскированные, с белыми щитами, пушки. Видел, как густо набились люди в первой траншее на берегу Невы, и в глубокой канаве возле железнодорожного полотна, тянувшегося метрах в пятистах от реки. Но это были лишь маленькие кусочки мозаики, и он не мог представить себе по ним всей картины, так как никогда раньше не видел сразу столько людей и техники. Он не мог связать красивые цветные схемы, таблицы, длинные колонки цифр с живыми людьми, с металлом орудий, с тяжелыми чутками снарядов, которые разложили сейчас возле пушек артиллеристы. Его ум, привычный к абстрактным выкладкам и обобщениям, всегда с трудом воспринимал конкретное грубо-материальное воплощение того, что казалось простым и понятным в теории.

Ему, как штабному работнику, было известно, насколько тщательно продуман и распланирован предстоящий бой,

сколько сил затрачено на подготовку. Сделаны даже санки для легких пушек и волокуши для пулеметов, лестницы и багры для штурмовых групп, которые первыми ворвутся на вражеский берег. Разум подсказывал, что немцы не устоят, не выдержат напора. Да в конце концов они будут просто уничтожены при столь плотном огне. И все же, понимая это, Альфред сомневался. Он еще не видел отступающих врагов, боялся, что не увидит и в этот раз. Фашисты умелые воюки. Они наверняка заметили подготовку наступления, приняли меры и теперь тоже сидят затаившись, ждут...

Все офицеры оперативной группы в этот раз были на ногах задолго до рассвета. И сразу же в землянку принесли обед: так распорядился генерал, потому что день предстоял горячий. Кормили штабников гораздо лучше, чем на передовой. Альфред начал даже поправляться, и вообще после долгой голодовки аппетит у него был зверский. Но на этот раз он с трудом осилил свою порцию супа из сушеной картошки и рассыпчатую перловую кашу. Не привык есть в ночное время, да и возбуждение не оставляло его.

Обязанности операторов были определены заранее. Одни оставались на КП артиллерии армии, другие отправлялись на наблюдательные пункты для связи и для контроля на месте. Альфред спустился в ход сообщения, пошел согнувшись, чтобы не зацепить головой за белую маскировочную сеть. И сам ход сообщения, и многочисленные тупички, вырытые с обеих сторон, были заполнены солдатами. Одеты тепло: в полушубки, в шинели поверх ватников, они казались громоздкими и неповоротливыми. Ушки шапок опущены, подшлемники посидели от инея. Бойцов пробирал мороз, а погреться было негде; они прыгали на месте, толкались плечами, приседали. И вся эта масса, скрытая в темноте, шевелилась, покряхтывая, позвякивая оружием и котелками. Альфред с трудом двигался по узенькому проходу, то и дело наступая на чьи-то валенки.

Наблюдательный пункт располагался метрах в ста от реки на невысоком холме. Здесь были еще с прошлого года открыты два блиндажа с амбразурами и подготовлено несколько открытых площадок, замаскированных сетью. На НП находились два генерала и полковник. Альфред не решился спуститься в блиндаж, а примостился в окопчике,

рядом с офицером-летчиком, не очень-то представляя, что и как будет контролировать в присутствии большого начальства. Разве только сверять по плановой таблице, точно ли выдерживают артиллеристы время и режим огня.

Летчик, пожилой и фасонистый капитан, пришел в сапогах и теперь «отрабатывал бег на месте», пытаясь согреться и ворча на погоду. При нем был сержант с радиостанцией, молодой парень с плутоватым лицом. Он взял у капитана банку рыбных консервов, сходил в траншею, а когда вернулся, победно потряс над ухом капитана своей флягой. Капитан глотнул несколько раз, сказал: «Порядок!» — и перестал прыгать.

Вскоре Ермакова позвали в блиндаж. Генерал спросил у него, нет ли изменений в плане и как ударят реактивные минометы, по собственным целям или внакладку. Альфред ответил и, пользуясь случаем, поинтересовался, как связываться ему в случае необходимости со штабом артиллерии армии. Генерал показал телефон.

Потом о нем снова забыли. Он стоял посреди блиндажа, чувствуя, что занимает много места и мешает людям. Попытился к двери и опять ушел к летчику, который как раз доставал в это время из необъятного кармана шинели вторую банку рыбных консервов.

— В такой мороз лучше совсем не пить, а если пить, то через каждый час, — деловито произнес он. — Когда хмель выходит, еще холодней становится.

Слева, над Ладожским озером, небо постепенно становилось багровым, рассвет наступал красноватый, тревожный. Порозовели снега. Неохотно выползло из сугробов солнце, далекое и маленькое, будто сжавшееся на морозе. От него стало еще холодней.

Альфред следил за стрелкой часов, двигавшейся очень медленно. Осталось десять, девять, восемь минут... Он еще раз посмотрел вокруг. Впереди — зигзаги глубокой траншеи, видны серые шапки, одна возле другой. Дальше — ровный полукилометровый простор Невы с девственно-белым снегом. Потом невысокий, но крутой берег с ледяными скатами. Там немцы. Но и там тоже белая нетронутая целина, не видно ни окопов, ни амбразур. Тихо, морозно. Слепит глаза розовый блеск...

Неужели сейчас все это кончится, уйдет в прошлое и начнется новый этап? В одну секунду сломается ход событий, закончится тяжкая эпопея, история пойдет по

другому пути. От этой секунды начнется новый отсчет времени... Начнется или нет? Во всяком случае сейчас что-то изменится. Еще минута! А вот уже меньше...

У Альфреда перехватило дыхание. Летчик, тоже не отрывая глаз от часов, торопливо глотал из фляги.

Все! Девять тридцать! Альфред медленно повернулся назад, шепча торопливо: «Ну! Ну!», и в этот момент земля качнулась у него под ногами, с гулом и треском раскатилась над равниною первый залп. А за Невой вспыхнули разом сотни огоньков и тотчас угасли, задавленные черным дымом и взметнувшимся снегом.

Грозовые удары следовали один за другим. Впереди начали бить орудия прямой наводки, но их почти не было слышно. Рвались заряды, установленные саперами на минных полях, рвались немецкие снаряды, прилетавшие с того берега, и все эти звуки слились в сплошной гул, сквозь который чудом прорывалась порой близкая пулеметная строчка.

— На! — орал летчик, протягивая Ермакову флягу. — Пей, артиллерия! Твой праздник сегодня!

Противоположный берег быстро покрывался черными воронками, а потом совсем затянулся дымом и снежной пылью. Земля дрожала так, что Альфред боялся — треснет лед на Неве. И лед действительно трескался, на нем возникали полыньи, но не от канонады, а от немецких снарядов.

Дважды появлялись в небе советские штурмовики, падали с высоты, исчезая за стеной дыма, а потом снова взмывали ввысь. Генерал, выйдя из блиндажа, что-то кричал капитану — летчику, тот, в свою очередь, орал в микрофон, не заботясь о выражениях.

Артиллеристы противотанкового дивизиона вытащили свои пушки на Неву, на открытое место, катили их по льду, прячась за щитами. Останавливались, били прямой наводкой по немецким дзотам и опять двигались вперед. Вокруг них рвались снаряды, взметывая хрустальные конусы дробленого льда. На белом покрове оставались черные трупы, но легкие пушки катились все дальше, к середине реки, а следом бежали подносчики, тащили снаряды в ящиках, а то и просто в руках. И когда падал убитый подносчик, к нему тотчас бежал с берега другой солдат, бережно собирал снаряды и нес дальше. Бойцы знали, чего стоили эти снаряды! Их вытаскивали в блоки-

рованном городе, в промерзших цехах. Их начинали костлявые слабые руки умиравших голодной смертью людей. Начинали не взрывчаткой, а ненавистью. В каждый такой снаряд был вложен подвиг рабочих, вложены последние надежды тех, кого прямо от станка увозили в санках на братские кладбища.

Их накапливали целый год, один к одному, берегли до светлого праздника. И артиллеристы били ими в упор, без промаха, наверняка.

Третий час длился оглушительный рев канонады. Но главное еще только начиналось. В 11 часов 45 минут грохот достиг наивысшего напряжения. Артиллерия работала теперь на предельном режиме. Как черные торпеды, промелькнули снаряды «катюш», распоров огненными хвостами небо. Ухо с трудом различило вибрирующий гул их разрывов.

Взвились ракеты. Из траншей, из окопов на лед выбежала пехота. Сначала появились небольшие кучки бойцов — штурмовые группы. Автоматчики в белых халатах бежали налегке, огибая разводья. Они даже не стреляли, у них была одна цель: преодолеть открытое расстояние, зацепиться за берег. Следом за ними выскакивали саперы из отрядов разграждения.

У Альфреда было такое впечатление, будто он смотрит захватывающий фильм с быстро меняющимися кадрами. Вот автоматчики уже скрылись из виду, залегли среди воронок, среди изрубленных снарядами деревьев. А на лед валом валила пехота. И справа, и слева, сколько хватал глаз, мельтешили фигурки людей, а следом сыпались из траншей еще и еще. Несли на себе лестницы, деревянные щиты, укладывали их на полыньи. В рев канонады влетали новые звуки, прорезывалось сквозь грохот протяжное: а-а-а-а-а!..

И вот уже человеческая волна перехлестнула через простор реки, уже ползли люди по крутому скату, подставляя друг другу плечи, подтягивая на веревках. А с нашего берега спускали на лед пушки.

Альфред и не заметил, как правее протянулась по льду щитовая дорога, увидел только, когда на нее, покачиваясь, съехал с берега первый танк и пошел осторожно, словно на ощупь.

Артиллерия перенесла огонь в глубину вражеской обороны, на первый рубеж огневого вала. Пехота, преодолев

прибрежные укрепления, ушла дальше и скрылась в дыму. Теперь Альфред не видел, как развивается бой. Через реку продолжали переправляться новые подразделения, все больше появлялось пушек и танков. На той стороне саперы взрывали крутые склоны, прокладывая артиллеристам и танкистам дорогу наверх.

— Кажется, удалось, а? — крикнул летчик и вдруг, подскочив к Ермакову, обнял его, поцеловал в щеку. — Ну, радуйся, черт!

— Да я радуюсь, — смущенно произнес Альфред. Он чувствовал в себе какую-то легкость и приятную усталость как человек, поработавший много и хорошо. Наверно, это и было счастье, но он не умел выразить его внешне, криками или движениями.

— Старший лейтенант, к генералу!

Ермаков спустился в блиндаж, щурясь после ярного света. Здесь было сумрачно и шумно, сразу несколько человек кричали в телефонные трубки.

— Переносите огневой вал на следующий рубеж, — приказал генерал.

— По плану еще четырнадцать минут.

— К черту план! Ты видишь — вперед прошли! Пехота легла, своих снарядов бонится. Запал пропадет. Перестарались, боги войны!

Альфред подумал: генерал, наверно, прав. Не потому, что он генерал, а потому, что полоса разрывов, протянувшаяся на семь километров, мешала нашей пехоте сделать новый бросок.

Он посмотрел на схему, уточнил, какие части «работают» в этом месте, и вызвал по телефону командный пункт штаба артиллерии. Не прошло и двух минут, как огненный вал в центре прорыва скачком отодвинулся на следующий рубеж. Но на флангах вал оставался на прежнем месте, и Альфред подумал, что дела там идут хуже.

Генерал приказал Ермакову сидеть возле телефона и вскоре потребовал перенести огонь еще дальше. Артиллеристы снова выполнили распоряжение четко и быстро.

Несколько коротких телефонных разговоров — вот и все, что сделал Альфред за этот день. Он понимал: внес свой вклад раньше, во время обсуждений и разборки операции, во время расчетов и подготовки артиллерийского наступления. И если сейчас все шло без задержек, как и предусматривалось, то в этом была и его заслуга. Он испыты-

вал некоторое удовлетворение. Но было неловко торчать без особой нужды на своем берегу, в безопасном месте.

Зимний день закончился рано. Ближе к вечеру потеплело, повалил густой снег, заноса воронки и трупы. В сумерках сражение ослабело и быстро затихло. Общим сторонам нужна была передышка.

На передовой вспыхивали короткие перестрелки, ползали разведчики, нащупывая огневые точки. Подремывали в разрушенных окопах, в разбитых блиндажах усталые бойцы. Центр напряжения переместился сейчас в тылы. И немцы и наши подтягивали резервы, подвозили боеприпасы. Советские саперы строили переправы для тяжелых танков и орудий крупных калибров. Выдвигались вперед части второго эшелона, меняли свои позиции артиллерийские и минометные дивизионы. Утром вся эта масса стволов должна была ударить с новых позиций по новым целям.

Линия фронта застыла на ночь причудливыми изгибами, и это очень осложняло работу артиллеристов. Требовалось точно определить передний край, чтобы не попасть по своим. Всю ночь артиллерийские офицеры ползали под носом у противника, намечали ориентиры, набрасывали схемы огня. Альфред сидел в блиндаже, обложенный картами, бумагами, схемами и донесениями, сводил в единое целое все эти разрозненные данные, а потом передавал их в штаб артиллерии.

В блиндаже было жарко, Альфред снял гимнастерку, работал в одной нижней рубашке, как бывало раньше в Москве, по старой привычке рассеянно почесывал грудь. Он был в том приподнятом состоянии, когда все делается просто, когда голова работает сама и когда даже трудные решения даются без особого напряжения. Он давно не испытывал такого состояния и теперь радовался, что не утратил своих прежних способностей. И опять на ум ему пришла мысль о решающей машине. Сейчас такой машиной был он сам, но ведь человек не способен на длительное напряжение. Человек устает, а машина будет «думать» безотказно.

Занятый делом, он не обращал внимания на людей, входивших в блиндаж, не заметил, как вернулся с передовой генерал и, наскоро попив чая, бросился на нары, отдохнуть три с половиной часа. Командиры рот и батарей, полков

и дивизионов знали, что делать им на рассвете. Главное было ясно: идти вперед, уничтожая противника там, где он обнаружится. Никакие планы не могли теперь предусмотреть всех поворотов и случайностей боя. А то, что делал Альфред, было важно не столько для артиллерийских частей, получивших уже конкретные указания от своих командиров, сколько для высших штабов: чтобы там могли ясно представлять себе ход сражения и своевременно влиять на него.

Далеко за полночь окончил наконец Альфред обширную сводку. Подсчитывал примерный расход боеприпасов на следующие сутки, а в голове подспудно звучал еще неосознанный, немного игривый ритм. Поставил он подпись, указал число, и само собой выплеснулось ниже подписи четверостишие:

Прошел, промчался славный день
В разрывах, в грохоте, в отваге,
А я сижу, сижу, как пень,
Уткнувши нос в свои бумаги...

Спохватился, когда было уже поздно. Досадливо морщась, заново переписал последний лист, а тот, на котором было стихотворение, скомкал и сунул в карман. Может, пригодится, как заготовка для будущего.

* * *

На пятые сутки между войсками Ленинградского и Волховского фронтов, наступавших навстречу друг другу, осталась лишь узкая полоска земли, в некоторых местах не превышавшая двух километров. Но на этих километрах было столько немецких солдат, столько вражеской техники и укреплений, что каждый шаг вперед давался с большим трудом. Без артиллерии и авиации пехота не могла бы продвинуться. Она шла за огненным валом, по изрытой, искалеченной земле, добывая уцелевших фашистов.

Немцы вводили в бой свежие полки, бросали в контратаку танки и автоматчиков. Стены «коридора» суживались очень медленно. Перелом наметился только вечером 17 января, когда советские войска вплотную подошли к Рабочим поселкам № 1 и 5. Фашисты наконец дрогнули. Продолжая упорно оборонять «коридор», они начали отводить через него свою Шлиссельбургскую группировку, которой грозило полное окружение.

Психологически противник был сломлен. А советские бойцы дрались с особым напором и ожесточением. Люди из тыловых служб стремились ближе к передовой. В наступающих цепях оставались многие раненые. Всем хотелось дожидаться той минуты, когда разомкнется кольцо блокады. Они были как подводники, в лодке, долго пролежавшей на грунте, отвыкшие от солнечного света, мучительно задыхавшиеся без кислорода. И вот лодка почти всплыла. Скоро откроется тяжелая крышка, хлынут в люк солнце и воздух, хлынет жизнь!

Старшего лейтенанта Ермакова «послали за опытом», как выражались операторы. Он получил задание на месте проследить и проанализировать стрельбу прямой наводкой по долговременным оборонительным сооружениям противника. Утро 18 января застало его в одном из батальонов 123-й стрелковой бригады. Двигаться тут можно было только ползком, в воздухе густо летели пули, и не поймешь, с какой стороны. Было такое впечатление, что стреляют и впереди, и справа, и слева.

За редкими тонкоствольными соснами виднелись остатки разрушенных барakov и несколько уцелевших строений. Но путь к ним преграждал забор высотой в человеческий рост, со множеством амбразур для пулеметов и легких орудий. Сложенный из двух рядов бревен, между которыми насыпана земля, он был покрыт толстым слоем льда и служил надежным укрытием для обороняющихся. Снаряды не разбивали его. Артиллеристы, прячась за щитами, медленно выдвигали вслед за пехотой свои пушки, стреляли по амбразурам.

В девять часов прилетели штурмовики. Они точно пикировали на объект, бомбы в нескольких местах повредили забор. Пехота готовилась к броску. Слева, за мелколесьем, нарастала пальба, слышались крики «ура!».

За расщепленным стволом сосны лежал младший лейтенант в больших стоптанных валенках. Оборванный хлястик шинели держался на одной пуговице. Лицо черное, помороженное, остро торчат скулы. Он скользнул взглядом по Ермакову и поднес к губам свисток. По сигналу поднялись десятка полтора бойцов, сделали короткую перебежку и рухнули в снег. Выставили два ручных пулемета, прикрывая огнем тех, кто перебежал сзади. Младший лейтенант бил из автомата одиночными выстрелами. Альфред решил не отставать от него.

Вперед, в темной глубине амбразуры, вспыхивали частые огоньки немецкого крупнокалиберного пулемета. Он тарахтел не переставая, пули то ложились веером перед разбитой сосной, взметая снег и с гудением рикошета от мерзлой земли, то шли высоко над головой, отбивая щепки с древесных стволов. Пулеметчик уже скосил прислугу пушки, пытавшейся бить по амбразуре. Но где-то неподалеку находился, видимо, наблюдатель от батареи, стоявшей на закрытых позициях. Корректировал он скупое и точно. Один 76-миллиметровый снаряд лег перед забором, второй сзади. Третий ударил прямо в забор, но скользнул по льду и взорвался на земле. Батарея сразу же дала очередь: два или три десятка снарядов. Обугленный забор осел, рассыпались бревна. Туда, в этот пролом, устремились бойцы. Но дальше, за забором, были еще огневые точки. В пролом проскочили немногие. Альфред упал рядом с младшим лейтенантом. Слева подбежала другая группа бойцов. Рябой автоматчик в расстегнутом полуплукке грохнулся рядом с Ермаковым.

Остатки забора надежно укрывали от пуль. Автоматчик, отдышавшись, повернулся на спину и достал кисет. Младший лейтенант покосился на него, сглотнул слюну и тоже лег на спину.

— Угостишь, что ли?

— Бери, — протянул тот вышитый, туго набитый мешочек.

— Больно ты щедрый, — удивился младший лейтенант. — Трофеи, что ль, не жалеешь?

— Нет, наша, моршанская. Вчера получили.

Альфред тоже свернул самокрутку. Последнее время с куревом стало лучше, появились немецкие сигареты, но были они слабые и сладковатые. А тут настоящая махорка, крепкая и душистая, не пробовавшая уже давно.

— Вперед! Вперед! — закричал кто-то.

Младший лейтенант вздохнул, встал на колени, поднес к губам свисток. Приподнялся и рябой автоматчик, бросив наполовину выкуренную самокрутку. Она зашипела в снегу. Альфред пожалел — столько пропадет махорки. Поднял самокрутку и сунул в карман.

Он задержался на несколько секунд и это спасло его. Мина упала прямо в пролом забора. Младший лейтенант повалился на разбитые бревна. Автоматчик пробежал несколько шагов, а потом запнулся и медленно сполз вниз,

цепляясь руками за ледяную стенку, будто присел возле амбразуры, заглядывая в нее.

Альфред подполз к младшему лейтенанту. Близкий взрыв заставил его вжаться среди бревен. Он видел прямо перед собой стоптанный серый валенок с протертой пяткой, из дыры торчал кусок грязной портянки.

Подтянувшись ближе, приподнял голову младшего лейтенанта и сразу опустил ее: вместо лица — кровавая маска с пустыми вытекшими глазницами. Между зубов торчал намертво зажатый свисток.

Через пролом бежали бойцы в таких же белых полубубках, как и рябой автоматчик. Альфред вдруг поразился: какие они все ловкие, румяные, крепкие. Лихо тащили за собой волокуши с пулеметами. Он вскочил, глядя на них, уже поняв, но все еще не решаясь верить. И только тогда увидел, как артиллеристы, оставив пушку, кинулись к белым полубубкам, швыряя вверх шапки, схватил за рукав рослого автоматчика.

— Ты какой? Волховский?

— Не цапай! — оттолкнул тот Ермакова, пробежал дальше, а потом круто повернул назад. Рядом увидел Альфред потное лицо, сияющие глаза, услышал крик:

— Братишка, из Питера?!

Вокруг них быстро сбивалась толпа. Альфреда тискали за плечи, подбрасывали в воздух, кто-то обменялся с ним шапкой. А он улыбался смущенно и радостно, не находя слов, пожимал руки, тянувшиеся к нему со всех сторон.

Потом раздалась команда, бойцы устремились дальше, и Альфред побежал вместе с ними. В наступающей цепи полубубки волховцев перемешались с истрепанными шинелями и ватниками ленинградцев.

* * *

На следующий день, разыскивая штаб бригады, Ермаков снова оказался на окраине поселка возле дерево-земляного забора и не сразу уразумел, что там происходит. За деревьями, по обе стороны поляны, стояли группы из штабных командиров, политотдельцев, интендантов и шоферов. Все принаряженные, выбритые, затянутые ремнями.

Какой-то мужчина крикнул из кузова грузовика:

— Начинаем!

Люди, размахивая оружием, устремились навстречу друг другу, встретились посреди поляны, обнимаясь и целуясь. Но улыбки на лицах были не столько радостные, сколько сконфуженные. Стрекотал киноаппарат, щелкали затворами фотокорреспонденты.

Тот же мужчина скомандовал:

— Стоп! Повторим еще раз. Больше веселья, товарищи! Больше неподдельного ликования! Это же великий момент! Займите исходное положение!

Ермаков увидел, что с поляны убраны все трупы, осталось лишь два мертвых немца. Даже тело младшего лейтенанта оттащили из пролома в сторону. Только вчерашний автоматчик так и стоял на четвереньках, приткнувшись к забору головой и плечом. Он не попадал в объективы, и его не тронули. Альфред подумал, что автоматчик теперь зачтенел, его так и зароят скорченного. Будут лежать рядом, в одной могиле, и он, и младший лейтенант в дырявых валенках. А зрители увидят «хронику», которую можно снять где угодно: хоть тут, хоть на Урале, хоть в Забайкалье.

Очень обидно стало Альфреду за этих ребят, которые умерли, даже не зная, что они первыми разорвали кольцо. Он подошел к грузовику и сказал громко:

— Кому нужна такая профанация? Как вам не стыдно!

Режиссер удивленно посмотрел на него и показал рукой: не мешайте. Режиссер просто не понял, о чем говорит этот неуклюжий человек в грязной мятой шинели. Недоставало еще, чтобы он попал в объектив. Один вид его способен испортить такие отличные броские кадры.

12

«Ты от жизни много не жди, а чего получишь, тому радуйся», — любил говорить покойник отец, когда Иван Булгаков был еще маленьким. Потом он и сам убедился: есть люди, которые больно уж охочи до всяких благостей. Строят себе разные красивые надежды да планы, а потом ноют, если получается не по-ихнему.

Себя Иван считал мужиком везучим. Особенно на войне. Такая подвалила ему удача, что ай да ну! Алена писала: в Стоялове, почитай, каждую неделю плачут по упокойникам. Как придет из района почта, так и похоронная...

Половина домов осиротела, может, и больше. А Иван с самой весны сидел будто у Христа за пазухой. Ни летом, ни осенью, ни зимой на Западном фронте тяжелых боев не было. Пехота держала оборону. Танковая бригада стояла в резерве. Несколько раз подтягивались, правда, к передовой. Танкисты ходили в атаку, но осторожно. Им приказано было беречь машины. Ну, а Иван даже во время атак оставался в тылу, хлопотал возле кухни, соображая своим ребятам обед посытнее.

Еще летом он отцепился от Лешкиного танка. Во-первых, земляк Карасев стал теперь лейтенантом, командовал взводом «тридцатьчетверок», и возить за собой кухню было ниже его достоинства. Во-вторых, и ездить-то особо не приходилось, торчали на одном месте целыми месяцами. К тому же Иван, хоть и пообтерся в танковых войсках, хоть и носил на голове старый замасленный шлем, в душе по-прежнему не очень-то доверял технике и самым надежным транспортом считал лошадь.

В августе, когда наши наступали на Ржев, танкисты отбили возле села Погорелое Городище сотни две немецких коней. Иван выбрал себе рыжего мерина с широкой грудью, хоть и не молодого, но сильного. Теперь он обзавелся хозяйством, не зависел больше от шоферов и почувствовал себя человеком самостоятельным.

Сказать по правде, первое время он хватил горя с трофейным меринком. Тот ни бельмеса не понимал по-русски. Когда Иван кричал ему «но!», он спокойно стоял на месте, а при слове «тпру!» — наоборот, убыстрял шаг. Иван узнал у ребят, как понукают лошадей немцы. Но либо ребята напутали, либо Булгаков неправильно произносил слова — они отскакивали от коня, как от стенки горох.

Один из обозников, старый лошадиник, сочувственно выслушал жалобы Ивана, внимательно осмотрел мерина, обследовал копыта, зубы, помял мускулы, заглянул даже в ухо, а потом пояснил, что мерин крепкий, здоровый, но всей статью шибает на венгерскую породу.

— Тыфу, черт! — выругался Булгаков. — Лучше бы завалящую кобылу колхозную подобрал!

Как понукают лошадей венгры, никто не знал, и Иван решил, что нечего валять дурака. Сплел себе ременный кнут и сказал мерину: раз попал на русскую службу, значит, смекай, что к чему.

Через две недели мерин понимал все команды, но у

него обнаружилась другая странность. На каждом перекрестке он останавливался, мотал башкой, будто принимался, и сворачивал на ту дорогу, которую считал нужной, нимало не считаясь с интересами хозяина.

— Ну ты, шибко грамотный, куды попер! — орал Иван, охаживая его кнутом. Но мерин только пофыркивал и шаггал дальше. Приходилось брать его под уздцы и поворачивать в нужном направлении. Он подчинялся неохотно, укоризненно косил большими печальными глазами.

Иван жалел его: трудно, конечно, скотине в чужой стране, на непривычной работе. Подкармливал сахаром, хлебными горбушками с солью и незаметно привязался к нему. Да и мерин, хоть и продолжал упрямиться, встречал хозяина радостным ржанием. А то подойдет сзади, опустит теплую морду на плечо Ивана и стоит так расслабившись, даже глаза прикрыв от удовольствия.

Булгаков это понимал: каждое живое существо любит ласку. А кони особенно — у них душа чуткая.

Сперва шутя, а потом и всерьез укрепились за меринком кличка Шибко Грамотный. В бригаде ходили целые анекдоты про странную лошадь непонятной породы и с мудреным именем. Говорили, что она по запаху чует взрывчатку и сама обезжестивает мины. Лешка Карасев привел весь свой экипаж полюбоваться на эту диковинку и не упускал случая, чтобы позубоскалить.

Командир бригады морщился при виде мерина, но обижать Булгакова не хотел, зная, что Иван Дмитриевич воевал еще на финской, да и на этой войне тянет лямку чуть ли не с первых дней. Пусть почудит, если хочется.

В распутицу на марше застряли колесные машины. Один Булгаков, хоть и поздно ночью, но догнал танкистов, накормил не только свой, но и второй батальон. Мотострелки так и остались голодными. Командир бригады объявил выговор своему помощнику по тылу, а Булгакову вынес благодарность. После этого Шибко Грамотный получил в бригаде полное признание, Иван уверился, что мерина у него не отберут.

Подоспело как раз горячее время. В конце февраля немцы сами начали вдруг отходить на всем протяжении от Ржева до Юхнова. Это было очень чудно. На других фронтах фашисты цеплялись за каждый населенный пункт. И тут у них были хорошие укрепления, целый год удерживали они Ржевско-Вяземский выступ, выдвинутый к

Москве. А попятились без всякого толчка, когда их никто не тревожил.

Политрук объяснил: немцы поснимали отсюда много дивизий, чтобы сдержать советское наступление на других участках. Резервов у фашистов нет, поэтому они и выводят свои части из выступа. Сократят фронт, высвободится восемь или девять дивизий.

— Но и наши, значит, освободятся?! — сказал Иван.

— Конечно! Такое уж теперь положение у фрицев! — засмеялся политрук. — Под Харьковом их лупят, а здесь сказывается. Командование приказало преследовать их по пятам, не давать закрепиться, отшвырнуть от Москвы подалше, к Смоленску.

Приказ-то был правильный, но и немцы не дураки. Они, видно, заранее все обдумали, заранее подготовили рубли, вывезли все ценное, разрушили дома, мосты и дороги. Части, прикрывавшие отступление, отходили за день на пять, от силы — на десять километров, садились в траншеи и встречали нашу пехоту организованным огнем.

Когда взяли Вязму, танкисты попробовали рвануть напрямик, на запад, вдоль железной дороги. Но немцы подтянули два бронепоезда и подняли в воздух авиацию. Бригада потеряла пять танков, но вперед не пробилась.

Иван ехал будто по снежной пустыне. Все деревни были выжжены дотла. Только по печным трубам можно было определить, где раньше стояли избы. Из лесов выходили немногие уцелевшие жители, едва живые от голода. Чтобы хоть как-нибудь подкормить их, Иван сэкономил продукты, делал закладки пожиже. Ребята если и заметят, то не осудят. Каждый день варил котел для баб и ребятишек. Кто же еще поддержит их, как не свои?

Разливая им суп, вспоминал прошлую зиму. Хорошо, что немцев гнали от Москвы ходом, они не успевали ни грабить, ни разрушать. А то и на месте Стоялово было бы такое же пепелище, и, как знать, уцелела бы Алена с ребятами... Ну, бог миловал!

Еще Иван думал о том, что где-то южнее, к Брянску, лежит за линией фронта лесная деревушка, в которой укрывался он вместе с Брагиным. Как-то там Егор Дорофеевич и Марья-хозяйка? Дорофеич-то в партизаны собирался махнуть, да ведь судьба — она круглая, не угадаешь, как повернется.

За неделю наступления Иван крепко поизмотался. Де-

лал две-три варки в день для своих, одну для жителей. И за продуктами надо съездить, и сухих дров запастись, и Шибко Грамотного накормить. В деревнях не разыщешь ни клочка сена, колесным фуражом танковую бригаду не снабжали, а бензином мерина не заправишь. Приходилось добывать сено то у кавалеристов, наступавших километрах в десяти севернее, то у обозников. Но они и сами сидели на скудном пайке.

На сон Ивану не оставалось времени.

В деревушке, где сохранилось три окраинных дома, Булгаков накормил жителей остатками каши, вымыл котел и принялся колоть дрова. Дело было под вечер, топор казался невероятно тяжелым и отскакивал от суковатых чурок. Иван взмок, чертыхнулся и сел перекурить.

Пока возился с кисетом, подошел невзрачный мужичонка непонятного возраста, может, лет сорока, а может, и пятидесяти, с белой щетиной на безгубом землистом лице. Городское, до блеска затертое полупальто у него явно с чужого плеча, полосатые портки заправлены в развалюхи опорки, обмотанные бечевкой. На голове самодельный треух, сработанный, видно, из старой поддевки. Он поднял топор, мрачновато покосился на Ивана и, не встретив возражения, принялся колотить умело и быстро. Однако скоро устал. Выпрямился, тяжело дыша, взял охапку сена возле кухни и понес Шибко Грамотному. Диковатый мерин, не признававший никого, кроме Ивана, потянулся навстречу мужичонке и даже разрешил потрепать себя по шее. Иван почувствовал что-то похожее на ревность.

Вернувшись, мужичонка снова взялся за топор. Булгаков предложил ему закурить, но тот отрицательно мотнул головой.

— Да ты не глухой ли? — поинтересовался Иван.

— Нет. — Голос скрежетнул хрипло и неприятно.

— А кличут как?

— Ефрюшка.

— Ефрем, значит?

Тот промолчал, словно не слышал.

— Местный?

— Да.

— А семья тут?

— Бонба, — раздраженно ответил Ефрюшка, и Булгаков не стал больше расспрашивать: ни к чему терзать человека против его охоты.

— Слышь,— попросил Иван.— Мне бы поспать до полуночи. Приглядишь тут?

Ефрюшка кивнул, и Иван почему-то уверился, что может отдыхать спокойно.

В избе было душно, остро воняло прелью и потом. Люди спали не только на печи и на полатах, но и на полу, прямо в верхней одежде. Бабы с детишками у дальней стены, а красноармейцы впокат, ближе к выходу. Иван с трудом втиснулся между храпевшими бойцами, положил голову на чей-то валенок и уснул мгновенно, как помер.

Ефрюшка разбудил его за полночь. Иван побегал, согреваясь, вокруг избы, скинув шинель, помылся мягким, только что выпавшим снегом (чистота для повара первое дело!). Подошел к кухне. Дрова были аккуратно сложены. Шибко Грамотный почищен и покрыт мешковиной. Обработанный Булгаков попросил натаскать воды в котел и разжечь топку, а сам взял мешок и отправился на продскладовскую машину.

Внимательно следя, как зевающий пройдоха-сержант взвешивает свиное сало, спросил:

— Ботинки у тебя не найдутся сорокового размера? Хотя бы старые?

— Это что же, просто так, за спасибо? — прищурился сержант.

— Поговорку знаешь: не плюй в колодез...

— Ладно, сочтемся.

К кухне Иван вернулся, сгибаясь под тяжестью мешка. Протянул Ефрюшке пару почти новых ботинок.

— На. Обмотки сам смастеришь.

В этот раз все ладилось у отдохнувшего Ивана легко и быстро. К шести часам он уже привез завтрак танкистам, стоявшим в лесочке, ближе к передовой. А те, озябнув за ночь в шалашах, сооруженных на скорую руку, только покрывали от удовольствия, согреваясь горячей кашей.

Как-то само собой получилось, что Ефрюшка остался с Иваном и в этот день, и на другой, и на третий.

Иван раздобыл ему поношенную шинель, потребовал, чтобы Ефрюшка побрился. Через неделю так привык к своему помощнику, что просто диву давался, как это раньше успевал делать все в одни руки!

К середине марта наступление затормозилось. Немцы отошли километров на сто, а потом прочно встали на линии Духовщина — Занозная, преграждая путь на Смоленск.

Остановились и наши войска, встретив заранее подготовленную оборону. Несколько дней продолжались небольшие бои, а потом передовая затихла.

Лешка Карасев, возвращаясь с ремонтной базы, на коротке заскочил к Ивану с флягой трофейного спирта. Ефрюшка к этому времени выстроил из жердей и снега некое подобие хаты и даже смастерил стол из ящиков. Иван нахвалиться не мог своим помощником и Шибко Грамотным. Раздобревший Лешка, весь в командирских ремнях, скалил зубы, потряхивал рыжим чубом, косил глазами на свои новенькие офицерские погоны с двумя звездочками.

И тут произошел конфуз. Пока толковали они о житье-бытье, Ефрюшка больше чем наполовину опорожнил флягу. Сидел на ящике, глядя помутневшими глазами, чесал грязными пальцами подбородок. Потянулся к фляге еще раз, но Иван успел перехватить. Раздосадованный, принялся упрекать Ефрюшку: что же ты, мол, так, по-свински... Спирт был нужен Ивану не столько для себя, сколько на угощение сержанта из продсклада. Задолжал ведь ему за ботинки. А теперь и самому с гулькинос остался.

Ефрюшка ухмыльнулся, поднялся и пошел, пошатываясь, в соседнюю снеговую избу, сделанную для мерина. Лег там возле Шибко Грамотного, накрылся попоной и захрапел, блаженно улыбаясь во сне.

Лешка, оперев руки в боки, хохотал во всю глотку. Вот это да, вот это помощничек! С таким, и верно, не пропадешь!

— Работать он на все руки,— оправдывался смущенный Иван.— Ну, а тут, значит, слабость у него такая. Остерегать буду.

— Ты что же, при себе держать его хочешь?

— Он сам держится. Ему сытно, а мне легче.

— Неплохо ты устроился. Настоящий колхоз в танковой бригаде развел. У тебя ж теперь целое подразделение, хоть в звании тебя повышай.

— И не говори, Леш. Просто другой раз подумаю: кому война, а кому мать родна!

— Ну-ну, окстись,— предупредил Карасев.

— Верно, земляк,— вскинулся Иван и трижды исто-во сплюнул через левое плечо на застеленный лапником пол.

Тихий украинский город Винница, живописно раскинувшийся по берегам неширокой реки, мало чем отличался от других городов на оккупированной немцами территории. Офицерское казино, публичный дом, патрули на пустынных улицах. Яркие афиши кинотеатра, где показывали фильмы, прославлявшие «новый порядок». Госпитали в дачных особняках. Все обычно. Разве только гостиниц было побольше, чем в других местах, да чаще появлялись лакированные генеральские автомашины с желтыми фарами.

Здесь не устраивались облавы со стрельбой и ревом спрен, аресты производились бесшумно и быстро. Внешне жизнь текла даже спокойней, чем в других городах. А между тем сюда тянулись главные нити управления Третьей империей, всеми фронтами, на которых сражались фашистские армии.

Неподалеку от Винницы вырос новый поселок. Среди деревьев стояли простые, аккуратные домики с островерхими крышами, соединенные бетонной дорогой. Невысокие заборы, цветники, клумбы. А ниже, глубоко под землей, тянулась целая сеть прочных комфортабельных бункеров, имевших все необходимое, вплоть до изолированного водоснабжения и силовой установки.

Гитлер требовал для себя надежной охраны, но не желал видеть, как его охраняют. Это действовало на его нервы, напоминало об опасности. Поселок окружала сложная система ограждений, траншей, дотов и блиндажей, но все маскировалось настолько тщательно, что рассмотреть их было невозможно. Безлюдными казались леса и поля, примыкавшие к резиденции фюрера, хотя в них скрывались тысячи солдат и офицеров специальных служб.

На всем пути от Винницы до поселка машину, в которой ехал Гудериан, остановили только раз, возле шлагбаума. Офицер в обычной армейской форме, сидевший рядом с шофером, показал пропуск. Открылась дверца. Чьи-то внимательные глаза быстро ощупали Гудериана. Вежливый голос попросил извинения, щелкнули каблучки, и машина двинулась дальше.

Вызов к фюреру был настолько неожиданным, что Гудериан, едва оправившийся от болезни, не сразу смог собраться с мыслями. Телефонный звонок, посадка в эк-

спресс, стремительный бег поезда. В Растенбурге его ожидал специальный самолет на Винницу.

Старый приятель генерал Шмундт оказал на этот раз большую услугу. Он приехал к Гудериану в гостиницу для предварительных переговоров. Но держался не официально, а сразу раскрыл все карты. Превосходство русских бронетанковых сил быстро растет и количественно, и качественно. Германские бронетанковые войска истощены. Погибло много техники и личного состава. Практически танковые корпуса нужно создавать почти заново. Фюрер потерял доверие к молодым генералам-танкистам. Он думает о старых надежных кадрах, особенно ценит Гудериана и Роммеля. Но Роммель занят в Африке и не имеет опыта борьбы с русскими. А Восточный фронт — это главное направление. Поэтому фюрер решил доверить Гудериану контроль над всеми бронетанковыми войсками.

Гейнц спросил, когда именно фюрер подумал о его кандидатуре. Шмундт ответил, что еще во время сталинградской катастрофы Гитлер несколько раз интересовался здоровьем своего главного танкиста — он называл так Гудериана, несмотря на его отставку. Окончательное мнение фюрер высказал вот при каких обстоятельствах. 17 февраля он приехал в Запорожье. Состоялась беседа с генералом Манштейном. Обсуждалось тяжелое положение на южном крыле фронта. Немцы вынуждены были оставить Ростов и Харьков. Русские армии устремились в Донбасс, намереваясь выйти к Днепру. Фюрер приказал собрать все остатки танковых дивизий и нанести контрудар, чтобы остановить продвижение противника.

Во время этой беседы пришло сообщение о том, что передовые отряды советских танков появились в нескольких километрах от Запорожья. Их, правда, удалось потом отбросить, но фюрер вынужден был немедленно покинуть Запорожье. Это очень подействовало на Гитлера. Весь обратный путь он был мрачен, а потом распорядился вызвать Гудериана.

Беседуя со Шмундтом, Гейнц понял, что перед ним отличная и, может быть, последняя возможность не только вернуться на службу, но и занять высокое независимое положение. Он так и заявил адъютанту фюрера: чтобы восстановить бронетанковые силы, нужны решительные действия и широта полномочий. Генерал-инспектор бронетанковых сил должен оказывать влияние на разработку и

выпуск вооружения, на обучение всех родов войск, в том числе и СС. Кроме того, Гудериан еще слаб после болезни, он не выдержит большой нагрузки, если его будут втягивать в междуведомственные конфликты. Он сможет принять ответственный пост только при том условии, что будет подчиняться непосредственно фюреру.

Шмундт сказал: такого еще не случалось, но Гитлер, вероятно, согласится. Воссоздание бронетанковых сил — одна из важнейших задач. Без них не выиграешь войну. Сам Шмундт разделяет мнение Гудериана и поддержит его.

Шеф-адъютант уехал. Гейнц волновался: уж не перегнул ли палку, потребовав так много власти? Но вскоре из ставки раздался звонок: генерал-полковник назначен на доклад к фюреру в 15 часов 15 минут. Ясно, что Гитлер одобрително отнесся ко всем предложениям Гудериана. И теперь, по пути в ставку, Гейнц беспокоился уже о другом: не упустил ли он возможность потребовать для себя еще каких-нибудь преимуществ?!

Рабочая комната фюрера была очень просторна. Мягкий ковер на полу заглушал шаги. Яркий свет лился откуда-то с потолка. Мебели почти нет, только большой стол с бумагами и телефонами да несколько кресел.

Гитлер ответил на приветствие. Какое-то подобие улыбки появилось на его худом нездоровом лице с серой морщинистой кожей.

— В 1941 году наши пути разошлись, — заговорил он. — Между нами имели место недоразумения, о чем я очень сожалею. Вы мне нужны!

— Благодарю вас, мой фюрер! — растроганно произнес Гудериан. — Я готов работать, готов всеми силами служить вам.

— Знаю и верю!

— Я прошу только создать условия для плодотворной деятельности.

— Шмундт докладывал мне ваше мнение. Я согласен. Разработайте инструкцию и представьте для утверждения. Вы будете подчиняться непосредственно мне...

Гудериану бросилось в глаза, что у фюрера нет той уверенности, того апломба, с которым он держался раньше. Вид усталый, говорит медленно и невнятно, с трудом вращая языком. Вот он умолк, будто потерял нужную мысль. Гудериан подумал: на ход войны влияет не только коли-

чество и качество войск, не только экономический потенциал страны, но и ум, воля того человека, который занимает верхнюю ступень лестницы, и даже просто физическое состояние этого человека. Очень велико нервное напряжение, велика нагрузка, не оставляющая достаточно времени на сон и отдых. Организм стареет. Выдержит такую нагрузку тот, кто спокойнее от природы, у кого лучше здоровье: он сохранит способность ясно мыслить, уверенно руководить. При авторитарной системе, когда власть сосредоточена в одних руках, от этого зависит многое...

— Вот ваши довоенные труды о бронетанковых войсках, — показал Гитлер лежавшие на столе книги. — Я еще раз внимательно прочитал их. Вы правильно предвидели ход развития. Теперь воплощайте свои идеи на практике.

— Многое изменилось, — осторожно возразил Гудериан. — Я долго был оторван от войск.

— Да, изменения есть. Зимние неудачи ослабили нас. Но меры приняты. В ближайшее время мы отразим удары противника, восстановим положение. Нам понадобится много танков и много хороших танкистов. Надеюсь, я буду доволен вашей работой.

— Мы сделаем все возможное, мой фюрер!

Из кабинета Гитлера Гудериан вышел уже не опальным генералом, а главнокомандующим всеми бронетанковыми силами империи. Официально этой должности не существовало, имелись только посты инспекторов различных родов войск. Но ни один инспектор не обладал такой властью и такими полномочиями, какие выговорил себе Гудериан. Он знал, что его завистники снова поднимут головы, что у него появятся новые враги. Но теперь он близок к фюреру, теперь трудно будет справиться с ним. А сам он будет расправляться со своими противниками без всякой жалости, как они расправились с ним в декабре 41 года.

Вечером Гудериан снова беседовал в гостинице с шеф-адъютантом. Похоже, Шмундт искренне радовался новому назначению Гудериана и возможности видаться с ним. Это нетрудно было понять. Слишком мало знакомых было у Шмундта. Одни лебезили перед ним, другие боялись его. А ему, хитрому, расчетливому человеку, знавшему и видевшему очень много, хотелось иногда расслабиться, отдохнуть, поговорить доверительно.

Не спеша потягивая вино, он рассказывал Гудериану

такое, о чем нельзя было узнать ни из официальных сообщений, ни из секретных документов. Цикл завершился. Немецкие войска отброшены почти на ту же линию, с которой они девять месяцев назад начали Великое наступление к Волге и на Кавказ. Результаты оказались потрясающими (только Шмундт и только с близким человеком мог позволить себе говорить о поражении в таком полуироническом тоне, скрывая горечь). Пятидесяти немецких и союзнических дивизий больше не существует. Если суммировать остальные потери, то они в общей сложности составят еще двадцать пять дивизий. Потери в людях и в технике огромны. Не лучшим образом обстоит дело и в Африке. Там растрепаны двенадцать немецких и итальянских дивизий. С военной точки зрения это, разумеется, не очень существенно, но нужно учитывать моральный фактор. Дух народа и армии упал. В оккупированных странах усилились партизанские действия.

— Я не знал, что обстановка так усложнилась, — сказал Гудериан.

— Вы должны знать все, чтобы трудиться с полной энергией.

— Да, разумеется. Я надеюсь на весну. Распутица остановит русское наступление.

— Мы остановим их до распутицы, дорогой генерал, — улыбнулся Шмундт. — Завтра Манштейн нанесет контрудар, отрежет вырвавшиеся вперед войска противника и вновь отвоюет Харьков.

— Уже в третий раз. Не думаю, чтобы от этого города осталось что-нибудь, кроме названия.

— Верно, — согласился Шмундт. — Но Харьков — ворота Украины. Фюрер надеется, что после успеха Манштейна фронт стабилизируется до лета. Стабилизируется специально для вас, дорогой генерал, — шеф-адъютант первым засмеялся своей шутке, — чтобы вы успели дать новые танки. Войска ждут «тигров» и «пантер». Эти звери хорошо зарекомендовали себя, нужно скорее наладить их массовый выпуск.

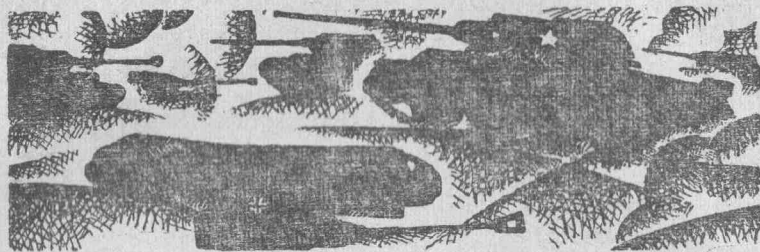
— Да, я в первую очередь займусь вопросами производства, сосредоточу основное внимание на новых машинах, — сказал Гудериан. — Новая техника и подготовка кадров — это для меня сейчас главное. Но мне хотелось бы знать ближайшие перспективы.

— Вас познакомят с ними генералы Иодль и Цейт-

цлер. Но я скажу вам то, о чем пока никому не известно. Готовьте танковые соединения к июню. Центральная часть Восточного фронта — вот где будет решаться судьба летней кампании.

— Не слишком ли коротка передышка? Успеем ли мы накопить силы?

— Этот вопрос тревожит не только вас. Но что делать? — пожал плечами шеф-адъютант. — Будет хуже, если летнее наступление начнут русские. Мы должны взять инициативу в свои руки! — Шмундт произнес это очень решительно, и по его тону Гудериан понял: шеф-адъютант высказал то, что уже предопределено фюрером. Возражать бесполезно.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Каждую субботу, сразу после уроков, Славка отправлялся в Стоялово. Помогал тете Алене по хозяйству, возил сено, ездил за хворостом. Ночевал вместе с ребятами на печи, а в воскресенье к вечеру возвращался обратно с грузом. Нес молоко Николке и Людмиле. Иногда удавалось выменять на вещи картошку, а то и кусок сала.

Рейсы свои совершал он в любую погоду, с нетерпением ждал конца недели: хотелось пройти по чистым белым полям, по дремлющим перелескам. Особенно хорошо стало к весне, когда светлее сделались дни, а небо чаще радовалось прозрачной голубизной.

Уходя из дому, отдыхал он от семейных неурядиц. Антонина Николаевна почти не разговаривала с Ольгой, все не могла простить ей злополучного письма, которое прислал Горбушин. Неприязнь матери передалась и шестилетней Людмиле. Она дерзила Ольге, не хотела слушать ее. Бабка пыталась угодить тем и другим, старалась сделать вид, что все у них хорошо. Один Славка всегда сразу и безоговорочно становился на сторону Ольги и очень боялся: вдруг она заберет Николку и уйдет в свой старый дом, который стоял пустым после смерти ее матери. Очень уж привязался Славка к своей новой родственнице, скучал, если не видел день-другой, втихомолку любовался Ольгой и гордился, что во всем городе нет женщины красивее ее.

Все чаще звенела на солнцепеке мартовская капель, блестели первые лужицы. Зима пряталась в тени, выползала только вместе с темнотой, торопилась поцарствовать

напоследок, хотя бы ночью, вымораживала до дна лужи, твердо сковывала снежный наст.

Дорога, раньше терявшаяся в полях, теперь почернела, стала заметной издалека. Под ногами податливо оседал сырой снег. В перелеске Славка остановился, жадно ловил чуть заметный еще запах набухающих почек.

Спускаясь в овраг, заметил он впереди фигурку одинокого путника. Вскоре путник обернулся и махнул рукой, поджидая.

Славка подошел ближе и увидел знакомую стояловскую женщину с нижнего конца деревни. Встречал ее раза три, но хорошо запомнил эту щекастую солдатку с веселыми плутоватыми глазами. Было ей лет двадцать пять, может и больше, Славке она казалась совсем пожилой. Но сейчас разрушилась от быстрой ходьбы, от весеннего солнца, выглядела молодо. Только губы были бесцветные, в мелких морщинках, будто вымоченные в рассоле.

Славка глянул на нее и смутился. Он вообще в последнее время стеснялся девчонок и молодых женщин, особенно, когда замечал, что его разглядывают. В них было какое-то чудо. Славка даже догадывался какое. Его тянуло в общество женщин, мучило любопытство. Он ждал, когда случится необыкновенное. Ждал и боялся: вдруг опозорится...

Пошли по дороге рядом. Славка молчал. Женщина рассказывала, как искала в Одуеве соль и спички. На прилавках пусто, как корова языком вылизала. Хорошо, что продавщица знакомая. Зайди, говорит, Клавдия, ко мне, когда перерыв будет... Вот домой и сходила.

Женщина смеялась, распахнув дубленую шубейку и сдвинув на затылок цветастый платок, говорила быстро и много. Вроде бы все о пустяках, но Славке казалось, что в голосе ее звучит какая-то тревожная нотка.

Над молодым березняком парами кружились длиннохвостые сороки, то летали спокойно, то начинали кувыряться, почти сталкиваясь друг с другом.

— Токуют птицы-то, женихаются, — коротко засмеялась Клавдия. — Самое время. Теперича снежок не лежок, скоро цветики зацветут.

Так за разговором незаметно прошагали они километра три. Славка немножко пообвыкся, даже шутил, только глазами боялся встречаться с ней.

Солнечный день начал вдруг меркнуть. Быстро напол-

зали серовато-желтые набухшие тучи. Крупными хлопьями повалил снег.

— Ой, намокрит он нас, — с притворным беспокойством сказала Клавдия. — Пойдем-ка в ригу пока, переждем, что ли?

У Славки что-то дрогнуло внутри. Хотел ответить спокойно, а голос выдал, прозвучал напряженно и хрипло:

— Пойдем, спешить некуда.

В риге было полутемно, хрустела мерзлая солома. Клавдия разгребла ворох, сняла шубейку, аккуратно растелила и со смехом бросилась на нее.

— Как на перине, ей-богу, право! Ну, иди, а то законечу одна, чего делать будешь?!

Славка осторожно присел на краешек шубы, стараясь унять дрожь в руках. Голова была какой-то пустой и звонкой, он ничего не соображал. Потянулся к женщине и вдруг испугался: может, она рассердится, скажет: «Мальчишка, сопляк!» Еще и тете Алене пожалуется...

— Ты что же, так и будешь, как чурка, сидеть? — грубовато и нетерпеливо сказала Клавдия. — Грещца давай!

Повернулась резко, выше бедер взметнув юбку. На мгновение увидел Славка глянцево-белые ноги, вскрикнул от неожиданности и, закрыв глаза, упал рядом с ней.

Потом у него прояснилось сознание, услышал ее шепот, почувствовал, как вздрагивает и бьется под ним горячее тело, успел даже подумать, что вот у него и получилось, что ничего страшного в этом нет. И вдруг содрогнулся от болезненного ощущения, как слепой щенок уткнулся в грудь Клавдии, задыхаясь от горьковатого запаха.

Минуту спустя, обессиленный, лежал он спиной к ней. А Клавдия словно ждала чего-то, не шевелясь и не меняя позы. Сказала со вздохом:

— Все, что ли? Эх ты, работничек, один птичий грех с тобой, ей-богу, право. — Помолчала, подумала и спросила потеплевшим голосом: — Первый раз, что ли?

Славка не ответил. Ему было противно и стыдно; прикосновение рук Клавдии вызывало брезгливое ощущение, и в то же время хотелось повернуться, увидеть, понять, как все это было. Но повернуться у него не хватало смелости.

— Ахти мне! — сокрушенно сказала Клавдия, приподнимаясь. — Домой-то когда пойдешь?

— Завтра.

— Вечерком забеги на часок.

— Там видно будет, — неопределенно ответил Славка.

— Ты уж зайди. Изба моя предпоследняя.

Не сверни они в ригу, так и добрались бы вместе до самого Стоялова. Но теперь вдвоем идти было неудобно, Славка пошел один. Хорошо еще, что валил снег и в деревне никто не встретился.

Стараясь побороть смущение, перешагнул он порог и поздоровался с тетей Аленой. Ребятишки кинулись к нему навстречу. Тетя сразу принялась собирать на стол, спрашивая о новостях. Все было как обычно, никто не заметил, какое потрясение пережил Славка, какая произошла в нем перемена.

За обедом он совсем успокоился и даже развеселился. Разговаривал с ребятишками, а сам думал, что ничего особенного не случилось. Ведь это бывает у всех людей. И у тети Алены было, и у Ольги, и у всех остальных. Значит, это нормально.

После еды Славка поспал часок на сундуке, вскочил бодрый. Пошел к рукомойнику, начал снимать верхнюю рубашку и уловил слабый горьковатый запах. Так ярко представилась ему Клавдия, что у него снова тревожно и приятно заныло сердце. Не было ни брезгливости, ни стыда, а одно только желание побыть с ней, испытать еще что-то, не испытанное до конца.

Он повозился в сарае, наколот дров, а потом сказал тете Алене, что должен сегодня же вернуться в Одуев.

— Куда ты на ночь глядя? И снег, и темно уже, — возразила она.

— Нужно мне. Дела есть.

Нарочно потянул еще время, чтобы не увязались провожать ребятишки. Попрощался, когда Алена погнала их спать.

На счастье и ночь была темная, и снег продолжал валить густо — иначе Славка не решился бы зайти в избу Клавдии. Убедившись, что никто не видит его, он шмыгнул за плетень. Дверь была не заперта, он вошел в темные сени, и женщина, услышав, открыла ему другую дверь — в горницу, тускло освещенную керосиновой лампой.

Клавдия принарядилась, как на праздник: широкая черная юбка, бусы на кофте, волосы расчесаны на пробор. Обула даже туфли на каблуках. Обняла Славку, прижалась, будто прилипла. А ему было очень неловко, потому

что с полатей в две пары глаз смотрели на него любопытные ребячьи рожицы, а в дальнем углу сидела возле прялки старуха, вся в белом.

Клавдия повернулась, прикрикнула на ребятшек, велела им спать. Сказала старухе: «Маманя, вам тоже пора». Усадила гостя к столу и полезла в шкаф за посудой.

Озираясь по сторонам, Славка подумал, что до войны в этом доме жили неплохо. Пол деревянный, крашеный; гардероб с зеркалом, кровать высокая никелированная, с пишечками. Над кроватью веером были прикреплены фотографии, Славка узнал Клавдию и совсем молодую, с косой, и постарше. На большой фотографии в рамке она была снята рядом с мужчиной, голова к голове. Оба улыбались, у мужчины щетинились черные усы. Славке показалось, что мужчина смотрит на него вопросительно, а с лица исчезает улыбка...

— Хозяин мой, — сказала Клавдия, ставя на стол миску с капустой. — Осиротил он меня с двумя мальцами. Еще в первое лето похоронная на него пришла. — Вздохнула и почти без всякого перехода засмеялась: — Ты вино-то пьешь али нет еще?

— Мне уж в армию осенью призываться, — обидчиво ответил Славка. — Воевать скоро буду, а ты спрашиваешь.

— Девки-то чего без вас делать будут? Мы-то хоть успели от сладкого пирога кус отхватить. А которые помоложе, так и закостенеют без вашего брата.

— Возвратятся люди.

— Ну да! Вернется один на всю улицу. Посмотреть не дадут, а потрогать-то и подавно.

Самогон пламенем опалил Славкино горло. Он хотел сдержать кашель, но поперхнулся: его сразу бросило в жар. Вторая стопка прошла легче, после нее приятно закружилась голова, улыбающееся лицо Клавдии затянулось туманом и стало очень красивым, особенно глаза, блестящие и загадочные. Славке хотелось объяснить ей, какая она привлекательная и как она теперь дорога ему, хотелось сказать, что никогда не забудет эту ригу с хрустящей соломой и нежный шепот... Но язык слушался плохо, а уши вроде бы заложено ватой, он почти не слышал даже своих слов.

Клавдия вздохнула, налила себе полстакана и вышла одна. Потом убрала бутылку и принялась направлять по-

стель. Славка попытался обнять ее, но она легонько хлопнула по руке, хохотнула.

— Беда мне с тобой, ей-богу, право! Сам разденешься, али помочь?

— Лампу погаси.

— Да ты не тушуйся, не гляжу, — сказала она, но все-таки привернула фитиль, а потом вышла в сени. Славка залез под стеганое одеяло, жесткое и тяжелое, как панцирь.

Клавдия не возвращалась долго. Славка лежал вытянувшись, тихонько, и почему-то вспомнил о доме. Только бы не узнала мать. Истерику ведь закатит. Она даже Ольге как-то Виктора в пример привела. Вот, мол, третий год ухаживает за девушкой, любит, пишет, бережет ее... Идеалисты чертovsky, сами себе преграды выдумывают и жизнь портят. Вот убьют на войне, так и погибнет, ничего не узнав. А ведь это все просто. Вот и Клавдии хорошо, и ему тоже...

Когда женщина вернулась в горницу, Славка уже дремал, ровно сопя носом. Клавдия задула лампу, аккуратно сложила на стуле одежду. Улыбаясь, огладила в темноте груди и скользнула под одеяло.

2

Вагон был обычный, пассажирский, только с сетками возле полок, чтобы не падали раненные. С мирного времени сохранились даже номерки — указатели мест. По этим номерам медики называли между собой своих подопечных.

— Двенадцатый опять фордыбачит, — предупредила сменившаяся сестра. — В утку не хотел сходить, требовал, чтобы в туалет отнесли.

— Поменьше баловали бы его, — сказала Настя, завывая тесемки халата.

— Да я и не балую. Такой уж он, видно, от природы капризный.

На двенадцатой койке лежал лейтенант Панов, молодой, востроносый, с неприятно-пронзительным взглядом круглых небольших глаз. Раненные называли его «истребителем», про него говорили, что сбил пять немецких самолетов. Лейтенант явно важничал и показывал характер.

Иной раз даже покрикивал на лежавшего внизу капитана: «Эй, царица полей, опять контишь втихаря? А ну, брось папиросу, дышать нечем!»

Соседи летчика, скромные пожилые пехотинцы, прощали Панову всякие выходы из уважения к его геройской профессии. К тому же молодой, горячий — что с него взять!

После завтрака начались перевязки. Настя попросила летчика согнуть ногу, чтобы легче распеленать ее. Работать было неудобно, вагон покачивало на стыках. Стараясь избежать рывков, Настя сматывала широкий бинт. С каждым витком он отделялся все хуже, все шире расплывалось на нем розовато-желтое пятно.

— Больно! — крикнул летчик. — Разрежь!

— Разве это больно? Потерпите немножко, — попросила девушка. Она видела, что до раны еще далеко, еще можно мотать и мотать.

Глаза Панова сделались совсем круглыми, смотрели с испугом и ненавистью.

— Не дери, сука! Режь!

— А вы спокойней, без выражений. Бинтов не хватает. Мы стерилизуем их в автоклаве, — отвлекала его внимание Настя. — Если начнем резать, завтра останемся без перевязочного материала.

— Уйди, тварь! — злобно прохрипел летчик.

Девушка промолчала, занятая делом. Приближалось самое трудное, а ругань она слышала и похлеще.

Панов потихоньку подтянул здоровую ногу и вдруг, прицелившись, ударил Настю прямо в лицо. Она ахнула и упала вниз, на пехотного капитана. Из носа потекла кровь.

Вскочив, она увидела наглые глаза летчика и со всего размаха шлепнула его по щеке. Панов откинулся назад, выхватил из-под подушки маленький пистолет. С криком шарахнулись санитары. Прямо перед собой увидела Настя черную дырочку. И в эту секунду раненый капитан оттолкнул ее, точным, умелым движением выбил пистолет из руки летчика. Сказал негромко: «Подлец!» А потом, сдерживая стон, опустился на свою койку.

На халат Насти падали слезы и капли крови. Она пыталась и не могла унять дрожь в руках. Пошла в вагон команды и попросила, чтобы ее заменили.

Больше всего Настя боялась, что начальник поезда и

комиссар будут ругать ее. В подобных случаях всю вину возлагали обычно на медицинский персонал. «Не раненые для нас, а мы для них», — часто повторял комиссар. Но в этот раз либо никто не доложил начальникам, либо те просто решили замаять конфликт: медицинская сестра тут не при чем, а на раненого взыскание не наложись.

Пехотный капитан потребовал, чтобы его перенесли в другое купе. «Не могу лежать рядом со сволочью!» — вызывающе сказал он, но Панов промолчал, будто не слышал. Лежал у себя наверху бледный и удивленный.

Капитана отправили в просторный, без перегородок, кригеровский вагон, в котором везли тяжелораненых. В купе летчика было еще три соседа, но никто теперь не разговаривал с ним и не отвечал на его вопросы. Первое время он еще хорохорился, бормотал что-то, пробовал напевать. Но слишком явным было презрение тех, кто еще недавно смеялся его шуткам. Он оказался одиноким в полном вагоне и затих, будто пришибленный. У него теперь было время подумать, приглядеться, увидеть не только себя, но и тех, кто рядом. За оставшиеся два дня пути он понял, что его рана не такая уж серьезная и болезненная по сравнению с теми, которые были у его соседей, заметил, как устают врачи и сестры, ухаживая за больными, узнал из разговоров, что капитан, выбивший у него пистолет, известный на всю армию разведчик, много раз «гулявший» по немецким тылам. И все эти люди не жаловались, не рассказывали о себе. А им, наверно, было чем похвалиться не меньше летчика. Он понял, что всю его прошлую болтовню и капризы принимали терпеливо потому, что не хотели обидеть его. Эти люди простили бы ему все: и хвастовство, и мальчишеское высокомерие, и стоны, и ругань при перевязках. Но никакие заслуги, никакая боль не искупят вины, если ты сознательно издеваешься над тем, кто слабее тебя...

Когда разгружались в Свердловске, за Настей прибежал санитар:

— Коноплева, иди в пятый вагон. Летчик этот снова дурит, чтоб ему пусто было!

— Там Катя теперь, ей скажи.

— Да он тебя видеть желает. Не идет без тебя, извиниться хочет.

— Скажи, что извиняю.

— Нет уж, сама скажи.

Возле пятого вагона стояла целая толпа. И санитары, и сестры, и главный врач уговаривали Панова не мешать, освободить проход. А он, вцепившись в перила, наполовину сполз с носилок и повторял одно: «Не уйду!» Санитары боялись трогать его, чтоб не упал.

— Сестренка! — крикнул Панов, увидев Коноплеву. — Сестренка, прости!

Настя молчала, стараясь подавить неприязнь.

— Извини, сестренка! — кричал он, пытаясь освободившейся рукой схватить ее руку. — Жизни себе не дам, если не извинишь!

«Да он же ненормальный какой-то», — подумала Настя.

— Ладно, чего уж, — неохотно сказала она. — Всякое ведь бывает.

— Не сердись? Нет?

— Не сержусь.

Санитары уложили его и быстро понесли к ожидавшей машине. Панов приподнимался, вытягивал шею, не сводя глаз с Коноплевой, и беззвучно открывал рот, будто хотел крикнуть еще что-то.

* * *

В апреле поезд совершил два полупустых рейса. А в начале мая ушли со станции погрузки почти порожняком. На фронте царило затишье. Немногочисленные раненые оставались в полевых госпиталях. В тыл увозили только тех, которые требовали длительного лечения. Но увозили недалеко, в ближайшие стационары, где освобождались места.

На трое суток поезд остановился в Москве для профилактики и мелкого ремонта. Начальник АХЧ получал новое оборудование, хирургические инструменты, белье. Настя отправилась в город.

По сравнению с прошлым годом столица сильно изменилась. Во многих местах убрали баррикады, сняли обшивку с витрин магазинов. На улицах былолюдно, как до войны. То и дело приходилось козырять офицерам: теперь, с погонами, они были заметны издали.

Во дворе дома играли дети. Лестница очищена от мусора. Окно на лестничной клетке вымыто: вероятно, перед майским праздником.

Евгению Константиновну трудно было узнать, так она

похудела и постарела. Ходячий скелет, да и только! Кожа на лице соохлась, пальцы стали длинными и крючковатыми, суставы распухли от простуды. Волосы совсем жидкие, но она по-прежнему укладывала их буклями. Только эти букли да надменное выражение глаз остались в ней от прежней горделивой актрисы.

Шаркая подошвами старых больших валенок, она медленно ходила из комнаты в комнату, жаловалась на то, как трудно с дровами, как долго приходится стоять в очереди, чтобы отоварить карточки, и какая грубая, нетактичная пошла теперь молодежь. Настя посоветовала закрыть три комнаты и отапливать только одну: сразу большая экономия.

— Нет, дорогая моя, — возразила Евгения Константиновна. — Стены промерзнут, мебель покроется плесенью. Нет. Я хочу, чтобы внуки вернулись в теплый уютный дом. — Постояла возле буфета, подумала и добавила спокойно: — Ослабла я. Вот дождусь своих и умру. Раньше нельзя. Квартиру займут. Да и не похоронят по-человечески. Вы знаете слово «шельмец»? Этим словом называют нашего дворника — дядю Мишу. А похороны поручают ему.

Настя переделалась в старое платье. То ли пополнела, то ли отвыкла она от гражданской одежды, но платье казалось ей тесным и коротким. Она даже наклонялась с опаской, боясь, что поползут швы. Быстро помыла полы, стерла пыль, сбегала с продовольственными карточками в магазин. Потом сели пить кипяток с конфетами, которые принесла Настя. Заварки у Евгении Константиновны не оказалось.

Последнее время у Насти как-то разладилась переписка с Нелей, и теперь она с любопытством расспрашивала о новостях. Неля, оказывается, хочет вернуться в Москву. Ей не давали пропуск. Она обращалась на завод, где работала раньше, попросила справку из домоуправления. И еще одну справку о том, что Евгения Константиновна живет одна и нуждается в уходе. Теперь, слава богу, появилась надежда.

С таинственной улыбкой старушка достала из сумочки сложенный вчетверо газетный лист: тираж государственного займа. Одна строчка в колонке цифр была подчеркнута карандашом. Настя посмотрела — пять тысяч!

— Никогда не думала, что по этим бумажкам можно

выигрывать,— объяснила Евгения Константиновна.— Все считают, что мне очень повезло.

— Да, теперь вы разбогатели! — засмеялась Настя.

— Я никогда не была богатой, но я всегда жила хорошо,— чопорно поджала губы старуха.— А эту облигацию я сдала в фонд обороны. Отнесла всю пачку. На собранные деньги построили танковую колонну «Московский рабочий». Не знаю, какая там вышла колонна, но название ей дали банальное.

— Евгения Константиновна, милая! Да на ваши облигации построили, наверное, целый танк!

— Я никогда не спрашивала, сколько они стоят.

— Но как живете вы сами? Пенсию вам не платят?

— У меня есть внуки,— горделиво ответила та.— Они вспоминают меня.

«От случая к случаю,— подумала Настя.— Альфред был в блокаде, Неле и самой нелегко!» Только теперь она сообразила, почему не оказалось на месте двух картин, почему в комнате Евгении Константиновны опустел шкаф, где хранились ее старинные французские книги... Значит, есть люди, которые покупают ценные вещи даже в трудное время!

И Настя очень пожалела, что не принесла с собой ничего, кроме конфет и сухарей. Можно ведь было взять на кухню хоть немного пшена.

Пора было уходить. Девушка постояла в комнате, где когда-то жили с Игорем. Солнечный луч косо падал на старый диван. Настя тронула его рукой, и за клубились, заплясали в луче пылинки. Может, какие-то из них принес на себе Игорь, когда ночевал тут последний раз...

Погладив кончиками пальцев шершавую обивку, Настя тихонько вздохнула.

Сколько воспоминаний связано у нее с этой комнатой... Сколько раз слышала она робкий голос: «Настя, ты спишь?» Слышала и молчала, боясь пошевелиться, такой уж была робкой и глупой девчонкой!

Она любит его давно, наверно с седьмого класса, всю жизнь. И за это время только один поцелуй. Еще в Одуеве, когда Игорь сказал, что ее руки пахнут пылью. И несколько торопливых прощальных поцелуев в щеку. Вот и все. Ничего больше не напомним ей эта комната, этот диван и вылинявшая, изъеденная молью ширма в углу. Может быть, ширма и помешала тогда им? Как трудно бы-

вает в юности преодолеть даже такую незначительную преграду!

* * *

Чего никак не ожидала Настя, так это встречи с лейтенантом Пановым. Он разыскал их поезд на товарной станции, где выгружали обычно раненых. Пришел с костылем, в огромных сапожниках, замызганном кителе, с такими длинными рукавами, что не видно было пальцев.

Сердитый, нахохлившийся, он похож был на остроносу, неуклюже ковылявшую птицу. У Насти колыхнулась было неприязнь к нему, но увидела круглые, встревоженные глаза, смущенную улыбку — и даже пожалела его.

Спросила строго:

— Как это вас из госпиталя отпустили?

— Никак! — повеселел он.— У нас палата на первом этаже. Через окно в сад — и тютю!

— А форма?

— Форму у сторожа напрокат берем. За пачку махры. Я ведь не первый раз тут, да поезда долго не было.

— В Москве отстаивались.

— Ну? А ведь я москвич коренной. У Никитских ворот вырос!

Настя сразу поняла, зачем он пришел: не давала ему покоя та неприятность в вагоне. Но ни он, ни она не вспоминали о случившемся. И так все ясно.

Летчик постепенно развеселился, даже румянец выступил на бледных щеках. Ростом он был с Настю, разве чуть-чуть повыше. Худой, угловатый, как подросток. Лицо лейтенанта теперь не казалось девушке непривлекательным, даже острый нос не очень выделялся на нем. Только глаза, хоть они блестели сейчас, опять стали какими-то холодными, пронизывающими, жестковатыми.

— Пойдемте в кино,— вдруг предложил он.— Тут близко.

Девушка заколебалась. Давным-давно не бывала она в кинотеатре. Начальства нет, поезд простоят до утра. Но хорошо ли это — уйти в самовольную отлучку, да еще с Пановым?

Отлучка еще так-сяк. Многие девчонки уходят на три и на четыре часа. А вот летчик... Больно уж она беззлая. Явился, голубчик, а у нее никакой обиды. Привыкла прощать раненым грубости.

— Вы что, боитесь? — покраснел вдруг Панов, посвоему понявший ее колебания. — Что ж я, зверь какой?.. Ну, не надо, не надо, — забормотал он, торопливо пятясь. — Я ведь измучился... Ребята в госпитале рассказали всем...

— Пошли! — решительно сказала Настя, взяв его за рукав кителя. — А билеты достанем?

— Это уж я! За это не беспокойтесь!

Припоровливаясь к его мелким шажкам, девушка думала, что до темноты успеет вернуться и старшина команды не вспомнит о ней, если не случится срочного дела. Очень уж ядовитая была у них начальница: пожилая, злопамятная и вредная. Держала девушек в такой узде, что те первое время не то что постоять с молодым человеком, но и посмотреть на мужчину боялись. Потом привыкли. Были среди девчонок такие, которых хлебом не корми, а дай на часок сбегать к приглянувшемуся больному из тех, кто ранен полегче. Яззу-старшину приловчились усыплять, подсыпая ей в чай порошок. Один раз переборщили второпях, наутро едва подняли с полки... Настя хоть и ругала девчонок, но не выдавала их.

В кинотеатр пришли незадолго до начала сеанса. Лейтенант разыскал администратора, вернулся с билетами на седьмой ряд, в центре зала.

Демонстрировался «Сын Таджикистана». Картина была лирическая. Те места, где показывали парня и девушку, волновали Настю. А военные кадры не понравились. Очень уж красиво и победно. Мчатся всадники, сверкают клинки, в панике бегут немцы. Легко и просто. Об этом Настя и сказала Панову после картины.

— А по-моему, все очень похоже, — не согласился он.

— Вы видели такое на фронте?

— Почти.

— Ну, это если с неба глядеть. Оттуда кровь не расмотришь и стонов не услышишь.

— В небе тоже сколько угодно и крови, и стонов, — насунил летчик, и Настя решила, что не нужно спорить и обижать его.

Панов хотел проводить девушку на станцию, но Настя запротестовала. Если он будет бродить туда-сюда, долго не заживет нога. Довела его до длинного зеленого забора. Лейтенант вертел головой, смотрел по сторонам.

— Боитесь, заметят вас?

— Наоборот, — засмеялся летчик. — Хочу, чтобы ребята увидели. Пусть позавидуют!

— Ну, завидовать особенно нечему, — возразила Настя, торопясь отпустить его. Но он не уходил. Узнал, когда поезд должен снова вернуться, дал девушке московский телефон и попросил ее адрес.

— Не нужно, — сказала она.

— Все равно ведь найду, — пригрозил лейтенант.

— Тем лучше. Если не забудете.

— Не забуду, — очень серьезно произнес Панов, и Настя подумала: это верно. Так уж получилось, что они теперь надолго запомнят друг друга.

3

В Подмоскowie, во всей средней полосе еще держались пасмурные дни, докатывались с севера массы холодного воздуха, а на юге в полную силу хозяйничала весна. Спокойное ласковое море отдыхало после зимних штормов. Солнце, едва поднявшись, быстро нагревало крупную гальку адлерского пляжа, отсыревшую за ночь; курился над пляжем почти не приметный парок, зыбились струйки горячего воздуха, размывая очертания береговой полосы, покачивая, приподнимая густые кроны старых деревьев заречного парка.

С конца мая в Адлере начали купаться даже ребятишки: такой теплой была вода. Загорали на пляже раненые, лечившиеся в бывших домах отдыха, приезжали на машинах летчики, освежиться после ночных полетов. Немало было и гражданских мужчин в полувойенной форме, смуглых, крепких и волосатых. С утра они деловито ходили по учреждениям, сжимая портфели, или торговали на рынке, а во второй половине дня стекались к морю. Случалось, что появлялся патруль, проверял документы. Мужчины показывали какие-то справки и удостоверения, предлагали бойцам выпить вина, угощали орехами, семечками и сушеным инжиром.

Под вечер возвращались с моря рыбацьи шхуны. Разгрузившись возле завода, становились на рейде. К берегу шли двухвесельные «тузики». Там, где они приставали, собирались местные жители, надеясь купить ставриду или тяжелую, будто отлитую из блестящего металла, кефаль.

На башне поста СНИС мигал огонек сигнального фонаря-ратьера, размахивал флажками сигнальщик, переговариваясь с проходившими вдали кораблями. Почти непрерывно гудели в воздухе самолеты. Они прилетали с севера, разворачивались над зелеными кудряшками невысокой горы и, блеснув в лучах солнца, шли на посадку. С аэродрома поднимались новые, проносились над пляжем и уходили вправо, на Новороссийск. В те редкие часы, когда прекращалось гудение моторов, становилось слышно, как шумит быстрая и мутная после дождей река Мзымта.

...Возле деревянного причала ошвартовался большой охотник, длинный и невысокий, выкрашенный серо-голубой краской, под цвет моря. Краснофлотцы со швабрами в руках драили палубу. Несколько человек спустились на берег, смеялись, покуривали, топтались на гальке, радуясь твердой земле.

К причалу подошла высокая черноволосая женщина в старенькой, аккуратно выглаженной гимнастерке со спортивными петлицами, в грубых солдатских ботинках. Несла на руках ребенка, совсем еще маленького, запеленутого в простыню, перевязанную розовой лентой.

Краснофлотец, дежуривший у причала, кивнул женщине, чуть приподнял краешек простыни, так, чтобы солнце не попало в глаза ребенка, увидел соску, розовые чмокающие губки. Покосился по сторонам, нет ли начальства, и сказал негромко: «Иди. Только быстро!»

Он уже не первый раз видел эту женщину. Она жила где-то поблизости. Военные суда швартовались в Адлере редко, а женщина будто ждала их, появлялась сразу же.

Женщина остановилась возле узкого трапа, круто надавшего вниз, на блестящую палубу.

Попросила вахтенного матроса:

— Товарищ, позови командира или помощника.

Из двери рубки выглянул человек в офицерской фуражке. «Ну, что еще там?» Увидел женщину, привычно одернул китель, бегом поднялся по трапу.

— Вы ко мне? Чем могу служить?

— Простите, старшего лейтенанта Горбушина вы не знаете? Матвея Горбушина? — спросила она, как спрашивала уже много раз, всегда волнуясь и немного смущаясь. И еще не получив ответа, поняла — знает! Раньше ей всегда отвечали: «Нет», а этот офицер медлил, смотрел на нее пристально, изучающе.

— Он моряк?

— Да, конечно.

— Может, не старший лейтенант, а капитан-лейтенант?

— Мы не виделись целый год.

— Его мальчик-то?

— Не мальчик, Светлана... Вот назвала, а ему, может, и не понравится.

— Светлана Матвеевна... Ничего звучит, — одобрил офицер и предложил: — Пройдемте ко мне.

Заботливо помог женщине спуститься по трапу, открыл перед ней дверь.

В маленькой каюте было прохладно. Женщина положила ребенка на стол, на морскую карту, испещренную пометками глубин. Офицер дал ей карандаш и лист бумаги.

— Пишите. Если смогу — передам.

— Где он сейчас? Что с ним?

— Не знаю. Я видел его в марте. Черное море теперь тесное, от Новороссийска до Поти. Где-нибудь встретимся.

Офицер не мог сказать ей, что видел Горбушина в главной базе, где оснащались реактивными установками новые катера, и что капитан-лейтенант командовал звеном таких катеров. Это была военная тайна. Не мог он сказать и о том, что эти катера базируются теперь в Геленджике, не так уж и далеко от Адлера.

Осторожно, чтобы не обидеть женщину, он расспрашивал, давно ли знает Горбушина, где живет, кем работает. Она отвечала сдержанно, ни на что не жаловалась, но он понял, что живется ей плохо. Снимает комнату у чужих людей, нигде пока не работает. Вот окрепнет Светлана, тогда устроится сестрой в санаторий. У нее есть подруга, с которой воевали в Крыму и которая теперь служит в Сочи, в госпитале.

Моряк узнал ее адрес и, пока женщина писала письмо, сходил к старшине, ведавшему продуктами. Спросил, есть ли у него в запасе сгущенное молоко, рис и вообще что-нибудь такое, чем может питаться ребенок. Минут через пятнадцать старшина отправился на берег, насвистывая и помахивая туго набитой кисой¹.

В каюте убрали со стола карты, вестовой постелил скатерть и принес тарелки. Обедали вчетвером: женщина, командир, его помощник — молодой лейтенант, и молчали-

¹ Киса — брезентовый мешочек.

вый мичман, годившийся обоим офицерам в отцы. Распеленутая Светлана барахталась на диване и тянулась ручонками к блестящим пуговицам на кителе командира.

Едва кончился обед, с поста СНИС принесли какую-то записку. Командир извинился, сказал: «Пора», и проводил женщину на причал.

Большой охотник отошел задним ходом, развернулся, оставив белесый след на воде, и двинулся в открытое море. Часовой, кивнув, пропустил женщину на берег.

Метрах в пятидесяти от причала, сложив одежду на расстеленные газеты, загорали двое мужчин с черными усиками. Прислоненная к портфелю бутылка была наполовину пуста. Над куском сыра кружились мухи.

Женщина задержалась, укачивая плачущего ребенка. Один из мужчин сказал нарочито громко, чтобы ей было слышно:

— Ты знаешь, какая разница между женщиной и «катушей»?

— Не знаю, объясни, пожалуйста!

— Понимаешь, «катушу» заряжают в тылу, а стреляет на фронте...

Оба расхохотались, нагловато рассматривая ее. Женщина смерила их презрительным взглядом и пошла с пляжа, осторожно ступая разбитыми ботинками по камням. Она не оборачивалась и не видела, как краснофлотец-часовой вразвалочку, не спеша приблизился к мужчинам, как хрустнула под прикладом винтовки недопитая бутылка с вином.

— Катись отсюда, ты! Остряк-самоучка!

— Зачем гонишь? Здесь не запретная зона. Документ надо? Пожалуйста — документ!

— Катись! — повторил краснофлотец. — А то поплывешь у меня со всем барахлом!

Мужчина, ворча, прыгал на одной ноге, одевая штаны. Краснофлотец закинул за спину винтовку и вернулся к причалу.

* * *

В эту рискованную операцию Матвей напросился сам. Он знал, что в районе Керченского пролива немцы поставили многочисленные минные поля; у кромок полей ходили дозором сторожевые суда. На побережье укрыты прожекторные установки и артиллерийские батареи.

Керчь — единственный порт, через который снабжалась немецкая армия, зацепившаяся за Таманский полуостров еще зимой, во время отступления гитлеровцев с Кавказа. Около двадцати вражеских дивизий, полмиллиона солдат и офицеров удерживали плацдарм на Кубани, в глубоком тылу советских войск. Боеприпасы, снаряжение, продовольствие, пополнение — все поступало для этой огромной армии через Керчь. Другого пути не было. И очень уж заманчивым казалось прорваться в порт, обрушить залпы реактивных установок на причалы и склады, забитые снарядами, на головы немцев, ожидавших своей очереди переправляться через пролив.

Адмирал предупредил: надежда на успех невелика. Советские катера пытались пробиться в Керчь несколько раз — и безуспешно. Возвращались после этих попыток немногие. И все-таки Горбушин настоял на своем.

Месяц назад два катера, которыми командовал Матвей, уничтожили немецкую батарею севернее Новороссийска. Однако это не принесло удовлетворения. У них мощное оружие, хотелось ударить реактивными снарядами по важной цели. Такой довод Горбушин использовал в разговоре с начальными. Но было и другое. Еще зимой, получив резкое письмо от Ольги, узнав, что она замужем, Матвей как-то сник и затосковал. У всех людей есть близкие, есть любовь, привязанность. А у него — пусто.

Странно у него получалось, не мог он сразу оценить, какая встреча случайна, а какой человек надолго останется в нем. Лишь спустя время понял Матвей, как привязался он к Максимилиану Авдеевичу Квасникову. Не было у него раньше такого доброго умного друга. Не было и нет: даже могила Квасникова осталась по ту сторону фронта, за «голубой линией», как называли ее немцы. Часто вспоминал он Руфину; с ней ему было бы легко и просто. К ней, наверно, можно прийти, рассказать обо всем, что камнем давило сердце: о гибели моряков на безымянной кавказской горе, о своем одиночестве, о той удушающей злобе, которая сжимает горло при одном лишь воспоминании о фашистах.

Мужчине тоже хочется иногда расслабиться, отдохнуть, услышать теплое слово.

Матвея тянула, звала к себе Керчь: по ночам снился ему ступенчатый склон Митридата, горящий в ночи город. Он бредил, спорил с Максимилианом Авдеевичем, звал Ру-

фину. Может, эти люди и этот город так ярко вошли в его жизнь потому, что там он впервые познал войну, познал силу мужества и обыкновенность смерти. Он помог спастись Квасникову и Руфине, а они, сами не зная того, помогли ему приобрести уверенность, стать выше в собственных глазах. В зыбких буднях войны, с быстрой сменой людей и событий, эти двое были какой-то зацепкой, каким-то прочным островком в его памяти, и он часто возвращался мысленно к ним, советовался и отдыхал с ними. Вот они-то, наверно, сумели бы понять его желание прорваться в пролив, увидеть очертания знакомого берега.

Помогло ему именно то обстоятельство, что немцы выделяли в дозор большое количество судов и что нашим катерам давно уже не удавалось прорваться через линию дозора. Немцы слишком верили в надежность своей охраны, притупилась их бдительность. Помог и мелкий, похожий на туман, дождь, надвинувшийся с севера вместе с ночной темнотой.

Несколько раз Горбушин видел силуэты немецких судов. Прибавь он ход, немцы наверняка обеспокоились бы. Но Матвей нарочно снижал скорость, полз как черепаха, и фашисты, очевидно, принимали его катер за свой.

К берегу приближался осторожно. Справа была мель, слева — минная банка. Немцы не могли даже и предположить, что какой-то корабль сам залезет в такую западню, тем более ночью. Второй катер остался мористее, прикрывая Горбушина с тыла.

Матвей видел впереди смутные расплывчатые круги автомобильных фар. В туманную ночь немцы, не ожидая налета авиации, ездили без всякой опаски. По данным разведки в этом месте находились казармы, что-то вроде перевалочного пункта для солдат, прибывающих на пополнение.

Оранжевыми стрелами взвились ракеты, огненные хвосты их быстро истаявали вдали. Секунда, другая, и на берегу плеснуло пламя, яркое даже в тумане. Комендоры быстро перезарядили реактивные установки. Оба катера одновременно ударили по казармам еще раз.

Матвей повел судно назад; осторожно, малым ходом, стараясь не влезть на мель. Дело было сделано. Сотню, а может, и несколько сотен немцев сбросили они с чаши весов. Но Матвей сдерживал радость; он напрягся внутренне, всем телом, всем существом своим чувствуя опасность.

Множество прожекторов обшаривали небо и воду. Немцы нервничали, не понимая, что происходит, белесые лучи перекрещивались, двигались рывками, то стреляя вдали, то укорачиваясь, прижимаясь к урезу воды.

Немецкие сторожевики обнаружили их у выхода из пролива. Сворачивать было некуда. Горбушин дал полный ход. Вздыхая вихри пены и брызг, понеслись катера сквозь пеструю, сверкающую завесу цветных трасс. На ходу дали еще один залп, выпустили по сторожевикам последние снаряды и попали: за кормой вспыхнуло высокое желтое пламя.

Горбушин уже вырвался из зоны обстрела, когда заметил, что второй катер отстал. Радист крикнул: там поврежден мотор, падают обороты! Матвей повернул обратно, навстречу немцам, чтобы отвлечь на себя их огонь, прикрыть отход товарищей.

У него было одно преимущество перед противником — скорость. Катер несся стремительно, делая столь резкие повороты, что сам Матвей едва удерживался на месте. Такое маневрирование мешало пулеметчику вести прицельный огонь, но и немцы никак не могли пристреляться, хотя били сразу с трех кораблей.

Сильный толчок отбросил его от штурвала. Он попытался подняться, но тело сделалось тяжелым и непослушным. Наплывала лишняя, глухая темнота. Борясь с ней, Горбушин ворочался на палубе, чувствуя, как падает скорость, как вздрагивает катер от близких разрывов. Вот он остановился совсем, раздался оглушительный треск, в глаза больно плеснул огонь.

Потом наступила тишина. Корма катера быстро опускалась вниз, нос поднимался. Матвей услышал жадное хлюпанье воды, врывающейся сквозь пробоины. Кто-то дергал его за ноги, пытаясь вытащить из тесной рубки. Но Матвей подумал, что уже поздно: холодные язычки лизнули его лицо, непослушные губы ощутили знакомую горечь морской воды.

4

Головка автомата медленно ползла вдоль броневой плиты. Сварочная дуга трещала под флюсом, плавя металл. Неля отключила аппарат и полюбовалась швом. Гладкий и серебристый, он прочно спаивал края двух плит.

Не было на нем ни трещин, ни раковин. Такие швы несравненно надежней, чем сваренные вручную. Они даже крепче, чем сама броня.

Неля видела, как испытывали на полигоне танк. Пушки стреляли с близкого расстояния и фугасными и бронебойными. Те танки, которые выпускались год назад, просто развалились бы от множества попаданий. А теперь некоторые снаряды пробивали борта, но ни один шов не разрушился.

Еще осенью всю сварку вели вручную. Неля подготовила тогда две бригады. Работали, не считаясь со временем, слепли от вспышек, уходили из цеха едва живые. Сил оставалось только добраться до общежития и упасть на кровать. Сейчас вместо целой бригады «ручников» работает один сварочный автомат, причем работает скорей и надежней. Сдавать готовые танковые корпуса стали в несколько раз быстрее. Парторг завода говорил, что автоматической сварки нет еще нигде за границей, только у нас.

Доведись встретиться с изобретателем АСС¹, Неля сказала бы ему спасибо и от рабочих, и от танкистов, и от себя лично. Не будь нового аппарата, ее ни за что не отпустили бы с завода в Москву. А тут получила вызов со старого места работы, и пожалуйста. На заводе и без нее достаточно квалифицированных сварщиков. Сама учила их, сама готовила, теперь даже обидным показалось, что ее не особенно уговаривали остаться. Главный инженер только вздохнул: ничего не поделаешь, есть инструкция, в Москве тоже люди нужны... Сам, наверно, позавидовал Нельке.

Уезжала она прямо из цеха, проработав напоследок со своими девочками до обеда. Сняла сподовку, натянула ватник. Девушки всплакнули на прощанье, гурьбой проводили до проходной. Там Неля сдала пропуск и забрала свои вещи: старый чемодан да узел, в котором были зимнее пальто и валенки.

Достать билет в пассажирский поезд не было никакой возможности. Знакомый военпред устроил ее в эшелон с танками, уходивший с товарного двора. И это было очень здорово, потому что Нелька сразу почувствовала себя как дома. Военпред, наверно, наговорил о ней семь верст до небес, сопровождающие эшелон танкисты относились к девушке прямо-таки почтительно, уступили ей лучшее место

в теплушке и дали тюфяк с одеялом. Но Неля решила, что в теплушке будет только ночевать, а днем интересней сидеть в танке и смотреть вокруг.

Она выбрала себе машину, корпус которой варила сама, вместе с белобрысым, смешливым Петькой Кукушкиным. Маленький и подвижный, он пришел в цех после восьми классов, ему едва стукнуло пятнадцать лет. Работал наравне со взрослыми, а в кино на вечерние сеансы его не пускали. Он очень обижался. Действительно, вырвется человек раз в неделю в клуб, да и то от ворот поворот. Неля даже поставила этот вопрос в завкоме, откуда дали указание директору клуба, и Петька потом ходил на все новые фильмы.

Она провела рукой по ровному шву на холодной броне и подумала: насколько теперь все проще! А как мучались сварщики в первые месяцы работы, обрубая натеки и «бородавки»! Какое счастье, что ей тогда пришла в голову мысль о карбиде...

Неле приятны были эти воспоминания, приятно было слушать перестук колес, прислонившись плечом к надежной громаде танка. Забылись и изнуряющая усталость двенадцатичасовых смен, и холод общежития, и тоска по родному городу, по своим близким...

Эшелон долго стоял на станциях, ожидал своей очереди, зато на перегонах мчался быстро, наверстывая время. Июньские дни радовали просторными горизонтами, солнцем, зеленью и многоцветьем полей.

Оказавшись на одной из главных железнодорожных магистралей, Неля была поражена: какая же сила катилась на запад! Все пути на станциях были забиты поездами. На открытых платформах высились танки и разобранные самолеты. Но особенно много артиллерийских орудий, прикрытых сверху брезентом. Не десятки и не сотни, а наверное, тысячи пушек везли к фронту. Были среди них совсем маленькие, как игрушечные, были средние, с набалдашниками пламегасителей на длинных стволах, были огромные, напоминавшие слонов с толстыми хоботами. В открытых дверях теплушек толпились молодые солдаты в новом обмундировании. Возле запломбированных вагонов с боеприпасами степенно прохаживались часовые. Зеленые пассажирские составы встречались редко, казались странными и неуместными в этом военном потоке.

Неля с гордостью восседала на броне «своего» танка.

¹ Аппарат скоростной сварки.

Пусть для незнакомых людей она — обыкновенная девчонка в замасленном ватнике. Но ведь этот танк, и следующие, и еще три танка в конце эшелона сделаны с ее помощью. Порой это казалось удивительным даже самой Неле. Она внимательно разглядывала свои руки, покрытые ссадинами, трогала пальцами твердые бугорки мозолей. Маленькие руки — и огромный танк! Вот бы всем рабочим побывать на этой дороге, посмотреть, в какой мощный поток сливается сделанное ими. А то ведь каждый трудится в своем цеху над одной или несколькими деталями, каждый видит только свою каплю, не видит, порой, даже готовой продукции и не представляет, в какое море сливаются капли и ручейки. А поглядеть своими глазами — лучше любой агитации, любых бесед... Может, хоть после войны кто-нибудь догадается устроить для рабочих такой смотр!

В Рязани эшелон всю ночь простоял на запасном пути, всю ночь к начальнику эшелона приходили и уходили какие-то офицеры. Из разговоров девушка поняла, что составу изменили маршрут. Наутро начальник эшелона объяснил Неле, смущенно улыбаясь, будто в перемене повинен был он сам.

— Надеялись в Москву вас доставить, но не получается. Вы уж простите. На юг едем. — Понизил голос и добавил доверительно: — Все туда поворачивают. Опять, видно, там узелок завязывается!

Неля не особенно огорчилась. До Москвы недалеко, как-нибудь доберется на местном поезде. Жаль только было расставаться со своими танками. Она даже взгрустнула, лаская напоследок взглядом шершавые плиты корпуса, обтекаемую литую башню с длинным орудийным стволом. Залезла в люк, прислонилась щекой к холодному гладкому шву и сказала танку, словно живому: «Ну, ни пуха тебе, ни пера!»

5

Третье военное лето началось спокойно.

В зимних сражениях обе воюющие стороны, особенно немцы, понесли крупные потери, однако стратегические резервы были еще далеко не исчерпаны. Вооруженные силы обеих сторон продолжали расти. К лету войска Советского Союза и Германии усилились, как никогда раньше.

В начале 1943 года фашисты произвели тотальную мо-

билизацию, призвав сразу два миллиона мужчин. Численность армии увеличилась до одиннадцати миллионов человек. За короткий отрезок времени вдвое возросла продукция танковой и авиационной промышленности. Но немецкие генералы знали, что советские войска не только сравнялись с противником по количеству и качеству техники, но и обгоняют быстрыми темпами. Одна за другой появлялись на фронте новые танковые и авиационные армии, артиллерийские дивизии, соединения гвардейских минометов. Эвакуированная в тыл промышленность работала теперь на полную мощность.

Офицеры и солдаты воюющих армий получили большой опыт как в обороне, так и в наступлении. Боевые возможности войск считались примерно равными. Войска могли выполнить любой приказ своих полководцев. Исход предстоящих сражений во многом зависел теперь от талантности, от предвидения руководителей, от правильного стратегического замысла.

Пока отдыхали пушки, в незримой схватке скрестились умы. Экзамен на зрелость сдавал высший генералитет.

Два года боев не принесли немцам решающего успеха. Война затянулась, и каждый месяц затяжки уменьшал шансы гитлеровцев на победу. За неделю немцы могли создать и вооружить одну дивизию, а русские за это же время успевали оснастить и выставить две или три. И чем дальше, тем стремительнее возрастала эта пропорция.

У фашистов оставалась последняя возможность спасти положение: пока русские не имеют абсолютного подавляющего превосходства, пока не открыт второй фронт, снова сосредоточить на востоке все силы и наступать, предупредив удар противника.

Если летом 1941 года немцы могли позволить себе роскошь вести наступательные операции на всем фронте, если в 1942 году у них имелось достаточно сил, чтобы двигаться вперед на южном крыле фронта и ставить перед собой далеко идущие цели, то теперь они не мечтали об этом. Теперь внимание гитлеровских генералов было приковано к одному участку.

Линия фронта вытянулась почти по прямой от Ростова до Ленинграда. И лишь возле Курска образовался выступ протяженностью около 200 и глубиной до 120 километров, вдававшийся в расположение немецких войск. Было очень

заманчиво срезать этот выступ вместе с находившимися в нем советскими армиями, ослабить противника, создать условия для дальнейшего наступления, как это было в прошлом году под Изюм-Барвенково.

Гитлер любил повторять то, что ему удавалось. Он, а за ним и его генералы, отбрасывая приемы и методы, не приносящие решительных побед, канонизировали удачи, даже случайные; руководство теряло гибкость, глубже укоренялись стратегические и тактические шаблоны. Гитлер не хотел учиться. Он считал себя почти богом, а боги не учатся. Он не мог поверить, что противники, гораздо позже Германии вступившие в школу современной войны, овладевают знаниями, опытом быстрее, и уже поднялись на ступень выше.

Советское командование, готовясь к летней кампании, учло все сильные и слабые стороны противника, учло свои прошлые ошибки. Гитлеровцы «срезали выступы» и в 41 и в 42 годах, делали это почти всегда успешно. Наверняка они попытаются теперь срезать и Курский выступ.

Ставка решила: наступать не будем! Пусть наступают немцы. Войска Центрального и Воронежского фронтов получили приказ зарыться в землю, создать непробиваемую оборону, измотать и обескровить противника. В районе Курской дуги направлялись резервы, сюда шла новая техника. А войска соседних фронтов, Брянского и Западного, готовили тем временем наступление на Орел, во фланг и тыл ударной группировки противника.

Ошибиться, не распознать планы гитлеровцев, было бы сейчас очень страшно. Это означало бы новый отход, новые потери, новые муки народных. А ошибиться было нетрудно, так как даже сами фашисты еще не знали достоверно, когда и где именно будут они наступать!

4 мая Гитлер собрал в Мюнхене совещание высшего военного командования, чтобы обсудить план операции «Цитадель». Фельдмаршалы и генералы только обдумывали, как лучше нанести удар. А советские войска в Курском выступе уже заканчивали к этому времени основные оборонительные работы.

Генерал-инспектор бронетанковых войск Гейнц Гудериан приехал на совещание без определенной точки зрения. Его беспокоило лишь одно: по плану операции важная роль отводилась новым танкам «тигр» и «пантера».

А танков этих было еще немного, в их конструкции обнаружались недостатки, для устранения которых требовалось время.

Еще до начала обсуждения у Гудериана испортилось настроение. В зал, мимо него, прошел фельдмаршал фон Клюге. Надменный, с брезгливо оттопыренной губой, он высокомерно ответил на приветствие Гудериана. И сразу всколыхнулась старая обида. Вот он, враг номер один, над которым Гейнц торжествовал когда-то победу и который одним ударом выбил его из седла на целых полтора года. Этот педант командует группой армий «Центр», пользуется доверием фюрера, на его мундире не хватает места для наград. А Гудериан из-за его козней едва не лишился всех благ, едва не умер от болезни сердца... Ни к кому у него не было такой ненависти, как к фон Клюге.

Нет, борьба между ними еще не закончена. Но теперь надо быть особенно осторожным, надо ждать, когда наступит подходящий момент для расплаты.

Гудериан не столько слушал доводы «за» и «против» наступления на Курской дуге, сколько следил, как воспринимает их фюрер. Любимец Гитлера генерал-полковник Модель решительно заявил: операцию следует отменить. Русские уже создали глубоко эшелонированную оборону, усилили свою артиллерию, отвели в резерв механизированные войска. Лучше беречь силы и ждать.

Слова Моделя действовали на фюрера, было видно, что он колеблется.

Речь Манштейна прозвучала невразумительно. Он был хороший стратег, но плохой оратор. В общем, он за наступление, если ему дадут еще две дивизии. Зато фон Клюге говорил твердо и коротко. Он настаивал, чтобы операцию «Цитадель» начали как можно скорее. Гитлер слушал фельдмаршала внимательно, однако без одобрения. И Гудериан понял, что сейчас самое подходящее время сделать выпад в сторону противника, поколебать его авторитет в глазах Гитлера.

Гудериан сказал, что с большим трудом ему удалось укрепить бронетанковые силы. Но если их бросить на прорыв заранее подготовленной обороны, потери будут огромны. А пополнить войска танками в ближайшее время вряд ли удастся, потому что надо заботиться не только о Восточном фронте, но и об обороне на Западе. Некоторые военна-

чальники живут только сегодняшним днем, заботятся только о своем участке, не считаясь с масштабами и перспективой...

Говорил, а сам думал: если наступление провалится, его акции не упадут: ведь он предупреждал... А если «Цитадель» закончится победой, никто не упрекнет его за осторожность.

Он видел, как хмурится фельдмаршал, и это доставляло ему удовольствие.

К окончательному решению в этот раз так и не пришли. Гитлер заявил, что еще подумает. Он был на редкость спокоен, приветлив. Сопровождение окончилось, но генералы не спешили покинуть зал. Беседовали старые знакомые, обсуждали деловые вопросы.

Фюрер спросил Гудериана, нельзя ли увеличить в мае выпуск «пантер»? Тот ответил, что можно. В таких случаях всегда надо отвечать положительно, этим создается вес и впечатление незаменимости. Заводы как-нибудь вернуться за счет других машин, за счет плана следующего месяца. Но это детали. Главное, фюрер будет доволен, что получит в мае 320 «пантер». И он, действительно, так обрадовался, что даже подставил локоть Гудериану, позволил взять себя под руку.

В минуты хорошего настроения Гитлер любил, чтобы с ним разговаривали неофициально, делились сомнениями. В этом, наверное, тоже был определенный смысл. Он хотел знать мысли своих помощников. Гудериан, чутко улавливавший оттенки душевного состояния фюрера, не замедлил поинтересоваться:

— Почему вы желаете начать наступление на востоке именно теперь? Почему нам не подождать?

— Хотя бы из политических соображений, — ответил Гитлер. — Мы должны укрепить свое положение в мире.

— Но разве люди знают о городе Курске? Миру безразлично, находится ли Курск в наших руках или нет. Гораздо важнее, что мы находимся в России и не намерены отходить. Это люди понимают.

— Да, вы правы, — с оттенком горечи произнес фюрер. — И все же нам надо наступать, хотя при мысли об этом у меня сразу начинает болеть живот.

— Он очень верно реагирует на обстановку, — в тон Гитлеру ответил Гудериан. — Следовало бы отказаться от рискованной затеи.

— Я подумаю. Еще есть время.

Этот разговор показал Гудериану, что фюрер полностью вернул ему свое доверие, относится к нему с таким же расположением, как и в прошлые годы. Он вышел из зала, ощущая прилив сил и уверенности. Ему сказали, что в соседней комнате его ожидает фельдмаршал фон Клюге. Было ясно, что фон Клюге хочет выяснить взаимоотношения. Он встретил Гудериана спокойно и сдержанно. А Гейнц был сейчас слишком возбужден.

Фельдмаршал поинтересовался, в чем причина ненормальных отношений, сложившихся между ними. Гудериан ответил, что в декабре 1941 года с ним поступили подло... Такое слово вырвалось у него сгорая, он пожалел об этом, но было уже поздно. Сухая кожа на лице фельдмаршала покрылась малиновыми пятнами. Он встал и вышел, не попрощавшись.

Ну что же, если раньше они скрывали взаимную враждебность под маской вежливости, то теперь эта маска больше не требовалась.

Через неделю, в Берлине, к Гудериану приехал шеф-адъютант фюрера. Усмехаясь, Шмундт достал из большого желтого портфеля лист бумаги: «Познакомьтесь, это касается вас».

После первых же строк у Гейнца задергалось веко и стало мокро под мышками. Фельдмаршал фон Клюге писал Гитлеру о полученном оскорблении. Фельдмаршалу известно, что дуэли запрещены, но он не видит другого способа защитить свою честь, поэтому просит у фюрера разрешения...

Гудериана охватил такой страх, какого он не испытывал даже на фронте. Фон Клюге слыл хорошим спортсменом и метким стрелком. Это же идиотизм — погибнуть от его руки в то время, когда карьера вновь начала складываться удачно. И почему гибнуть? Потому что этот педантичный фельдмаршал всерьез верит в пустые фразы о семейной чести и прочей мишуре?! Кому это сейчас нужно!

Фон Клюге рассчитал точно. Он выбрал Гитлера как бы посредником. Если Гитлер разрешит дуэль — Гудериан не сможет увильнуть от нее. А если не разрешит, честь фельдмаршала все равно будет восстановлена. Он сделал то, что мог, остальное от него не зависит.

Прохаживаясь по комнате, генерал Шмундт поглядывал

на расстроенное напряженное лицо Гудериана, пряча в глазах улыбку.

— Что думает об этом фюрер?— спросил Гудериан.

— Фюрер слишком высоко ценит вас обоих, чтобы допустить такое мальчишество. Он сказал: недоставало еще, чтобы мои генералы били друг друга...

— Разумеется,— поспешно ответил Гейнц.— Я согласен написать фельдмаршалу. Я объясню, почему погорячился... Но это не означает, что я могу забыть прошлое.

— Дорогой генерал, сейчас важно уладить все официально. В крупной игре побеждает тот, у кого больше терпения.

Вместе со Шмундтом Гудериан составил небольшое письмо к фельдмаршалу, вежливое, но ни к чему не обязывающее. Потом они пообедали вместе, и Гейнц постепенно успокоился. Он старался не вспоминать об этой неприятности, о своем унижительном страхе. Придет время, и он рассчитается за все это. А сейчас силы и нервы нужны были для работы.

Гудериан ездил по танковым заводам, по училищам, инспектировал запасные части, следил за своевременной отправкой на восток новой техники и пополнения. Вопрос о наступлении все еще не был решен, Гитлер не сказал своего последнего слова, но подготовка к операции шла полным ходом. Возле южного и северного фаса Курского выступа сосредоточивались две группировки небывалой мощности. Почти миллион солдат, десять тысяч орудий и минометов, около трех тысяч танков и самоходок, более двух тысяч истребителей и бомбардировщиков — вся эта масса людей и техники, сконцентрированная на нешироком участке, должна была обрушиться на советские войска, смять и раздавить их.

Гитлер не спешил начинать операцию, пока не убедился, что сделано все возможное для быстрого разгрома противника. Лишь 1 июля, собрав в Восточной Пруссии генералов, которым поручалось руководить «Цитаделью», он объявил, наконец, свое решение.

Немцы намеревались нанести удар внезапно и ошеломляюще. На совещании присутствовали командующие группами армий, армиями, а также командиры корпусов. Все они были преданы фюреру, проверены контрразведкой. Никто из них не мог выдать военных секретов. Но где-то там, в тайная тайных германской ставки, в самой

сердцевине «стратегического мозга», готовившего секретные планы, находился человек отчаянной храбрости и железной выдержки. Он работал один среди чужих, долгие годы ничем не выдавая себя. Он отправлял только самые важные, самые ценные сведения.

Совещание у Гитлера закончилось во второй половине дня. А ночью в Москве уже знали: немцы начнут наступление на Курской дуге между 3 и 6 июля.

Верховный Главнокомандующий приказал немедленно предупредить об этом генералов Рокоссовского и Ватутина, возглавлявших Центральный и Воронежский фронты.

6

Небо казалось выцветшим и поблекшим. На солнце невозможно было смотреть. Вокруг огненного слепящего шара вытаивала белесая пустота. Жгучие лучи иссушили землю, опалили высокую, нескошенную траву. Раньше времени зажелтела она на открытых местах. Только в низинах, ближе к воде, темнели ковры сочной зелени, да рощи и перелески еще берегли свою перволетнюю свежесть.

С холма, с командного пункта дивизии генерал-майора Порошина, далеко просматривалась изрезанная балками степь, виднелись серые ленты дорог, разрушенные деревни, редкие прямоугольники пшеничных полей. И ни одного человека окрест, ни одной машины. Появится иногда солдатская каска, будто плывущая вровень с землей, шевельнутся кусты, потянет дымком, заржет лошадь... А потом опять духота, пустота, безмолвие. Только деловито щебечут птицы да потрескивает сухой пропыленный бурьян.

В сумерках степь оживала. Летняя ночь коротка, сделать требовалось много. На тыловых станциях разгружались эшелоны с боевой техникой, боеприпасами и горючим. Колонны войск шли к фронту прямо по полям, освобождая дорогу для повозок, тягачей и грузовиков, спешивших доставить на передовую патроны, снаряды, продовольствие и вернуться обратно.

На оборонительных рубежах стучали кирки, скрежещали о сухую землю лопаты. Сотни тысяч людей рыли траншеи, ходы сообщения, блиндажи, убежища, оборудо-

вали командные и наблюдательные пункты, укрытия для пушек, танков, боеприпасов. Связисты тянули телефонные провода, маскируя их. Саперы бесшумно ползали по «ничьей» земле, под носом у противника, устанавливая мины, фугасы и проволочные заграждения. Уходили вперед разведчики, охотились за «языками».

Но вот начинало светать, и степь вновь замирала. Зной, тишина, спокойствие. Изредка трещал авиационный мотор, немецкий самолет делал несколько кругов, высматривая цель, и уходил в сторону.

Дивизия Порошина стояла во второй оборонительной полосе. До передовой — десять километров, и все это пространство насыщено людьми и техникой. Каждый бугорок, каждая кочка, каждый склон оврага мог встретить врага пулеметным и орудийным огнем. Прорвав первую полосу обороны, враг уперся бы во вторую, потом в третью, в четвертую... За дивизией Порошина располагалась еще дивизия, а дальше, вероятно, еще...

На совещании в штабе армии видел Прохор Севостьянович карту. На ней вся огромная полуокружность Курской дуги была опоясана целым комплексом оборонительных сооружений, отсечных и запасных позиций. Армейский инженер сказал, что одних только траншей и ходов сообщений отрыто около десяти миллионов метров. Если их вытянуть в одну линию, то получится канава глубиной в человеческий рост, которая пересечет всю Европу и Азию от Атлантического до Тихого океана.

То, что видел, о чем знал Прохор Севостьянович, выглядело грандиозно. Но ведь ему было известно далеко не все: глубина обороны войск Центрального и Воронежского фронтов достигала почти двухсот километров. Причем на самых опасных участках плотность орудий и минометов составляла до ста стволов на один километр. Пушка или миномет стояли через каждые десять метров!

В тылу, за спиной войск, непосредственно оборонявших Курский выступ, сосредоточились такие резервы, каких никогда не имела раньше Ставка Верховного Главнокомандования. Четыре общевойсковые и одна танковая армия, два танковых, один механизированный и три кавалерийских корпуса были объединены в Степной округ и готовились нанести встречный удар по врагу там, где это понадобится.

Но и это еще не все. За рубежом Степного военного

округа закончилось оборудование стратегического оборонительного рубежа на Дону.

До этого лета наступления гитлеровцев ждали всегда с опаской, а теперь командование обеспокоено было другим: как бы противник не отказался от намеченной операции. В центральной печати даже появились статьи Ильи Эренбурга. Он будто поддразнивал фашистов, подзадоривал их: что же, мол, вы стоите на месте? Кричали по радио и в газетах: зима для русских, а лето для немцев. Но вот уже июнь на исходе, а вы не атакуете. Испугались? Слабó?!

Как-то под утро в штаб дивизии приехал командующий фронтом. Порошин выбежал из блиндажа, хотел доложить, но Ватутин прервал его, крепко и долго жал руку.

Николай Федорович сильно изменился, постарел, раздался вширь. Под глубоко запрятанными глазами — темные морщинистые мешочки: след бессонных ночей. Толстые щеки обрюзгли, сделались рыхлыми. Видно, нелегкими были для Ватутина два года, минувшие со дня их последней встречи. Это ведь он создал прошлым летом почти на голом месте новый фронт и отстоял Воронеж. Его армии, вместе с армиями Рокоссовского, замкнули осенью кольцо окружения вокруг Сталинградской группировки. Меньше чем за год Ватутин дважды повышали в звании. Четыре больших звезды поблескивали теперь на его широком генеральском погоне.

Держался Николай Федорович с той же естественной простотой, с той же вежливостью, которая и раньше подкупала его подчиненных. С ним было легко служить, не то что с горлатыми верхоглядами без царя в голове, которые прикрывали свое интеллектуальное бессилие жесткой требовательностью и внешним блеском.

А еще уловил Порошин во взгляде, в спокойной негромкой речи Ватутина какую-то твердую уверенность и почти старческую мудрость, хотя Николай Федорович едва разменял пятый десяток. Ну и что же: мудрость приходит не только с возрастом. В Генеральном штабе сослуживцы говорили, бывало, что Ватутин всюду идет вне конкуренции. Сельская школа — с отличием, пехотное училище — с отличием. Две военные академии — тоже с отличием. Видимо, и на войне генерал армии Ватутин усваивал знания так же быстро и хорошо, как и раньше.

О деле они говорили немного. Посидели над картой. Николай Федорович поинтересовался, полностью ли укомплектована дивизия людьми и техникой. Узнал, что с пополнением прибыли люди пожилых возрастов, еще не обстрелянные. Посоветовал выводить личный состав побатальонно в тыловой район и «обкатать» бойцов танками. Потом наметил на карте два направления для возможных контрударов по противнику.

— Думайте не только о том, как устоять, но и о том, как вперед идти, — сказал он Порошину. — Главное теперь — точный расчет. Никакой надежды на случайность, на «авось». Мы достаточно сильны, чтобы воевать умно. Только точный расчет, — повторил Николай Федорович.

Ординарец Порошина принес в блиндаж миску, доверху наполненную земляникой. Ватутин даже руками всплеснул; ожили, заискрились его глаза... «А молоко найдется?»

Насыпал ягоды в тарелку, размял их ложкой, понюхал несколько раз, блаженно шурясь. Потом посыпал сахарным песком и налил молока. Прохор Севостьянович по части ягод разбирался не очень, но проделал все точно так, как Ватутин. Получилось вкусно.

— После войны отпуск возьму на целый месяц, — размягченно улыбаясь, говорил генерал армии. — Лучше всего на июнь или на июль. Поеду в деревню и буду цветы собирать. Весь день в лесу, в поле. Вечером буду возвращаться с букетом, с лукошком ягод. А дома парное молоко со свежим хлебом... Скажу сегодня члену Военного Совета: надо организовать сбор ягод и грибов. И чтобы все — на передовую. Пусть люди порадуются...

Уехал Ватутин перед самым восходом солнца, когда было уже так светло, что на дорогах прекратилось движение. Три машины быстро понеслись на восток и скоро исчезли из глаз.

Прохор Севостьянович вернулся в блиндаж в превосходном настроении. Приятно было, что доставил человеку радость. Но это, конечно, пустяк. Главное в другом. Сколько раз случалось раньше: придет командующий армией, не говоря уж о командующем фронтом, накричит, нашумит, взвинтит нервы и уедет довольный: «подтянул гайки», мол, и «вправил мозги». А что толку? Ватутин вот даже не приказывал ничего: послушал, посмотрел, посоветовал. И оставил после себя в штабе Порошина твердую веру в успех и хорошее настроение.

* * *

Батальон майора Бесстужева проходил «обкатку» одним из последних: сначала на полигоне бывали те подразделения, которые считались слабее. Дело было новым, и без происшествий не обошлось. Вчера молоденький боец не выдержал, вскочил от страха, танк зацепил его гусеницей, к счастью, не на смерть. Кое-кто ворчал: вот, мол, придумали своих гробить! Но Бесстужев за такую болтовню влепил выговор командиру третьей роты. Ранили одного в полку, ну и что? Зато в бою такая тренировка десяткам людей жизнь спасет. На войне жалеть — значит не жалеть. Расчувствуешься из-за одного — потеряешь сотню.

Однако Юрий перед «обкаткой» проинструктировал командиров еще раз, решил собрать молодняк в одном месте и сам сел в окоп рядом с необстрелянными юнцами.

Все было обставлено почти как в настоящем бою. Штук десять танков быстро шли по полю, стреляя настоящими снарядами хоть и не по окопам, но по мишеням неподалеку от них. За танками бежала пехота. Машины ревели, снаряды свистели и грохотали, над полем клубились дым и пыль. Иллюзия была настолько полной, что рука невольно стискивала гранату. Бесстужев ловил себя на этом и улыбался: граната была деревянная, настоящие у людей отобрали вместе с боевыми патронами.

Одно дело смотреть на танк со стороны. Сразу видно, что машина тяжелая, сильная и даже вроде бы красивая. Но совсем другое появляется самочувствие, когда эта красавица неудержимо и слепо прет прямо на тебя, разрастается до таких размеров, что загораживает весь свет, поровит прижать тебя гусеницей, сплющить мимоходом тело твое в мокрую бесформенную лепешку.

Молодые солдаты без команды попадали на дно глубоких окопов. Лишь несколько «старичков» спокойно ждали, когда укроется комбат. Бесстужев махнул им рукой и медленно спол вниз. Лежал с открытыми глазами, стараясь не пропустить момент, но успел увидеть только грязный трак гусеницы: сверху хлынула в окоп сухая земля, забив и глаза, и нос. Оглушительный скрежет, горячий удушливый поток отработанных газов — и сразу какое-то облегчение, сразу стало светлее и тише.

Юрий вскочил, крикнул, отряхиваясь: «Гранатами,

огонь!» Широкая корма танка была еще совсем рядом, а над окопами уже маячили каски, бывалые солдаты поднимали молодых, заставляли бросать вслед машинам деревянные гранаты, целясь в гусеницы. Солдаты даже слишком увлеклись этим, швыряли камни и комья земли, пробуя свою сноровку. Танки приковали все внимание людей, они забыли про пехоту «противника». Стрелки и пулеметчики смотрели не вперед, а назад. Поэтому Бесстужев сам лег к «максиму», дал очередь холостыми патронами. Командиры рот и взводов поняли этот сигнал, стрельба сразу вспыхнула по всей линии.

Штабной офицер, проводивший занятия, взмахнул флажком, показывая, что первый тур закончился. Сейчас перерыв, а потом танки появятся снова. Они не просто переползут через окопы, но будут поворачиваться над ними, заваливать их землей в специально отведенных местах. А бойцы должны высовываться из соседних ячеек, выискивать, куда лучше швырнуть гранаты и бутылки с горючей смесью.

Пока люди перекуривали, танки вернулись на исходный рубеж, постояли и вдруг начали отходить дальше, к лесу. Вытянулись там цепочкой и ушли по лесной дороге куда-то на север.

Бесстужев на мотоцикле подъехал к штабному офицеру. В чем дело? Пора начинать, а машин нету. На заправку, что ли, приспичило?

— В корпус их отозвали, — ответил тот. — И артиллеристов тоже срочно отзывают в дивизию. — Свернул свой флажок и добавил хмуро: — Вам тоже советую уехать немедленно.

В сумерках Бесстужев посадил людей на грузовики армейского автобата и вернулся в полк. На позициях, как и обычно по ночам, никто не спал. Бойцы рыли ходы сообщения и строили новые блиндажи с крепкими перекрытиями. По траншеям ходил инструктор политотдела дивизии старший лейтенант Булгаков. За ним два солдата несли груды щитов на острых колыях. Булгаков ставил щиты возле бронебойщиков, пулеметчиков, около врытых в землю противотанковых пушек. На щитах был нарисован танк «тигр» и красной краской обозначены те места, по которым нужно стрелять.

— Толково придумано, — одобрил Бесстужев. — Это ты сам догадался?

— Нет, — улыбнулся Игорь. — Из политуправления плакаты спустили. А у меня только доставка на дом.

Сел рядом на земляную приступку передохнуть, перекинуться парой слов. Как-никак, они были старыми знакомыми, вместе начинали еще под Москвой, а ведь это казалось теперь далекой далью.

Вот сидит он, покуривая, этаким плечистый крепыш с ясными глазами и чуть вздернутым носом. Молодой еще парень, вихор мальчишеский на голове, а волосы уже поселены сединой. Работа у него вроде бы тыловая, политотдельская, а он все вперед лезет. И через Шать зимой с Бесстужевым шел, и через Дон одним из первых переправлялся. Да мало ли что еще было!.. Юрий испытал даже прилив нежности к этому простоватому с виду политруку, который и сам не знает, какой он надежный товарищ. Толкнул его локтем, сказал негромко:

— Начнется заваруха — ко мне в батальон приходи. По старой памяти... Теперь уже скоро — в воздухе чувствуется.

— Пора, — ответил Игорь. — Середина лета не за горами.

— А по мне хоть и еще подождать, до самой до осени. Чем ближе мороз, тем меньше шансов у фрица.

— Верно, конечно, — согласился Булгаков. — Летом мы немцев всерьез еще ни разу не били. А надо бы. Иначе получится вечный маятник: летом — назад, зимой — вперед! Так и будем качаться, пока выдохнемся.

— Союзники перетянуть помогут, — возразил Бесстужев. — Откроют же они когда-нибудь второй фронт? Даже неловко за них: сколько раз обещали...

— Они помогут, — скептически произнес Игорь. — Помогут, когда им выгодно. Мы тут с немцами силы свои изматываем, а они высадутся и Европу к рукам приберут!

— Это что же, такая идея тоже сверху спущена, вместе с плакатами?

— Нет, майор, эта идея собственной выпечки, а поэтому, может, еще сырая. Но тревожит она меня здорово, откровенно тебе говорю. Вспоминаю историю и вижу, что часто после войны хозяевами положения делались не победители, а те, кто стоял в стороне и берег свои силы. Может так случиться?

— Все может быть, — лениво ответил Бесстужев, не любивший отвлеченных рассуждений, старавшийся избе-

гать того, что не имело прямого отношения к службе. — Только ни к чему эти твои предположения, ничего они не изменят.

— Верно! — встрепенулся Игорь и даже засмеялся. — Ха! Картинку себе представил: сидят на рассвете два чудачка, свесив ноги в траншею, смотрят в курское небо и толкуют о будущем Европы... Чепуха, в общем-то. Ты прав, майор. Пойду лучше щиты с «тиграми» расставлять. Хотя маленькая, но польза.

Бесстужев дошел с ним до поворота и свернул вправо: надо было посмотреть, что приготовил повар. Теперь, когда батальон жил по-ночному, люди получали завтрак вечером, ужин — утром, а обедали в середине дня сухим пайком без приварка и даже без кипятка.

Убедившись, что бойцы накормлены, оружие вычищено, места ночных работ замаскированы сетями и что в подразделениях выделены наблюдатели, Бесстужев решил людям спать. Сам прилег на соломенный матрац в открытом окопчике под густым дубом. Просматривал старую газету, слушал звонкое утреннее пение птиц, борясь с дремотой. Подождал, пока солнце встало в полдерева. На передовой было тихо. Если немцы не начали с рассветом, то нынче они опять не начнут. Подумав так, Юрий натянул на голову плащ-палатку и сразу перестал слышать птичьи голоса, шелест листьев и переливчатый хрип, доносившийся из открытой двери землянки.

* * *

Редкие кучевые облака, с утра повисшие над горизонтом, постепенно разрастались, набухали; медленно и горделиво плыли они в знойном воздухе. Издалека видно было, как ползут по земле их тени, зачерняя куски просторной чуть пожелтевшей степи. Люди гадали: доползет тень к ним или пройдет стороной, каждому хотелось хоть нескольких минут прохлады. Взял и побежал бы за тенью, под ее прохладным крылом, но нельзя выскакивать из укрытий, нельзя отходить дальше, чем на сто метров от своего блиндажа, дзота или огневой точки.

В 15 часов 55 минут западнее Белгорода послышался гул авиационных моторов. И тотчас по тысячам радиостанций, по тысячам телефонов понеслась команда: «Воздух!» Через минуту о появлении самолетов знал команду-

ющий Воронежским фронтом, через две минуты развернулись навстречу врагу зенитные пушки и пулеметы, через три — заработали на аэродромах моторы советских истребителей, через четыре — сигнал тревоги получили все командиры частей и подразделений, занявших оборонительные рубежи.

Ровно в 16 часов Игорь Булгаков увидел в бинокль маленькие самолетчики, мельтешившие у горизонта, и почти тотчас земля качнулась от бомбового удара. Сто воздушных машин, не дойдя до переднего края главной полосы советской обороны, сбросили весь свой груз на узкий участок земли, на позиции боевого охранения. Еще через десять минут по боевому охранению открыли шквальный огонь артиллерия и минометы противника, под их прикрытием пошла в атаку пехота с танками.

«Ну, заварилась наша!» — сказал себе Игорь, чувствуя, как покалывает сердце волнение и легкая тошнота подступает к горлу. Ничего он не боялся: ни пуль, ни снарядов, ни ночной разведки, ни глубокой воды. Но еще с тех пор, как ранило его в 41 году во время бомбежки, влез в него страх перед самолетами. Едва раздавался высокий, надрывный звук мотора или стелющийся вой бомбы — сразу подступал ужас, он бледнел и покрывался потом. Вот и сейчас внимание Игоря было приковано к самолетам, хороводившим на краю неба. Самолеты там загорались и падали, оставляя после себя полосы дыма, но расстояние было так велико, что Игорь не мог понять, где свои, а где немцы.

Майора Бесстужева самолеты сами по себе не интересовали, так как бомбили они не его участок. Он думал о том, что немцы будут прорывать нашу оборону именно там, куда кидают сейчас бомбы. И если прорвутся и выйдут ко второй оборонительной полосе, то их танкам удобно будет двигаться вон по той балочке с отдельным деревом на скате. К этой балочке надо подтянуть зенитную батарею. Зенитчикам все равно где стоять, а в случае прорыва они смогут бить по наземным целям и тем самым укрепят противотанковую оборону.

Прохор Севостьянович Порошин был сперва удивлен: что еще за трюк выкинули фашисты, начав наступление в такое невыгодное для себя время? Близится вечер, а всем известно, что наступать в темноте гораздо хуже: перемешиваются боевые порядки, теряется управление.

Но, поразмыслив над картой, Порошин уловил идею немецких генералов. Немцам известно, что боевое охранение у нас сильное. Вот фашисты и решили разделаться с охранением мощным коротким ударом, чтобы завтра не терять здесь времени, сразу начать штурм главной оборонительной полосы...

Командующий фронтом генерал армии Ватутин встретил сообщение об атаке с такой радостью, какой не переживал, может быть, с мальчишеских лет. Конечно, основные трудности для войск еще впереди, но для него самого, для высших военных руководителей многое теперь стало простым, отпадала главная тревога: а вдруг противник изменит направление наступления? Могли же немцы быстро перебросить на юг или на север свои подвижные войска и нанести удар там, где нет такой мощной обороны, как на Курской дуге?! Не только могли, но и производили такие отвлекающие маневры, демонстративно перебрасывали часть войск в Донбасс и даже делали вид, что вообще отказываются от наступления в районе Курска. Вчера утром фельдмаршал Манштейн вылетел на самолете в Бухарест, чтобы вручить Антонеску золотой знак за Крымскую кампанию. Об этом визите настойчиво кричало немецкое радио. О каком наступлении может идти речь, если командующий отправился на торжественную церемонию?..

В общем, противник нанес удар в то время и в том месте, в каком его ожидали. Первая победа — победа предвиденья — была одержана. Теперь надо предпринять следующий шаг, надо подумать за себя и за противника. Немцы ввели в бой передовые силы. Эти силы, вероятно, прорвут лишнюю боевого охранения и придвинутся к главной оборонительной полосе. Вслед за передовыми частями подтянется и сосредоточится для удара основная масса вражеских войск. Фашистские танки, пушки, пехота расположатся в балках, в садах, перелесках. Ну что же, пусть располагаются, пусть ждут сигнала общей атаки. Об этих войсках думают не только немецкие генералы, о них размышляют и в советских штабах...

Ватутин вышел на улицу и несколько минут постоял, прислушиваясь к отзвукам далекой канонады, гудевшей на юго-западе. То, что происходило сейчас там, было прелюдией. Настоящее начнется завтра, когда столкнутся на этой равнине два миллиона вооруженных людей.

В любой войне, старой и новой, всегда было и, вероятно, будет свое главное сражение, была и будет та кульминационная точка, после которой начинает приближаться развязка. Генерал Ватутин, как и многие офицеры и солдаты, понимал, что это главное сражение произойдет именно здесь, в середине русской земли, в разгар жаркого лета. Обе стороны собрали тут свои самые лучшие, самые закаленные силы, обе стороны бросили сюда свою лучшую технику.

Начиналась великая битва, от которой зависело развитие дальнейших военных действий, зависел исход небывалой войны, охватившей своим пламенем весь мир.

7

От ужина генерал Ватутин отказался. Он сидел за столом, над картой, изредка прихлебывая чай, сидел уже несколько часов не вставая и почти не двигаясь. Доклады подчиненных, даже очень важные, выслушивал с каким-то равнодушием. Иногда казалось, что он дремлет, смежив и без того узкие глаза, подперев ладонями пухлые, раздавленные книзу щеки.

Среди генералов, находившихся в штабе фронта, он был сейчас самым спокойным и, пожалуй, самым незаметным, но именно от него исходили те короткие, ясные распоряжения, которые заставляли людей оставаться в окопах под бомбежкой и артобстрелом, которые передвигали в нужные места резервные полки и дивизии, поднимали в воздух самолеты. Каждая клеточка его мозга, каждый его нерв работали с таким напряжением, с такой титанической целеустремленностью, что у него совершенно не оставалось энергии для каких-то внешних проявлений того возбуждения, того духовного подъема, которые владели всеми. Он ясно представлял себе, что предпримет противник ночью, утром, на следующий день. Он не мог ослабить ни на секунду свое напряженное состояние, чтобы не потерять нить размышлений, не утратить острое, ясное чувство боя. И это не было только тем, что принято называть интуицией. Сейчас сказывались все знания, накопленные за долгие годы учебы, сказывался опыт неудач и побед, сказывалось глубокое понимание стратегии и тактики противника, психологии его командиров, сказыв-

валось, наконец, детальное знание возможностей своих войск. Сперва все это, а потом уже интуиция, основанная на фактах, на сухих цифрах, на изучении человеческих душ.

В 20 часов немцы прекратили атаки. За четыре часа напряженного боя, бросив на позиции боевого охранения до 400 самолетов и до сотни танков, они, в общем-то, почти не добились успеха. Во многих местах наши бойцы устояли, и фашисты не смогли выйти к главной оборонительной полосе. Завтра они снова должны штурмовать линию боевого охранения. А это, разумеется, не в их пользу.

Едва опустились сумерки, с передовой начали поступать сообщения о том, что в районе Белгорода и Тамаровки в тылу противника слышен непрерывный гул танковых и автомобильных моторов. Понятно: противник подтягивает главные силы на рубеж атаки. Войска становятся плотно, колонна к колонне, начинают развешиваться. Их много, им тесно. А сзади подходят новые... «Пора!» — решил генерал.

В сгустившейся темноте, в 22 часа 30 минут над командными пунктами 6-й и 7-й гвардейских армий Воронежского фронта взлетели гроздя цветных ракет, и в ту же минуту ночную тишину расколол залп 600 орудий и минометов. Пять минут с полным напряжением работали артиллеристы и минометчики, пять минут строчили на переднем крае все пулеметы, били все винтовки. Огненный ливень обрушился на немцев, скопившихся между Белгородом и Тамаровкой. Одних только снарядов было выпущено за этот короткий срок около двадцати тысяч.

И сразу все стихло. В тылу немцев полыхали пожары. Никто не знал точно, какие у врага потери, но одно, во всяком случае, было ясно: не очень-то уверенно будет теперь чувствовать себя немецкий солдат, попавший под такой удар еще до начала атаки!

Ватутин, выслушивая доклады, усмехался чему-то своему, шевелил длинными тонкими пальцами, будто разминая их, сжимал маленький твердый кулак и снова распускал его. Внутренне он смеялся. Немецкие генералы только собирались наступать, только пытались захватить инициативу, а он уже начал бить их, начал навязывать свою волю; он приготовил им такие сюрпризы, с какими они еще не встречались. Правда, он не согласовал свои

действия со Ставкой, артиллерийская контрподготовка была проведена без ведома Верховного Главнокомандующего. Но доказывать и утрясать не было времени. Так же поступил и правый сосед, командующий Центральным фронтом — Константин Константинович Рокоссовский.

Они были не только соседями в этом выступе, но и взаимно прикрывали тылы и фланги друг друга. Их ждала одинаковая слава в случае победы и одинаковое осуждение в случае неудачи. Оба их фронта были единым организмом. И лучшего соседа в сражении трудно было найти, более надежного товарища в горе и в радости трудно было желать. Николай Федорович Ватутин мог в чем-то спорить, в чем-то не соглашаться с Константином Константиновичем, но был убежден, что из тех военных руководителей, которых он знает, некого поставить рядом с таким замечательным полководцем и человеком, как Рокоссовский. И он был рад, что снова работал с ним в «паре», как работали они вместе под Сталинградом...

Еще затемно, в 2 часа утра, немцы предприняли вторую попытку сбить боевое охранение в районе, намеченном для прорыва. С передовой докладывали: противник ведет артиллерийскую подготовку на участке Драгунское — Заготскот; на этом участке появились около двух сотен бомбардировщиков; немцы бросили на штурм пехоту с танками.

Ватутин допил стакан чая, расстегнул воротник кителя и вытер шею носовым платком. Очень уж душной была ночь. Хорошо бы сейчас вымыться и переодеться. Он хотел сказать адъютанту, чтобы приготовили душ. Взглянул на часы: нет, мало времени. Пора преподнести противнику второй сюрприз.

Немецкая пехота еще не успела приблизиться к нашим позициям, как на горизонте багряным заревом полыхнули залпы «катюш», ахнули в тылу врага разрывы реактивных снарядов, выжигая большие квадраты степи, вместе с людьми и машинами. И сразу же ударила артиллерия, сосредоточив свой огонь по двум районам, по тем местам, где скопились войска 7-й и 19-й танковых дивизий противника.

На этот раз контрподготовка продолжалась не пять минут, а целых полчаса. Немцы снова понесли большие потери и снова затихли, приводя в порядок свои потрепанные подразделения.

Генерал Ватутин смеялся, хитро щуря маленькие подпухшие глаза. Немцы-то, конечно, рассчитывали на неожиданность наступления, на быстрый прорыв. Чешут сейчас затылки их генералы. Да и сам Ватутин крепко задумался бы, очутившись на их месте. Но теперь уже поздно, громадный механизм армий заведен и нацелен для наступления, и никто не решится остановить его.

В 4 утра в воздух поднялась армада вражеских самолетов. Наблюдатели насчитали их около полутысячи. Маскированный налет по нашим позициям — Ватутин ждал этого. Навстречу бомбардировщикам взмыли советские истребители. Но это было не главным. Фашистов ждал еще один сюрприз. Бросив все силы на бомбежку, они оставили без прикрытия свои аэродромы. И вот в 4 часа 25 минут наши летчики нанесли сосредоточенный удар по местам базирования вражеской авиации. Этот «сюрприз» сразу вывел из строя 65 гитлеровских боевых машин.

Первые часы боя — самые трудные для обороняющихся. Инициативой владеет наступающий, он выбирает места атак. Тот, кто защищается, вынужден прикрывать все опасные направления, не зная, какое из них окажется главным. Ширина Воронежского фронта достигала 80 километров, и почти на каждом из них враг мог бросить в бой свои основные силы. До последнего момента Ватутин мог только предполагать, где именно это произойдет. Но вот немцы нанесли бомбовый удар по двум узким участкам. По этим участкам била вражеская артиллерия. А следом за стеной огня и дыма медленно поползли сотни приземистых черных машин.

На карте командующего появились две синих стрелы. Он долго и внимательно смотрел на них, прикидывая расстояние до кружочков, которыми были отмечены места расположения резервов. Потом решительно поднялся из-за стола и сказал адъютанту, что хочет принять душ. Он имел право и должен был отдохнуть. Наступил период, когда управление боем переместилось в руки тех начальников, которые ближе к войскам, к тем командирам, которые находятся рядом с солдатами и видят врага собственными глазами. Теперь главную роль играли те, кто держал в своих руках оружие. Все планы, расчеты — это пустой звук, если плохо обучены рядовые бойцы, если они слабо вооружены, если они не выдержат, дрогнут... Они решали судьбу боя, судьбу сражения, судьбу всей войны.

Поеживаясь под холодными, обжигающими тело струйками воды, смывавшими усталость, Ватутин думал о себе, что командующий фронтом должен сейчас набраться терпения и ждать, сохраняя способность мыслить ясно, не отвлекаясь по мелочам, не забывая голову теми вопросами, которые могут решать командиры дивизий, корпусов и командующие армиями. Надо следить, как меняются в ходе сражения планы противника, направления его ударов, и своевременно бросать на опасные участки новые силы.

Самое главное сейчас — это внимание и спокойствие.

Ватутин с удовольствием вытерся мохнатым полотенцем и велел подавать завтрак. Он любил поесть, к тому же ничего не ел со вчерашнего дня и изрядно проголодался.

* * *

С наблюдательного пункта генерал-майора Порошина не было видно, как разворачивается сражение на первом оборонительном рубеже. Но по множеству деталей, по рассказам раненых и офицеров связи Прохор Севостьянович хорошо представлял себе ход событий.

Ранним утром передний край пробомбила вражеская авиация, загрохотала артиллерия. Полчаса спустя заговорили наши гаубицы и пушки крупных калибров, стоявшие на закрытых позициях почти вровень с дивизией Порошина. И стало ясно, что немцы начали атаку, а пушки ставят на пути танков и пехоты огневую завесу.

Силошной гул боя достиг высшего напряжения часам к шести утра. А потом он, не приблизившись, начал стихать и как бы распадаться на отдельные звуковые очаги. Прохор Севостьянович понял: первый штурм отбит, немцы не смогли с ходу протаранить нашу оборону и теперь ведут бой за опорные пункты и узлы сопротивления.

Потом грохот совсем прекратился: немцы, вероятно, перегруппировывали силы и подтягивали свежие войска. А в семь часов опять налетели самолеты, и все началось снова.

Так повторялось за день раз пять или шесть. Немцы проламывали оборону, медленно продвигаясь вперед. К вечеру они приблизились на четыре километра к правогофланговому полку Порошина. Расстояние до врага было невелико, но ни одна бомба и ни один снаряд не упали на

боевые порядки порошинской дивизии, потому что между ними и противником стояли еще другие советские части.

Прохор Севостьянович догадывался: завтра наступит очередь его дивизии принять на себя удар. Об этом предупредил и командующий армией. Не просто предупредил и потребовал «держаться во что бы то ни стало», как бывало раньше, а направил на участок Порошина резервы. В сумерках подошел гвардейский артиллерийский полк, три истребительно-противотанковых артиллерийских полка, полк гвардейских реактивных минометов, два отдельных батальона противотанковых ружей и еще танковый батальон. Это была такая силища, что огневая мощь дивизии сразу возросла почти в три раза. И по сути дела у Порошина был теперь целый корпус.

Не торопясь обдумывал Прохор Севостьянович, как лучше использовать средства усиления. Пехоту свою он не стал трогать, она сидела в укрытиях надежно и прочно. Артиллеристам приказал за ночь врыться в землю. Острие немецкого клина метило по правому флангу его дивизии. Да и местность там была ровная, удобная для танков. У Порошина не оставалось сомнений, что немцы направят главные силы именно туда. Казалось бы, и ему нужно сосредоточить на правом фланге средства усиления, но он решил — нет! Зачем подставлять артиллерийские полки под немецкие бомбы, под сосредоточенные удары вражеских пушек и авиации?! Нет и нет! Прохор Севостьянович расположил бронейщиков и пушкарей по высоткам правее равнины. Гвардейский артиллерийский полк оставил в глубине, как резерв. Там же стояли и гвардейские минометы и танковый батальон.

Все силы были размещены с таким расчетом, чтобы их легко можно было перебросить на угрожаемое направление. Он знал, что бой будет напряженным и скоротечным, противник будет штурмовать на узких участках большими силами. Чем ответить на это? Непоколебимой обороной пехоты по всему фронту и быстрым маневром огнем и колесами, чтобы в любом месте и в любое время можно было выставить на пути врага надежный заслон.

* * *

Прогретая солнцем земля остывала, отдавая ночному воздуху чуть увлажненное росой тепло, горьковатое от

запаху трав, ласковое, волнующее — почти человеческое. Игорь дремал, и казалось ему, что покоится голова его на груди Ольги, что вот сейчас он приподнимается чуть-чуть и прикоснется губами к ее холодящей и гладкой коже, ощутит на лице ее дыхание. И еще Игоря тревожило то, что он не брился второй день, и Ольге неприятна его колючая борода...

Словно издалека донесся до него голос Бесстужева. Майор приказывал кому-то возить воду, заполнить всю посуду. Для пулеметов — само собой. Побольше — для людей. День опять будет жаркий, во время боя воду не подвезешь, а она в такую погоду важнее еды. Патроны, махорка, вода — вот в такой последовательности. Бесстужев объяснял это так бодро и громко, что Игорь проснулся. Он лежал среди бурьяна прямо на голой земле, метрах в пяти от окопов. Впереди по всему горизонту колебались багровые блики пожаров. Раздавались орудийные выстрелы, приглушенно барабанили пулеметы, но эти звуки были настолько привычны, что ухо не воспринимало их.

— Эй, политрук, ты здесь? — окликнул Бесстужев и, не дожидаясь ответа, вылез к Игорю. — Не дам я тебе поспать, слышишь?!

— А что, дело какое? Говори, выполняю.

— Дела вроде бы все сделаны, а вот настроение такое, просто через край бьет!

— Волнуешься, что ли?

— Нет, политрук, волноваться я разучился. Радуюсь я! — Бесстужев присел рядом с ним. Игорь увидел, как вниз и вверх ездят белесые брови майора. — Понимаешь, радуюсь, политрук, что до сегодняшней ночи дожил. — У Бесстужева вздрагивал голос, и Игорь никак не мог понять причины его возбуждения.

— Два года я с немцами нос к носу хожу. Два года на моих глазах немец железом нашу шею ломал... Я в первом первом сводном отрядом командовал. На тысячу человек три пулемета и две пушки было. А к каждой пушке по четыре снаряда. Мы их в тряпки заворачивали и как грудных детей на руках несли... Ты помнишь, как их самолеты не то что за каждым бойцом, за каждой лошадей на дорогах охотились? Помнишь, как их танки женщин давили?

— Не надо. — Игорь положил руку на твердый погон

Бесстужева. — Не бери себя, майор. День впереди трудный.

— Ты за меня не тревожься, чужак, — усмехнулся Бесстужев. — Эта боль меня каждый час и каждый день колет, эта боль моим сердцем стала, она меня до самой смерти вести будет. А сейчас я от командира полка шел, хотел позиции батальона обойти, да отказался. До утра всех не обойдешь. Пулеметная рота мне придана, минометчики, саперы, рота противотанковых ружей, двадцать четыре пушки меня поддерживают. Надо бы еще, да ставить некуда! Мы с командиром полка три варианта работали. Если немцы так — мы так. Они по-другому — и мы тоже. Ты понимаешь, какая жизнь пришла: у меня, у комбата, двадцать четыре пушки в руках! Я жду не дожусь, когда немец полезет. Сам спать не могу и тебе не дам, это уж как хочешь!

— Согласен, майор, — кивнул Игорь. — Не посилю и компанию тебе составлю.

— Насчет компании, к сожалению, не получится. Ты нашу задачу знаешь? Усидеть под бомбами! Залезть в землю, выдержат, не погибнуть! А когда немец пойдет, встретить его огнем... Приказывать тебе не могу, но хочу, чтобы ты в первую роту пошел. Немец, наверно, на соседа навалится, может, придется нам фланг загибать. Твердая рука требуется.

— Ладно, — Игорь прикурил, пряча под плащ-палаткой трофейную зажигалку. — Пойду в первую, побуду там с командиром.

— Лучше отдельно. Если одного накроют, то другой останется, — посоветовал Бесстужев.

Игорь кивнул, соглашаясь, и подумал о том, какими они стали равнодушными к собственной судьбе. Их тревожило, как бы не нарушилось управление боем. А то, что нарушиться оно могло лишь в случае ранения или смерти Игоря или хорошо знакомого им командира первой роты, словно бы и не касалось ни Бесстужева, ни самого Булгакова.

* * *

Второй день битвы начался иначе, чем первый. Понесся 5 июля большие потери, немцы не решились сразу бросить в атаку крупные силы. Едва взошло солнце, появились группы фашистских танков, по шесть-двенадцать штук в каждой. Эти группы пытались пробить оборону

советских войск то в одном, то в другом месте, меняли направление, но особой настойчивости не проявляли. Враг искал слабые участки в оборонительных линиях, стремился вклиниться между опорными пунктами, просочиться вперед, где это возможно. Отбить такие наскоки не составляло особого труда.

Перед батальоном Бесстужева тянулось мощное минное поле шириной в триста метров. Юрий приказал артиллеристам ни под каким видом не подпускать танки к минам, чтобы не раскритичить все поле. Артиллеристы сперва артачились, не хотели раньше времени открывать свои позиции, но Бесстужев настоял. Минное поле прикрывало батальон надежней, чем десяток орудий.

Разведку боем немцы продолжали долго. Кончилось утро, в полную силу вступил жаркий день. Температура перевалила за тридцать в тени. Артиллеристы, раздевшись до пояса, сидели в земляных укрытиях возле выложенных для стрельбы снарядов. Пехотинцы сняли нижние рубашки, расстегнули воротники гимнастерок. Кое-кто даже разулся, чтобы не прели ноги.

Ясное небо исполосовали черные хвосты дыма, оставленные сбитыми самолетами. Воздушные бои шли сразу в несколько этажей, и низко над землей и где-то под самым солнцем. Трещали очереди скорострельных авиационных пушек, наперегонки хлопали зенитки; бурные хлопья разрывов долго не исчезали в безветрии. Но сражение в воздухе шло само по себе, воздушные армады перемалывали одна другую, решая вопрос, кто сильнее.

Стрелки часов показывали ровно десять, когда на позициях противника грозными перекатами громыхнул залп. Через несколько секунд под ногами бойцов колыхнулась земля, по всей линии окопов взметнулась черная стена. Началась артиллерийская подготовка.

Бесстужев сидел в глубоком блиндаже с шестью накатами бревен и с метровой насыпью над ними. Несколько раз снаряды падали так близко, что люди валились на пол, осыпаясь сухой глиной. У Юрия заложило правое ухо, он давил на него ладонью и думал, что обидно будет помереть, не дождавшись начала атаки. Когда снаряд взорвался у входа, выбив дверь и заполнив блиндаж вонючим дымом, Юрий испытал чувство, похожее на страх. «Не сейчас. Только не сейчас!» — шепотом просил он, сам не зная кого. И хоть дал себе зарок не пить весь этот день,

отвинтил крышку фляги и сделал несколько небольших глотков. Водка приглушила тревогу.

Прошел час, но артиллерийская подготовка не прекращалась. Бесстужеву осточертело сидеть в подземелье. Он знал, что делает глупость, но все же поднялся наверх, посмотрел. В конце концов сидят же в окнах наблюдатели, он должен увидеть их, подбодрить.

Но наблюдателей Юрий не обнаружил. Во многих местах снаряды обрушили стенки окопов, погребли бойцов, спасавшихся в «лисых норах». Попалось несколько засыпанных землей трупов. Запахи дыма и горелой взрывчатки были такими острыми, что Юрия замутило. Он надел противогаз и, обливаясь потом, полез по рыхлой земле назад к блиндажу. Он был уже у самого входа, когда осколок сбил фуражку и содрал на затылке кожу. Рана оказалась пустяковой, но раздражающе ныла.

А в это время в другом блиндаже, в расположении первой роты, лежал на земляных нарах Игорь Булгаков. Была в нем глубокая вера, что снарядом его не убьет, что если он погибнет, то лишь от авиационной бомбы. Поэтому Игорь чувствовал себя совершенно спокойно. Пускал кольцами мажорочный дым, стараясь сосчитать, сколько выйдет. Но потолок был низкий, колец получалось мало, он бросил эту затею и, прислушиваясь к треску разрывов, начал вспоминать стихи. Прочитал Фета, Симонова, две главы из «Евгения Онегина», а обстрел не прекращался. Игорь истощил свои поэтические запасы, припомнил даже два стихотворения Альфреда Ермакова, подумав, что обязательно расскажет Альфреду, при каких обстоятельствах декламировал его вирши.

Едва прозвучали последние взрывы и бойцы, отряхиваясь, потянулись к выходу, раздался мощный, слитный гул авиационных моторов. Кто-то наверху насчитал больше ста бомбардировщиков и скатился вниз. Теперь уж было не до стихов. Игорь сжался в комочек и накрылся плащ-палаткой.

Только первая волна немецких самолетов отбомбилась точно. Вторую и третью волны перехватили наши истребители. В воздухе завертелась гигантская карусель. Фашисты сыпали свой груз куда попало, стремясь избавиться от него. Сбитый самолет врезался в землю возле окопов, залил горячей жидкостью пулеметное гнездо и порвав телефонную связь.

В этом аду, в грохоте, в духоте, в невыносимой пыли Игорь шестым чувством понял — надо вылезать. Подавив страх, он ощупал автомат, гранаты и пошел к двери, волоча за собой плащ-палатку. Едва поднялся по разбитым ступенькам, сразу уловил далекий еще тяжкий рокот и крикнул, обернувшись: «По местам!»

Бойцы лезли из укрытия вслед за ним, тащили пулемет, бронебойки. А команды звучали и справа, и слева, и это успокоило Игоря: значит, многие уцелели, есть кому встретить противника...

Досталось им крепко. Воронок вокруг было не счесть, но Булгаков заметил, что правому соседу, полку их же дивизии, перепало еще больше. Весь оборонительный рубеж соседа казался черным, как свежеспаханное поле. Лишь кое-где уцелели клочки зеленой степи да торчали несколько оголенных деревьев. Но и там шевелились люди, хоть немного, но шевелились. А в общем-то, Бесстужев был прав: погибать фланг батальону, наверно, придется.

К этому участку, к этой полосе, не превышавшей трех километров, было приковано сейчас внимание не только офицеров, находившихся непосредственно на передовой, но и командира дивизии, и командующего армией, и генерала Ватутина. Как только определилось направление главного удара, Прохор Севостьянович Порошин направил к этому месту свой резерв: стрелковый батальон, батальон танков и гвардейские минометы. Командующий армией приказал выдвинуть навстречу противнику стрелковый полк и истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду. А в штабе генерала Ватутина, где смотрели на обстановку гораздо шире, пришли к окончательному выводу: противник сосредоточил в этом месте свою главную группировку. То, что делали Порошин и командующий армией, могло затормозить продвижение врага, но не могло остановить его. Командующий фронтом нацелил на этот район одну из двух имевшихся у него танковых армий.

Пока принимались эти решения и отдавались распоряжения, дивизию Порошина атаковало около четырехсот танков. Половина их густой массой текла в тот коридор, который был пробит артиллерией и авиацией, остальные развернулись на флангах. За танками ехала на грузовиках и бронетранспортерах пехота, стреляя минами прямо из кузовов.

Бесстужев сразу узнал пресловутые «тигры», о которых так много говорили последнее время. Стесанные с боков башни, широкие гусеницы, углом выступающая впереди броня и непропорционально длинный хобот мощной 88-миллиметровой пушки. Вспомнилось заученное на командирских занятиях: вес танка 60 тонн, лобовая броня до 150 миллиметров — практически непробиваемая.

Ползли «тигры» медленно, спокойно, будто заранее уверены были в том, что с ними ничего не случится. Массивные и широкие, они, как щитом, прикрывали собой следовавшие за ними машины полетче. «Мала маневренность», — вспомнил Бесстужев. — Чтобы бить из пушки, поворачивается корпусом... На машинах первых выпусков нет пулеметов, вблизи для пехоты не страшны... Уязвимые места: гусеницы, борта, жалюзи.

Сквозь стену заградительного огня, поставленную артиллерией с закрытых позиций, «тигры» прошли без потерь. За их спинами горели несколько средних танков, приотстала пехота, выгрузившаяся из машин, а «тигры» двигались все так же не спеша и уверенно, гулко ухая своими длинными пушками.

Вот первая машина вползла на минное поле. Бесстужев ждал: что же будет? Под днищем танка вскинулась вдруг земля, обдав машину серым дымом. Второй «тигр» прополз было мимо, но и возле него рванули сразу две мины: он тоже остановился, дернулся назад, теряя разбитую гусеницу, и пятился до тех пор, пока на земле оказалась вся лента и катки съехали с нее.

Другие танки задержались у кромки минного поля, стреляя из пушек, начали разворачиваться влево, к тому месту, где уже вклинилась в оборону основная масса машин. И как только «тигры» повернулись бортами, Бесстужев дал команду артиллеристам.

Шестнадцать пушек ударили разом, и разом же остановились, задымили три средних танка. Снаряды попадали и в «тигров», это было видно простым глазом. Но, вероятно, велико оказалось расстояние, снаряды не брали даже бортовую броню. Однако они потревожили танкистов, те прибавили скорость, стремясь обогнуть минное поле и войти в прорыв за первым эшелоном.

Позвонил командир полка: «Бесстужев, смотри, выйдут на фланг. Сейчас туда ударят «катюши», но ты смотри! Нацеливай туда артиллерию!»

Юрий дал три красные ракеты. Первая рота начала отходить назад, занимая ход сообщения фронтом на север. Туда же поворачивались стволы пушек.

Раздробив таранным ударом соседний полк, масса немецких танков устремилась на восток. По ней били реактивные установки, ее контратаковали наши «тридцатьчетверки», но все эти события происходили в стороне от батальона Бесстужева. На его участке немцы пытались расширить прорыв, и Юрий не замечал ничего, что творилось за пределами той полосы, которую держали его люди.

Порвалась связь с ротами, кое-где в боевые порядки батальона просочились немецкие автоматчики. Бой распадался на мелкие очаги, каждый взвод и каждая батарея сражались самостоятельно, и все теперь зависело от стойкости каждого отдельного солдата и офицера. Они знали: без приказа не отходить! Да и отходить было некуда: немецкие танки продвинулись в тыл, стрельба раздавалась не только справа, но и за спиной.

Из-за дымовой завесы, со стороны пробитого противником коридора появились с десяток танков, метивших на первую роту. Конечно, роте их не удержать, нечем! Они пойдут вдоль окопов, сминая оборону...

— За мной! — приказал Бесстужев резервному взводу и побежал по ходу сообщения к зенитной батарее. Когда выскочил на земляной дворик, артиллеристы уже опустили стволы пушек и развернули их в тыл: оттуда тоже двигалась группа немецких танков.

Стрелковый взвод залег полуколемом вокруг батарей.

Танки ударили первыми. Будто пять молний, сверкнули пять выстрелов. Там, где стоял командир батареи, вспыхнул на земляной насыпи бурый дым, как срезанные, повалились люди. У крайнего орудия возился теперь только один боец.

Считанные секунды оставались до следующего залпа. Прямо по телам раненых бросился Юрий к пушке, прыгнул на место наводчика, припал к окуляру прицела. Подкручивая маховики, ниже опустил ствол, увидел в прорезь башню танка, и в это время сзади снова рванул снаряд. Юрия чуть не сбросило с пушки, в левое плечо толкнуло что-то колючее, острое, плечо онемело, но он, даже не оглянувшись, снова закрутил маховик, снова поймал в прорезь танк и надавил педаль.

Бронебойный снаряд, блеснув трассой, уколол «тигра» в лоб и, срикошетив, скользнул над ним. Расстояние быстро сокращалось. Три зенитки били раз за разом, но снаряды отскакивали от брони. Танки дали еще один залп. Умолкла пушка правой Бесстужева, умолк пулемет впереди. Юрий будто сросся с орудием всеми нервами, всем своим телом. Чуть довертывал маховик, не выпуская из прицела разрастающуюся перед ним стальную громадину. И когда танк, огибая что-то, повернулся к нему боком, вновь нажал педаль и закричал от радости: огненная трасса впилась в борт. «Тигр» вздрогнул, замедлил ход, черный дым повалил из щелей.

Бесстужев лихорадочно гнал ствол пушки влево, на следующий танк, до которого оставалось не больше ста метров. И едва надавил педаль, близкий взрыв подкинул его в воздух, бросил на рыхлую землю воронки.

Он лежал, не имея сил пошевелиться и открыть глаза, но слышал все, что происходило вокруг. Зенитки больше не стреляли. Где-то близко прогрохотали, пролязгали гусеницы, лопнули разрывы гранат. Лязг гусениц удалился, но неподалеку строчили автоматы и щелкали винтовки. Теряя сознание, Юрий понял, что бойцы уцелели, что они отбивают пехоту, и это успокоило его. Борясь с небытием, стараясь не потерять ощущения своего тела, Юрий пытался понять, что это? Неужели смерть? Но почему она наступает так тихо и безболезненно?

8

В трудную осень 1941 года, на дороге между Орлом и Мценском, впервые применил полковник Катукوف танковые засады. Немецкие машины накатывались на позиции наших стрелков, а наши танки неожиданно начинали бить по противнику с флангов. Тогда этот метод подсадила жизнь. Как бы иначе сдержал Катукوف своими пятьюдесятью машинами сотни гудериановских?

О действиях танковых засад Катукوف написал статью, которая год спустя вошла отдельной главой в Боевой устав танковых войск. И если раньше применял он засады в силу необходимости, то теперь использовал этот прием обдуманно, как одну из форм активной обороны.

Получив приказ выдвинуть свои войска на острие не-

мецкого прорыва, навстречу 4-й танковой армии гитлеровцев, в которую входили лучшие фашистские дивизии СС, такие, как «Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и еще с десяток, не имевших столь громких имен, командующий 1-й танковой армией генерал-лейтенант Катукوف доложил генералу Ватутину свои соображения. У противника много сил. У него тяжелые танки «тигр», вдвое превосходящие по весу наши «тридцатьчетверки». Выгоднее бить его не во встречном бою, а из укрытий, с места, во фланг.

Вечером немцы почувствовали, что это значит. Генерал армии Ватутин сам наблюдал за одним из таких боев. Около сотни вражеских машин черными жуками ползли на позиции наших стрелков. Артиллерия встретила их ураганным огнем, их заметало землей, но они ползли и ползли, оставив за собой лишь несколько задымивших коробок.

Головные машины перевалили окопы стрелков, начали уничтожать нашу пехоту, когда из рожи выскочили полтора десятка советских машин. Выскочили, остановились и с короткой дистанции беглым огнем ударили по бортам немецких танков. Противник сразу понял.

На поле и возле рожи Ватутин насчитал двадцать три подбитых танка. В сумерках трудно было рассмотреть, где свои, где чужие. Но ведь наших-то было всего полтора десятка.

— Подбитые машины эвакуируем и восстановим, — сказал Катукوف, стоявший рядом с Ватутиным. — При лобовой атаке наши потери были бы значительно больше. У немцев сильная артиллерия.

— Действуйте, как сегодня, — кивнул Ватутин. — Я говорил с Верховным, он приказал измотать противника и не допустить прорыва до тех пор, пока начнут активные действия Западный и Брянский фронты.

— Завтра мы продержимся, — сказал Катукوف. — И послезавтра. Но немцы наращивают силы.

— Ничего, — усмехнулся Ватутин. — Мы тоже не лыком шиты! Верховный придал нам 2-й и 10-й танковые корпуса.

Генерал Ватутин не упомянул о том, что из резерва Ставки в его распоряжение выдвигается еще и 5-я гвардейская танковая армия. Надежность обороны была обес-

печена. Однако до поры до времени Ватутин рассчитывал обойтись без этой армии. Она должна была сыграть свою роль позже.

* * *

С наступлением темноты бой ослаб, но не прекратился. На передовой все перемешалось. Во многих местах немцы продвинулись вперед, а некоторые высоты, оказавшиеся в тылу врага, еще удерживали советские бойцы. Опасно было вести артиллерийский огонь или бить реактивными снарядами: того гляди накроешь своих.

За день генерал-майор Порошин потерял половину дивизии. Один полк, оказавшийся в полосе главного удара, целиком лег под бомбами, снарядами и гусеницами танков. Второй был отрезан вклинившимися немцами и вел бой в тылу противника отдельными группами. Третий полк был отведен на несколько километров и занял новый оборонительный рубеж.

В полночь Порошин бросил вперед батальон автоматчиков и восемь оставшихся у него танков. Бойцы поспевали за машинами бегом, сходу рассеяли немецкое подразделение, скапливавшееся в балке для утреннего наступления, и меньше чем за час пробились к окруженному полку. Оттуда, с поля дневного боя, вышли с автоматчиками человек пятьсот уцелевших бойцов, вынесли столько же раненых и прикатили два десятка орудий.

Майора Бесстужева доставили на КП дивизии. Несли его на плащ-палатке четверо артиллеристов, а Игорь со своими людьми шел следом, оберегая от нападения. Бесстужев весь был обмотан серыми от грязи бинтами, на которых пятнами проступала кровь. Тот, кто перевязывал майора впопыхах, под огнем, позаботился все-таки о его документах, вырезал кусок гимнастерки с карманом и с орденом, сунул в полевую сумку. Бесстужев прижимал ее к груди, не расслаблял рук, даже когда уходило сознание.

Вздрагивая то ли от боли, то ли от холода, Бесстужев попытался доложить Порошину, как прошел бой. Но Прохор Севостьянович накрыл его шинелью и велел скорей отправить в госпиталь.

— Товарищ генерал, не посылайте! — прохрипел Бесстужев. — В госпиталь не посылайте! В медсанбат меня..

— Что? — не понял Порошин. — В медсанбате не оставят. Нельзя с такими ранами в медсанбат.

— Прошу, прикажите! Я выздоравлию! — приподнялся Бесстужев. — Из госпиталя неизвестно куда пошлют... А тут у меня все. Дивизия для меня, как дом!

Прохор Севостьянович взял горячую и влажную руку Бесстужева, сказал успокаивающе:

— Хорошо, хорошо. Булгаков, передай главному врачу — пусть оставят...

В эту ночь советские войска заняли оборону так, как не предусматривал никакой устав. Вперед выдвинулись мотострелковые подразделения танковой армии. В боевых порядках мотострелков группами стояли в засадах танки. Следом разместились артиллеристы: те дивизионы, что уцелели в стрелковых частях. Еще дальше расположились в окопах пехотинцы, которые сдерживали врага днем и успели отойти на новый рубеж. За траншеями, в кустарнике, замаскировались танки резервной бригады. Потом позиции «катюш», дальнобойной артиллерии...

Имеются ли сзади другие войска, Прохор Севостьянович не знал, но и того, что он видел, было достаточно, чтобы сдержать противника еще сутки. А сутки при такой битве, при такой концентрации войск — это большой срок.

* * *

Наступивший день принес с собой все, что было вчера. Опять завывали в дымном небе самолеты и сыпались бомбы, опять раздирал уши грохот разрывов, опять горела земля и ползали черные танки. Только злобы и ожесточения в этот день было еще больше.

Немецкие танки шли на штурм лавинами, по сотне, по полторы, сразу в нескольких местах. Немецкая артиллерия прокладывала им путь стеной огня. Такую же стену ставили на пути врага наши артиллеристы. Завеса огня и дыма катилась вперед вместе с танками.

Гитлеровцы пробивались вперед буквально метрами, но все-таки пробивались, вгрызаясь в нашу оборону. Едва захватывали они один рубеж, впереди возникал другой. Фашисты подтягивали новые силы и начинали новый штурм.

Когда противник приблизился к траншее, которую занимали сейчас ослабленные остатки поредевшего бесстужевского батальона, врага контратаковали (в который раз!) наши танки. Зеленый быстроходный Т-34 несся

навстречу черной приземистой машине. Оба танка были покрыты вмятинами. У обоих молчали пушки, кончались, видимо, снаряды.

Сближались они стремительно, с двух концов заглатывая гусеницами искалеченную землю. Игорь следил напряженно: кто не выдержит, кто отвернет?

Они не отвернули. Танки столкнулись со скрежетом, с лязгом, с треском. «Тридцатьчетверка» с разгона влезла на броню немца, подминая его под себя. Игорь так и не понял, какой танк взорвался первым, но запылали они оба, вспыхнуло в них горючее. Огонь быстро растекся вокруг, вздыбился высоко вверх и никого не выпустил из стальных коробок.

9

Короткий, но сильный дождь освежил воздух, вновь горячо засияло солнце. Из молодого березняка тянуло парным запахом влажной теплой листвы. На плексигласе кабины радужно сверкали чистые капли.

Сергей Панов откинулся на бронеспинку, потом подался вперед, удобней устраиваясь на сиденье. Посмотрел на ведомого: тот помахал рукой — все в порядке.

Оторвавшись от стартовой дорожки, самолет плавно пошел ввысь. Быстро уменьшались дома, будто сжимались рощи и перелески, зато так же быстро расширился горизонт.

Как всегда в воздухе, старший лейтенант Панов ощутил свободу и легкость. Земля стесняла его. Там было слишком тесно, слишком много предметов вокруг, слишком мала скорость. А наверху — простор бескрайний, свобода полная, без всяких ограничений. Тут он чувствовал себя полным хозяином и, будь его воля, летал бы с утра до вечера, тем более на новеньком «яке»! Машина маневренная, легкая, послушная, с мощным вооружением. И, пожалуй, самое главное, скорость у нее больше, чем у любого немецкого истребителя.

Раньше Панов летал на американском «харрикейне». По сравнению с «яком» это была просто неповоротливая телега. Панов считал себя прирожденным летчиком-истребителем, но за год сбил на «харрикейне» всего пять немецких машин. Из них три тихоходных транспортника. А на Курской дуге записал на свой счет шесть машин за

шесть дней! Это была настоящая работа, ничего не скажешь!

Вообще хлопцы дрались, как звери! Вчера радио сообщило: за четверг 8 июля в районе Курска сбит 161 самолет противника! Трудно даже представить такое количество машин. Целая дивизия, а то и больше! Немцам не дают хозяйничать в воздухе. Только они появятся, наши уж тут как тут, и начинается между небом и землей смертельная драка до последнего патрона, до сухих баков.

В своем полку Сергей Панов имел пока что самый крупный боевой счет. Молодые летчики еще только оперялись. Опытные ребята действовали осторожно, расчетливо, наверняка. Это был костяк полка, надежные товарищи в бою. Панов уважал их, но втайне чувствовал свое превосходство над ними. Не видел он в них настоящего таланта. Они воевали без особого подъема, без увлечения, по долгу службы. А для него каждый полет, каждый бой был праздником, торжеством смекалки, ловкости, смелости. Невероятно обострялась интуиция. Даже не оглядываясь, он видел, предчувствовал, что происходит вокруг и откуда грозит опасность.

Давно, «на гражданке», Сергей прочитал в какой-то книге, что мужчины маленького роста бывают обидчивы, самолюбивы, стремятся выделиться и поэтому часто добиваются крупных успехов на жизненном поприще. Там говорилось даже, что все вожди и правители, получившие власть не по наследству, выдвинувшиеся в ходе борьбы, были, как правило, малорослы.

Это, наверно, правда. Обидчивость и стремление показать себя проявились у Сергея еще в начальной школе. Он был самый маленький в классе, к тому же еще остроносый и лохматый, над ним часто посмеивались. Он, затаившись, думал ехидно: «Ну и пусть, все равно я умней вас!»

Он старался быть первым во всем. Лучше всех играл в чеканку и в «чижика». В мальчишеских свалках дрались неистово, избитый в кровь бросался на сильных ребят и побеждал своей яростью. Повзрослев, начал заниматься боксом, играл в футбол, часами возился с гантелями, набивая мускулатуру. При этом учился первым в классе, чтобы его портрет не снимали с доски отличников.

После школы он поступил на завод, на тот самый, где работал отец. И здесь Сергей тоже стремился выделиться,

опередить сверстников. Через год он стал слесарем-стахановцем. Во время торжественных собраний его выбирали в президиум, он сидел там рядом со старыми заслуженными рабочими.

Молодежь увлекалась авиацией. Летчик Чкалов был прямо-таки кумиром. «Буду, как он!» — решил Сергей и пошел без отрыва от производства учиться в аэроклуб. Его сразу оценили. Панов «чувствовал воздух», как выразился инструктор. Потом была летная школа, потом война...

И вот теперь Сергей Панов стал асом. В небе он весел и спокоен, тут он король. А на земле — все тот же раздражительный низкорослый паренек с острым носом, с круглыми, неприятно-пронзительными глазами, ко всему прочему еще самоуверенный и заносчивый. Таким он казался себе рядом с товарищами, особенно если находился в дурном настроении.

Прожив двадцать два года, он встречался только с одной женщиной, красивой и полнотелой официанткой из командирской столовой. Он был слишком наивен, искренен в таких делах и почти влюбился в нее, но скоро понял, что официантка к нему равнодушна. Просто сблизились они случайно, после вечеринки. Она спала с ним, а думала о другом. Через неделю сказала брезгливо, что он воробей и пусть ищет себе воробыху. Сергей понял, вспыхнул и ушел, затаив ненависть ко второй половине рода человеческого.

Официантку вскоре уволили за то, что она слишком часто меняла поклонников. А Сергей потом называл женщин не иначе, как бабами, и считал, что все они на одну колодку и всем им нужно только одно. Исключение составляла лишь девушка из санитарного поезда, Настя Коноплева, которую он вспоминал с каким-то теплым, радостным чувством. У нее были необыкновенные глаза: чуть раскосые, серьезные и очень чистые. Он хорошо представлял их себе, они успокаивали его, как успокаивало ощущение полета... Думать о Насе приятно, однако пора и сосредоточиться. Истребители шли на высоте пять тысяч метров над редкими кучевыми облаками. Внизу была линия фронта, виднелся дым, ломаные линии траншей, но вскоре все осталось позади. Пронеслась слева группа самолетов: то ли «петляковы», то ли «мессершмиты-110». Они так похожи друг на друга, что и вблизи

различить трудно. Панову некогда разбираться. У него своя задача, своя цель.

Третий раз вел Панов звено истребителей на «свободную охоту» в немецкий тыл. Полет ответственный. Внизу враг, внизу немецкие аэродромы. Свои далеко, помощи не попросишь. Полк ведет воздушный бой в районе Прохоровки. Когда начнет иссякать горючее, и наши, и немецкие самолеты повернут к своим аэродромам. Летчики устали. Боевое возбуждение улеглось, внимание притупилось. Летчик думает только о том, как посадить машину и отдохнуть. Это самые удобные минуты, чтобы неожиданно броситься на противника с высоты, из-за облака, ударить длинной очередью с короткой дистанции, хладнокровно, наверняка...

«Мессеры» появились с востока, когда звено Панова сделало несколько кругов над облаками. Восемь тонкохвостых машин с черными крестами на длинных фюзеляжах шли ниже «яков» и, торопясь домой, не заметили ожидавшую их опасность.

Панов не спешил. Он вовсе не хотел втягиваться в длительный бой, рисковать людьми и машинами над вражеской территорией. Он следил за немцами. Вот ведущий распустил «мессеров» на посадку. Снизилась первая пара, за ней начала снижаться вторая.

— За мной! Бить всем! — скомандовал Сергей, бросая свой «як» вниз, в разрыв между облаками.

«Мессершмитт» быстро увеличивался в прицеле. Секунда, еще, еще... Перекрестье сетки накрыло кабину летчика, и в это мгновение Сергей нажал на гашетки. Две длинные пулеметные очереди легли точно, немецкий самолет вспыхнул и круто пошел вниз.

Набирая высоту, Панов оглянулся. К земле, вытягивая дымные хвосты, падали три «мессера». Все «яки» шли за командиром.

— Нормально! — крикнул Панов. — Нормально, ребята! Сделали три панихиды! Теперь домой!

У них еще оставались горючее и патроны, но путь предстоял долгий, могли быть всякие встречи. Конечно, на «яке» нетрудно оторваться от преследования, но Панов имел твердый принцип: от врага не бегать! Даже если нет патронов, заходи в ложную атаку, нависай сверху, действуй на нервы!

Они уже миновали линию фронта, когда ведомый до-

ложил, что видит шесть бомбардировщиков «хейнкель-111». Сергей мельком взглянул на часы: в запасе несколько минут, можно произвести атаку. Но без затяжного боя, в один заход.

— Бить самостоятельно! Иду на ведущего! — крикнул он.

Самолеты сближались стремительно. Засверкали огоньки встречных выстрелов. Сергей поймал «лоб» бомбардировщика в перекрестье прицела и нажал спуск.

Секунда — и враг позади. У одного отвалилось крыло, и он штопором падал к земле, словно намереваясь пробурить ее. Все «яки», выдерживая строй, шли вслед за Пановым. Старший лейтенант удовлетворенно хмыкнул. «Вот чистая работа! Соображать нужно! Сперва головой выстрелить, потом пулеметом!..»

В этот день их поднимали в воздух раз за разом. К вечеру летчики измотались. Взабавляли себя шоколадом. Сергей съел целую плитку, чуть не стошнило. В минуты отдыха, пока техники осматривали «яки», направляли их горючим и боеприпасами, летчики валялись в тени на траве, вялые и распаренные. Есть никому не хотелось, только пили холодный квас, который официантки приносили прямо к машинам.

А потом снова команда, снова в воздух!

Шестой вылет они сделали в район Прохоровки. Там творилось что-то невообразимое. Земля затянута была черной клубящейся пеленой: дым, копоть и гарь поднимались высоко в небо. Сквозь редкие «окна» виднелись танки: множество танков, и двигавшихся, и стоявших на месте. Куда ни глянь — пламя, машины, люди.

«Тесно» было и в небе. Под редкими облаками, в мутном законченном воздухе носились самолеты всех типов. Косяками плыли тяжелые «юнкерсы», ссылая вниз бомбы. На плотные косяки вражеских бомбардировщиков, стараясь рассеять их, бросались «яковлевы» и «лавоочкины». Мелькали «мессеры» и «фокке-вульфы», «петляковы», «ильюшины», «хейнкели». Тут было все, что накопили противники, готовясь к решающей схватке.

Сумятицу и неразбериху усугубляло еще и то, что снизу были зенитные пушки и пулеметы. Били наугад, не видя за дымом, где свои, где чужие. Рядом с синим дымком русских снарядов вспыхивал черный дым немецких зениток.

Сергей вел свое звено в самую гущу боя, издалека выбирая цель. Вспомнились вдруг слова Насти, что с воздуха и кровь не увидишь и стоны не расслышишь. Так она сказала после кино... Вот посмотрела бы она на эту бесшумную коловерт, на этот кусок неба, где исчерчен пулями, снарядами и осколками каждый метр!

Грузный двухмоторный «юнкерс» открыл огонь первым, одновременно разворачиваясь и пытаясь уйти. С бортов бомбардировщика потянулись к «яку» длинные трассы. Сергей бросал машину то вправо, то влево, быстро настигал немца, мешая ему вести огонь на участке сближения.

А потом — рывок! Он уже не видел трасс, забыл на несколько секунд обо всем, видел перед собой только прицел. Длинная очередь по левому мотору. Короткая — по правому. Разворот через крыло. Взгляд назад: «юнкерс» падал, оставляя за собой две черных, быстро расширявшихся полосы.

Ведомый следовал за Пановым, но еще двух машин, которые он привел с собой, не было видно, и они не отвечали по радио. А может, просто Сергей не слышал их: эфир полон был криков, команд, ругани, трещали в нем грозные разряды.

Да и некогда было разговаривать. Два быстрых «фоккера» шли на старшего лейтенанта сверху, имея преимущество в скорости. Уклоняясь от удара, он бросил машину в кике, потом почти отвесно полез вверх.

Но и немцы были, видно, опытными летчиками. Они носились за ним, надеясь «зажать» с двух сторон, а ему даже нравилась эта рискованная игра. Стремясь зайти в хвост «фоккеру», он гонял машину на пределе, ломал линию полета так круто, что закипал и белой пеной срывался с консолей воздух, а перегрузка вдавливала в кресло его маленькое худощавое тело.

Он настигал врага, но «фоккер» уходил от него в самый последний момент, то вилял в сторону, то резко проваливался вниз. Теперь уже не фашисты, а сам Панов был захвачен погоней. Ни он, ни его ведомый не заметили в азарте, как высоко над ними появились еще два «фоккера» и начали разворот, выходя для атаки на встречно-пересекающемся курсе.

Сергей всадил все-таки очередь в немца, радостно вскрикнул, когда брызнули в стороны куски хвостового

оперения и «фоккер», потеряв управление, клюнул вниз своим отяжелевшим носом. Но почти в ту же секунду промелькнула над Пановым черная тень, возникли вдруг на крыле рваные пробоины, со звоном разлетелись стекла на приборной доске, бедро обожгло такой болью, что Сергей скорчился на сидении, почти потеряв сознание. Самолет ринулся вниз, но Панов снова взялся за управление.

— Ранен! Я ранен! Прикрой! — крикнул он ведомому. «Фоккер» уже развернулся и опять шел на него в лобовую атаку. И тогда Сергей, забыв про боль в бедре, направил свою машину навстречу гитлеровцу. «Фоккер» хлестал прямо в лицо пулеметным огнем, но Сергею было безразлично. У него осталось несколько снарядов, он мог стрелять только наверняка. И он вцепил эти снаряды в мотор немца.

Они проскочили так близко один от другого, что машину Панова даже качнуло воздушной волной. Не столкнулись они просто чудом. Сергей подумал об этом, хотел посмотреть, как падает «фоккер», но боль в бедре вспыхнула с такой силой, что он не смог сдержать стон. Тревожный голос ведомого звучал в наушниках:

— Что с тобой? Что? Ты дотянешь?

Он вел машину, как во сне, вел по привычке, по интуиции, ничего не соображая. Было такое ощущение, словно тело его от бедра до самого мозга пронзил тонкий раскаленный прут. Сергей будто горел внутри, так жарко и душно было ему. Он даже подумал: зачем мучиться? Хотел достать пистолет и прервать эту невыносимую боль, нырнуть в бесчувствие, в тишину. Но ему жаль было машину, такую умную, сильную и послушную. На ней еще летать да летать...

Смутно, как сквозь туман, различил Сергей знакомый аэродром, белые полотнища посадочного «Т». На этом заметном знаке он сосредоточил все внимание: то видел его отчетливо, резко, то знак расплывался, превращаясь в белесое колеблющееся пятно среди зеленоватого сумрака.

Приземлился он благополучно, хотя правая нога совсем не подчинялась ему. У него еще хватило сил нажать левую педаль и отклонить машину в сторону, чтобы освободить место для посадки ведомого.

Вот уже неделю без пауз, днем и ночью, бушевало Курское сражение, заглатывая и сжигая все новые и новые войска. На севере, в районе Орла, немцам удалось продвинуться всего на шесть километров. На юге, возле Белгорода, они вклинились в позиции обороняющихся на три десятка километров, однако и тут рано было говорить об успехе. Немцы сделали большую вмятину в позициях советских армий, но так и не вышли на оперативный простор.

Генерал Манштейн недаром считался одним из лучших гитлеровских полководцев. Трудно изменить в ходе боев направление главного удара, сделать это неожиданно для противника, но Манштейн решился на такой шаг. Две группировки, наступавшие в сторону Курска, должны были продолжать свои действия, отвлекая внимание русских. А тем временем, в темноте, тайно, огромный кулак сосредоточивался возле населенного пункта Прохоровки. Сюда были брошены резервы, сюда подтянулись дивизии, снятые с флангов.

На участке шириной менее десяти километров Манштейн собрал тысячу танков и самоходных орудий, не считая бронетранспортеров, артиллерии, минометов. Сто танков на километр — такого еще не бывало!

Этот тяжелый бронированный каток, следуя за огненным валом, должен был раздавить оборону советских войск, обойти с востока город Обоянь и наступать на Курск.

В ночь на 12 июля, перед началом решающего сражения, Манштейн уснул спокойно первый раз за неделю. Он мог позволить себе отдых: наступление подготовлено, никаких осложнений произойти не должно. Даже если русские раскрыли его планы, они ничего не смогут сделать. Армии Воронежского фронта, ослабленные в боях, связаны по рукам и ногам теми дивизиями, которые продолжают атаковать их. Разведка гарантировала, что в двухсоткилометровой полосе, прилегающей к фронту, у русских нет сейчас крупных бронетанковых соединений, способных отразить удар.

Он был прав, этот расчетливый и решительный полководец, с точностью аптекаря взвесивший все шансы. Он не учел только того, что советские войска стали теперь не

такими, как в прошлом году, и даже не такими, как минувшей зимой. Он не учел, что ими командуют генералы, умеющие мыслить, рассчитывать и руководить по меньшей мере не хуже, чем сам Манштейн.

Немцы еще не начали свою тайную перегруппировку, а генерал Ватутин уже предвидел ее. Логика, опыт, знание противника подсказывали ему, что так продолжаться не может. Враг находится в тупике, он должен решиться на новый шаг, на новый бросок.

В штабе Манштейна еще только готовился приказ, а на карте Ватутина стоял уже знак вопроса, точка которого приходилась на Прохоровку. «Почему именно здесь? — спрашивал себя генерал и отвечал: — Потому что здесь удобная местность, потому что здесь они могут добиться решительного успеха, потому что здесь мы не ждем их».

Но предугадать — это еще далеко не все. Как задержать и уничтожить тысячу танков, массы войск, неисчислимое количество пушек и минометов — все, что бросит в атаку Манштейн? Какой бы прочной ни была оборона, нет гарантии, что она устоит под ударом такой силы. В конце концов противник просто уничтожит все, что находится перед ним, пропадет себе дорогу шириной в десять километров и пройдет вперед.

Ватутин принял решение, удивившее сначала не только его штаб, но и Ставку Верховного Главнокомандующего. Вместо упорной обороны — наступать! Атаковать немцев, нарушить их планы, вырвать инициативу. Фашисты ослабили свои фланги — тем лучше. По флангам ударят те армии, которые всю неделю сдерживали врага и понесли потери. А на главное направление выйдут свежие силы, которые сберегались до решающего момента.

Получив подкрепления из резерва Ставки, генерал Ватутин направил в район Прохоровки 5-ю гвардейскую общевойсковую армию. По тыловым дорогам форсированным маршем двигались колонны машин 5-й гвардейской танковой армии. 850 танков вел навстречу врагу генерал-лейтенант Ротмистров. Три с половиной сотни километров армия прошла единым рывком, почти не имея отставших, прямо с ходу заняла боевые позиции. На поддержку танковой армии спешили еще два танковых корпуса. Появившись неожиданно для противника, бронетанковые

войска должны были сыграть решающую роль в предстоящей схватке.

Для поддержки наземных войск на район Прохоровки была нацелена почти вся авиация Воронежского и Центрального фронтов.

Утром 12 июля, едва взошло солнце, в воздух поднялись армады бомбардировщиков. С запада летели немцы, с востока — русские. Самолеты шли сотнями, волна за волной. Они бомбили и обстреливали до тех пор, пока летчики перестали видеть, что делают: огромный участок местности был затянут густыми клубами дыма и пыли. Едва лишь эта черная пелена начала редеть, с обеих сторон раздались орудийные залпы. Снова загрохотал возле Прохоровки огнедышащий вулкан, выбрасывая пламя, дым, копоть.

Бомбы и снаряды уничтожили и сожгли все: на позициях советской и немецкой пехоты не осталось ни людей, ни пушек, ни пулеметов. Не осталось даже самих траншей: их сравняло с землей.

Немцы пробили коридор для своих танков. Советские летчики и артиллеристы проложили путь для своих броневых машин.

Так началось Прохоровское танковое сражение, самое крупное в истории; началось великое избиение, в котором люди становились крепче машин, а машины проникались человеческой яростью.

Немцы бросили в атаку 700 танков. Танки ползли в несколько рядов, заполнив все пространство между рекой Псел и железнодорожной насыпью. Вслед за ними, невидимые в пыли, двигались бронетранспортеры с пехотой.

Нырять в овраги, поднимаясь на холмы, эта лавина катилась вперед упрямо и неудержимо, сотрясая притихшую землю. А навстречу врагу, набирая скорость, шли советские «тридцатьчетверки». Их было столько же, сколько немецких машин. Семьсот на семьсот!

Выстрелы полутора тысяч орудий слились в сплошной рокочущий гул.

«Тридцатьчетверки» неслись на полной скорости, стремясь сократить дистанцию. И когда немцы, не ожидавшие такой встречи, опомнились от неожиданности, советские танки были уже рядом. Фашистские «тигры» лишились главного своего преимущества. С короткого рас-

стояния «тридцатьчетверки» пробивали их мощную броню.

В дыму, в грохоте, в треске столкнулись две лавины. Было так тесно, что некоторые машины налетали друг на друга, таранили, переворачивались.

Советские танки прошли сквозь вражеский строй и, развернувшись, начали бить немцев с тыла. На помощь врагу спешили машины второго эшелона. На помощь «тридцатьчетверкам» шли резервные батальоны тяжелых танков.

За этим побоищем трудно было следить со стороны, дым и пыль скрывали его плотной завесой. А тот, кто находился в самой гуще схватки, видел только какие-то фрагменты ее.

Там не подбивали, а разбивали. Пушки стреляли почти в упор. Машины ползали среди пылающих, чадающих коробок как по огненному коридору, разыскивая себе цель.

Лишь под вечер начали возвращаться на сборные пункты танки с обгорелой, пошелушившейся краской, покрытые вмятинами. Отравленные пороховыми газами люди с трудом вываливались из люков, стояли на земле покачиваясь, как пьяные, с удивлением озираясь. Они еще не верили, что вырвались из гремящего пекла, не верили, что может быть такая тишина и такой мирный запах вечернего леса...

Нельзя было определить сразу, кто победил в этой битве. На поле между рекой Псел и железной дорогой остались триста пятьдесят немецких танков, догоравших впоследствии с советскими танками. Около десяти тысяч убитых немцев лежали там рядом с погибшими советскими воинами.

Это сражение, казалось, не принесло успеха ни тем, ни другим. Но результаты его проявились уже на следующий день. Немцы бросили под Прохоровку все свои силы, сожгли там свои последние танковые резервы. Они вынуждены были остановиться и зализывать раны. А войска Воронежского фронта и его танковые соединения полностью сохранили свою боеспособность. 5-я гвардейская танковая армия за одну ночь привела в порядок корпуса, подтянула мотострелковые части.

На следующее утро вновь загрели пушки, снова началась артиллерийская подготовка. Но на этот раз в атаку пошли не фашисты, а советские батальоны. Под их

натиском немцы медленно попятились назад, оставляя территорию, за которую заплатили столь дорогой ценой.

Возможно, Манштейну и удалось бы собрать еще раз сильную группировку, еще раз ударить по армиям генерала Ватутина, но неудачи следовали одна за другой. Советские войска Западного и Брянского фронтов прорвали немецкие позиции и повели решительное наступление на Орел. Теперь немцам было не до атак, теперь они думали только о том, как отразить натиск русских.

12 июля 1943 года произошел тот перелом, который был подготовлен всем предыдущим ходом событий. Если битва на Курской дуге явилась как бы кульминационным пунктом войны, то самой высшей точкой ее оказалось танковое побоище под Прохоровкой. Здесь советские войска окончательно вырвали инициативу из рук противника. Отсюда, с овражистого поля возле реки Псел, началась дорога, которая вела только на запад.

11

В густом саду, прямо среди яблонь, саперы вырыли деревянные скамьи. Принесли из дома стол с красным сукном, несколько стульев. Командиры соединений, вызванные на совещание, пошучивали: вот это обстановочка, как в раю!

Над головой — чистое небо. Солнечные блики, прорвавшиеся сквозь листву, спокойно лежали на высокой траве. Фронт близко, но не слышно канонады, не слышно гула моторов. Затишье.

Прохор Севостьянович, чуть приподнявшись, сорвал с ветки темно-красную вишню, так налитую спелым соком, что того гляди лопнет тонкая прозрачная кожица. Вишенка была мягкой и горячей от солнца.

Сосед Порошина, тоже генерал-майор, вел себя как школьник-шалун на уроке. Внимательно смотрел на командующего фронтом, прямо-таки грыз его глазами. Но едва Ватутин отворачивался, генерал, продолжая истошно пилить на него глаза, запускал руку в куст малины, рвал ягоды, а потом кидал их в рот пошутно, как семечки, и улыбался, довольный своей проделкой.

Генерал армии Ватутин подводил итоги оборонительного сражения, рассказывал не спеша, по памяти, лишь

изредка заглядывая в бумажку — за цифрами. Новый танковый комбинезон плотно облегал его невысокую фигуру, ветер шевелил мягкие, коротко постриженные волосы, нарушая аккуратный пробор.

Говорил Ватутин о делах приятных, голос его звучал весело. Теперь действительно можно и порадоваться: замысел врага сорван, планы немцев на летнюю кампанию рухнули. На Воронежском фронте противник отброшен на те рубежи, с которых начал наступать 5 июля. Там у врага хорошо подготовленные позиции. Гитлеровцы уверены, что отсилятся в обороне. Выбить их будет нелегко. Но нужно. И притом в ближайшее время...

Порошину очень понравились вишни. Сорвал еще несколько штук. Косточки сплевывал в ладонь. Ватутин недовольно покосился на него. У Прохора Севостьяновича рука замерла на полдороге ко рту. И смешно, и обидно, до чего же глубоко вьелся рефлекс повиновения. А ведь обстановка непринужденная, генералы курят, даже переговариваются.

Он усмехнулся, поднял руку и сорвал еще две вишни. Ватутин снова посмотрел на него. Сперва строго. Потом полное лицо расплылось в улыбке, весело блеснули щелчки-глаза.

Командующий умолк, остановился возле деревца и пригнул к себе ветку. Спелая ягода лопнула у него на губах, красная капелька сока упала на подбородок.

— Вкусно, — сказал он. — Такие даже до базара не довезешь. Через пару дней осыпаться начнут.

— Товарищ генерал, — негромко и жалобно протянул адъютант, — немцы ведь...

— Ничего, ничего, — будто защищаясь, вытянул короткую руку Ватутин. — Вон Прохор Севостьянович целую пригоршню съел.

— Первый раз в этом году пробую, — приподнялся Порошин.

— На доброе здоровье. Угощайтесь, товарищи, — предложил Ватутин и снова спокойным и ровным голосом повел речь о предстоящей операции. Он почти не касался деталей наступления, он хотел, чтобы командиры соединений глубоко уяснили задачу, стоявшую перед фронтом, и общие принципы действий при выполнении этой задачи.

В оборонительных боях Воронежский фронт понес серьезные потери. Большого пополнения людьми не ожн-

дается. Поэтому сейчас особенно нужно беречь бойцов. После прорыва вражеской обороны не следует ввязываться в затяжные бои за укрепленные пункты. Надо обходить их, оставлять в тылу, навязывать врагу схватки там, где выгодно нам. Это — аксиома. Кроме того, мы слишком увлекались частными операциями по захвату отдельных высот, населенных пунктов, участков местности. Результаты таких операций незначительны, а войска изматывают свои силы. Подсчитано, что половина наших потерь приходится как раз на эти частные операции, которые не имеют далеко идущих целей. От такой практики надо категорически отказаться. Следует наступать только в том случае, если можешь добиться оперативного или стратегического успеха. Тогда концентрируй силы, вводи в бой все, что есть. А за частные операции, даже удачные, без которых можно было обойтись, впредь штаб фронта будет взыскивать со всей строгостью.

«И совершенно справедливо, — мысленно одобрил Порошин. — Сколько раз звонил, бывало, командующий армией. Захвати, мол, деревню! Зачем? Пусть немцы видят, что мы не спим... Цель сомнительная, а люди гибнут в атаках...»

Прохор Севостьянович считал удачей, что ему довелось служить под командованием Ватутина и в мирное и в военное время. Ватутин всегда искал новое. Пленные немецкие офицеры называли его «коварным генералом». Скрупулезные немецкие штабники, анализируя его действия, никак не могли предугадать его следующий ход. Он был из тех полководцев, для которых война — творчество.

На этом совещании Прохор Севостьянович получил особую задачу. «По знакомству, — сказал Ватутин. — Самую ответственную работу вам доверяем». Сказал полшутя, но дело действительно было серьезным, и Порошин оценил доверие командующего. Требовалось имитировать сосредоточение в районе Суджи танковой и общевойсковой армий. Имитировать так, чтобы привлечь внимание вражеской разведки и в то же время сыграть тонко, «по-настоящему», чтобы немцы поверили. Для этой цели, кроме дивизии Порошина, командующий выделил танковую бригаду.

Немецкие разведывательные самолеты, поднявшиеся в воздух рано утром, обнаружили густые колонны пехо-

ты, танков и артиллерии. По параллельным дорогам шли грузовики. Войска и техника передвигались с востока на запад, по направлению к Судже.

Советские истребители отогнали разведчиков. Но немцы потом несколько раз посылали для проверки свои скоростные машины. Днем дороги опустели, но наблюдатели все же заметили еще одну колонну танков, обнаружили советские части, остановившиеся на привал в рощах и населенных пунктах. На станцию Локинская, севернее Суджи, прибыло несколько железнодорожных эшелонов. Аэрофотоснимки показывали, что из них выгружают орудия и ящики с боеприпасами.

Немцы встревожились, усилили авиационную и радио-разведку. В штабах накапливались сведения. Поступили доклады о работе четырех мощных русских радиостанций, появившихся вблизи линии фронта. Потом их стало шесть, потом восемь. Почти не оставалось сомнений, что русские скрытно сосредоточивают силы для наступления. Немецкое командование приняло ответные меры. В угрожаемый район были направлены две дивизии, спящие с других участков. Авиация получила приказ нанести бомбовые удары по станции Локинской, по лесам и деревням вокруг нее, где могли маскироваться русские части.

И невдомек было немцам, что колонны войск, днем тянувшиеся к Судже, ночью уходят обратно, чтобы с рассветом снова начать ложный марш. И невдомек было немцам, что на станции Локинской выгружают из эшелонов деревянные макеты танков и пушек и пустые ящики из-под снарядов. Фашисты бомбили станцию по четыре, по пять раз в сутки, производили ночные налеты. И это несмотря на плотный зенитный огонь, на атаки истребителей, прикрывавших станцию.

Фашистские летчики разбили два эшелона, во многих местах повредили рельсы и стрелки. Но русские упорно восстанавливали повреждения и гнали на Локинскую новые составы. Это упорство, ожесточенность воздушных боев над районом Суджи окончательно убедили фашистов, что наступление начнется именно здесь и в самое ближайшее время. Они нацелили сюда всю свою авиацию, почти прекратив полеты над другими участками.

А в это время Воронежский фронт производил крупнейшую перегруппировку, стягивая войска туда, где готовился главный удар. Передвигались сразу несколько

общевойсковых и танковых армий. Южнее воронежцев развернулся и приготовился к наступлению на Харьков выведенный из резерва Степной фронт. Но немцы, загипнотизированные Суджей, ничего не замечали.

3 августа, в тот день, когда войска Брянского и Западного фронтов вышли на подступы к Орлу, Воронежский и Степной фронты обрушили на головы гитлеровцев согласованный удар авиации и артиллерии. Поднявшаяся затем в атаку пехота и танки за несколько часов прорвали главную полосу вражеской обороны. К вечеру в прорыв вошли подвижные войска и быстро устремились вперед, на Белгород и Богодухов.

Для немцев наступление оказалось таким внезапным, что в первые сутки они не смогли предпринять никаких контрмер.

Ночью проголодавшийся Ватутин выкроил немного времени, чтобы сесть за стол и поесть по-человечески, не всухомятку. Он с удовольствием хлебал холодную окрошку, поглядывая на чистый лист карты, которым штабные офицеры только что надставили старый затертый лист. Со старого на новый уже пробился острый конец красной стрелы. А на левом краю карты, у самого обреза, голубой жилкой протянулась сверху вниз река Днепр. Генерал щурил глаза, словно прикидывая расстояние.

* * *

На то время, пока майор Бесстужев лежал в медсанбате, Игорь, с разрешения начальника политотдела, остался в его батальоне. Напросился помочь молодому лейтенанту, временно исполнявшему обязанности комбата, и пожалел. На станции Локинской немцы сильно потрепали им нервы. За четверо суток восемнадцать раз налетали бомбардировщики. Каждый день гибло десятка полтора людей. Хуже чем на передовой. Там хоть знаешь, за что страдаешь, а тут перетаскивали с места на место пустые ящики, сгружали деревянные пушки и ставили их на «огневые позиции».

Солдаты ворчали: начальство игру придумало, а смерть — настоящая. Игорь работал вместе со всеми, объяснял людям, как важно ввести противника в заблуждение. А сам со страхом прислушивался: ну вот, снова летят!

Можно было, конечно, вернуться в политотдел. Да не-

удобно перед солдатами. Не будешь объяснять им, что до сих пор никак не привыкнет старший лейтенант к вою бомб, с трудом сдерживает страх при бомбежках. Для солдат это тоже удовольствие ниже среднего. И если взялся за гуз, не говори, что не дуж!

Когда началось наступление, дивизия Порошина за сутки привела себя в порядок. Ночью подошли танки, прибыла колонна грузовиков. Солдаты разместились на броне, до отказа набились в кузова. Поехали на запад, в прорыв, догонять ушедшие вперед части.

Ехали прямо среди бела дня, под прикрытием истребителей, игравших парами в небе. Навстречу гнали пленных. Игорь всматривался в их лица. Газеты писали, что тут у немцев действовали отборные войска. И правда, среди пленных много крепких ребят от двадцати до тридцати лет. Но много и разнобоя. Попадались и желторотики лет восемнадцати, и «сорокоты» — лет под пятьдесят.

Колонна двигалась среди пшеничных посевов, полегших под колесами, под гусеницами и солдатскими сапогами. Канонада погромыхивала далеко слева, за меловыми холмами, у Белгорода. А впереди — тихо. Изредка встречались раненые на подводах. Говорили, что тут у немцев разрыв и наши идут ходом, опередив соседей километров на двадцать.

В каком-то селе возле белых, аккуратных мазанок стояли немецкие машины. Тяжелые грузовики, вездеходы, легковушки, броневики. Немцы бросили их, не успев по своему обычаю взорвать моторы. И чем дальше на запад, тем больше видел Игорь брошенной техники. Даже целехонькие танки стояли возле дороги: какие-то легкораненые бойцы фотографировались на броне «тигра».

В низине у деревянного моста через ручей работал под доглядом советского сержанта мощный немецкий трактор-тягач, подтягивал ближе к дороге черные трехосные грузовики, брошенные на лугу. Пока ожидали очереди у въезда на мост, Игорь поговорил с сержантом: почему это немцы машины оставляют? На своих двоих быстрее управятся, что ли?

— Горючего у них нет, — охотно объяснил чернявый сержант, которому наскучило молчать возле пленного тракториста. — Вот этот фриц, — подбородком указал он, — говорит, что всю неделю ни горючего, ни боеприпасов не доставляли. На партизан жалуются, как я понял. Чух-чух,

чух-чух, — цистерны по железной дороге идут. Пиф-паф! — нет цистерн, — расхохотался сержант. — Эгей! — крикнул он немцу. — Пиф-паф партизаны?

— О, ja, ja! — охотно закивал тракторист.

С юга, над долиной ручья, шли два самолета, два штурмовика с красными звездами на крыльях. Возле моста они замедлили скорость, сделали круг, опустились ниже. От головного самолета отделился какой-то маленький черный предмет. Упал он метрах в тридцати от Игоря.

Подбежали вместе с сержантом, посмотрели: лежит на траве старый кожаный бумажник. Игорь открыл его, вытащил лист бумаги, увидел корявые буквы, нацарапанные карандашом: «Ребята, жмите смелей! В Белгороде наши! Сам видел!»

Штурмовик с ревом пронесся над ними, покачав крыльями.

— Ну, здорово сообразили! — радовался сержант. — А то я пасу тут этого фрица, а сам в сторону поглядываю. Двинет немец с фланга — мне и бежать некуда.

— Теперь не двинет! — успокоил Игорь.

Вокруг них собралась толпа. Записку передавали из рук в руки.

И кто-то уже кричал во все горло:

— Товарищи, Белгород наш! Белгород взяли!

Возле моста грохнули винтовочные выстрелы, Игорь побежал туда, к своему батальону.

— Что случилось?

— Ничего, товарищ старший лейтенант, — ответили с грузовика. — Ребята на радостях в воздух палят.

Поколебавшись, Игорь махнул рукой: валяйте! Сотня патронов — не убыток, а победы бывают не каждый день!

Небольшое село Хорошево, что неподалеку от Ржева, прилепилось к склону глубокого крутого оврага. Дважды прошла через эти места война, оставив после себя разбитые дороги, воронки, пепелища. Уделело в селе десятка три низких бревенчатых домиков с подслеповатыми окошками.

¹ — О, да, да! (нем.).

Во второй половине июля в окрестности Хорошева прибыла дивизия войск НКВД. Солдаты прочесали местность. На дорогах и тропах, в лесах и оврагах появились посты и заставы.

В селе ремонтировался лучший дом: чуть повыше других, с резьбой по наличникам и карнизам. На крыше меняли дранку, двор обнесли штaketником, подмели и посыпали желтым песком. В окна вставили стекла.

Четвертого августа в Хорошево приехал Верховный Главнокомандующий Сталин. Приехал для того, чтобы на месте уточнить оперативную задачу Калининского и Западного фронтов, проверить, как готовятся они к предстоящему наступлению.

На следующий день в 10 часов утра явился вызванный для доклада генерал-полковник Еременко. Этот высокий, богатырского сложения и по натуре своей весьма самоуверенный человек был сейчас несколько обескуражен. В двух километрах от Хорошева его встретил генерал из охраны Сталина. На окраине села передал с рук на руки другому генералу, который провел Еременко в дом.

Сталин, по своему обыкновению размеренно шагавший от стены к стене, остановился посреди комнаты, выслушивая рапорт.

— Товарищ Верховный Главнокомандующий! Войска Калининского фронта ведут бои на прежних позициях и, согласно вашему приказу, готовятся к новым наступательным операциям.

Еременко волновался: у него дрогнул голос, и Сталин отметил это. Усмехнувшись в усы, пожал руку генерала, взял за локоть, подвел к стулу.

— Садитесь, Андрей Иванович. Как себя чувствуете? Не беспокоят ли раны?

— Никак нет! Самочувствие отличное! — ответил генерал, инстинктивно пытаясь встать, но Сталин легонько придавил его плечо, а потом отошел к столу. Открыв пачку «Казбека», толстыми, крепкими пальцами достал две папиросы, размял их, накрошил табак в трубку.

— Скажите, Андрей Иванович, как ведет себя противник?

Генерал-полковник, отвечая, уставился на смуглое лицо Сталина. Это было трудно. Взгляд у Верховного

пытливый, пронизывающий. Но иначе нельзя: Сталин не терпит людей, которые отводят глаза.

Не будь Еременко сильно взволнован, он, пожалуй, заметил бы, что разговор, который они ведут, не столь уж серьезен и важен. Сталин спрашивал, как живут наши войска, какие новые данные есть о немцах. Спрашивал в общих чертах, без особого внимания выслушивая ответы. Видимо, он думал о чем-то другом, потому что через несколько минут вновь заинтересовался: нет ли чего-либо нового у противника? И Еременко опять начал отвечать ему почти теми же словами.

Воспользовавшись, что Сталин слушал, не перебивая и не показывая своим поведением, что торопится, Еременко начал говорить о нуждах фронта, о том, какую помощь хотелось бы получить. Но в это время Сталину доложили: «Нашими войсками взят Белгород!»

У Верховного Главнокомандующего блеснули глаза.

— Хорошая новость! — торжественно произнес он, вытянув руку с дымящейся трубкой. — Это очень хорошая новость!

Повернулся и, словно не замечая присутствующих, принялся ходить из угла в угол, с отрешенным и сосредоточенным выражением на лице. Еременко сидел, не зная, как ему поступить, поворачивая голову, неотрывно следил за Сталиным.

Так продолжалось минут пять. Потом Сталин раскурил погасшую трубку, повертел ее перед собой, оглядывая со всех сторон, и вдруг сказал:

— Как думаете, товарищ Еременко, если победу под Белгородом и Орлом мы отметим салютом в Москве?

Для генерал-полковника вопрос этот был совершенно неожиданным, он даже не сразу понял, о каком салюте идет речь, как это будет выглядеть. Не дожидаясь ответа, Сталин снял телефонную трубку и приказал соединить с Главным артиллерийским управлением. К телефону подошел заместитель начальника управления генерал Волкотрубенко.

— Я решил отметить взятие Орла и Белгорода мощным салютом, — сказал Сталин. — Салют произвести в Москве. Сколько времени требуется для подготовки?

Волкотрубенко ответил, что холостые выстрелы можно подготовить за несколько часов.

— Сколько орудий имеется сейчас на позициях в границах города?

— Около двухсот.

— А вы учитываете двадцать четыре пушки, которые стоят в Кремле?

— Нет.

— Значит, у нас есть для салюта двести двадцать четыре орудия. Сегодня используйте половину. Остальные прибережем для следующей победы. Для более крупной победы. Я уверен, что она будет скоро! — веско закончил Сталин.

Потом он вызвал к телефону одного из членов Политбюро, поручил ему подготовить торжественный приказ и проследить за подготовкой салюта.

Улыбаясь, Верховный Главнокомандующий опять зашагал по комнате, рассматривая свою трубку. Остановился, круто повернулся к Еременко и сказал, скупно жестикулируя:

— Думаю, это будет хорошо. Войска на фронте будут чувствовать голос страны, благодарность Родины!

* * *

Тихая и теплая августовская ночь опустилась на московские улицы. Не видно нигде огней, разве только сверкнет синим пламенем на повороте дуга трамвая да слабый пучок света вырвется из неосторожно открытой двери.

Обычно Москва засыпала рано. Завтра новый трудный день, напряженная работа на заводах, фабриках, в учреждениях. Работа с утра до вечера, до такой усталости, что еле хватит сил вернуться домой. Так нужно: немцы сидят в Смоленске, сидят в Харькове. Пушки гремят в середине России, на курских и орловских полях. У страны один главный лозунг: «Все для фронта, все для победы!»

В эту теплую ночь необычнолюдно и шумно было на улицах, на бульварах и площадях. Не спали взрослые, не спали старики и дети, ожидая каких-то важных сообщений.

И вот раздался наконец из репродукторов знакомые позывные, те самые, при звуке которых вот уже два года тревожно сжимались каждый раз людские сердца.

С неслышанной доселе торжественностью поплыл над

московскими улицами, над всей страной, над всем миром страстный левитановский голос:

— Сегодня, пятого августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел!

Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород...

...Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли в наступление и пятого августа, ровно через месяц после начала июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород.

Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешное наступление.

...Сегодня, пятого августа, в двадцать четыре часа столица нашей Родины — Москва — будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати орудий!

Ровно в полночь, разорвав темноту, взметнулись в небо яркие каскады ракет, перекатами прогрохотали пушки, переплелись в воздухе цветные нити трассирующих пуль.

На улицах, на площадях не слышно было громких голосов, восторженных криков. Люди смотрели молча. Вспышки света выхватывали из темноты строгие лица, полные слез глаза.

Где-то на подступах к городу шарили в небе прожекторы, беглым огнем били зенитки, отгоняя немецкие самолеты, пытавшиеся прорваться к Москве с грузом бомб. Грохот первого праздничного салюта сливался воедино с тяжелым гулом боевых залпов.

Радист выключил приемник. Смолк далекий голос, перестал мигать огонек лампочки. В землянке сразу сделалось неуютно и тихо, она будто уменьшилась, будто сдвинулись ее стены. Пахло гнилой болотной водой. Склонив

голову, радист начал аккуратно переписывать карандашом сводку Совинформбюро.

Егор Дорофеевич поднялся наверх. Накрапывал мелкий теплый дождь, с листьев срывались тяжелые капли. В лагере было пустынно. Среди шалашей и землянок одиноко маячил часовой с надвинутым на голову капюшоном плаща. Партизаны отдыхали перед ночной операцией.

Возле сторожки ожидала Марья. Стояла под дождевиком в одной кофте, прислонившись спиной к потемневшему срубу. Черные мокрые волосы блестели, как лакированные. Под сборчатой юбкой — начищенные сапоги с широкими раструбами: своими руками снял их Брагин с убитого немца. Грудь наискосок перехвачена ремнем, трофейный «вальтер» в желтой кобуре лежит у нее на бедре. «Эх, богатырь баба! — залюбовался Брагин. — Ей бы, а не мне отрядом командовать!»

Марья быстро заглянула в лицо, молча пошла возле него, прижимаясь плечом. Часовой, поворачиваясь, как подсолнух за солнцем, проводил их завистливым взглядом.

Еще по весне облюбовали они красивое место километрах в двух от лагеря: за чистым веселым березняком высился сухой пригорок со старыми соснами. А дальше стояли дозором среди луга одиночки-деревья; петлял между ними бегун-ручей с прозрачной водой, затененный густыми шапками таволги.

Много было цветных полей и солнечных опушек в этом лесу, да и в сторожке была у Брагина отдельная комнатка, но всякий раз, когда хотели побыть вдвоем, тянуло их на этот холм, к мудрым спокойным соснам, к убегающему ручейку. Сидели обнявшись, глядя вдаль, как молодые влюбленные. Когда он целовал ее, Марья краснела, будто девушка.

Она словно сбросила груз годов, налилась свежестью, как те яблони, которые вдруг зацветают под осень, когда их подружки, согнутые тяжестью плодов, уже теряют последние листья, последнюю красоту. Разгладились морщины под глазами, посветлело лицо, бывшее коричневым и грубоватым; мягкой, словно шелковистой стала кожа на щеках. «От любви все это», — с улыбкой говорила она Брагину. «Да ну, — отмахивался тот. — На поле спину не гнешь, с печкой не возишься — вот и отошло у тебя...»

Егор Дорофеевич положил на траву шинель. Марья повела плечом, освобождаясь от ремня; он петлей сколь-

знул вдоль ее тела, желтая кобура плелась к ногам. Села на шинель. Брагин лег рядом, положив голову ей на колени.

Большой, грузный, тяжелый, он любил отдыхать так, по-мальчишески прижавшись к ней, под ее тихий шепот. Когда он задремывал, ему начинало казаться, что женщина разрастается, становится всеобъемлющей, огромной и щедрой, как сама земля, он вбирал в себя ее теплоту и радостный трепет жизни.

Сам себе удивлялся иногда Брагин. Раскручивал он уже пятый десяток лет, немало повидал на своем веку. Были среди его знакомых женщины и умные, и красивые, вроде бы не чета Марье. А вот привязался к ней неотрывно, отвечая, наверно, на ее безоглядную любовь. Откуда только бралось у этой деревенской бабы, казалось бы, загробшей в работе, вытянувшей на своих плечах и детей, и хозяйство, столько нежности и заботливости!

Самостоятельная, горделивая, она так могла хлестнуть словом какого-нибудь ухажера, что тот потом огибал ее за семь верст. А сама плакала потихоньку, когда видела на лице Дорофеича хмурость или недовольство. Она не хуже мужиков управлялась с лошадьми, умела плотничать и бондарить и в то же время удивляла своей аккуратностью и чистоплотностью. Посуда у нее всегда блестела, чуть ли не каждый день затевала она стирку. Готовила еду с выдумкой: ту же кашу, да по-разному. И все это ловко, быстро и незаметно, словно промежду делом. В партизанском лагере в той же сторожке жили и дети Марьи. Бегали они сытые, ухоженные, хотя Брагин просто диву давался, когда успевает мать приглядеть за ними.

Всеми статьями взяла баба, вот только рассуждать с ней не было интереса. Грамоте училась мало, газет в занятости своей не читала. Насчет жизни — тут она могла слово вставить, но Егор Дорофеевич любил разговор глубокий и серьезный: без спешки, за stopкой и по преимуществу о международных вопросах. Иной раз Егору Дорофеичу становилось скучно с ней, и Марья, чувствуя это, виновато улыбалась, двигалась бочком, потихоньку, словно побитая. Брагин, спохватываясь, урезонивал себя: да где это ты видел, чтобы женщина универсалом была? Испокон веков мужики в своей компании разговором душу отводят!

Житейский опыт и прирожденная сметливость, обо-

стремные драгоценной поздней любовью, делали Марью очень чуткой. Она безошибочно улавливала настроения Егора Дорофеевича, угадывала его колебания и сомнения. Вот и сейчас сразу определила: из землянки радиста вышел Брагин какой-то смурной. Что там услышал он в последних известиях? Неужто немцы опять верх берут?.. Нет, не похоже, об этом он сразу сказал бы. Разбередело чем-то радио душу его, ни улыбки в глазах, ни слова доброго с уст. Лежит невеселый, потяжелевший, по привычке, не замечая, гладит Марьину руку...

— Пошто печалишься, Дорофеич, родной? — шепнула она.

Брагин приподнял веки, сказал будто нехотя:

— Свистульки у нас в уезде знаменитые делали. Есть такая деревня — Филимоново. От Одуева рукой подать. Так и назывались: филимоновские свистульки. Из глины, с росписью яркой. Фигурки самые разные: и тебе чело-вечки, и коровы, и птицы. Отец, бывало, как соберется в Болхов к родне ехать, закупит свистулек целую корзину, для всей ребятни. А мне радость. Трясусь в телеге и пробую по очереди, у какой голос лучше... Да, — усмехнулся он. — Славен, говорят, Одуев горами, Болхов — во-рами, а Белев — девками легкими... Все это рядом, одна округа.

— С чего тебе вспомнилось-то, Дорофеич?

— Болхов наши освободили... Слышишь, сосны шумят на ветру? И у меня в лесничестве так же шумят. Прямо под крышей...

Ничего не ответила Марья, только ниже склонила голову, закрывая лицо черной занавесью волос. Затосковал, значит, Дорофеич о доме, о родных местах.

— Ты чего вздохнула? — погладил он ее щеку.

— Неужто? А я без внимания, — постаралась улыбнуться Марья. — Да видно, уж вздыхай не вздыхай, а кончится война, и лету моему бабьему тоже конец... Каждую птицу к своему гнезду тянет.

— Ну, какое там у меня гнездо, — неуверенно начал он, но Марья губами закрыла рот, с силой, с болью, с горестным стоном прижала к груди его голову...

Он вспомнил и до каждого слова перебрал в памяти этот разговор вечером, когда шел по тропинке в голове своего отряда. Рядом с ним, то бок о бок, то забегая вперед, шагал его связной, пятнадцатилетний Илья, старший

сын Марьи, рослый и чернявый, как и она, молчаливый и послушный, всегда смотревший на Брагина такими восторженными глазами, что ему становилось неловко. Поглядывая на Илью, он будто продолжал мысленно беседовать с самой Марьей.

Что верно, то верно — тянуло его в родные края, в свои леса, где знакома каждая просека, где с детства исходил верст на тридцать все угодя вокруг, где бил зайца, охотился на волков, с замиранием сердца слушал, как токует в ночной глуши краснобровые отшельники — глухарь. Тут леса обширней и безлюдней, чем под Одуевом. Но свои — дорожке!

О жене Егор Дорофеевич вспоминал без волнения. Конечно, привык к ней за долгие годы, да и человек она мягкий, покладистый. Вечно занята по дому, на своей фельдшерской работе. Чужих детей выхаживала, спасала от всяких там корей и скарлатин, а своего, единственного, не спасла...

Много было пережито вместе, многое связывало его с женой. Но ведь и с Марьей не меньше. Если бы не она, может, и не выкарабкался бы он из болезни. Разве не Марья своей заботой поставила его на ноги? Потом, в сорок втором, когда начали немцы загребать осевших по деревням «зятьков», без колебания бросила она дом, забрала детей и ушла с Егором в глухой лес. Бедствовали тогда до крайности в промерзавшей сторожке, муку смешивали пополам с толченой древесиной, и никакой другой еды не было ни детям, ни Егору, ни Марье. У всех опухали десны, у младшей дочки раскачала зубы цынга. Брагин с двумя бойцами (весь отряд-то состоял из трех человек при одной винтовке) пошел в деревню, убил полицейского, принес полмешка картошки и луку. Тем и спаслись.

Немцы в отместку сожгли ее дом, разорили хозяйство. Каково это бабе? А она и не охнула, только сказала: «Ильюшка, даст бог, подрастет, после войны отстроюсь».

По случаю связала его война с этой женщиной, накрепко переплела горем их судьбы. И он уже не представлял себе, как можно остаться без нее, без доброго восторженного Ильи, который готов ходить за Брагиным, словно хвостик, без младшей девчонки Нюшки, бледной и худенькой, радостно кидавшейся навстречу ему всякий раз, когда возвращался он из похода.

О «рельсовой войне» Егор Дорофеевич слышал неделю назад, когда секретарь райкома проводил зональное совещание командиров партизанских отрядов. Услышал и восхитился: вот это да, это крепко придумано! Сразу, в одну ночь, выйдут к железным дорогам брянские, черниговские, минские партизаны. Везде, на всей оккупированной территории, тысячи партизанских групп взорвут рельсы, мосты, разрушат насыпи, искалечат семафоры. Перестанет пульсировать жизнь во всем тыловом организме немецкой армии. Останутся эшелоны с войсками, с горючим, с техникой!

Попробуй-ка восстанови все разрушенное! Для этого нужны рельсы, нужны рабочие, нужно время. А через неделю партизаны снова нанесут организованный удар по всем дорогам.

«Толковая задумка», — сказал себе Брагин и попросил у секретаря райкома участок для отряда: даже показал на карте разъезд, где имелись у него надежные люди.

Вообще-то отряд Брагина активные действия вел редко. Егор Дорофеевич человек молодой, степенный, лезть на рожон было ему не по нутру. Другие отряды то и дело ввязывались в драку: налетят, постреляют, отскочат. А Брагин сидел да ждал удобного момента, чтобы клонуть немца по слабому месту и без потерь.

Ребята помоложе и погорячей уходили от Брагина в партизанскую бригаду, стоявшую ближе к Брянску. А в его отряде оседал народ постарше и поспокойней. Так уж повелось с прошлого лета, что командование поручало Брагину дела хозяйственные. Отряд добывал продукты по окрестным деревням, выпекал хлеб для бригады, изготавлял полсотни саней, когда соседнее соединение собиралось в дальний рейд.

Кое-кто посмеивался над брагинцами, называя их отряд продовольственной командой. Но секретарь райкома оборвал на совещании одного из таких остряков: чем ты без этой команды людей кормить будешь? Брагинские снабженцы на много верст кругом картошку и зерно собирают. К нему люди сами продукты везут. А вот ты попробуй добудь!.. И приказал Брагину двое суток не отпускать этому командиру печеного хлеба.

Егор Дорофеевич первый раз сам напросился на серь-

езную операцию. Сказанул сторяча, под впечатлением новой идеи, но в решении своем не раскаивался. Очень ясно представлялось ему, как разом в тысяче мест взлетят в воздух рельсы, и Брагину тоже хотелось внести свою долю в это важное дело.

Первым долгом он послал на разъезд двух разведчиков. Они прожили там сутки, прячась у рабочего с лесозавода. Сидели на чердаке, считали проходившие эшелоны, отмечали на схеме, где у немцев доты, где часовые. Возвратившись, обрисовали все точно. В поселке при разъезде стоит фашистский взвод: тридцать два рядовых и один офицер. Кроме них — взвод полицаев. Пулеметов три, минометов тоже три. Опорные пункты в кирпичных постройках: в школе, водоканке и церкви. Все амбразуры смотрят в сторону леса, который подходит к полотну метров на триста. А с тыла тянется ровное поле. Незаметно оттуда подойти трудно, оттуда немцы нападения не ожидают.

Получив такие сведения, Брагин не спеша обмозговал план операции со своим комиссаром, с местными старожилами, а потом, ночью, еще и с Марьей. Все вроде бы получалось толково. Отряд пошлет на разъезд семьдесят человек. Да не напрямик, а в обход. В темноте люди пересекут незаметно для врага железную дорогу, сделают крюк и ударят с открытого места, с поля. А чтобы отвлечь немцев, из леса будет стрелять группа поддержки. В эту группу выделили десять бойцов, снабдили их трофейным пулеметом и дали вволю патронов — чем больше треска, тем лучше.

Риск, конечно, был немалый. Если отряд не сможет ворваться на разъезд, то окажется отрезанным от леса. Летняя ночь короткая, немцы подтянут силы, обратно через железную дорогу не перейдешь, в голом поле не скроешься. И все же Брагин принял этот план. Он сулил победу без больших потерь. Люди, зная, что им обязательно нужно взять разъезд и проложить дорогу к лесу, будут драться не как-нибудь, а решительно, с полной отдачей.

О флангах Егор Дорофеевич не беспокоился. На совещании командиров отрядов было намечено взорвать мосты километрах в десяти восточней и западней разъезда. Эта задача возлагалась на других партизан, Брагин надеялся, что они свое дело сделают, что до утра немцы

подбросить «по железке» подкрепления не сумеют. Но случилось так, что через мост перед самым взрывом успел проскочить воинский эшелон, наполовину составленный из цистерн, наполовину из вагонов с продовольствием и обмундированием. В этих же вагонах, как выяснилось потом, возвращались из Германии солдаты-отпускники.

Операция началась удачно. Партизаны сняли трех часовых, ворвались на разъезд неожиданно. Немцы выпрыгивали из окон школы в одних трусах, падали под пулями. Их выкурили из кирпичного здания гранатами. Не сумели захватить только церковь. Там забаррикадировались десятка два немцев и полицейских; с колокольни, мигая огнем, ошалело строчил пулемет, пускал очереди без прицела, куда поало.

Едва успели подрывники взорвать выходную стрелку, как с запада подошел эшелон. Подкрался без гудков, тихо. Паровоз толкал перед собой контрольную платформу с двумя пулеметами, укрытыми среди мешков.

Состав замер, не доходя до семафора, из вагонов выпрыгивали солдаты, пулеметы с платформы ударили по верх их голов.

Брагин приказал партизанам отступать в лес. Но пробежать триста метров открытого пространства было не так-то просто. Зажигательные пули, попавшие в цистерны, воспламенили бензин, над эшелоном гудело высокое пламя, растекаясь по земле. Один за другим следовали взрывы, разбрызгивая огонь и горячее. Пылала земля, пылали крайние дома поселка. Немцы, спасаясь от огня, устремились на разъезд, на ходу стреляя из автоматов. Невесть откуда ударили два миномета. С колокольни хорошо просматривалось освещенное огнем поле и окраина леса. Опомнившийся пулеметчик бил теперь по партизанам короткими прицельными очередями.

Егор Дорофеевич бежал грузно, пригибаясь, падая среди кочек. Зарядил винтовку бронебойными патронами и выпустил всю обойму в проем колокольни: хотел заткнуть пулеметчикам глотку, но не попал.

— Дядя Егор, скорейча! — торопил его ни на шаг не отстававший Ильюшка. — Дядя Егор, отрежут!

— Ничего, ничего! — утробно басил Брагин, продолжая стрелять по метавшимся на фоне огня фигуркам. — В лес они не пойдут, ты не бойся!

— Побежали, дядя Егор! — умолял Илья. — Скорейча, дядя Егор! Мамане скажу! — пригрозил он.

До опушки оставалось метров пятьдесят, когда впереди вспыхнул вдруг разрыв мины. Визг, несильный удар, опять визг. Брагин с разгона шлепнулся в мелкую канавку, пытаясь втиснуть в нее свое громоздкое тело. Осколки жикали у самого уха, стригли траву. И вдруг Егор Дорофеевич почувствовал на себе тяжесть; сверху, прикрывая его от осколков, навалился Илья.

Четыре взрыва попарно лопнули совсем близко. Егора Дорофеевича ударило в голову, но удар был не хлесткий, он не почувствовал боли, а только оглох на одно ухо. Ворочаясь, пытался свалить с себя Ильюшку, кричал ему:

— Беги, чертенок!

Илья вскочил, сделал шаг и, вскрикнув, начал вдруг оседать, запрокидываясь навзничь. Брагин успел подхватить его за ремень правой рукой, поволок за собой. Потом бросил винтовку и взвалил на плечо обмякшее тело. Не чувствуя тяжести, добежал до кустов, пошел, осторожно огибая деревья, освещенные багровым отблеском пожара. К нему подступили бойцы, хотели взять Илью, но он оттолкнул их.

— Не надо! Я сам!

И зашагал, пошатываясь, в глубь леса, огромный, окровавленный, страшный...

На рассвете в овраге за болотом, где назначено было место встречи, собрались сорок шесть партизан. Трех, смертельно раненных, донесли сюда на руках. Еще восемь бойцов остались на краю леса прикрывать отход и наблюдать за противником.

Не хватало двадцати шести человек, и не было надежды, что кто-нибудь из них уцелел и сумеет вернуться. Егор Дорофеевич понимал, что отряд сделал большое дело. Выведен из строя разъезд, сгорел вражеский эшелон. Но потери удручали его. Особенно переживал он за Ильюшу. Осколки в двух местах пробили пареньку левую ногу, он лежал бледный, кусая распухшие губы.

У самого Брагина ранение оказалось пустяковым. Осколок прошел по касательной, не задев кость. Фельдшер выстриг волосы, обмотал бинтом его голову. Немного подташнивало, во всем теле ощущалась слабость, но Егор Дорофеевич старался не обращать на это внимания. Не до своей персоны было сейчас.

Раненых погрузили на подводы, чтобы отвезти в бригадный партизанский госпиталь, где имелся старик хирург. Брагин колебался: а как с Ильей? Может, оставить его в отряде, Марья выходит не хуже любого доктора. Сел рядом с пареньком, спросил: ты сам-то как хочешь?

— В госпиталь, — с трудом разжал Илья спекшиеся губы. — В госпиталь отвезите, — попросил он. — А мамане скажите, что чуть-чуть зацепило. Успокойте ее, дядя Егор, пусть не волнуется. Я все выдюжу. Я ведь крепкий, — попытался улыбнуться Илья.

— Ну, ладно, ладно, — сказал Брагин, наклонившись над ним. — Ладно, сынок, все сделаю. Спасибо тебе, сынок! — повторил он, неумело ткнувшись губами в его бровь, такую же густую и взлохмаченную, как у Марьи.

14

Пленные красноармейцы засыпали песком воронки, оставшиеся на железнодорожном полотне после взрывов партизанских мин. Вторая группа растаскивала в стороны искореженные рельсы. Третья — подносила шпалы. Люди работали неохотно, вяло. За каждую шпалу бралось человек по десять, да и то подымали с трудом. Конечно, с пустой баланды да с двухсот граммов черняшки много не поработаешь, но Пашка видел: саботажничают, паразиты! Воткнул лопаты в песок и стоят, смотрят на отвернувшегося охранника.

Им-то что, им лишь бы день прошел. А с Ракохруста спросят. У него строгий график. К двенадцати часам выровнять полотно и уложить шпалы. Потом немецкие саперы положат новые рельсы. С пятнадцати часов по линии пойдут эшелоны. Много их скопилось на станции Орша со вчерашнего вечера. Забиты все пути, все соседние полустанки. Вот и поползут они на восток один за другим, почти впритык. В темноте доберутся до следующего железнодорожного узла, и снова стоп! Ночь — время партизанское. Гремят взрывы, летят к чертовой матери рельсы, семафоры, мосты. С восходом солнца выйдут на полотно пленные, опять начнут восстанавливать путь. А ночью опять взрывы. И так уже целую неделю.

Немцы злятся, психуют. Вывели на дорогу подразде-

ления из городских гарнизонов, вывели полицейских, построили доты и бункеры. А толку мало. Дорога длинная, всю не загородишь. Два-три партизана могут подползти ночью в любом месте. И опять взрыв, опять работа, опять нетерпеливые гудки паровозов на станции.

Ну и хрен с ними, с этими немцами. У Ракохруста своя забота. Он начальник конвоя. Для пленных он шишка. Ему приносят к месту работы стул и раскладной зонт. Вот сидит он, развалившись, в новом мундире, укрытый от палящих лучей солнца. Он может застрелить любого пленного. Но с условием, что потом предъявит лагерному писарю отчет и труп. Он полный хозяин над пленными. А над ним хозяева — немцы. Любой ефрейтор — это уже начальник.

У немцев строгость во всем, почище, чем при Советской власти. Раньше Пашка легко уваливал от работы: находились чудачки-энтузиасты, готовые вкалывать и за себя и за других. Ну, в крайнем случае потрепятся на собрании, покритикуют, повоспитывают. А немцы не церемонятся. У них так: вот твои обязанности, вот инструкция, вот приказ — выполняй. И к рядовому, и к начальнику требования одинаковые. Хорошо работаешь — получаешь повышение. Плохо — катись вниз без всяких воспитательных церемоний. Разумно у них все, по-деловому, и в этом их сила.

Не выполнит команда Ракохруста свою задачу до полудня — останется тут, пока сделает. Но за срыв графика пленным срежут по сто граммов хлеба, а Пашку и охранников лишат дополнительного пайка. Три раза не уложился в график — понизят в должности.

Ракохруст посмотрел на часы: скоро приедут на лотучке саперы с рельсами, а эти доходяги копаются, как сонные мухи. Подстегнуть надо. Он неохотно поднялся со стула, нахлобучил фуражку. Незаметно, за кустами, подошел к пленным, насыпавшим песок. И когда те, воткнув лопаты, остановились передохнуть, с размаху ударил сапогом длинного тощего красноармейца. Тот будто сломался пополам и упал, вскрикнув:

— За что?

— Работать, сволочи! — рявкнул Пашка. — Всех без жалости оставлю! Вы у меня попляшете!

Это подействовало. Люди зашевелились быстрее. Пожилой немец, обер-ефрейтор, приставленный следить

и за пленными, и за охраной, одобрительно закивал головой.

Пашка повернулся, чтобы идти к стулу, но над ухом его просвистел камень, с треском врезался в куст. Отпрыгнув в сторону, Ракохруст выхватил пистолет, смотрел пригнувшись, злобно ощерив крупные зубы. Пленные работали, не глядя на него, и по напряженно согнутым спинам чувствовалось: ждут.

— Кто? — крикнул Пашка.

Люди молчали, продолжая копать. Ракохруст с трудом держал желание выстрелить. Не знал в кого. А немцы учили в таких случаях обязательно найти виновного и наказать перед строем, для примера другим.

И еще Пашка побаивался этих доходяг, оставаясь с ними в открытом поле. Были ведь случаи, когда охранники пропадали без всяких следов. Одного полицейского такие же паразиты, как эти, зарубили лопатой и зарыли в старой воронке.

— Ладно, сволочи! В лагере разберемся! — крикнул Пашка, направляясь к своему зонтику. Но там, в тени, уже сидел пожилой обер-ефрейтор, и Ракохруст остановился рядом с ним, вытирая с лица пот. Очень уж жгло поднявшееся в зенит августовское солнце.

Немец дремал, сложив на брюхе руки и тихонько всхрапывая. Равнодушно, по долгу службы, матерились охранники, поторапливая пленных. Гудел шмель, опускаясь на цветок. У цветка была тонкая ножка, она сгибалась до земли под тяжестью шмеля, он взлетал с недовольным гудением и пытался сесть снова.

Пашка прилег на жесткую пожелтевшую траву, отвинтил крышку фляги и допил степлевшую безвкусную воду. Вытянулся поудобней, в сердцах раздавил какую-то букашку, карабкавшуюся на его палец. В голову лезли невеселые мысли. Русские наступают, пленные обнаглели. В лесах, в деревнях — везде партизаны. Немцы сидят в гарнизолах, словно на островах в половодье. Получалось так: от чего ушел, к тому и пришел. Жил одной надеждой сохранить себя до конца войны, а потом подыскать местечко доходное и не пыльное, чтобы была жратва, деньги, бабы и никаких забот.

Сперва вроде все шло к этому. Немцы оценили его, послали в Добендорф, в специальную школу. Проучился там три месяца и вернулся на оккупированную территорию

лейтенантом Русской национальной армии: форма немецкая, петлицы красные, а на рукаве повязка с буквами «РНА». Считался теперь «господином офицером», жил свободно, на квартире.

Вместе с немцами ездил в Витебск, в бывшие артиллерийские казармы, куда согнали много военнопленных. Кормили там людей через день и все той же баландой. Довели до последней крайности. Пленные дошли от голода, были случаи, когда жрали трупы. А вербовщики в национальную армию обещали легкую жизнь и хороший паек. За месяц удалось сколотить батальон «добровольцев». В других лагерях набрали еще два батальона.

Пашке повезло. Его не назначили на строевую должность, а оставили в поселке Осинторф, при штабе. Иначе не миновать бы ему судьбы других «господ офицеров». Пленные отъелись на сносной пище, окрепли, получили оружие. А потом многие подразделения перебили своих командиров и ушли к партизанам. Остались только самые надежные. И вот теперь эти «надежные» помаленьку формировали новый батальон да гоняли пленных работать на железной дороге.

Немцы крепко поиздержались, стали отправлять на фронт даже охранные части, привлекая к тыловой службе русских. Это не нравилось Ракохрусту. Выходит, Советская власть начинает брать верх. А Пашка так связался с немцами, что обратно через фронт не перекинешься. Выслуживался, старался, навешал на свою шею столько грехов, что никакой трибунал не простит, как ни кайся.

Осталась теперь только одна дорожка: куда фашисты, туда и он — до конца...

Обер-ефрейтор, побряхтывая, встал со стула, махнул Ракохрусту рукой. Пошли вдвоем проверять работу. Воронки были засыпаны, шпалы ровной цепочкой лежали на полотне. Охранники выстраивали пленных в колонну по четыре, пересчитывали людей и лопаты.

— Шагом марш! — скомандовал Пашка.

Колонна медленно потянулась по пыльной дороге. Пленные брели, опустив головы, поддерживая ослабевших, все грязные, оборванные, обросшие. Жара истомила даже охранников-полицейских, они шли вяло, не покрывая, как обычно, на отстающих. Облизывали пересох-

шие губы — фляги давно опустели. А пленные вообще не пили с раннего утра.

Когда колонна поравнялась с канавой, на дне которой поблескивала ржавая, затянутаая ряской вода, люди бросились к ней, сломав строй, падали на землю, отталкивая друг друга, глотали жадно и торопливо.

Обер-ефрейтор недовольно поморщился. Пашка подумал: доложит начальству, что порядка нет, что строй нарушают без разрешения. Опять неприятность из-за этих сволочей, чтоб они передохли! Кто из них камень сегодня швырнул?.. Все они одинаковы, все могут! И нечего церемониться с этими паразитами!

Те, кто напился, поднимались, довольные и отяжелевшие, уступая место товарищам. Пашка, с помощью охранника, пинками разогнал пленных с одного края канавы. Ухмыльнулся, расставил пошире свои крепкие столбы-ноги и начал мочиться в запенившуюся, помутневшую воду.

Охранник стоял за его спиной, держа автомат наготове. Ракохруст, поглядывая на искаженные злобой лица, на лихорадочно блестящие глаза, застегнул пуговицы. Можно было дать команду: «Становись!», но он не спешил. Интересно посмотреть, что дальше: будут они пить или нет?!

* * *

В Осинторф, в штаб Русской национальной армии прибыла инспекция: десятка полтора легковых машин в сопровождении эсэсовцев на бронетранспортерах. Начальник осинторфского гарнизона, бывший полковник царской армии граф Санин организовал торжественную встречу. Выстроили почетный караул, играл оркестр.

Высокие гости осмотрели казармы, побывали во втором батальоне, в городе Шклове. На следующий вечер штаб устроил прием для господ офицеров. Освободили зал клуба, поставили в нем столы. Ближе к сцене разместились приехавшие. Там, в окружении хрустальных фужеров, красовались бутылки с винами и коньяком, туда таскали официантки бифштексы, антрекоты и даже апельсины. А в дальнем конце зала, где сидел Ракохруст, закуска была попроще: салат, капуста, жареная гусятина. Да и пили здесь не французский коньяк, а немецкий пшнэпс и обыкновенный самогон.

Пашка во все глаза смотрел на генерала Власова, си-

девшего в самом центре стола, на почетном месте. Высокий, немного сутулый, в очках, он негромко разговаривал со своими соседями, улыбался одними губами, устало и надменно, лениво ковырял вилкой в тарелке. И граф Санин, и граф фон Пален, и даже эсэсовский офицер, приехавший с Власовым, явно заискивали перед ним. Еще бы, Власова принимал сам Гитлер, ему доверено руководить всеми русскими воинскими формированиями на занятой немцами территории!

За два года Ракохруст повидал много бывших белогвардейцев, эмигрантов, которых фашисты приволокли с собой. Все они были чужими и непонятными. А вот Власов вроде бы «свой», в его присутствии господа офицеры из бывших военнопленных чувствовали явное облегчение. Уж если генерал пошел немцам служить, то им, значит, сам бог велел. Да не какой-нибудь генерал, а боевой, известный своими фронтовыми делами. Под Москвой он командовал армией, гнал фашистов на запад. Одно время был заместителем командующего Волховским фронтом. Вон каких высот достиг, чего ему еще надо?! А оказался в окружении — и перешел к немцам, начал служить им верой и правдой. Значит, понял, на чьей стороне сила, на чью карту ставить.

Эмигрантам что — если прижмут красные, они смотают удочки, и делу конец. С них спрос невелик. А Власов хоть и генерал, а положение у него такое же, как у других господ офицеров. Вот за него и надо держаться в будущем. Худо-бедно, все-таки русская армия, со своим русским командующим...

Все ждали, что Власов выступит, провозгласит тост. Но вместо него речь произнес некто Иванов, бывший царский офицер, а теперь «особый руководитель» армии, вроде бы ее политический комиссар.

Говорил он резкими короткими фразами: фюрер принял важное и благородное решение. Москву будут брать сами русские. Да, мы сами. Русская национальная армия. Мы установим в древней столице свой порядок. Это очень большое доверие. Армия его оправдает. Как только закончится формирование, фюрер выделит армии участок фронта против большевиков... За нашу армию, за Москву, за победу!

Пашка вместе со всеми рывкнул «ура», опрокинул в рот стакан, взялся было обсаживать гусиную шейку и

только тут сообразил: радоваться-то нечему! Немцы самую тяжелую работенку хотят подsunуть. Сами обожглись под Москвой и не лезут больше. Там у красных главные силы, оттуда живым не выберешься...

«Это дело треба обмозговать», — решил Пашка.

Еще в Добендорфе беседовал с ним немецкий офицер, предлагал отправить на Украину. Немцам нужны надежные люди среди бандеровцев. Но Пашка сказал тогда, что у него только фамилия украинская. А мать русская и отец всю жизнь прожил возле Москвы и под Тулой. Украинскую мову он чуть-чуть разумеет, но говорить почти не может... Зря отказался, послали бы куда-нибудь во Львов, там спокойно. Впрочем, прощупать почву не поздно и теперь. Можно записаться на прием к графу Санину, попросить: хочу, мол, на ридну батькивщину... Ну, с этим успеется, а пока надо пожрать да повеселиться!

Высокие гости отправились продолжать пьянку на квартире в узком кругу, с привезенными из Орши девицами. После их ухода в клубном зале сразу сделалось шумнее и веселее. На сцене кто-то плясал, кто-то пел под гитару. Кто-то побежал искать девок для танцев. Офицерские мундиры перемешались со штатскими костюмами.

Ракохруст перебрался поближе к сцене, захватил недопитую бутылку коньяка и банку сардин. Уселся рядом с пожилым красноносым господином в крахмальной сорочке с галстуком-бабочкой. Господин пил зверски, рюмку за рюмкой, но не хмелел, только еще сильнее краснели у него хрящеватые уши и бесформенный нос. Он оказался советником «особого руководителя» армии Иванова. Тоже из царских офицеров и тоже белоэмигрант. Жил в Берлине, занимался коммерцией, но теперь решил внести свою лепту... Пашку он называл «сударем» и, грозя пальцем, говорил незлобиво:

— Знаю, знаю я вас! Насквозь всех вижу, сударь мой! Всех вас большевики жидовским духом пропитали. Ты, сударь, разве о России помышляешь? Да ни в какой малости. Ты когда к немцам переходил, о чем думал? О шкуре своей думал, вот и весь сказ и вся твоя идея. Верно я говорю? — торжествовал старичок.

— Ну, верно, — кивнул Пашка и добавил осторожно (черт его знает, что это за фрукт, может, гестаповец!): — Сперва так было. А потом подучили меня, глаза открыли. Теперь понимать начал.

— Ничего ты не понял, сударь мой, — посмеивался старик, поправляя бабочку. — И понять ты еще не можешь. Над всеми над вами, над молодежью, большевики операцию сделали. Незаметно, потихонечку, год за годом, высушили у каждого кусочек мозга, а в пустое место своего напихали. Кто из вас о России-матушке, о могучей России, единой и неделимой, печется? Да никто, сударь, никто! В кормушку для интернационала превратили бедную страну нашу, — в голосе старика прозвучали слезы. — Ты что, не веришь мне? — резко повернулся вдруг он к Ракохрусту. И продолжал, не давая Пашке ответить: — Видишь, сударь, как тебя оболванили?! Закрытые у тебя еще глаза-то, закрытые! Ты приоткрой, подумай!

— Чего мне думать? — начал сердиться Пашка. — Я, что ли, такую власть устанавливал? Я сам от нее сбежал. Плевать мне и на нее и на все остальное!

— Плевать? Допустим! — горячился старик. — Тебе плевать, другому плевать, третьему плевать! Изнавозили Россию, а кто чистить будет? Немцы за вас чистить будут? Или я? А ты в стороне постоишь, сударь? Не выйдешь! — сунул он кукиш под нос Ракохруста.

— Да чего ты ко мне прилип?! — отвел его руку Пашка. — Вон лезь на трибуну и митингуй. Только зря все это. Как немцы скажут, так и будет.

— Не-е-ет, сударь, нет! Это большевики кремлевские о России не думают. А мы думаем! — понизил он голос и завертел головой, оглядываясь. — Фюрер знаешь нам какую армию разрешил? Два миллиона разрешил!.. Мы ее соберем, вооружим, научим... Сядем в Москве, годок-другой подождем, а там свое слово скажем. Немцы в этой войне ослабли. А им еще и большевиков добивать, и с англосаксами воевать. Откуда силу возьмут? А у нас армия в два миллиона, да еще полиция будет, да еще ополчение... Вся Русь у нас за спиной! Вот тогда наша очередь, наш праздник! Будет у нас Россия единая и неделимая!

Пашка даже побледнел, услышав такое. Уж не провокатор ли? Уж не испытывает ли его? Что делать теперь? Донести в гестапо? Старик в штатском, а может, у него погоны полковничьи? Ему поверят, Ракохрусту нет! Донесешь, а он потом в порошок сотрет!

Старичок, выговорившись, устало откинулся на спинку стула и вдруг уснул в один миг, раскрыв рот со встав-

ными зубами. Пашка сперва подумал, что тот притворяется. Пошевелил, потолкал в бок — никакого впечатления. Поднял, понес его на сцену, уложил на протертый скрипучий диван. У старика безжизненно болталась голова, полузакрытые глаза застыли, словно остекленели. Пашка успокоился: старик был мертвецки пьян.

Опрокинув еще стопку коньяку, Ракохруст пошел, покачиваясь, по залу, потом заорал песню и полез к девушкам: пусть все видят, что он — в стельку. С пьяного какой спрос?! Скажет, что ничего не помнит, и баста. Он тискал какую-то крашеную деваху с тощей грудью, а сам думал: из Осинторфа надо смываться. Очень уж бойкое тут место, того гляди влезешь головой в петлю. Осточертели ему все идеи, все планы и рассуждения. Этот старик прав — каждый заботится о том, как спасти свою шкуру. И у него только одна задача: любой ценой дожить до конца войны!

15

Отпели, радуясь теплым зорям, птицы в лесах, выросли своих птенцов — и смолкли. Длиннее становились тени деревьев. Ночью над рекой, над низинами белым холстом стлался туман, медленно наползая на луга и поляны, оседая крупной росой. Почти каждый день появлялись быстрые тучки, сыпались короткие и теплые дожди-ско-ропады, а потом опять жарко и сухо пекло солнце.

При обильной влаге и щедром тепле по второму разу цвели луга, до колен вымахала трава на заливных угодьях и на лесных лужайках, пестрея зарослями ромашки, помахивая метелками конского щавеля.

Герасим Пантелеевич с ног сбился, пропадая в полях и конторе. Надо убрать рожь, надо молотить, везти зерно в город. Траву косить нужно. А там уж, глядишь, подпирала гречка... Дел по горло — работать некому. Кроме Светлова осталось в деревне шесть кряхтунов-стариков да три инвалида войны. Не было даже подростков. Всех ребятшек от четырнадцати и старше, как по военному призыву, забрали в трудовые резервы, послали в ФЗО, в города и на шахты.

Булгаков Славка совсем переселился в Стоялово. Работал на косилке, метал стога, молотил. Себя не жалел, трудился от зари до зари. Что поделаешь — главный до-

бытчик в семье. Сам ел вволю, в Одуев пересылал кое-что. На его счету числилось уже полтора ста трудодней; Герасим Пантелеевич сулил рассчитаться осенью в лучшем виде.

Наступил август, Славке стукнуло семнадцать лет, но он так раздался в плечах, так огрубел на тяжелой работе, осмолился загаром, что выглядел на все двадцать.

В деревне ничего не скроешь. Про Клавдию, конечно, знали все. Да и Славка не очень тайлся, даже заходил иной раз к ней в избу. Он привык и привязался к женщине, перестал стесняться ее.

Бывало, в июне Клавдия уводила его на лужайку, на берег реки. Скидывала платье и бросалась в воду, дразня Славку своей наготой. Выskalывала из его рук, убежала, со смехом скрывалась среди кустов. А потом, разгоряченная, падала вдруг перед ним на траву...

Когда подоспел второй покос, Герасим Пантелеевич назначил Славку бригадиром, выделив ему семь девушек. Председатель схитрил. Сено с лугов почти все надо сдать государству. Для колхозных коров останется с гулькинос, а на соломе молока не нагонишь. Вот и отправил он Славкину бригаду в лес, выкашивать поляны и пересохшие болотины. Там и стога ставили, подальше от чужих глаз. Лесник, получивший бутылку самогона и десятую копну, не возражал.

Бригада так и жила в лесу, в двух шалашах, вольготно и весело. По утрам вставали с зарей, умывались у родника, ели горячую кашу. Косили часов до десяти: августовская роса держалась долго. После обеда ворошили подсохшую траву. По вечерам долго засиживались у костра, пекли картошку и пели песни.

Косы часто тупились, срезая молодую древесную поросль, попадая на коряги, на сухие ветки. Но Славка наборзился быстро отбивать и точить их брусом. Без парня девушкам пришлось бы трудно. Да и страшновато одним в ночном лесу. Славку берегли, давали ему вволю выспаться после обеда, повариха клала ему лучший кусок.

Как-то, соскучившись о Клавдии, он сказал, что пойдет в деревню за продуктами. Вернулся под утро, усталый и опустошенный. Работал плохо, глаза слипались, брусок вываливался из рук. И только когда отоспался, заметил, что девушки смотрят на него косо, разговаривают недружелюбно. Славка понял — ревнуют.

За ужином повариха Анька, толстая, низкорослая девушка с кирпичным лицом, сказала Славке:

— Чего ты со старухой связался? Девоч тебе мало? Али это вкусней из чужого стакана опивки-то допивать?

— Не трогай ты его, — возразила худенькая чернявая и большеглазая девчонка, самая молодая, тихая и застенчивая в их бригаде. — Может, он жениться на ней хочет. Ну и пусть женится, — в голосе ее звучала такая обида, что Славка даже поразился, взглянул на нее с удивлением и любопытством. У девчухи горели щеки, а глаза блестели от слез.

— Не защищай, Надежда, — осердилась Анька и стукнула кулаком по колену. — С бригадиром у нас разговор короткий. Мы на тебя радовались, ждали, может, приглубишь кого, — повернулась она к Славке. — А тебе вдовая баба весь свет затмила. Не видишь, какие цветы возля тебя вянут! Я о себе молчу, куды мне с такой рожей. Ты вон на Надьку взгляни, на Фроську взгляни. Высохли по тебе девки. Что же им, в окно к деду Игнату стучаться, у старика милостыню просить?

— Не надо, Анька! — прервал ее кто-то, но она отмахнулась здоровенной своей ручищей.

— Отстань, я верно ему говорю. Хочешь, бригадир, жить по-хорошему, так живи. Мы тебе тут чистый курорт устроим. Мы и за тебя поработаем, нам не тяжко. Отдыхай перед армией. Возьмут тебя на службу — вовсе без мужичьего духа останемся. А если опять к вдове прилабуниться — уходи. Нам это обидно. Вот и весь сказ.

Помолчала, засмеялась и толкнула Славку в плечо.

— Ну, давай, что ли, миску! Мясца тебе подложу!

— Да ты у меня весь аппетит отбила, — несердито сказал Славка, и девушки, сидевшие вокруг, засмеялись с облегчением. Только Надя встала и бочком, незаметно ушла в шалаш.

Славке стало как-то не по себе. Вот и не знал совсем, что обижает невниманием человека. А ведь Надя-то — девчонка симпатичная, глаза большие-большие. Только очень уж молодая, не старше Славки. Лицо нежное, плечи узкие, улыбка наивная. К такой и прикоснуться-то страшно.

С этого вечера Славка совсем по-новому начал смотреть на свою бригаду. Хорошие девушки работали рядом с ним: веселые, озорные и очень даже привлекательные.

Анька, конечно, не в счет. Она добрая, заботливая, но больно коровистая. Груды — как подушки, ноги толстые, бесформенные. Говорят, за ней ухлестывал Сашка Фокин. Но это три года назад, тогда она моложе была и красивей.

Особенно приглядывался теперь Славка к Наде, а она будто пугалась его, старалась держаться подальше. Проходя мимо, закрывала лицо платком, даже сутулилась и покачивалась, словно теряла равновесие под его взглядом.

Как-то вечером бригада копнула сено на широкой просеке, в редком березняке. Подвозили высохшую траву «своим ходом», на самодельных санках из длинных и гибких стволов молодых березок. Увлечшись работой, Славка с удивлением заметил, что девушки куда-то исчезли. Только Надя стояла рядом с копной, растерянная не меньше его.

Славка посмотрел вокруг, щурясь от красного солнца, повисшего на ветках берез. Никого. Нарочно сбежали, черти!

Остановился рядом с Надей: лицо у нее жалкое, а на щеках полосками бледность.

— Вот дуры! Вот дуры какие! — бормотала она, отвернувшись. Но, когда Славка обнял ее за талию, покорно прижалась к нему, зажмурив глаза.

Славка поцеловал девушку в лоб, ощутив солоноватый привкус испарины, и пожалел ее. Ну, чего трясется, чуждачка?

Опустился возле копны, притянул ее за руку: она упала рядом мешковато, напряглась, ожидая. Он гладил ее волосы, чуть касаясь губами горячих щек. Девушка долго не двигалась, потом шевельнулась, взглянула на него с любопытством.

Долго, наверное целый час, сидели они молча, обнявшись, вдыхая запах свежего сена. Прохладный ветер обдувал лица. Где-то на поле звонкими серебряными колокольчиками вызванивали перепела: «Спать пора!.. Спать пора!»

* * *

Маленький Николка за лето сильно подрос. Самостоятельно разгуливал по саду на крепких загорелых ножках. Увидел Славку, бросился к нему, дрожа от радости, и не отходил от него до самого вечера.

Обычно малыша укладывала спать бабушка, но в этот

раз он чуть не разревелся, когда раскрыли его кровать. Славка сам раздел его, посадил на горшок. Вытянувшись под одеялом, крепко держа Славкину руку, Николка попросил: «Спей». Пришлось вполголоса затянуть «Три танкиста». Других колыбельных песен Славка не знал.

Дома на этот раз все было спокойно. Женщины без него не ругались. Антонина Николаевна с утра уходила в школу, у Марфы Ивановны хлопот полот рот: и у печки, и в огороде. Ольга смотрела за детишками, обшивала всю семью, брала заказы со стороны. Но такая уж наблюдательность выработалась у Славки, так изучил он характер Ольги, что, присмотревшись, заметил — грустит она.

Конечно, жизнь у нее скучная. Женщина молодая, красивая, два языка знает, а сидит, как в тюрьме. Со двора — ни шага, только на базар да обратно. Ни в кино, ни потанцевать. Славка предложил ей сходить вечером в Дом культуры, но она отказалась: что за радость топтаться на «пятакче».

Значит, было что-то другое. Оставшись с ней вдвоем в беседке, Славка спросил напрямик: почему глаза печальные?

— Разве? Неужели видно?

Она стояла в проеме двери, скрестив на высокой груди руки. Белое платье облегло фигуру, голова чуть откинута назад под тяжестью толстых кос. Такими представлял себе Славка тургеневских героинь.

— Кому не видно, а мне видно, — строго ответил он.

— Предчувствие плохое, — произнесла Ольга с таким тяжким вздохом, что у Славки сразу зануло сердце. Он глотнул воздух, стараясь не выдать волнение. Возразил грубовато:

— Ты что, мещанка какая — предчувствиям веришь?

— Кольцо я, Славочка, потеряла!

— Какое еще кольцо?

— Обручальное, — подняла она руку. — Которое Игорь с фронта привез.

— Снимала его?

— Нет, никогда.

— А в фонд обороны тайком не сдала?

— Ты все шутишь, — грустно улыбнулась Ольга.

— Мать и бабка не знают?

— Нет пока.

— И не говори им, — посоветовал Славка. — Без толку выть начнут. А я поищу.

За день он очень устал, поэтому заснул сразу и крепко. Утром открыл глаза, едва ударило в окно солнце. В доме было тихо. Славка решил полежать, подумать на свежую голову. Эти чертовьи идеалисты способны только на дурацкие переживания. Эмоции у них всякие, нервы. А в жизни должна быть система. Поменьше ахов да охов, побольше логики.

Само кольцо соскочить не могло? Нет. Разве что Ольга во сне сняла его как-нибудь случайно и оно укатилось... Надо поискать вокруг кровати и в мусоре. Впрочем, это тоже отпадает. Легче палец отрубить, чем кольцо сдернуть. Очень крепко оно сидело. Однажды Ольга дергала-дергала, и никак. Пришлось палец намыливать.

Тут Славка даже подскочил на матрасе. Мыло — это точно. Стирает Ольга почти каждый день. Вода мыльная, мутная, белье трет с силой. Вот и не заметила! А потом куда? Только бы не в сортир... Нет, воду всегда выплескивают на помойку в конце огорода!

Славка вскочил, натянул старые брюки, в сенях обул дырявые ботинки, которые не жалко грязнить. Взял Людмилкину лопаточку и отправился на помойку.

Дух там стоял тяжелый, выбрасывали туда очистки, объедки, а иной раз выплескивали даже горшки. Отгоняя жирных назойливых мух, Славка разбил помойку на квадраты и припился исследовать их, отбрасывая картофельную шелуху, тряпки, перетирая пальцами липкие комочки какой-то дряни.

«Нет, так не годится, — морщась от вони, подумал он. — Так на неделю работы хватит... Порассуждать надо». Сбежал на кухню, принес таз с водой. Подошел к помойке по тропинке среди крапивы, стараясь вспомнить, как Ольга выплескивает воду. Останавливается в метре или в полутора метрах, размахивается вот так... Кольцо тяжелое, оно лежало на дне таза и далеко улететь не должно...

Славка сел на корточки, раздвинул полынь и крапиву и сразу увидел кольцо. Оно блеснуло почти возле самой ноги.

Спрятав кольцо, он долго плескался у рукомойника. Казалось, что и волосы, и кожа — все пропахло дерьмом. Славка злился, нюхая руки, и досадовал на Ольгу. Как она умудрилась не заметить! Игорь это кольцо полгода

в грудном кармане носил рядом со смертным медальоном. Поцеловал его сначала при всех, не стесняясь, потом Ольге отдал. А у нее — в помойку попало!

Лучше уж не говорить ей, чтобы не расстраивалась.

Ольга вышла на крылечко заспанная, с распушенными волосами.

— Возьми, — хмурясь, протянул Славка кольцо. — Да в другой раз осторожней белье стирай.

— Ой, Славочка! — только и сказала она; засмеялась, запрыгала, закружилась, словно девчонка, развеивая за спиной густую темную гриву.

* * *

В школе Славка безнадежно скучал. Уроки тянулись нудно и долго. После стояловских просторов тесным казался класс. Ноги едва уместались под партой, сидел боком, от неудобного положения ныла спина.

Глупые девчонки хихикали, строили ему глазки, на перемене старались завязать разговор. Но и с ними было неинтересно. Велика охота попусту воду толочь. Конечно, были среди них и красивые, можно было договориться о встрече вечером за кладбищем или в совхозной смородине. Только своих лучше не трогать, разговоров не обещаться.

Во вторник его вызвали в военкомат, на медицинскую комиссию. Голые ребята ошалело тыркались от стола к столу, прикрывая ладонями причинное место. Вся эта процедура показалась Славке унижительной, особенно когда заставили приседать и показывать зад.

Председатель комиссии, незнакомый молодой врач, сказал о Булгакове: «Без изъяна. Годен на все сто процентов».

Едва успел Славка одеться и покурить — пришел хромой старший лейтенант с медалью «За отвагу» на застиранной гимнастерке. Пригласил в свой кабинет, указал на стул.

— Вот что, Булгаков. Через месяц-полтора тебе на призыв идти. А сейчас дело есть интересное. Нужны крепкие грамотные ребята. Спецнабор. Хочешь?

— Куда, не скажете?

— На месте узнаешь... Я не неволю, желающие найдутся.

— Когда отправка?

— В субботу.

— Пишите, — махнул рукой Славка.

— В парикмахерскую зайдя, — посоветовал старший лейтенант. — Остригись сам. На месте все равно обольвоят.

Вернувшись домой, Славка забросил на гардероб сумку с учебниками. Дождался, когда кончит причитать расстроенная новостью бабка, и позвал ее в кухню. На тетрадном листочке записывал, какие останутся дома припасы. Картошка своя, хватит до следующих новин. Капусту нарубят уже без него. Огурцов две бочки, яблок моченых тоже две. Есть грибы, ягоды для ребятишек. Поросенка надо забить в ноябре — и в засол. Герасим Пантелеевич пришлет пуда четыре ржи — прибавок к пайку. Молоко из колхоза будут возить всю зиму. И за трудодни, и за сено, которое причиталось ему. Славка договорился с девчатами: едут в Одуев на молочный завод, и к Булгаковым завернут. Анька и Фрося, на них можно надеяться. Да, еще гречка. Заработал полтора пуда — это точно.

В общем — на год еды хватит, не зря вкалывал он все лето, как лошадь, без всяких там выходных. А через год видно будет. На всю жизнь не запасешься, как ни крутись.

Очень хотелось Славке смотаться в Стоялово, посмотреть на знакомые места, но подумал — и не пошел. Сам виноват: напетлял там следов, не знал, к кому прислониться напоследок — к Клавдии или к Наде. Да и перед родными было неловко, и работы навалилось — не продохнуть. Копал картошку, вставлял зимние рамы, утеплял землей потолок.

В вечер перед отправкой собралась семья в столовой. Раньше, бывало, теснились за столом один к одному, а теперь сидели просторно. Бабка достала бутылку самодельной наливки. Разговаривали тихо, присмирели даже детишки. Николка стоял, прильнув к Славкиной ноге. А когда поднял его — прилепился к груди намертво, не оторвать.

Прощанье вышло тяжелым. Мать, проплакавшая всю ночь, утром вышла сгорбленная, будто придавленная. Старалась улыбнуться, приободрить, но от жалкой улыбки ее Славке становилось еще горше. Ольга бегала суматошно, вытирая глаза и покрасневший нос, не успевала при-

чесаться, выскочила провожать по осенней грязи в летних протертых тапочках.

Одна Марфа Ивановна хоть внешне сохраняла спокойствие. Осенила Славку крестным знаменем, поцеловала трижды и сказала в дорогу:

— Господи Иисусе, сохрани ты кормильца нашего!

Два десятка парнишек-призывников мокли возле военкомата под мелким дождем. Мешочки и узелки побросали в подводу. Вышел старший лейтенант, велел построиться по три. Называл фамилии, отмечая в списке. Потом сказал, что транспорта нет, надо шагать до узкоколейки за тридцать пять верст. Надвинул на голову капюшон и заковылял к телеге.

Куца колонна вразброд потянулась по грязной улице. Рядом, всхлипывая, как на похоронах, шли родные, шли девчонки, провожавшие одноклассников. Сосед Славки рукавом размазывал по лицу слезы.

На повороте старший лейтенант скомандовал:

— Шире шаг!

Отстали девчонки. На ходу поцеловала и затерялась в толпе мать. Только Ольга до самого моста шла рядом, шлепая по лужам тапочками, судорожно сжав Славкин локоть. Растрепанная, почерневшая, глядела на него мокрыми немигающими глазами и вдруг мягко обвисла на руке его, со стоном задыхаясь в рыданиях.

Последний мужчина из их семьи уходил туда, куда ушли все и откуда никто еще не вернулся.

16

Поражения на фронте всегда совпадали у Гудериана с каким-нибудь личным несчастьем: это стало просто трагической закономерностью. В июле он съездил на Курскую дугу, хотел принять участие в большом наступлении, хотел увидеть победу, а увидел разгром. Меньше чем за месяц на его глазах погибли танки, накопленные с огромными трудностями, погибли танкисты — остатки тех кадров, которые еще недавно составляли цвет и гордость германской армии. Танковые корпуса превратились в пехотные, потеряли гибкость, огневую мощь и способность маневрировать. Армейский организм ослаб и обмяк.

В самый разгар боев Гудериан заболел дизентерией.

Несло его так, что целыми часами не выходил из туалета, там читал донесения, оттуда отдавал распоряжения через своего адъютанта.

Едва возвратился в Германию — новая беда. Бомба, брошенная американским самолетом, почти полностью разрушила его берлинскую квартиру, погибли картины и ценности, которые тайно вывозил он с завоеванных территорий. Остатки накопленных богатств пришлось разместить в Вюнсдорфе, в подвале казармы.

Все нужно было начинать сначала.

Промышленность Германии работала с полным напряжением, давая каждый месяц более тысячи танков разных типов и столько же самоходных орудий. Но не хватало людей. Посланцы Гудериана разыскивали танкистов в госпиталиях, в пехотных частях, собирали остатки войск, эвакуировавшихся из Африки. В учебных центрах занятия шли по сокращенной программе. Выпускники сразу направлялись в дивизии, формировавшиеся на территории Германии и Франции.

Год назад времени не хватало русским, они не успевали заткнуть бреши на фронте. Теперь времени не хватало немцам. Советские войска медленно, но с угрожающим упорством продвигались вперед сразу на нескольких направлениях, перемалывая ослабевшие немецкие части и наращивая свои силы. Правда, весь август германскому командованию удавалось повсюду сохранить силовую линию фронта. Но эта линия была настолько тонка и так напряжена, что грозила лопнуть в любом месте.

Катастрофа произошла 29 августа, там, где ее меньше всего ожидали. 60-я армия молодого советского генерала Черняховского, действовавшая на второстепенном участке фронта, прорвала немецкую оборону, захватила город Глухов и устремилась на Конотоп. За двое суток она продвинулась на 60 километров, расширив прорыв до 100 километров. Навстречу ей бросали тыловые части, сборные команды отпусников, охранные батальоны. Но это было уже бесполезно. В наступление включились соседи Черняховского. Немецкий фронт затрещал и лопнул на протяжении 500 километров. Русская лавина покатила к Днепру.

Все надежды фашистского командования связывались теперь с этой рекой. Туда направлялись вновь сформированные дивизии. Широкая водная преграда и укрепления

«Восточного вала» считались тем надежным рубежом, на котором можно остановить и измотать наступающего противника.

17

Под жарким украинским солнцем, по опаленной степи стремились полки на запад, свернувшись в колонны. Шагали люди без усталости, валились на землю на коротких привалах, вскакивали по команде и снова — вперед! Шли так быстро, что немцы не успевали убежать и на автомашинах. Игорь сам видел, как целый батальон, позвякивая оружием, бежал бегом. В первой шеренге — усатый, пожилой дядько — сержант с тремя нашивками за ранение. Лицо взмокло, гимнастерка почернела от пота, но ничего, дюжик! Да еще покрикивает на молодых, чтобы не отставали.

Немцы разрушали дороги, начисто выжигали села, оставляя за собой «мертвую зону». Далеко отстали от передовых частей обозы с боеприпасами, растянувшись на переходах артиллерия. Но такой порыв был в войсках, что роты с ходу кидались в штыки и ломали любое сопротивление.

Генерал Порошин носился по дорогам на буром от пыли «виллисе», требовал от командиров одного: берегите людей, главное еще впереди. До Днепра двести километров, надо не только дойти, но и форсировать реку быстро и неожиданно. Иначе — застрянем!

Два месяца дивизия не выходила из боев, понесла большие потери. Погибло или убывало по ранению две трети личного состава. Но Прохор Севостьянович сумел сохранить костяк своего соединения. У соседей было хуже. Дивизия, наступавшая справа, имела по 80—100 бойцов в батальоне. А Порошин рассуждал так: что сейчас главное? Не дать угаснуть наступлению и обязательно форсировать Днепр, переправиться через реку на хвосте немцев. Это — важнейшее звено в общевойсковом, в государственном, можно сказать, масштабе. И надо использовать все возможности, чтобы, ухватившись за него, вытянуть всю цепь... В диалектике Прохор Севостьянович разбирался!

На ходу в дивизию вливались партизанские отряды. Но здесь, в степной зоне, отряды были мелкие, дивизия

поглощала их незаметно. И тогда, ради важной цели, Порошин взял на себя ответственность за нарушение установленных правил. Санотдел армии строжайше запрещал перегружать ранеными санитарные батальоны, иметь при них большие команды выздоравливающих. Это было разумно, и обычно в санбате лечились только бойцы с легкими ранениями. А теперь Порошин позволил оставлять всех желающих. Покидать свою дивизию никто не хотел. Медсанбат разросся, обзавелся двумя десятками автомашин, сотнями повозок. Команда выздоравливающих насчитывала около пятисот человек.

Начальником «резерва» Прохор Севостьянович назначил майора Бесстужева, еще не оправившегося окончательно от ран. А тот, с помощью политотдельцев, выработал целую систему пополнения наступающих полков.

В освобожденных районах отбоя не было от добровольцев. В Красную Армию хотели вступить и молодые ребята, и бывшие окруженцы, и пожилые люди, имевшие свои счеты с немцами. Некоторые смекалистые комбаты помаленьку принимали добровольцев на свой страх и риск. А Бесстужев организовал это дело в широком масштабе.

Добровольцев оформляли через подевой военкомат, их, хоть и наскоро, проверял особый отдел, отсеивая тех, кто вызывал недоверие. И вот теперь, в дальних тылах, в тридцати-сорока километрах от передовых частей, шла за дивизией резервная колонна в две тысячи человек. На привалах люди осваивали оружие, знакомились с уставами, слушали беседы. Через два-три дня они принимали присягу.

Трофейных винтовок и автоматов для них хватало. Хуже было с обмундированием: его давно не получали даже кадровики. Расползались гимнастерки, разъеденные соевым потом. Разваливались американские ботинки. Бесстужев задерживал автомашины с одеждой и обувью, забирал груз для своих добровольцев. Экипировать их по всей форме он не имел возможности, делал это наполовину, чтобы придать людям хотя бы некое подобие воинского вида. Одни получали пилюльки и шаровары. Другие — обмотки и гимнастерки. Форма, конечно, была не ахти какая, но не беда! Через месяц-другой, при первой же остановке, все обмундируются как положено. Зато Бесстужев ежедневно отправлял в наступающие части триста-четыреста человек пополнения.

Военный Совет армии знал, конечно, о самочинстве

Порошина, но смотрел на это сквозь пальцы. Что там ни говори, а его дивизия была сейчас в армии самой полноценной и боеспособной, шла к Днепру, опередив другие соединения, без особых усилий сбивая противника.

Игорь Булгаков обзавелся трофейным мотоциклом, догонял на марше роты и батареи, разъяснял новый приказ Верховного Главнокомандующего: выбьем у немцев надежду отсидеться за «Восточным валом»! Вперед и только вперед! За форсирование Днепра и рек, равных ему по трудности, командиры батальонов и выше получают недавно учрежденный орден Суворова. Те, кто первыми переправится через Днепр, будут представлены к званию Героя Советского Союза. А тем, кто закрепит и удержит плацдармы, ордена и медали будут вручены прямо на месте, на том берегу.

Армейское и фронтовое начальство требовало: даешь смелость, даешь инициативу! И чем ближе к Днепру, тем ярче накалялся энтузиазм. Полки словно соревновались в скорости: стремительная волна наступления подхватывала и несла с собой не только войска, но и мирных жителей.

Каких картин не посмотрелся Игорь за эти дни! Людям поставили задачу и дали свободу действий. И люди воспользовались этим. Артиллеристы приспособливали для тяги уцелевшие колхозные трактора, везли свои пушки и лошадами, и быками, цепляли их к грузовикам, к захваченным бронетранспортерам. На какой-то станции разорили десяток трофейных вагонов с велосипедами. Целые роты стали самокатными, ребята дули вперед налегке, при одних автоматах, обгоняя пехотные колонны. Трофейные танки перекрашивались в зеленый цвет и тоже пускались в дело. Некоторые батальоны пленили по пыли босиком; ботинки болтались у солдат за плечами. И легче, и обувь цела. Невест сколько развелось кавалеристов. Кто болтался без седла на дремучей кляче, кто гарцевал на породистом жеребце — лишь бы скорее!

И в солдатских колоннах, и отдельными группами шагали гражданские, в соломенных шляпах, картузах, в кепках, но все при оружии: то ли партизаны, то ли бестужевские добровольцы, то ли самодеятельные отряды, поднявшиеся за армией и не успевшие еще влиться в воинские части. Вслед за саперным батальоном без строя, вольно, как на отхожий промысел, двигалась кучка стариков плотников с топорами за поясом и с пилами на плечах.

Решили, видно, бородачи, что не обойдутся без них на переправе: надо ведь и плоты вязать, и мосты рубить...

По проселкам пылило несметное множество крестьянских подвод. Тут командовали бабы да девки, везли продовольствие, лодки, снаряды, бочки с горючим, гнали коров для походных кухонь. В этих обозах было особенно шумно и весело, потому что вместе с подводчиками правились на запад выздоравливающие, отдохнувшие бойцы, не упускавшие случая поухаживать и пообнимать своих спутниц.

— Не то что армией — народом идем! — восторженно рассказывал Игорь начальнику политотдела, возвратившись из поездки. — Таким валом валим, что Днепр ладонями вычерпаем и по сухому дну переправимся!

Темн преследования был столь стремительным, что километрах в ста от реки немцы вообще прекратили сопротивление, стараясь унести ноги. Они не успевали теперь жечь села и угонять жителей.

Чтобы не оторваться от противника, генерал-майор Порошин сколотил и бросил к реке передовой отряд: восемнадцать танков и два батальона пехоты на броне и на автомашинах. Вместе с отрядом пошли все полковые и дивизионные политработники.

Головные танки дважды врезались в хвост немецких пехотных колонн. Фашисты врассыпную удирали от дороги, их поливали огнем из автоматов и пулеметов, но не останавливались, неслись дальше, через просторные поля, через длинные украинские села, мимо белых мазанок, мимо вишневых садочков.

Игорь, обняв левой рукой ствол танковой пушки, чтобы не скатиться под гусеницы, правой подносил к глазам бинокль, все ждал, когда же откроется впереди широкий простор Днепра.

Не думал и не гадал старший лейтенант Булгаков, что в сотне километров южнее, ближе к Киеву, в этот самый час вышел к реке его закадычный дружок, гвардии лейтенант Виктор Дьяконский. Вышел пешком, отмахав за три дня сто двадцать верст, на целые сутки опередив свой полк. Под бомбежками, в стычках с немецкими арьергардами истаяла его рота, многие потерялись в пути, не выдержав бешеного темпа марша.

Привел он с собой девять автоматчиков, сержанта Гафиуллину, будто сросшегося с ручным пулеметом, и бронбойщика Изю Воловича, шатавшегося под тяжестью

длинного ружья. Волович не бросил его, хотя оно было сейчас совершенно бесполезным, потому что второй номер погиб еще позавчера, а вместе с ним пропал весь запас патронов к ружью. И вообще было невероятно, как этот бледный худенький паренек не отстал, не сломился в пути, не упал замертво, вытянув окровавленные стертые ноги. Виктор, проникшийся уважением к Воловичу, сказал бойцам, что дошел бронебойщик на внутренней силе. Дошел потому, что родился и вырос на берегу этой реки, потому что в Киеве жила его большая семья: он наверняка знал, что от всей семьи никого не осталось в живых, но хотел верить, что это не так, что фашисты еще не успели, что он дойдет, дорвется, спасет своих сестер и братишек...

Одиннадцать бойцов и сам-двенадцать Дьяконский за сто двадцать верст, через всю опустошенную, выжженную немцами «мертвую зону» пронесли на своих плечах рыбацкую лодку, взятую на реке Орель, а со вчерашнего дня несли еще и две двери, подобранные на пепелище.

Свое богатство сложили они в кустах на низком луговом берегу и побежали к реке. Пили жадно, прильнув губами к прохладной зеленоватой воде. Не пил только выносливый крепыш Гафиуллин. Он стоял на бугорке, охраняя ребят. Обмахивал платочком разгоряченное лицо, бритая голова красновато блестела в лучах вечернего солнца. А Изя Волович, сидя в воде по пояс, смывал кровь, заплывшую на распухших ступнях.

Прищурив глаза, Виктор смотрел на западный берег, высившийся темной стеной. Острыми казачьими пиками торчали там верхушки деревьев. Это место Дьяконский выбрал на карте еще вчера, и теперь был доволен, что не ошибся.

Сколько раз доводилось ему держать оборону на реках! От Прони до самого Дона — все и не пересчитаешь! Кое-какой опыт у него имелся. Он знал: сколько бы сил ни подтянули к Днепру немцы, они не смогут создать сплошную мощную оборону на сотни верст. Они сосредоточат войска в крупных населенных пунктах, в узлах дорог, в местах, удобных для форсирования водной преграды. А то место, которое выбрал Виктор, удобным не назовешь, скорее наоборот. От дороги далеко. Левый берег болотистый, кочковатый. В низком кустарнике не укроешь от авиации скопления войск. Зато правый берег крут и обрывист, высаживаться на него трудно. Немцы на таких участках

форсирования не ожидают. Контролируют их дозорами, патрулями, разъездами. А это совсем другой разговор!

Одного автоматчика Виктор послал с донесением к командиру батальона. Двум бойцам велел остаться на берегу «маяками», встречать подразделения. Хотел оставить Воловича, но бронебойщик отчаянно запротестовал: ведь Киев — на той стороне!

— Ладно, — сказал Дьяконский. — Бросай свою пушку и иди в лодку.

Волович с сожалением положил ружье на травянистую кочку.

В сумерках лодка отчалила от берега. Виктор и автоматчик гребли малыми саперными лопатками. На носу, с ручным пулеметом Гафиуллина изготовился Волович. Сам Гафиуллин, раздевшись, плыл в холодной воде, держась за дверь. Возле другой двери, сложив на нее обмундирование, плыл полтавчанин Майборода. Обе двери были привязаны веревкой к корме лодки, и это замедляло движение. Мешало и течение, сносившее маленький караван.

Далеко на севере белыми гроздьями взлетали ракеты, похожие на цветки ландыша. Несколько раз прогудели в небе самолеты. А здесь было совсем тихо, только хлопала вода под лопатами да изредка отфыркивались пловцы. Виктор думал: если немцы заметили их, то крышка. Подпустят поближе к берегу и срежут в упор. Достаточно одной очереди.

Видимо, тем же тревожились и бойцы. Изя Волович ерзал, покачивая лодку. Автоматчик втянул голову в плечи, греб рывками. Эх, ребята! Теперь уж нервничай или нет — ничего не изменишь!

— Волович, — негромко позвал Виктор.

— Слушаю!

— Ты до войны кем был?

— Что-о-о? — дернулся тот.

— На художника, говорят, учился?

— Лейтенант, что это вы? Да идите вы к черту!

— Я тебе почертью! — пригрозил, усмехаясь, Виктор. — Ишь, герой! Гаунтвахты не пробовал?

Автоматчик рядом с Дьяконским фыркнул по-кошачьи, то ли от смеха, то ли от удивления.

— Лейтенант, я в порядке, — шевнул Волович.

Виктор промолчал, а минуты через две предупредил:

— Увидишь подозрительное — бей сразу!

— Я в порядке, — повторил Волович, прилаживаясь плечом к пулемету.

Черный берег навис над головой как-то сразу, гребцы не успели притормозить, врезались в густой кустарник. Сухая ветка сбила с Воловича пилотку, оцарапала лоб. Виктор ухватился руками за гибкие прутья, медленно сполз в воду.

По откосу карабкался на четвереньках, стараясь не шуметь. Замирал, прислушиваясь. Нет, опасности вблизи не могло быть. В самом деле, не станут же немцы дежурить под каждым кустом. В полукилометре от берега есть высота с отметкой «109», там они могли выставить наблюдателей, охранение. А ночью, на берегу — вряд ли!

Автоматчик, минуту передохнув, погнал лодку назад за оставшимися товарищами. Дьяконский предупредил: через полтора часа Волович начнет сигнализировать из кустов фонариком, чтобы гребцы ориентировались.

Сидеть всем возле воды и ждать — не имело смысла. Виктор, Гафиуллин и Майборода поднялись по крутому откосу. К высоте «109» вела старая просека, заросшая высокой жесткой травой. Тропы на просеке не было, значит, к воде по ней не ходили. И все-таки Виктор приказал соблюдать полную тишину. Двигались медленно, крадучись, от дерева к дереву.

Долго лежали в траве, глядя на высоту. И только когда убедились, что нет на ней никакого движения, ползком поднялись по склону.

Да, это была удача! Лучшую позицию для обороны найти трудно. Перед высотой тянулось ровное поле, за ним пролегла дорога. Если немцы появятся, то наверняка со стороны дороги. Они пойдут по открытому месту, а у Виктора сзади кустарник и густой лес.

За трое суток ребята измотались, но на отдых не оставалось времени. Решили спать посменно. Майборода лег на два часа, а Дьяконский и Гафиуллин принялись рубить лопатками закаменевшую в летнюю сушь землю. До рассвета требовалось оборудовать окопчики, хотя бы неглубокие, на первый случай.

К утру на высоте «109» собралось семь человек (двух автоматчиков Дьяконский оставил возле воды наблюдать за рекой). С Днепра поднялся негустой, но холодный туман,

ман, скапливался в низинах, оседая на траве крупными каплями. Стали видны следы колес — кто-то недавно подъезжал с дороги на мотоцикле. «Значит, наведываются сюда немцы», — понял Виктор.

Бойцы заканчивали окопы. Гафиуллин резал финкой траву и ветки, охапками раскладывал их перед бруствером, чтобы при необходимости сразу замаскироваться.

Виктор надеялся, что до вечера немцы не обнаружат их. А там подойдет полк, подойдет вся дивизия. Фашисты, конечно, сразу заметят такое скопление, бросят сюда резервы. Но место для переправы обеспечено. Часа три-четыре Дьяконский продержится на высоте, а за это время переправятся с того берега и стрелки, и артиллеристы. Главное — зацепиться, удержать этот клочок земли с господствующей высотой.

Так он рассчитывал. Но получилось иначе. Часов в восемь, когда рассеялся туман, на дороге появился немецкий танк Т-IV. Возле него мельтешили с десятков мотоциклистов, сворачивали на тропинки, как ртуть рассыпались по полю, исчезая среди кустов, и опять возвращались к медленно ползущей машине.

Два мотоцикла повернули по старым следам к высоте «109». Ехали безбоязненно, быстро. Треск моторов стремительно приближался. Немцев подпустили впритык, метров на тридцать, и открыли огонь — ничего другого не оставалось. Стреляли трое: Дьяконский, Майборода и Волович. Три очереди — и немцы вылетели из седел, а те, что сидели у пулеметов, сникли, сползли на дно колясок.

В ответ ударила танковая пушка. Снаряды пронеслись левой высоты и разорвались в гуще деревьев. Фашисты на дороге еще не разобрались, кто и откуда стрелял. Мотоциклы сбились вокруг танка, немцы, по-видимому, совещались.

Танк развернулся и медленно пошел к высоте, а мотоциклисты остались в безопасном отдалении. Тяжелая машина двигалась осторожно, то и дело останавливалась, угрожающе поводя тонким пулеметным стволом. А вокруг все было тихо и мирно. Сынались с деревьев желтые листья, нежарко пригревало осеннее солнце. Только трупы мотоциклистов, черными мешками валявшиеся в траве, нарушали эту идиллию.

Возле опрокинувшегося мотоцикла танк остановился и начал строчить напропалую по высоте. Потом по деревьям.

Потом, уgomонившись, пополз дальше, в узкое горло просеки. Продвинется метров пять, споткнется, полоснет вокруг очередью, и снова вперед.

Шесть противотанковых гранат имели при себе бойцы Дьяконского. Изя Волович глазами спрашивал: можно? А у Виктора в трудные моменты голова работала всегда точно и быстро. Мотоциклисты далеко, их пулеметные очереди не страшны. Танк один. Он слепой. Он видит только то, что перед ним.

Сбросив сапоги, Виктор на бегу кинул Воловичу:

— Плащ-палатку, за мной!

И тот, молодчага, понял, покатился по склону вслед за своим лейтенантом.

Подкравшись сзади, Дьяконский вскочил на корму. Горячая решетка жалюзи обожгла босые ноги. Бесшумно ступая, он подобрался к башне и накинул на нее плащ-палатку, закрыв смотровые щели. Волович точно так же закрыл смотровую щель механика-водителя.

Немцы, конечно, были обескуражены. Ни стука, ни выстрелов, и вдруг — темнота. Танк ткнулся вперед, потом назад и остановился, чуть накренившись — гусеница попала в канавку.

Прошла минута, другая. Прижав коленями плащ-палатку, Виктор поднял над головой трофейную гранату-лимонку. Он не видел, что происходило вокруг, не слышал, как заливаются пулеметы немецких мотоциклистов, как отвечает им Гафиуллин. Он весь напрягся, стараясь не пропустить момент. Вот что-то звякнуло под бровей. Виктор присел. Крышка люка откинулась рывком, высунулась рука с пистолетом. Немец выстрелил наугад, на всякий случай. Дьяконскому опалило щеку. И все же он успел сунуть в люк гранату, прежде чем крышка захлопнулась.

— Долой! — заорал он, падая с танка.

Волович ринулся вниз большим прыжком. Сразу рвануло. Потом еще. Виктор отполз за дерево и оглянулся. В машине рвались снаряды. Взрывная волна откинула крышку, из люка то полз черный дым, то стремительно вылетали языки пламени.

— Работа! — восторженно кричал Волович. — Вот это работа!

Он даже притопывал забинтованными ногами, не чувствуя боли в ступнях.

Немецкие мотоциклисты постреляли еще минут десять и укатили. Бойцы весело переговаривались. А у Виктора кошки на сердце скребли. Сколько времени понадобится фашистам, чтобы посадить на машины воинскую часть и перебросить сюда? Сущие пустяки. К полудню пожалуют...

Фрицы переполошились не на шутку. Минут через сорок над лесом появилась девятка бомбардировщиков. Виктор подумал, что это, пожалуй, уж слишком! Такой щедрости он даже не ожидал.

Самолеты сделали несколько заходов, разыскивая высотку. И, пожалуй, не нашли бы ее, если бы не черный остов сгоревшего танка.

Бомбардировщики разделились. Три штуки явно метили на высоту «109», а остальные вдруг повернули и ушли за реку. «Ага! Значит, наши близко», — сообразил Дьяконский, прижимаясь к шершавой глине на дне окопа.

Вот сейчас будет рев, свист, ураган, грохот. Надо открыть рот, чтоб не оглушило. Надо перетерпеть несколько минут... Всего несколько минут... Вот, началось!

Когда он поднялся из окопа, в дымном воздухе густо кружились сорванные с деревьев листья. Одна бомба добил немецкий танк, развалила его на части. Еще несколько угодили в склон высоты. Двое автоматчиков лежали мертвыми. Изя Волович перевязывал бритую голову Гафиулина.

— Стрелять можешь? — спросил Виктор.

— Могу, командыр, — морщась, кивнул тот.

Теперь они остались впятером. Вскоре с берега прибежал еще один боец, доложил радостно, что на той стороне появились наши, что уже спускают с грузовиков плоты и лодки. Потом пришел связной командира батальона. Виктор отправил его обратно с короткой запиской: просил поторопиться и подготовить артиллерийский огонь по дороге.

Связной еще не успел убежать, когда Волович крикнул, что видит колонну автомашин. Дьяконский поднялся на высоту, прикинул: немцев было не меньше двух рот. «На час, — сказал он себе. — Часок мы их поманежим. Больше никак не получится!»

Фашисты явно торопились. Пехотинцы бегом занимали боевые порядки. Машины сразу же развернулись и ушли,

вероятно, за подкреплением. А с дороги открыли частый огонь минометчики. Второй раз, и опять в голову, ранило Гафиуллину. Молчаливому Майбороде осколок вонзился в ягодицу. К ручному пулемету лег Волович, широко раскинув тощие ноги с грязными култышками бинтов. Виктор бил из пулемета, снятого с мотоцикла. Патронов не жалел, заставил немцев прижаться к земле. Фашисты делали короткие перебежки в пять-шесть шагов, вели огонь такой плотный, что воздух над высотой напряженно гудел.

В центре немцы продвигались медленно, зато на обоих флангах, и справа и слева, подошли к самому лесу. Теперь им ничего не стоило просочиться среди кустов, подобраться вплотную... Дьяконский приготовил гранату.

Пока перезаряжал пулемет, по правой руке словно хлопбыстнули кнутом. Посмотрел и даже губами чмокнул: надо же, как повезло! Осколок тоненькой змейкой прорезал кожу возле кисти. На пару миллиметров ниже — и нельзя стрелять.

Перевязываться не было времени. Мокрой от крови рукой он опять схватился за пулемет. Прежде чем открыть огонь, пощупал карман: бритва была на месте, все в порядке. В последний момент есть чем избавить себя от плена.

За рекой громыхнули пушки. Снаряды начали падать на дороге и позади немецкой цепи, заставили противника приостановиться. Виктор осмотрелся. Стрелял только один автоматчик. Майборода лежал ничком: вместо спины — кровавая каша.

Возле ручного пулемета снова находился Гафиуллин, а рядом с ним, схватившись за грудь, корчился и стонал Изя Волович.

Виктор прицелился, ловя каски, черневшие среди травы, повел стволом пулемета, чеканя длинную очередь. Сверху, больно ударив в плечо, грохнулся кто-то, заорал над ухом:

— А ну, подвинься!

Незнакомый Виктору мордастый сержант устанавливал в окопе бронестойку, пулемет мешал ему, он отталкивал Дьяконского локтем и орал по-сумасшедшему:

— Петька, сволочь, патроны давай!

Сзади подбегали еще и еще. Справа, в кустах, часто рвались гранаты. Дьяконский откинулся от пулемета и засмеялся с облегчением, глядя в яростное лицо сержанта.

— Ты чего ржешь, шляпа! — снова заорал тот. — Вон тебе цирк, видишь?! Петька, собака, патроны где?!

Дьяконский приподнял голову. От дороги, развернувшись цепью, ползли к высоте три самоходных орудия. За спиной, на просеке, начали рваться снаряды.

Бой разрастался, и еще трудно было предпринять, что останется хозяином высоты. Но здесь появились теперь новые люди, новые командиры, и у Виктора сразу спало нервное напряжение, сразу сказались бессонные ночи, утомление, голод. У него так кружилась голова, так туманилось перед глазами, что он почти перестал видеть и сообщать. Он даже не мог вспомнить потом, как оказался на берегу Днепра. Запомнились только огромные, неподвижные, полные муки глаза Изя Воловича, его черный рот, распыленный в вечном крике. Волович был мертв, а его почему-то везли в лодке на левый берег. Виктор хотел сказать, что не надо. Ведь Киев на правом берегу, и Воловичу обязательно нужно туда, к своим братишкам и сестренкам... Впрочем, может, этого и не было, может, все это просто пригрезилось ему в долгом сне?

Но нет! Он ведь помнил голову Гафиуллину, огромную шапку бинтов, из которой торчал только розовый нос и чуть виднелись черные узенькие глаза. И еще он помнил волны на Днепре и как по этим волнам, навстречу их лодке, шли другие лодки, наполненные бойцами, шли плоты с пушками и по всей широкой реке плыли люди, люди, люди: на досках, на бочках, на связках соломы и просто так. Их бомбили самолеты, но зато с берега в них никто не стрелял, потому что немецкие солдаты, немецкие танки и самоходки остались за просекой, за высотой «109».

* * *

Прославленный «Восточный вал» рухнул буквально за несколько дней. В конце сентября советские армии стремительным маршем вышли к Днепру на огромном пространстве от города Лоева до Запорожья и с ходу форсировали могучую реку во многих местах, захватив на западном берегу 23 плацдарма, и среди них несколько крупных. Днепр больше не являлся преградой для наступления. И если советские войска остановились на достигнутом рубеже, то лишь для того, чтобы закрепить успехи,

подтянуть тылы и резервы, изготовиться к новому броску.

Страна щедро награждала бойцов, отличившихся на Днестре. В одной только дивизии, где служил Виктор, к высшей награде было представлено 28 человек. И среди первых — Дьяконский. О нем писали дивизионные журналисты. Армейская газета поместила портрет Виктора и большой очерк.

Гафиуллин цокал языком от удовольствия, читая газеты. А Виктор не только не радовался, но даже пугался. Очень уж не хотелось ему этого шума, не хотелось привлекать внимания к своей персоне. У него мороз пробегал по коже всякий раз, когда во всеуслышание склоняли его фамилию с добавлением самых лестных эпитетов.

Представления на звания Героев Советского Союза были утверждены Военным Советом армии и отправлены в Москву. А вскоре был опубликован Указ. Звания Героев получили посмертно красноармейцы Майборода и Волович, получил сержант Гафиуллин. Золотая Звезда украсила грудь командира дивизии. В списке награжденных не оказалось только Дьяконского.

И Гафиуллин, и комбат, и командир полка, получившие Звезду за захват плацдарма, чувствовали себя перед Дьяконским по меньшей мере неловко. А генерал — горячая солдатская душа — сам ездил в наградной отдел армии, ходил к члену Военного Совета, доказывал, требовал и утихомирился только тогда, когда получил короткое категорическое разъяснение. Но и после этого он сделал все, что было в его силах. Виктор Дьяконский получил орден Красного Знамени. Кроме того, ему досрочно было присвоено звание гвардии старшего лейтенанта.

18

20 октября 1943 года Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский, и это полностью отвечало тем задачам, которые стояли теперь перед ним: освободить Киев, а потом гнать немцев дальше на запад.

Ударная группировка фронта, сосредоточенная на Букринском плацдарме, южнее Киева, дважды пыталась прорвать вражескую оборону. Но безуспешно. Плацдарм сам по себе невелик, трудно разместить на нем крупные силы

и технику, необходимые для мощного наступления. Да и фашисты своевременно позаботились о том, чтобы стянуть сюда побольше пехотных и танковых соединений.

Здесь, как и раньше во многих других местах, очень явственно проявился тот самый принцип взаимного притяжения войск, который превращал ничем не примечательные участки фронта в арену жесточайших боев.

Удалось высадиться в районе Великого Букрина советскому батальону. Немцы бросили против него полк. Советские командиры переправили на западный берег дивизию: немцы выставили две. Так и пошло. В дело включились корпуса и целые армии. Завязался узел, привлекавший к себе внимание обеих сторон. Фашисты не только создали вокруг плацдарма три оборонительных полосы, не только отбивали атаки советских войск, но и сами пытались наступать, пытались отбросить русских за реку.

Немцы не могли и предположить, что при таких обстоятельствах советское командование решится ослабить силы на Букринском плацдарме, изменить направление главного удара. К тому же в конце октября резко испортилась погода, начались дожди, утром и вечером с Днестра наплывал сырой промозглый туман. Дороги сделались непроезжими. Пришло губительное для наступающих межсезонье, исключавшее, по мнению немцев, возможность маневра крупными силами.

Но генерала армии Ватутина недаром называли человеком смелых решений. Он десятки раз ломал рамки оперативных шаблонов, доставляя крупные неприятности вражеским полководцам, которые на зубок знали все установившиеся стандарты, пунктуально фиксировали все то, что могло явиться прецедентом, могло повториться в будущем. Однако Ватутин не повторялся.

По согласованию со Ставкой, штаб 1-го Украинского фронта выработал новый план. Центр тяжести боевых действий переносился в новый район, на Лютежский плацдарм севернее Киева. Туда направлялись свежие войска, перебрасывались с Букринского плацдарма 3-я гвардейская танковая армия и 7-й артиллерийский корпус прорыва. В этом как раз и заключалась основная трудность. Требовалось оттянуть на восточный берег Днестра массу танков и пушек. Потом — марш в сто пятьдесят километ-

ров по размытым дорогам, переправа через Десну и еще одна переправа через Днепр, теперь уже опять на западный берег.

Даже при самых благоприятных условиях, при хорошей погоде колонна только артиллерийского корпуса прорыва, не считая танковой армии, вытягивалась во время движения на 60—70 километров! А ведь этой колонне надо было идти под дождем, в ночное время и трижды переправляться через широкие реки по зыбким мостам. И главное — сделать все это требовалось быстро и незаметно. Иначе все пойдет насмарку. Враг разгадает маневр, перебросит к Лютежскому плацдарму свои силы, и наступление захлебнется в крови.

Советским войскам помогала погода. Утром и вечером авиация не летала из-за туманов. Да и днем тучи висели так низко, что лишь редкие самолеты отваживались проскочить под ними, чтобы взглянуть, что делается на земле. Обе стороны будто ослепли. И эта вынужденная «слепота», помогавшая незаметно произвести перегруппировку, в то же время доставляла генералу Ватутину серьезные неприятности.

Он знал, что войска выполнят приказ. При любых трудностях они придут в указанное время в отведенное для них место. В конце концов он мог отложить на сутки начало атаки. Он вообще способен был сделать многое, ему доверили большую силу и большую власть. Но, чтобы действовать наверняка, он должен был знать обстановку по ту сторону фронта. Продолжают ли немцы сидеть с поднятой дубинкой у Великого Букрина и ждать, когда русские бросятся в наступление? Или они разгадали маневр, заметили отвод войск и теперь сами перебрасывают свои силы к Лютежскому плацдарму, чтобы отразить новый удар на новом месте?

Данные авиаразведки были очень скудными. Агентурная разведка молчала: немцы выселили из прибрежной полосы мирных жителей, навели строгий порядок в своих тыловых районах. Войсковая разведка каждый день брала пленных с переднего края. Они подтверждали только одно: состав частей, занимающих первую полосу обороны, не изменился. А что происходит там, в глубине? Может, противник уже подготовил контрудар? На каком направлении? Какими силами? Ватутину требовались ответы на многие вопросы, прежде чем он мог со спокойной

совестью послать вперед, навстречу опасности, сотни тысяч бойцов.

Войска, предназначенные для прорыва обороны, для наступления на Киев, накапливались на Лютежском плацдарме, размещались там тесно, впритык, локоть к локтю. А в это время все дивизии, действовавшие правей и левей плацдарма, выслали за линию фронта, в тыл противника, сильные разведывательные группы. Несколько групп от каждого соединения — так приказал Ватутин. Он должен, он просто обязан был знать, что делают в эти дни немцы.

* * *

За одну ночь дивизия генерал-майора Порошина потеряла пятнадцать лучших разведчиков. Две группы попытались просочиться через линию фронта и обе не смогли. А начальство сверху давило и требовало: давай сведения!

Игорь Булгаков напросился в разведку сам и даже выдвинул предложение перебросить разведчиков в немецкий тыл на самолете. В поле или на лугу после дождей, конечно, не сядешь. Зато можно приземлиться прямо на асфальтированном шоссе, километрах в пятидесяти от передовой, выбрав глухой участок местности. Ведь днем, как и у нас, у немцев прекращается движение на дорогах.

Начальник разведотделения штаба дивизии, педантичный капитан-чувак, начисто лишенный романтической жилки, сказал, что самолет привлечет внимание противника и группа провалится. Игорь начал было доказывать: ей-богу, мол, есть смысл рискнуть, может, даже трофейный самолет использовать для этого дела, но капитан не стал слушать. Капитан был очень занят и к тому же не любил прожектерства. Разведка была для него опасной службой и только. Он занимался ею по необходимости и не мог понять того энтузиазма, с каким готовился в глубокий поиск этот вихрастый старший лейтенант из политотдела.

Людей Игорь отбирал в разведроту сам. Помощником взял старшину Парамонова, с которым познакомился еще на Дону: вместе с ним лазил по итальянским позициям возле Лысой горы. Старшина посоветовал захватить двух сержантов: Мигачева и Мигунова. У этих молодых парней не только фамилии были созвучны, но и рост одинаковый, и лица вроде бы схожие. Только один черноволосый, а другой светлый и почти безбровый. Оба они уме-

ли немного говорить по-немецки, а это Игорь считал очень важным. Он также настоял, чтобы в группу включили одного из штабных переводчиков.

Радиостов прислали из корпуса. Они принесли с собой радиостанцию, упакованную в два металлических ящичка с заплоченными ремнями.

Прохор Севостьянович Порошин скрепя сердце утвердил состав группы. Не хотелось ему отправлять Булгакова на такое рискованное задание, но что поделаешь! Группу, идущую в тыл противника, обязательно должен возглавить офицер. Так положено. А кроме капитана, в разведотделении дивизии ни одного офицера не осталось. Самого же капитана посылать было нельзя: он должен перебросить группы через линию фронта, принимать сообщения от них, а потом обеспечить возвращение разведчиков к своим.

Все-таки Порошин не сдержался и сделал капитану внушение: на войне, дескать, у каждого свои обязанности и это непорядок, если в разведку будут ходить политработники. Капитан мог бы заранее позаботиться, чтобы ему прислали офицеров из армейского резерва.

Капитан молча выслушал замечание, а потом позволил себе доложить, что старший лейтенант Булгаков уже не раз был в немецком тылу и вызвался идти добровольно.

— Знаю,— сердито сказал Порошин.— Это не объяснение. Сломать нужно такую систему. Каждый должен заниматься своим делом!— повторил он.

Пока капитан ходил к генералу, разведчики выворачивали карманы, доставая документы, письма, деньги, бумаги. Отвинчивали с гимнастерок ордена. Каждый аккуратно завертывал свое добро в тряпицу и клал на стол. Такой уж порядок. Уходя на задание, разведчик оставляет за чертой фронта свое имя, отрешается от всего прошлого.

Пестрый маскировочный халат был немного велик Игорю, пришлось подвернуть рукава. Ватник почти невесомый, но теплый. Сапоги подогнаны на две портянки. Автомат, два запасных диска, нож, планшет с картой, две гранаты, несколько банок консервов — вот и все снаряжение. Свободно, легко: ничто не стучит, не звякает, не мешает бежать и ползти. Игорь испытывал приятное волнение и едва ощутимую тревогу, как бывало в те далекие дни, когда отправлялся с отцом на охоту.

Старшина Парамонов посоветовал надеть немецкие каски, взять немецкие автоматы и набросить поверх маскхалатов пестрые фашистские накидки.

Через Днепр переправились на лодке поздно вечером, когда поднялся густой туман. Плыли, как в молоке, в двух метрах ничего не было видно. Лодку утнал назад ефрейтор-гребец, а разведчики минут десять лежали на берегу, прислушиваясь к редким выстрелам. Высадились они как раз в том месте, за которым несколько дней наблюдал старшина Парамонов. Он знал, где у врага колючая проволока, где поставлены мины.

Медленно и осторожно лезли разведчики по крутому обрыву, скользя на мокрой глине, цепляясь за корни деревьев. А едва поднялись наверх — чуть было не столкнулись с фашистами. Пятеро солдат прошли мимо, спокойно разговаривая и гремя котелками — наверное за водой.

Впереди была вражеская траншея, потом ходы сообщения и еще траншея, тоже заполненная солдатами. А дальше — огневые позиции артиллеристов, штабы, склады. Тут хоть ползком, хоть на четвереньках, все равно не проберешься незамеченным. Игорь приказал бойцам подняться и идти цепочкой.

Выручал их, конечно, туман, и еще каски с накидками. Немцы видели привычные силуэты, не вызывавшие подозрений. Да и фрицы тут были еще не пуганные. На этом участке советские войска не пытались форсировать реку и не очень досаждали врагу артогнем.

За ночь группа прошла пятнадцать километров и на рассвете остановилась в мелком лесу, в низине, возле ручья. После дождей тут образовалось болото, под ногами хлюпало, между кочками выступала вода, но старшина Парамонов посоветовал устроить дневку именно здесь: вокруг полно немцев, а в болото они не полезут.

Игорь слушал Парамонова беспрекословно. У старшины опыт, известность на всю дивизию по части разведки. Этот здоровяк с добродушным лицом, с огромными ручищами, на которые не влезали самые большие казенные рукавицы, был с виду тяжел и неповоротлив. Вернувшись с задания, мог спать целыми сутками. Вставал, ел и опять ложился. Он будто накапливал энергию до той минуты, когда наденет свой маскхалат, сшитый портным по специальному заказу. Тут Парамонов изменялся неузнавае-

мо. Лицо оживало, глаза блестели хитро и умно, походка делалась мягкой, неслышной, сильное тело приобретало подвижность и гибкость. Усталости для него не существовало, он будто забывал о сне... До следующей передышки.

Зная эту способность старшины, Игорь отправил его и крепыша-сержанта Мигунова на опушку леса, наблюдать за дорогой. Остальные с грехом пополам устроились отдыхать на бугорке, на гряде сырых листьев. Хорошо хоть, что ноги были сухие.

Парамонов и Мигунов возвратились незадолго до сумерек и доложили: на шоссе никакого движения, за весь день проехало восемь повозок в сторону передовой. На окраине села обнаружены три танка и броневик. Ну, что ж, на худой конец это тоже были какие-то сведения. Штабники отметят на картах, что в таких-то и таких-то квадратах севернее Киева противник свои силы не сосредоточивает.

Игорь приказал радистам развернуть станцию и передать короткую радиogramму.

Выбравшись из мокрой чащобы на ровное поле, люди повеселели и зашагали быстрее. Булгаков торопился пересечь открытое место, дойти до лесных массивов, сквозь которые пролегалo рокадное шоссе. Эти леса и перекресток магистральных дорог в них были главной целью разведывательной группы.

Под утро пересекли вязкую пашню. Впереди возникли стволы сосен. Мелкий дождь, сеявший с неба, почти не проникал сквозь кроны деревьев, оседал на густых лапах. Под ногами хрустели шишки.

Где-то вдаль то замирало, то усиливалось приглушенное гудение моторов. Игорь достал карту, лег под деревом рядом со старшиной Парамоновым. Сверху их накрыли накидками. Старшина подсвечивал фонариком, пока Булгаков пытался определить, куда вышла группа. Так, понятно. Вот просека. Параллельно ей, в трех километрах, тянется рокада. Оттуда и гул. Фонарик погас.

— Пошли! — вскочил Игорь.

Полчаса быстрого движения — и впереди посветлело. Сосны сменились молодыми березами, густым, невысоким кустарником. Разведчики поползли по мокрой траве, по лужам. Одежда впитывала воду, неприятно холодила грудь и живот.

Да, тут было что-то серьезное. По дороге с ровными

интервалами шли высокие трехосные грузовики. Маленький перерыв — и появились бронетранспортеры с пехотой. Их насчитали двадцать шесть штук. А ведь колонна двигалась к фронту давно, может быть, уже несколько часов.

За бронетранспортерами пошли танки. Игорь насчитал больше сорока, среди них половина «тигров». Ясно, что противник перебрасывает крупную часть, во всяком случае не меньше полка.

Наконец шоссе опустело. Начинаясь рассвет. Игорь решил оставить наблюдателей и отойти в глубь леса. Но в это время вдаль появилась новая колонна. Десяток танков, а потом машины, машины, машины...

Голова колонны проследовала мимо разведчиков, и вдруг, повинувшись какому-то общему сигналу, все машины остановились. Возле них засуетились солдаты. Танки, а потом и грузовики начали съезжать с дороги в кустарник. Слышались крики, стук топоров. Немцы рубили кусты и ветки.

Игорь, кивнув своим, пополз назад. Надо скорее связаться со штабом. Дело серьезное. Вот только неясно, почему немцы остановились. Или на диванку, или тут у них район сосредоточения резервов. Ну, это не самое важное. Главное, чтобы наши знали об этих танках и мотопехоте.

Километрах в двух от шоссе, на краю вырубki со старыми трухлявыми пнями, радисты развернули станцию. Для надежности работали не со штыревой антенной, а натянули между двумя деревьями медный шнур с маленькими, белыми, словно игрушечными, изоляторами на концах.

Слышимость была отличная. Штабная рация, получив сообщение, приказала ждать. А минут через пятнадцать поступило распоряжение: вести тщательное наблюдение за противником, выявить номер соединения, состав сил и цель передвижения.

— Ну, ребята, кажется попали мы в самую точку, — сказал Игорь, прочитав разведчикам радиogramму. — Теперь на нас в штабе как на богов надеются.

— Сделаем, — уверенно кивнул сержант Мигачев (или Мигунов — Игорь все время путал их, настолько они были схожи).

А переводчик попросил устало:

— Отдохнуть бы, товарищ командир. Всю ночь на ногах.

Игорь пожалел его. Переводчику за тридцать, лицо полное, рыхлое. Работа у человека сидячая, штабная, среди бумаг. Устал, конечно, без привычки. А мужик толковый. Не трус и не нытик. Однако отдыхать рановато. Троем следует вернуться к дороге, взять «языка». Остальные разыщут местечко понадежней. Вокруг виднелись старые воронки, тянулся окоп, наполовину заплывший, заросший травой, вырытый, наверно, еще в сорок первом году. Может, удастся найти для отдыха уцелевшую землянку или блиндаж...

Не успел Булгаков проинструктировать ребят, собиравшихся за «языком», как гул моторов, а потом и стук топоров раздался совсем близко, но не на шоссе, а с противоположной стороны, на просеке. Игорь встретился взглядом с Парамоновым.

— Я схожу, — спокойно произнес тот. — Мигачев, за мной!

Вернулся старшина очень быстро: на просеке стоят самоходные пушки, немцы маскируют их.

— Влипли? — полувопросительно сказал переводчик. — Теперь и уходить некуда, разве только назад.

— Позади поле, — возразил Парамонов.

— Ну, все, — прервал их Игорь. — Хватит разговоров. Старшина, ищи укрытие. Все остальные пока в дозор. Радист, вызывай штаб.

Они передали короткое сообщение о том, что в квадратах «Г-6» и «Г-7» вдоль просеки обнаружено скопление самоходок, а потом сразу свернули рацию, не ожидая ответа, потому что топоры стучали совсем близко и даже слышались голоса немцев.

Парамонов отыскал в чащобе какую-то яму, а когда все залезли в нее, притащил охапку старого сухого хвороста, навалил сверху, да еще нагреб ногами ворох листвы. Сам заполз под хворост последним, завозился, устраиваясь, возле Игоря. Сказал шепотом:

— Со стороны ни черта не видно. По спинам пройдут, не заметят. Прикажи спать ребятам.

Игорь разрешил четверым отдыхать. Трое, сам Булгаков, радист и Парамонов, наблюдали за лесом, держа под рукой автоматы. Однако разрешением никто не воспользовался; какой уж тут сон, когда за поляной горланят

фрицы, когда дыхание перехватывает от волнения и страстного желания закурить, глотнуть хоть разок успокоительного дымка.

Группа немцев, видимо дозор, прошла метрах в ста от них, громко разговаривая. Потом лес начал постепенно затихать. Прекратился стук топоров, умолкли голоса. Судя по всему, фашисты улеглись дрыхнуть после ночного марша.

Усталость брала свое. Разведчики начали подремывать. А переводчик вдруг всхрапнул так громко, что сам вздрогнул и зашевелился.

— Во! — шепотом произнес Парамонов. — Интеллигент, а храпит, как неграмотный!

— Нервы крепкие, — ответил Игорь, осторожно поворачиваясь на левый бок: очень уж неприятно липла к животу промокшая одежда.

Чтобы скоротать время, старался думать о хорошем: о доме, об Ольге. Интересно, что она делает вот в эти минуты? Наверно, завернула Николку в одеяло и вышла гулять. Ходит по двору, поет ему что-нибудь, а Николка лежит и соску сосет... Впрочем, какая там соска! Ему скоро два года стукнет, он же сам давно бегает. Летом даже хвост у петуха выдрал — такие ручонки сильные. Схватил за хвост, а петух вырвался... Он уже самостоятельный гражданин, этот Николай Игоревич. Только никак не возможно представить его на собственных ногах. Вспоминается лишь круглое личико, широкий нос да синие глаза-бусинки. Смотрят на отца внимательно, словно понимает что-нибудь человек...

Ольга пишет, что нога у него очень большая, носит уже двадцать третий размер, скоро Людмилку догонит... Ну, что же, на то он и мужчина, должен на земле прочно стоять. А с обувью плохо. В Одуеве совсем не продают детских ботинок. Вот старшина говорил, что Мигачев умеет сапожничать. Может, его попросить, а потом переслать с оказией... Мигачев или Мигунов? Это же надо — такие одинаковые дружки подобрались...

— Командир, — толкнул его Парамонов, — ты что, засыпаешь?

— Я? Нет, замечтался, — спохватился Игорь и тряхнул головой. — Задумался малость.

— Давай Мигачева поднимем, он отдохнул вчера.

— Ладно, через часок. Только разоспался товарищ.

Так лежали они, мокрые и озябшие, торопя время, подавляя в себе чувство голода, желание покурить и совсем не догадываясь, какой переполох наделали в штабах две их последние радиogramмы.

К этому времени на Лютежском плацдарме, на маленьком «пятачке», скрытно сосредоточились для штурма немецких позиций войска 38-й и 3-й гвардейской танковой армий, 5-го гвардейского танкового и 1-го гвардейского кавалерийского корпусов. Завтра утром, 3 ноября, должен грянуть залп двух тысяч орудий и минометов, должны ударить пятьсот «катюш». После артиллерийской подготовки войска рванутся на Киев.

И вот теперь, когда до наступления осталось меньше суток, в тылу немцев обнаружилось новое танковое соединение. Несколько дней назад фашисты сняли с другого участка фронта 7-ю танковую дивизию. Может, это она подтягивается к Лютежскому плацдарму, чтобы затаиться в лесах, а потом неожиданно нанести контрудар? Может, это другое, более крупное соединение?

Генерал Ватутин принимал меры. Из фронтового резерва были взяты два истребительно-противотанковых полка и полк самоходных артиллерийских установок. После прорыва обороны эти части должны были прикрыть фланг наступающих войск. Несмотря на низкую облачность, в воздух поднялись несколько самолетов-разведчиков, ведомых лучшими летчиками. В полной готовности стояли на аэродроме машины штурмовой авиадивизии. Штурмовики получили приказ при первой возможности пробомбить и обстрелять те лесные квадраты, которые были названы в радиogramме разведчиков.

Часа за два до сумерек дождь наконец прекратился. Солнце так и не смогло прорваться сквозь тучи, но облачность поднялась на несколько сот метров. Штурмовики эскадрильями стартовали с аэродрома.

Игорь как раз спал, когда на просеке и на опушке леса возле шоссе рванули первые бомбы. Самолеты, полуголая из пике, один за другим проносились над соснами, над ямой разведчиков. Некоторые бомбы рвались близко, в глубине леса. Игорь даже побледнел: хуже не придумаешь — погибнуть в немецком тылу от своих же... Нет, не зря он всегда боялся бомбежки.

Однако страх перед бомбами оказался недолгим: новая и более серьезная опасность заслонила все. Немцы с про-

секи и с шоссе хлынули в лес, подальше от того места, которое штурмовали краснoзвездные самолеты. Фашисты бежали кучками, целыми подразделениями, рассыпались по одиночке, лезли в чащобу. Игорь сообразил: прятаться под ветками теперь бессмысленно. Заметят, поймут, откроют огонь. Лучше лежать открыто.

Он велел поскорей стряхнуть листья и ветки, закутаться в накидки и надвинуть осточертевшие всем тяжелые каски. А переводчик с Игорем даже сели на край ямы — так лучше было видно вокруг.

В гул и треск разрывов короткой строчкой врывались очереди авиационных пушек. Валились на землю старые сосны: грохот заглушал их скрипы и стоны. Отрывисто лаiali немецкие зенитки. Поблизости, на поляне, кричали раненные.

— Вот это курорт! — ухмыльнулся старшина Парамонов, с наслаждением закуривая третью подряд трофейную сигарету. — Вот это банька с парилкой!

Игорь погрозил ему кулаком: молчи!

— А ничего, командир, — сказал старшина. — Они сейчас, как карасы на сковородке... Сейчас бы самое время «языка» взять.

— Не рыпайся! — приказал Игорь, и старшина смолк.

Немцы спасались от бомбежки в старых окопчиках и воронках. Трое солдат лежали метрах в тридцати от разведчиков и переругивались хриплыми злыми голосами. Игорь слушал их быструю резкую речь и вдруг поймал себя на мысли, что не испытывает ни малейшего страха. Не перед этими тремя фрицами, конечно, а вообще перед фашистами, которых вокруг полон лес. Взрывы бомб заставляли его вздрагивать, сердце становилось горячим и словно срывалось вниз. А при виде немцев чувствовал только любопытство, хотя разумом понимал, что любая оплошность сразу погубит всю группу.

Штурмовики улетели, и разведчики испытали не меньшее облегчение, чем немцы. Вдали заиграла труба. Фрицы потянулись на ее зов, поглядывая на быстро темневшее небо. Под деревьями накапливались сумерки, и это радовало разведчиков.

Лес опустел. Немцы кричали вдали, заводили моторы. Игорь шепотом советовался с Парамоновым. Решили брать «языка» именно сейчас. В спешке отъезда немцы не заметят, что исчез человек, а если и заметят, то понадеют-

ся на санитаров, на похоронную команду. Кто будет искать солдата в ночном лесу после бомбежки!

За «языком» ушли все тот же старшина Парамонов и крепкий Мигунов — они «сработались» в паре. У Игоря не было никаких сомнений: найдут раненого фрица или оглушат солдата, севшего по большой нужде.

После пережитого Булгаков и его товарищи как-то успокоились. Ощущение опасности, владевшее ими до сих пор, незаметно ослабло. Переводчик предложил развести в яме костер, вскипятить воду, согреться чайком. Игорь повертел возле виска пальцем и сказал негромко:

— А ты не того?

Наверно, и Парамонов с Мигуновым чувствовали себя в этот раз чересчур уверенно и потому допустили какую-нибудь ошибку. Или просто произошла непредвиденная случайность. Возле просеки затрещал вдруг автомат. Очередь была длинной, на весь магазин: так стреляют ошалевшие от испуга или от неожиданности люди, намертво придавив пальцем спуск. Потом рванула граната, за ней другая. Еще несколько коротких очередей, истощный крик и все кончилось. Только гудели моторы да поскрипывали под ветром сосны.

Игорь выругался: первым чувством была досада — провалилось такое верное дело. «И сами влипли, и нас подвели!»

Решение возникло сразу — немедленно уходить, исчезнуть из этого леса. Немцам нетрудно сопоставить факты: неожиданный налет авиации на замаскированные войска и появление советских разведчиков. Они обязательно будут искать радиостанцию, обязательно прочешут местность.

Парамонов и Мигунов — ребята опытные. Если они живы, сами сообразят, что делать, сами вернутся к нашим.

В спешке Игорь допустил оплошность, которую осознал только на следующий день. Он повел свою группу на восток, навстречу советским войскам. Он не учел, что там у немцев сплошная оборонительная полоса, что фашисты известят свои части о появлении в тылу русских разведчиков, что именно в том направлении будут разыскивать их гитлеровцы.

Ведь разумнее было бы уйти на запад, дальше от фронта, найти надежное укрытие и подождать, пока уляжется шумиха, ослабнет у немцев бдительность.

Рассвет застал их в открытом поле. Пришлось лечь на мокрую землю среди мелких кустов. Съели последнюю банку консервов и последние сухари. Бойцы зябли в сырой одежде, радиста и переводчика бил озноб. Игорь пытался согреться, двигая руками и ногами. Помогло на несколько минут, а потом стало еще хуже.

Все были облеплены грязью, обросли щетиной, лица напоминали синеватые, лишенные жизни, маски. Но ребята не унывали, даже шутили, прислушиваясь к гулу, катившемуся с востока. Километров тридцать, а то и побольше отсюда до фронта, но порой удары были такими сильными, что даже здесь качалась под разведчиками земля. Такой концерт могут заткнуть только наши. Значит, наступают, это уж факт!

О том, что началось наступление, можно было судить и по другим признакам. Прямо среди бела дня заполнились дороги, хотя под тучами нет-нет да и появлялись советские самолеты. К фронту шли крытые грузовики с солдатами, с боеприпасами. Обратно они возвращались с ранеными. Прошагала к передовой длинная колонна пехоты. Вдали, на окраине леса, немцы рыли траншеи: Игорь видел в бинокль — закапывают в землю танки.

Во второй половине дня стало ясно, что немцы понялись. Отходили в тыл конные обозы, проезжали штабные автомашины, появились группы солдат, шагавших без строя по грязным обочинам шоссе. Разведчики оказались между двумя параллельными дорогами, которые тянулись справа и слева в двух-трех километрах от них. Игорь записывал и отмечал на карте все виденное.

Сумерки надвинулись очень рано, приползли они вместе с низкими тучами и моросящим дождем. Дождик был теплый, даже приятный, зато над ложбинами поднялся липкий промозглый туман. Не будь его, наверно, видны были бы пожары и вспышки выстрелов, потому что за день артиллерийские раскаты значительно приблизились и теперь бой шел километрах в десяти от разведчиков.

Радисты высунули над кустами штыревую антенну и передали в штаб последнюю радиограмму.

— Все, товарищ командир, питание кончилось, — доложил старший радист. — Разрешите, мы радию здесь ветками закидаем. Таскать ее тяжело. А наши придут, достанем.

— Валийте, — разрешил Игорь, ощутив вдруг какую-то

грусть. Порвалась ниточка, связывавшая со своими. Вроде бы остался без языка... «Без языка»?.. Кто написал эту вещь? Короленко или Григорович? После провала на университетских экзаменах Игорь всегда путал их. «Нашел время вспоминать!» — усмехнулся он.

Разведчики топтались на месте, согреваясь, разминая ноги. Пора идти. Теперь, когда рация не работала, у них была только одна цель — возвратиться к своим. И они зашагали по грязи, по чавкающему чернозему, надвинув немецкие каски и кутаясь в накидки, ориентируясь на грохот разрывов.

Ночь была заполнена немцами. Они кричали на дороге, среди гудевших машин и фыркавших лошадей. Говор их слышался то справа, то слева. Одни немцы шли навстречу разведчикам, другие в том же направлении, что и они. Возникали и пропадали смутные силуэты, мерцали огоньки сигарет.

Сквозь дождь и тьму все чаще прорывались впереди красные, желтые и оранжевые всполохи, все явственней становились выстрелы отдельных орудий. Ухо улавливало сплошной треск, служивший словно бы звуковым фоном, отчетливо проступавший всякий раз, когда чуть стихал канонадный грохот.

— Осторожно! — шепотом предупредил сержант. — Капавая какая-то.

— А, черт! — громко выругался радист, падая в темный провал и в ту же секунду справа раздался по-мальчишески звонкий испуганный голос:

— Herr Leutnant, Russen sind da!..

— Wo?! Schießel..¹

Перед глазами Игоря возник вдруг узкий, высокий столб пламени, такой раскаленно-белый, такой горячий, что из глаз покатились слезы. Игоря крутнуло в вонючем дыму разрыва, отбросило в сторону. Он шмякнулся лицом в грязь и сперва ничего не мог понять. Вокруг стреляли, кричали, пускали ракеты. Он тоже хотел стрелять, но в глазах вспыхивали и плыли, мешая смотреть, белые круги. Он считал их, сбивался, начинал снова.

Лежать, в общем-то, было спокойно, он вроде бы отдыхал, глядя, как суетятся справа темные силуэты, но в

спине быстро нарастала резкая, пронизывающая все тело боль. Игорь подумал, что это от неудобного положения, попробовал повернуться на бок, но нижняя часть туловища совсем не слушалась его. Ноги будто отнялись, он не чувствовал их.

Потрогал колени, бедра, ягодицы. Все нормально. Рука поползла выше, на позвоночник. Заглубившие грязные пальцы ощутили какие-то липкие клочья, коснулись краев рваной раны. Он укололся о что-то твердое, даже не поняв, что это осколок раздробленной кости.

Боль накатывалась волнами, бросая в жар, туманя мозг, лишая возможности думать. Потом волна отходила, оставляя после себя усталость и гнетущее ожидание новой вспышки.

Когда приступы были особенно резкими, ему хотелось провалиться в пустоту, исчезнуть, вырваться из своего непослушного, скованного мучительной судорогой, тела. Но едва боль ослабевала, вновь появлялась надежда: он потерпит, он дождется, пока придут наши.

Страшно было лежать на одном месте, как мертвому. Игорь вытянул вперед руки, вцепился в жесткую траву и осторожно подтянул разбитое туловище. Боль сразу разлилась по жилам горячим свинцом, отяжелив и руки, и голову, но он все-таки почувствовал удовлетворение. Он был хозяином над собой, и от этого в нем крепла уверенность, что все кончится благополучно.

Правее его на дороге очень уж много было криков и суеты. Там что-то горело, или машина, или стог, огонь, вспыхивая, вырывал из темноты десятки фигур. Там же начали яростно, быстро бить пушки, выбрасывая параллельно земле желтые язычки пламени.

Вокруг разрасталась стрельба, Игорь подумал: если он даст очередь по суетящимся немцам, его никто не услышит. Он еще подтянулся вперед, выдвинул свой трофейный «шмайсер» и нажал спуск. Автомат затрясся, и эта тряска отозвалась такой болью в позвоночнике, что оружие сразу вывалилось из ослабевших рук. Но он упрямо дотянулся до автомата и, чуть приподняв его, дал еще очередь по фашистам.

В Игоря стреляли с двух сторон, и от дороги и откуда-то сзади. Трассирующие пули мелькали, как разноцветные светлячки, впивались в землю рядом с ним. Он давно не чувствовал правой ноги, а тут вдруг возникло такое ощу-

¹ — Господин лейтенант, тут русские!..

— Где?! Стреляй!... (нем.).

чение, будто ногу укололи иглой. Игорь подумал: наверно пуля.

Потом его хлестнуло в лицо, он едва не захлебнулся от крови, закашлялся, выплевывая ее. Рот не закрывался. Игорь прижал рукой челюсть, но едва отпустил — она с хрустом отошла вниз.

Он вдруг так ослабел, что не мог пошевелиться, с трудом приподнял голову, попавшую в ямку с водой.

Когда боль уходила, разбитое тело становилось грузным и непослушным, будто отделялось от самого Игоря. Ему подчинялось только сознание. Он старался думать, что остальные разведчики не погибли, что они уже добрались к нашим. Разведчики укажут место. Прохор Севостьянович сразу пошлет за ним санитаров.

Он не мог видеть в темноте, что все его товарищи лежат мертвые возле канавы, недалеко от него.

Потом произошло что-то непонятное. Засверкали яркие вспышки, за клубился туман, пронизанный длинными полосами света, раздался скрежет, лязг и неслышанный непонятный вой, поглотивший все остальные звуки, пронзительно врывавшийся в уши, так распиравший черепную коробку, что она, казалось, не выдержит и развалится. Игорь думал, что все это происходит в бреду, но в то же время он чувствовал, что в ямку опять натекла вода: слушал вой и лязг, а сам копил силы, чтобы хоть чуть-чуть передвинуть голову.

В конце концов ему удалось повернуться на спину, так было лучше, вода перестала попадать в нос. Но поворачивался он, наверно, очень долго: когда отдохнул и приоткрыл глаза, было уже светло. Что-то толкнуло его, возле самого лица увидел он грязный ботинок на толстой подошве и ногу в черной обмотке.

Игорь сразу понял: свои! Радость его была так велика, что он закричал. Вернее, хотел закричать — из груди его вырвался громкий стон. Он искал взглядом лица, глаза людей, но не находил их. Только ноги в обмотках, в тяжелых американских ботинках равнодушно перешагивали через него.

* * *

Когда в районе Лютежского плацдарма определился успех, командующий 1-м Украинским фронтом ввел в дей-

ствие свою главную ударную силу: 3-ю гвардейскую танковую армию. Лавина бронированных машин устремилась в атаку ночью, в кромешной тьме, в густом тумане. Танки неслись на вражеские укрепления с зажженными фарами, с воющими сиренами, ведя беглый огонь из пушек и пулеметов. Неслись стремительно, не сбавляя хода, напролом через канавы и рощи, на окопы, на дзоты, давя солдат, повозки, орудия — все, что попадалось на их пути. В танковых радиях звучал чей-то взволнованный, хмельной от радости голос: «Хлопцы, даешь Киев!.. Хлопцы, даешь Киев!»

Торопилось, спешила поспеть за броней пехота, шлепала по мокрым дорогам мимо раздавленных искаженных пушек, минометов, грузовиков, мимо вражеских трупов и опустевших траншей. Бой уже продвинулся к Киеву, но во многих местах еще сопротивлялись, отстреливались группы фашистов. Гвардейская кавалерия добивала гитлеровцев, отступивших в леса.

По шоссе ползли тягачи с орудиями на прицепах, шли танки, ремонтные летучки, полуторки, зеленые «студебеккеры». Пехота торила себе путь по целине обочь дороги.

Высокий ефрейтор в истертой шинели, едва достававшей ему до колен, отделился от строя, присел на кочку и, покряхтивая, снял сапог. Молоденький солдат с добрым румяным лицом, в новой пилотке, бесшабашно надвинутой на самую бровь, примостился рядом и начал крутить сигарки — для ефрейтора и для себя.

За кочкой, в двух метрах от них лежал труп, такой грязный, что даже нельзя было разобрать, какая на нем форма. Сапоги вроде бы русские, без раструбов, а валявшиеся рядом каска и тронутый ржавчиной автомат — немецкие. Да и накидка тоже была фашистская. Лежал он, вероятно, давно; под ним натекла лужа бурой от крови воды.

Сперва солдат и ефрейтор не обратили внимания на этот труп: много валялось их кругом, и в лужах, и на дорогах, и скорчившихся в агонии, и расплюснутых гусеницами — всяких. Где уж смотреть на них... Но вот немец застонал негромко, шевельнулась его голова.

— Гля, живой еще, — удивился солдат, протянув ефрейтору самокрутку и косясь на раненого, на его разбитое, окровавленное, залепленное грязью лицо. Затылок ранено-

го погрузился в лужу, вода дошла до ушей. Еще немного — и хлынет в черный запекшийся провал рта.

— Захлебнется,— сказал солдат, сдвинув пилотку на затылок.— Захлебнется, верно?— спросил он товарища. Но ефрейтор не ответил, сосредоточенно наматывая портянку. Раненый опять застонал. Протяжно, с хрипом выдыхал один и тот же тягучий звук: а-а-а, а-а-а, а-а-а... Даже будто не стонал, а пытался говорить, подзывая к себе, стараясь повернуть голову.

Ефрейтор поднялся с кочки, пристукнул сапогом, глянул на раненого и вздрогнул: очень уж страшные были у того глаза. Огромные, наполненные слезами, они словно кричали, словно молили о чем-то. Ефрейтор отвернулся, но этот взгляд жег ему затылок, от него невозможно было уйти.

— Захлебнется он,— повторил молодой солдат, и голос его прозвучал так равнодушно, что покоробил ефрейтора.

— Иди,— подтолкнул он солдата, а сам шагнул к раненому.

Он был старым воякой, этот ефрейтор, проживший двадцать два года, из них почти три — на войне. Его самого несколько раз увозили из боя в госпиталь. И ему казалось, что он понимает, чего хочет искалеченный враг. Лучшие отмучиться сразу — все равно не жилец...

Ефрейтор поставил автомат на одиночный выстрел и, не глядя на расширенные умоляющие глаза, нажал спусковой крючок.

Раненый дернулся и вытянулся, оборвав стон. Голова качнулась, грязная вода хлынула на лицо, заливая нос, рот, глазницы. Ефрейтору стало не по себе. Он схватил убитого за локоть, выволок на кочку тяжелое мокрое тело, а потом поспешил за солдатом, на ходу вытирая о шинель руки.

* * *

Утром 6 ноября на Крещатике, в районе вокзала и на днепровских кручах прозвучали последние выстрелы. По всей стране не отходили от репродукторов люди, слушавшие сообщение «В последний час». Освобождена столица Украины! Освобожден самый крупный город из тех, которые удалось захватить немцам!

Быстро пролетел этот радостный день. А вечером хмурое осеннее небо над Москвой озарилось новым салютом, новыми победными залпами в честь воинов, вернув-

ших стране древний Киев — мать городов русских.

Стихли выстрелы над Днепром. В ротах и батальонах подсчитывали потери и трофеи, составляли донесения. Старшины сдавали полковым писарям длинные списки убитых и раненых. О группе Игоря, ходившей во вражеский тыл, не поступало никаких сведений.

Капитан, начальник разведотделения дивизии, зачислил было старшего лейтенанта Булгакова и его товарищей в списки пропавших без вести. Но генерал Порошин приказал: искать. Территория, на которой действовала группа, освобождена, люди не могли исчезнуть бесследно. Прохор Севостьянович распорядился выслать поисковую группу в тот район, где разведчики последний раз выходили на связь, потребовал произвести проверку во всех армейских госпиталях.

Генерал еще надеялся, что Игорь жив. Может быть, он ранен, подобран санитарями другой дивизии или другого корпуса. Прохор Севостьянович подписал всем разведчикам наградные листы. Ведь разведчики сделали большое дело: вскрыли группировку противника как раз на направлении главного удара советских войск. Это были те сведения, в которых нуждался не только Порошин, но и командующий армией и сам командующий фронтом Ватутин.

Однако надежда Прохора Севостьяновича иссякла, когда капитан, во время очередного доклада, положил на его стол короткий рапорт, написанный на тетрадном листке. В рапорте сообщалось, что тело старшего лейтенанта Булгакова обнаружено среди немецких трупов, опознано двумя работниками политотдела и захоронено в братской могиле.

19

Сержант Гафиуллин сидел на бруствере отбитой у немцев траншеи, подложив под себя грязную набухшую доску. Шинель, пилотка и сапоги — все было мокрое; на спине и на коленях влажное белье прилипло к телу. Давно не бритая голова заросла короткими колючими волосами, под которыми зудилась с непривычки кожа. Сержанту лень было поднять руку и почесать. Хотелось спать, но холод и тревога за ушедшего неизвестно куда командира выгнали Гафиуллина из землянки.

Полк держал оборону в ровной безлесной степи, раскисшей от дождей. Было плохо с патронами и с едой: начальство разрешило даже вскрыть неприкосновенный запас. Отступившие немцы окопались далеко, больше чем в километре, выбрав местечко посуше. В сумерках или при дожде их позиций совсем не было видно. Иногда боевое охранение затевало перестрелку с фашистами, а в остальное время над промокшей унылой степью было тихо. Лишь по утрам кричали в небе журавли, запоздавшие в этом году с отлетом.

Сержант насторожился: зачавкала грязь, кто-то шел к траншее с тыла. Напрягая зрение, Гафиуллин различил сквозь туманные сумерки силуэт высокого человека в каске и в шинели, туго стянутой ремнем. Полы шинели едва доставали человеку до колен. Он шел медленно, вытаскивая из грязи тяжелые сапоги, ноги сгибались почти под прямым углом.

Гафиуллин обрадовался, узнав командира. Наконец-то! Разве это дело — блуждать одному по степи? Неровен час — нарвешься на мину или на немецких разведчиков: на передовой все может случиться!

Надо бы ходить вместе с Дьяконским, да приглядывать за ним, но Гафиуллин не решался нарушать его одиночество. Командир получил из дому сообщение о том, что погиб старый друг...

Дьяконский остановился рядом. Глаза затенены каской, лицо осунувшееся, резче выдается вперед подбородок. А на подбородке, на самом краю ямочки, повисла маленькая дождевая капля.

Шея старшего лейтенанта по-зимнему обмотана шарфом. Рука на перевязи — никак не заживает рана, полученная еще на Днестре. Чтобы не намочить и не загрязнить бинт, поверх его намотана черная клеенка.

— Боевое охранение сменилось? — спросил Дьяконский.

— Да, командир.

— Сам менял?

— Да. Час назад.

— Ну, и что же ты тут мочнешь?

— Покурить вышел, — отвел взгляд Гафиуллин.

По крутым осклизлым ступеням они спустились в землянку. Виктор включил фонарик. Неяркий луч прополз по стене, выхватив из темноты чью-то ногу, чью-то при-

щуренные от света глаза, уперся в железную кровать, оставшуюся тут после немцев.

Снова стало темно: Дьяконский экономил батарейку. Осталась последняя, а ни свеч, ни бензина для колчужки у них не было.

Осторожно, чтобы не наступить на ноги людей, Виктор прошел к стене и прилег на влажный соломенный тюфяк. В землянке было так же холодно, как и на улице, воияло портянками и застоявшимся мажорочным дымом. Кто-то, невидимый в темноте, потихоньку стонал, кто-то время от времени громко всхрапывал и, словно сам испугавшись своего храпа, надолго смолкал.

Виктор поводил плечами, пытаюсь согреться, слушал, как разговаривает с солдатами Гафиуллин. Сержант спрашивал, есть ли спички — надо разжечь печурку и вскипятить чай. Ему ответили, что дрова сырые, что спичек осталось восемь штук в последней коробке.

Загрело железо печурки, Гафиуллин выругался. Поняв, что чая не будет, Виктор перестал обращать на сержанта внимание. Мысль его опять вернулась к письму, полученному с последней почтой. Это письмо сразу удивило и насторожило его: отправлено из Одоева, а почерк Василисы. Как она там очутилась, она же в техникуме!

То, что Игорь убит и на него пришла похоронная — это Виктор понял сразу. Он видел много смертей и знал, как это бывает. В его мозгу Игорь словно бы перешагнул за какую-то темную черту, где хранилась память о погибших друзьях.

А вчера вечером, когда Виктор освободился от многочисленных дел и забот, нахлынули вдруг странные воспоминания. Игорь вставал перед ним загорелый, смеющийся, в белой рубашке и почему-то с сеткой на голове, которой он в девятом классе прижимал свой вихор. Они собирались идти на речку, ждали Сашку Фокина, но Сашка не появлялся...

Воспоминания сменялись беспокойством. Василиса писала, что у Антонины Николаевны нервное потрясение. Марфа Ивановна тоже заболела и слегла в постель. Сама Василиса приехала к ним, чтобы помочь Ольге, у которой на руках двое больных и двое детей. Однако теперь бабушка уже встает, да и у Антонины Николаевны здоровье улучшилось. Все помаленьку налаживается и скоро можно будет возвратиться в Тулу.

Виктор прочитал письмо раз пять, прежде чем уяснил: было очень плохо, если даже Василисе пришлось оставить учебу. Не сама же она догадалась о несчастье, Ольга позвала ее на помощь — ведь других-то близких у Ольги там нет! А Виктору они не писали, чтобы не тревожить напрасно. Да и какую помощь может он оказать...

Невидимый в темноте боец перестал стонать, попросил слабым голосом:

— Кипяточку бы мне. Закоченел я.

— Потерпи, — сказал Гафиуллин. — Всем холодно. Ночью суп в термосе принесут.

— Вчера-то не принесли...

«Может, попросить отпуск? Хотя бы на трое суток без дороги, — думал Виктор. — Нет, бесполезно, никто не даст. Какой отпуск, если в строю два офицера на весь батальон... Написать нужно женщинам, чтобы свое здоровье не подрывали. Не вернешь теперь Игоря, а им детей растить надо... Ведь на меня надежда плохая, тоже убить могут!..»

Раньше мысль о собственной смерти не доставляла Виктору особого беспокойства. Он свыкся с такой возможностью и давно уже махнул рукой: что будет, то и будет. А сейчас ему стало жутко, и не за себя, а за Ольгу! Если он погибнет, сестра останется совсем одинокой. Без матери, без отца, без мужа! Да еще с ребенком...

— Товарищ командыр! — рядом с Дьяконским сел на скрипнувшую кровать Гафиуллин. — Товарищ командыр, конверт дай, — смущенно попросил он.

— Какой конверт? — шевельнулся Виктор, недовольный тем, что сержант прервал его раздумье.

— От письма. Бумага нужна. Я сухой карандаш расщепил, деревянную ложку нашел. Только боюсь — без бумаги не загорятся сразу.

Виктор понял, полез здоровой рукой в карман. За последние дни раскурили и сожгли все запасы, даже учебник немецкого языка пришлось отдать на самокрутки. В степи голо — ни одной постройки верст на десять вокруг. А тылы далеко.

— Не сердись, командыр, — почти прошептал Гафиуллин. — Ни у кого клочка нет.

— Держи, держи.

Сержант неслышно отошел к печурке. Слабо засветилась спичка, и в землянке сразу стихли все звуки, солда-

ты, казалось, перестал дышать, чтобы не погасить огонек.

Пламя, вспыхнувшее от конверта, осветило лица, обращенные к печке: чей-то разинутый рот, вытянутую шею, бинт, тюрбаном накрученный на голове.

Чуть-чуть затрещали сухие палочки, потом раздалось шипение мокрых дров, и огонь начал меркнуть. Виктор понял: сейчас он погаснет совсем, опять будет мрак, у бойцов исчезнет надежда согреться и обсушиться.

Дьяконский рывком соскочил с койки, оттолкнул Гафиуллина и сунул в слабое пламя письмо.

Огненные язычки лизали тонкие поленья, перебегали по ним, исчезая в глубине печурки, а потом со всех сторон охватили полешко, лежавшее как раз над письмом. В лицо Виктору пахнуло теплом. Он поднялся с колен, шатнул в свой угол и только теперь почувствовал обиду. Письмо, хоть и безрадостное, было той жилкой, которая давала ему ощущение близости с Ольгой и Василисой, со всем прошлым. Раз в месяц, а то и реже, разыскивали его на фронтовых дорогах весточки из дома, и в любую непогоду отогревали его лучше походных костров и печурок...

В землянке становилось все светлей от огня. Виктор лег, повернувшись к стене. Он не хотел, чтобы солдаты видели его лицо. Он чувствовал, что оно сейчас не такое твердое и спокойное, как всегда. Грусть, сожаление — чего-то их выставлять напоказ. Это его личное дело, и только.

Занятый своими мыслями, он не обратил внимания на то, что в светлой, быстро нагревавшейся землянке не стало шумнее, что бойцы почти не разговаривали, не слезали со своих мест. Чувствовалась какая-то неловкость. А потом негромко и укоризненно прозвучал чей-то молодой голос:

— Эхма... Ставь котелок, сержант, чего уж теперь чиремониться!

Никто не ответил ему. Только дрова в печке трещали все веселее и громче.

Для солдат Западного фронта осень 1943 года была очень трудной. На юге, на Украине, шло большое стратегическое наступление, туда отправлялись резервы и новая

техника. А на западном направлении обходились своими силами, пополняясь за счет местного населения. Получали из тыловых складов то, что оставалось после других.

Верховное командование требовало наступать и наступать, сковывая немцев, не позволяя им перебрасывать свои дивизии на юг. Но как наступать, если фашисты годами укрепляли свою оборону, если у них по пять-шесть оборонительных полос на каждом рубеже, а такие рубежи построены от Дорогобужа до самого Минска?! Как наступать, когда у врага столько же танков и пушек, если на его стороне действует целый воздушный флот, а во всем Западном фронте насчитывается полсотни истребителей? Да к тому же осень выдалась на редкость дождливая, мрачная!

И все-таки наступали. Полки поднимались в атаку, откатывались, опять поднимались и опять откатывались. Сутки-другие такого штурма, и от полка оставалась горстка людей. А на завтра по телам убитых шли в атаку другие полки, тоже откатывались, тоже поднимались все вновь и вновь и в конце концов прорывали немецкую оборону, делали бросок вперед километров на тридцать-сорок, до нового рубежа. Так взяли Ярцево, так освободили Смоленск и медленно пошли дальше.

Танковая бригада имела по штату сорок танков Т-34 и столько же легких, свою мотопехоту, свою артиллерию, минометы и пулеметы. А к середине октября машин осталось всего-навсего полтора десятка, а мотострелков свели в одну роту, влив в нее бойцов хозяйственных служб. Неделю стояли на месте, ожидая пополнение, и дождались. Пришел эшелон с американскими танками М-3, пропади они пропадом!

Лешка Карасев выругался смачно и злобно, увидев «двухэтажные гробы», как называли их танкисты, ненавидевшие эти машины. Высота их четыре метра, видно издали, попадать легко. Над основным корпусом возвышаются две орудийные башни: та, что справа, торчит, как цилиндр. Броня слабая, снаряды прошивают ее насквозь. Машины громоздкие, неповоротливые, по грязи идут плохо. А самое главное — двигатели их работают на авиационном бензине. Это же просто идиотизм: танки всыхивали при первом попадании и сгорали за несколько минут. Экипажи не успевали выбраться, а ведь в каждом таком «гробу» сидели семеро наших ребят!

В роте лейтенанта Карасева оставалось две «тридцатьчетверки». Ему добавили три американские машины и приказали утром взять вместе с пехотой укрепленную деревеньку. Лешка сходил на НП к пехотному капитану, понаблюдав в бинокль. Дело мертвое, это ясно. Впереди, на километр, ровное поле. Немцы сидят на высотках, среди разрушенных домов. Там у них и противотанковые пушки, и бронеколпаки, и все, что хочешь.

— Ну, что? — сказал капитан, сунув руку под шинель и сосредоточенно скребя под мышкой. — На артиллерию не надейся, артиллерии у нас мало.

— Знаю, — тряхнул головой Карасев. — Ты прикажи своим, чтобы от танков не отставали.

— Не отстанем. Самим хуже будет, если отстанем, — вздохнул капитан. — Только ты и на нас не надейся, людей у меня кот наплакал.

Перед атакой Лешка собрал командиров танков, пустил по кругу огромный залоснившийся кисет-мешок, хранимый в память о первом наставнике, сержанте Яценко. Предупредил командиров американских машин, чтобы вперед не вырывались, а шли следом за «тридцатьчетверками».

Пока длилась артиллерийская подготовка, Карасев вывел роту на полкилометра вперед. Хотя и не густо стреляли наши пушкарки, немцы отсиживались по укрытиям и огня не вели. Но вот громыхнул последний залп. «Ну, радуйся, Алексие, христовый угодниче и скорый помощниче!» — привычно сказал себе Лешка, как говаривал, бывало Варюхин, и крикнул водителю:

— Вперед!

За себя он не боялся, экипаж у него надежный. Механик-водитель сам сманеврирует, башенный стрелок вовремя влечит снаряд, куда нужно. Лешка следил за «гробами». Американские машины, неуклюже переваливаясь, ползли сзади. Одна застряла. Вторую немцы подожгли на окраине деревни. Третью он потерял из виду, потому что его танк миновал колючую проволоку и пошел с фланга на немецкую батарею.

«Тридцатьчетверка» вздрагивала от близких разрывов, от прямых попаданий. Но, в общем, все сошло благополучно. Батарею они раздавили, расстреляли из пулемета бегущих фашистов. Пехота продвинулась на километр, зацепилась за северную окраину деревни и начала окапы-

ваться. Ей мешал огонь с фланга, да и немцы, опомнившись, готовили контратаку.

Лешкин танк, пятясь задом, изредка отхаркивался длинноствольной пушкой, удерживая врага на почтительном расстоянии. Карасев уже считал себя в безопасности, когда немецкое орудие ударило откуда-то сбоку. Пока разворачивали башню и искали цель, фашисты вцепили в танк два снаряда, разбили катки. Машина остановилась метрах в ста от окопов. Обидно, да что тут поделаешь!

Вторая «тридцатьчетверка» подошла к командирскому танку, хотела взять на буксир, но немцы открыли такой минометный огонь, что невозможно было высунуться из люка. Карасев приказал не рисковать и идти на сборный пункт, вместе с уцелевшим «американцем».

Сидели вчетвером в полутемной холодной утробе своей машины, зорко наблюдая в смотровые щели. Немцам больно уж хотелось доканать их. То пытались подползти по огороду, между грядок, забросать гранатами, то подтянули на прямой выстрел пушку. Карасев велел расходовать боеприпасы экономно, бить только наверняка.

Конечно, можно было дожждаться затишья и, бросив машину, отползти к своим. Но жалко танк. К тому же Лешка знал: вернешься сейчас без «тридцатьчетверки», наверняка дадут «двухэтажный гроб». А в нем сгоришь, не успевши освоиться. Нет уж, лучше дожждаться темноты и попытаться спасти машину!

* * *

Много странных людей видел за свою жизнь Иван Булгаков, но такого чудака, как Ефрюшка, встретил впервые. Жил он одним днем, ни о чем не заботясь, как цыган или перелетная птица. Одел-обул его Иван в армейскую форму, ну и ладно. Сыт возле кухни — и на том спасибо. Не заставляй его Булгаков стричься, брить белесую щетину и умываться, он так и ходил бы обросшим и грязным. Спать норовил устроиться на соломе рядом с мерином Шибко Грамотным. Чистота на кухне первое дело, а от Ефрюшки навозом пахнет. Иван пригрозил, что не пожалеет свой кнут.

Штабные ребята сколько уж раз говорили Ивану: давай,

мол, оформим твоего помощника как положено, поставим на котловое и вещевое довольствие. А Булгаков отнекивался. Мужичок, дескать, в возрасте, на одну ногу прихрамывает, какой из него солдат? Пускай помогает, пока есть охота.

Иван, конечно, хитрил. У Ефрюшки здоровье дай бог каждому. Но если оформят его на службу, значит, в самом скором будущем придется расстаться с ним. Порядки эти известны. Как только положат в атаках пехоту, начальство начинает чистить тылы, гребет всех под метелку. Самого-то Ивана не трогают, без жратвы тоже не повоюешь, а помощника сразу сунут на передовую.

У Ефрюшки не было никаких документов, о себе он не рассказывал, от людей держался подальше. Если с кем и беседовал, то лишь с Шибко Грамотным. Обнимет его за шею, кормит с ладони хлебом, и стоят они рядом довольные, будто понимают друг друга.

Однажды Иван сказал в раздражении:

— Не могу я тебя такого при боевой части держать. Объясни ты, заради Христа, кто ты есть? Может, ты из желтого дома сбежал? Может, тебя шпионить на мою кухню послали?

— Нет, не шпиен, — как несмазанное колесо проскрипел голос Ефрюшки. — Я не шпиен, а просто вольный человек. Я по циклям живу.

— По каким таким циклям? — удивился Иван.

— По запойным циклям, — с достоинством ответил Ефрюшка и отвернулся, считая разговор исчерпанным. Это была одна из самых длинных бесед, состоявшихся между ними.

Болезнь захватывала его раз в неделю, и почему-то обязательно по субботам. Напившись, Ефрюшка спал либо в канаве, либо в старом бурьяне. Хоть под дождем, хоть в луже, все равно — он никогда не изменял своему правилу. Как-то Иван пожалел его, перетащил под сарай: на улице хлестал ливень. Ефрюшка мертвецки спал. Но когда Булгаков пришел в сарай через полчаса, Ефрюшки там уже не было. Он опять похрапывал в придорожной канаве.

Дрых он обычно всю ночь и половину воскресного дня. Потом похмелялся и сидел где-нибудь в уголке, скрестив на животе руки, блаженно улыбаясь и глядя перед собой

остановившимися глазами. Иногда даже шевелил впалым безгубым ртом, разговаривая сам с собой.

В субботу и воскресенье вся чистая и грязная работа ложилась на плечи Булгакова. Зато уж с понедельника Ефрюшка брался за дело азартно и трудился безотказно, сам искал, куда приложить руки. Дрова, вода, топка, уход за мерином, починка упряжи — все это были его заботы. Ефрюшка даже сердился, когда Булгаков старался помочь ему. Он по доброй воле готов был не спать сутками, так нравилось ему что-нибудь делать. Но чем меньше дней оставалось до субботы, тем чаще хмурился Ефрюшка, чаще замирал в каком-то страшном оцепенении.

Иван никак не мог угадать, где он добывает спиртное. Вероятно, Ефрюшка запасался заранее. Пил он что угодно: и самогонку, и спирт, и вонючий военторговский одеколон. А однажды изо рта пьяного Ефрюшки так разлило бензином, что Иван побоялся прикуривать возле него...

Ну ладно, у каждого человека свои причуды, без них вроде бы и жить скучно. Иван притерпелся к своему помощнику, освоил его «цикл», и все у них шло чисто да гладко.

В ночь на воскресенье Ефрюшка, как обычно, напился до полусмерти и валялся в почерневшей крапиве возле бревенчатой стены дома. А у Ивана дел набежало столько, что о сне и думать не приходилось. Во всей танковой бригаде уцелели только две походных кухни. Правда, и бригада теперь стала маленькой, однако приходилось кормить не только танкистов, но и приданную пехоту.

Утром опять наступление — значит, задолго до рассвета придут на кухню старшины и бойцы из хозяйственных отделений. Каша с мясом нужна солдату? Крутой чай-кипяток нужен? Какая может быть атака без каши, без чая, с пустым брюхом, да еще если бой на весь день?

Только успел Иван сделать первую закладку, явился Карасев Лешка: усталый, в грязном ватнике, галифе продраны на коленях. Залпом выпил кружку воды, сел на опрокинутый ящик и попросил:

— Дай пожрать.

Булгаков разломил пополам мягкую краюху, достал кусок сала. Лешка откусывал здоровые куски и глотал поволочки, почти не разжевывая.

— Дело швах,— сказал он.— На ничьей земле машина моя стоит. Пособи вытащить.

— А кухня? Мне кашеварить не впрокорот.

— Пособи,— повторил Лешка.— Некому больше. Ремонтники в тылу, у ребят бой с утра, сам знаешь.

— Саперов бы попросил.

— Что они дураки — за чужую заботу под минны лезть?

— А я дурак нешто?

— Ты земляк, я к тебе как к родному. Не выдернем за ночь машину — завтра ее, как бог черепаху, разделают... Ребята там сидят, ждут.

— Ох ты мне! — вздохнул Булгаков.— Кухню-то на кого я оставлю? Помощник мой нализался и копыта откинул.

— Где он? — встал Карасев.— Разбужу.

— Да погоди уж, вместе попробуем.

Пять ведер холодной воды вылили они на голову Ефрюшки. Карасев остервенело плескал прямо в лицо: что-нибудь одно — или захлебнется или очухается.

Ефрюшка поднялся, пошатываясь, мокрый с ног до головы, всклокоченный, злой. Протирая глаза, зашипел хрипло:

— Сволочи... Шкуры.

Карасев так саданул ему под дых, что Ефрюшка вскрикнул, а Иван содрогнулся втуне за чужую боль.

— Слушай, ты! — сказал Лешка.— Управисься за ночь с варевом, получишь пол-литра спирта. Сам принесу утром. А заснешь — застрелю, как собаку! Понял?

Угроза не произвела на Ефрюшку никакого впечатления. Он почесал мокрую голову, рыгнул, а потом спросил:

— Спирт? Не брешешь?

— Честное слово.

— Ей-богу? — все еще сомневался тот.

— Клянусь чем хочешь. Жизнью клянусь, мало тебе? — рывнул на него Карасев.— Иди переодевайся скорей.

Пока Ефрюшка менял одежду, Иван разложил продукты, покрикивая через открытую дверь, где что находится, сколько варок сделать. Ефрюшка вышел насупленный, морщась от головной боли. Гимнастерка без ремня, штрипки шаровар не подвязаны, волочатся по грязи. Иван чуть не заплакал от такой картины. Разве можно доверить этому чучелу кухню? А Ефрюшка прошествовал мимо, вы-

сморкался, поглядел на огонь в топке и сказал, припомнив:

— Эй, хвартук давай!

— На дровах, — ответил Булгаков. — И колпак там, и мешалка.

Зашагал вслед за Лешкой, боясь оглянуться, чтобы не расстроиться еще пуще.

Близ полуночи, по просьбе Карасева, пехотинцы начали стрелять из пулеметов и даже орал «Ура!», сидя на месте. Немцы переполошились, открыли ответный огонь. Под прикрытием этого шума к окопам подъехала «тридцатьчетверка» и трофейный танк Т-IV, превращенный в тягач. Заглушили двигатели и притаились во тьме.

Лешка, Иван и еще один танкист поползли к подбитой машине, волоча за собой толстый стальной трос. Руки скользили, ноги разъезжались на грязной земле, трос подавался с трудом. Над головой тянулись яркие пестрые ниточки трассирующих пуль. Подниматься было опасно, а они все-таки поднялись, взяли трос на плечи и полезли вперед на четвереньках. Иван наскочил на распластанную по земле колючую проволоку, уколол ногу и вспомнил: вот почему галифе-то у Лешки драные.

Танкисты сидели в «тридцатьчетверке», закрывшись наглухо, изредка, для острстки, постреливая из пулемета. Карасев легонько стукнул в нижний люк, как было условлено. Механик-водитель приоткрыл крышку и шепотом доложил, что у них все в порядке, они готовы.

Иван с незнакомым танкистом приподняли тяжелый трос. В темноте они не рассчитали, и коуш троса звонко стукнулся о буксирный крюк. Немцы находились так близко, что слышали, пустили ракеты, застрекотали из автоматов. А минуту спустя возле танка стали густо ложиться мины. Булгаков съезжился под днищем машины, слушая, как покают по броне осколки, шлепаются комья земли. Вот втянул Леха в переплет! Этак придется Ефрюшке всерьез стать кашеваром...

Когда сбило пилотку, у Ивана рука дернулась переверститься. Но под танком тесно и неудобно, пока он освобождал руку, стрельба вдруг прекратилась. Лешка больно толкнул локтем: давай, давай!

Они зацепили, наконец, трос за буксирный крюк, но на этом их тревоги не кончились. Едва заработали двигатели машин-буксировщиков, немцы опять принялись сыпать ми-

ны. Забухала артиллерийская батарея, наши пушкеры попытались ее подавить. В общем, ночка получилась веселенькая!

В тыловую деревню, к своей кухне, Иван возвратился только при свете дня. Пришел такой же усталый, грязный и ободранный, как вчера Лешка. Даже не пришел, а приплелся из последних сил, беспокоясь за Ефрюшку. А тот встретил его равнодушно, будто ничего не случилось. Встал с поленицы дров, поправил на голове захватанный пальцами колпак и доложил почти по-военному:

— Приказанию выполнил убогаторительно!

Помолчал, подозрительно оглядывая Ивана, потянул приплюснутым носом воздух:

— Энтот, танкист-то, живой?

— За спирт переживаешь, бедолага? — ухмыльнулся Иван.

— За спирт, — сурово прокаркал Ефрюшка. — Принес?

— На! — протянул Булгаков бутылку. — Держи, заработал честным трудом... Сейчас пить будешь или подождешь, пока я отдохну да почишусь?

— Небось и так управишься, — пробормотал помощник, вздрагивая от нетерпения. Повернулся и рысцой потрусил к сараю.

21

Распутица пришла невиданная, какой не могли припомнить местные старожилы. Третью неделю на Смоленщине без перерыва моросили дожди. Мутная вода залила все низины, лужами стояла среди полей. Вместо дорог — реки грязи. Где по щиколотку, а где и до самых колен.

От машин — никакой пользы. Застрали полуторки и «пикапы», «газики» и «студебеккеры», вездеходы и грузовики. Застрали даже мощные артиллерийские тягачи. Самолеты прижались к аэродромам. Прекратился всякий подвоз, и осталась матушка-пехота сама по себе, с карманным запасом сухарей и патронов. Просчитались даже запасливые немцы-аккуратисты. В кои-то веки почувствовали они острый недостаток боеприпасов, в кои-то веки подтянули свои животы.

Ни махра, ни снаряды, ни письма не доходили на передовую. Доходили только приказы. Эти приказы поднимали пехоту на очередной штурм, она пошла на немцев в мок-

рую ночь: голодная, остервенелая, с одной гранатой на троих бойцов. Немцы не могли встретить ее уничтожающим шквалом огня, а принимать рукопашную они не привыкли.

Так была прорвана на этот раз вражеская оборона. Командование распорядилось ввести в прорыв подвижные войска и развивать наступление в сторону Орши. Танковые и мотострелковые части вошли, но подвижность их была настолько ограничена, что они не смогли обогнать пехоту.

За двое суток танковая бригада оставила в грязи все колесные машины, все легкие танки Т-70, имевшие малый клиренс, не говоря уже о «двухэтажных гробах», способных безаварийно передвигаться разве что только по сухому асфальту.

Осталось позади все начальство, пытавшееся собрать, протолкнуть вперед технику и людей. Боевым ядром бригады, стремившимся не отстать от пехоты, командовал рыжий лейтенант Карасев. Сквозь разливанное море грязи вел он на запад свою кучую колонну. Впереди полз новый, ни разу не поврежденный танк Т-34. За ним — машина Карасева, подремонтированная на скорую руку. Ходовую часть удалось исправить, но заклиненная башня не поворачивалась. Броня была иссечена рубцами, в лобовой части башни завязли вольфрамовые сердечники подкалиберных снарядов.

На танках примостились десятка два мотострелков, мерзли под дождем, кутаясь в плащ-палатки. А еще Лешка Карасев тянул за собой на стальном тросе походную кухню настойчивого земляка Ивана Булгакова. Кухня ныряла в колдобины, клонила, грозя опрокинуться, сам Иван чудом удерживался на приступке.

Замыкал танковую колонну вольный работник Ефрюшка, восседавший на широкогрудом венгерском мерине. Кроме Ефрюшки, мерин вез еще два мешочка с продуктами. Когда дорога делалась особенно трудной, Ефрюшка сползал с лошади и пробивался сквозь грязь, ведя Шибко Грамотного в поводу. Иногда они даже обгоняли танки, потому что в машинах случались поломки, а выносливый мерин шагал безотказно.

Возле перекрестка дорог колонна остановилась на короткий привал. На самой развилке Иван увидел большой щит с белой надписью. Сверху были выведены остро-

конечные немецкие буквы. А внизу по-русски значилось: «ДО БЕРЛИНА — 1500 КИЛОМЕТРОВ».

Поглядел Иван на эту аккуратную надпись, почесал затылок и полез на танк Карасева.

— Эй, Леха-командир, анкету вон ту видишь?

— Ну, вижу.

— Резолюцию бы на нее накласть!

— Какую? — не понял лейтенант.

— Простую, — усмехнулся Иван. — Которая ближе к сердцу.

— Ага! — закивал Карасев, в зеленых глазах его появился озорной блеск.

— Сейчас, земляк! В лучшем виде изобразим!

...Минут через двадцать танки двинулись дальше. А по дороге, по обочинам, по полям все шли и шли люди в серых шинелях, едва переставляя сапоги с пудовыми подушками грязи, промокшие до нитки, усталые до изнеможения. На сторбленных спинах своих тащили пулеметы и минометные трубы.

Может, сообразил какой-нибудь интендант, а скорей всего решил сам народ: вперемешку с бойцами шли мирные жители. Старики на палках, попарно, несли тяжелые ящики. Бабы, подоткнув юбки, тащили за спиной мешки, из которых торчали головки снарядов. Подростки гнули под тяжестью цинковых коробок с патронами. Совсем еще малые ребята несли корзинки и грибные лукошки, накрытые сверху тряпицами, под которыми желтела медная россыпь автоматных патронов.

Добирались они до соседней деревни, там передавали свой груз другим старикам, другим бабам и ребятишкам, а от них принимали раненых воинов, и назад возвращались медленно, облепив, как муравьи, самодельные носилки со стонущими бойцами.

Под вечер чаще стали появляться на дороге артиллеристы. Бросив выдохшихся лошадей, они сами впрягались в брезентовые лямки; с надсадным хрипом, как бурлаки, тянули вперед свои пушки. Где-то за мутным дождевым горизонтом текла разлившаяся река, саперы тащили бревна, чтобы навести мост. Связисты волокли столбы, вкапывали их, вычерпывая из ям густую грязь, прокладывали телефонную линию. То в одном, то в другом месте падал обессиленный боец на неуютную землю и лежал в вязкой жиже, пока не поднимали его проходившие мимо товарищи.

Люди брели понуро и молча, разбившись на мелкие группы. Только на перекрестке грудилась большая толпа, слышались там громкие голоса и даже хохот. Удивленные бойцы поднимали головы, откидывали мокрые капюшоны и тоже останавливались возле щита.

Поперек надписи, извещавшей, что до Берлина 1500 километров, поперек строгих готических букв было размашисто начертано суриком: «НИ ———! ДОЙДЕМ!!!»

Оживали усталые лица, веселей светились глаза. Посмеявшись, перекурив и словно бы сбросив с плеч груз усталости, бойцы отправлялись дальше, туда, где по-весеннему перекатывался недалекий артиллерийский гром.